

ЖУРНАЛ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

СИБИРЬ

362/1 1.2017

Литературно-художественный и культурно-просветительский
журнал писателей Восточной Сибири

Учредитель — Иркутское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Союз писателей России»

Журнал выходит при финансовой помощи
Министерства культуры и архивов Иркутской области
Основан в 1930 году. Выходит 6 раз в год

Содержание

Поэзия

Владимир Скиф. Бескрылый ангел. <i>Стихи. Месяцеслов. Поэма</i>	3
Юрий Розовский. Среди ромашек русских и берёз... ..	25
Виктор Соколов. Я тороплюсь проститься... ..	81
Василий Скробот. Теряются в прошлом следы... ..	96
Мария Аввакумова. Не бойся быть русским сегодня... <i>Вступительное слово Юрия Кузнецова</i>	106
Ирина Апарченко. Зачем искать нездешние миры... ..	143
Тарас Манданов. Землица благодарная крепчает... ..	156
Михаил Кривошеин. Душой написанные строчки... ..	171

Проза

Андрей Хромовских. Горе глиняному горшку... <i>Рассказы</i>	13
Иван Комлев. Рядовой Иван Ященко. <i>Повесть</i>	30
Ольга Калаянова. Снова вместе. <i>Рассказы</i>	86
Владимир Журавлёв. Недетская вина. <i>Рассказ</i>	101
Геннадий Попов. Иркутские истории. <i>Повествование</i>	115
Владимир Пронский. Вкус терентьевки. <i>Рассказ</i>	149
Александр Донских. Широка страна моя родная... <i>Рассказ</i>	175

Писательский дневник

Светлана Коппел-Ковтун. Соль жизни. <i>Эссе</i>	160
---	-----

Литературные хроники Сибири

Игорь Изборцев. Моя Сибирь. Моя Россия. История одного путешествия	190
Владимир Максимов. Парижские встречи	205
Юлия Федорищева. Писатели Сибири, объединяйтесь!	209
Эдуард Анашкин. Правое дело Владимира Крупина	211

Критика

Андрей Тимофеев. В ожидании мудрости	215
Григорий Блехман. Как хорошо идти по свету... ..	221
Михаил Тарковский. Озёрное чудо	224
Андрей Мирошников. Я музыку слушать училась у озера, сосен и скал... ..	231
Людмила Соболевская. Увидеть бы грядущего юнца, склонённого и над моей судьбою... ..	234
Анна Третьякова. Образ Байкала в творчестве современных поэтов Сибири	238
Столичный триумф спектакля «Иннокентий» <i>Рецензии и отклики</i>	243
Татьяна Краснова. Экзамен по слову. <i>Об одном рассказе В.М. Шукшина</i>	248

У книжной полки

Новинки — 2016. Валентин Распутин, «Иркутский дворик», «Дети войны», Сергей Жук, Иван Переверзин, Василий Балябин, Андрей Румянцев, Юрий Баранов, «Тракты вокруг южного Байкала: очерки истории (конец XVII — начало XX вв.)», Виталий Комин и Валерий Прищепа, Лидия Сычёва, Владимир Максимов	251
--	-----

Живая история Сибири

Ирина Терновая. Магазины Иркутска. 1960–1980-е годы	258
---	-----

Полемика

Любовь Кантаржи. Мы сохраним тебя, русская речь... ..	267
Игорь Аброскин. «Эпоха Шнура»: время, плодящее дебилов?	270

Наши лауреаты - 2016

271

Главный редактор **А.С. ДОНСКИХ**

Директор редакции **Ю.И. БАРАНОВ**

Заведующий отделом поэзии **В.П. СКИФ**

Заведующий отделом прозы **С.В. ЗУБАКОВА**

Заведующий отделом критики и публицистики **А.Г. МИРОШНИКОВ**

СОВЕТ ЖУРНАЛА

Г.В. Аксаментов, А.А. Антипин, А.Г. Байбородин, Ю.И. Баранов, В.В. Воронов,

И.И. Козлов, Р.Г. Михеева, М.П. Попова, А.И. Сальников, С.В. Шегебаева

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, кроме особо оговоренных случаев. Произведения более пяти авторских листов к рассмотрению не принимаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Оформление обложки Г.Г. Гордиевских. На обложке: «Белый дом» — особняк в Иркутске, один из самых значимых памятников истории и архитектуры города. Проект здания был разработан в Петербурге, есть предположение, что к проекту имеет отношение архитектор Джакомо Кваренги, проектировавший здание Смольного института в Санкт-Петербурге. Расположен по адресу: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 24.

Список писателей на картинах Л. Гимова (разворот журнала): «Иркутские писатели» (слево направо): (сидят) А. Семенов, К. Балков, Л. Бородин; (стоят) А. Байбородин, В. Стародумов, А. Костовский, А. Зверев, П. Забелин, В. Карнауков.

«Иркутские писатели-шестидесятники» (слево направо): (сидят) Г. Машкин, В. Распутин, В. Стуков, А. Вампилов; (стоят) В. Шугаев, С. Иоффе, В. Жемчужников, Е. Суворов, А. Гурулёв, Г. Пакулов.

«Иркутские поэты» (слево направо): (сидят) В. Соколов, Р. Филиппов, (стоят) Б. Архипкин, В. Козлов, М. Трофимов, А. Горбунов, В. Скиф, А. Румянцев.

Комп. верстка А.Л. Гордиевских Корректор Л.Н. Заступова

Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области.

Свидетельство о регистрации СМИ от 13.12.2012 г. ПИ № ТУ38-00600

Адрес редакции: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253. каб. 304. Адрес учредителя: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253. каб. 303.

Телефон редакции: 48-66-80, добавочный: 300. Телефон главного редактора: 8-964-274-04-95. E-mail: das1959@bk.ru.

Подписано в печать 03.03.2017 г. Выход в свет: 15.03.2017 г. Формат 70х108/16.

Усл-печ. л. 22. Тираж 1300. Цена свободная.

Издательство: ООО «Принт Лайн», 664006, г. Иркутск, ул. Сергеева, 3, корп. 4, оф.21. Тел. 8 (3952) 48-66-00.

E-mail: info@printline.ru Сайт: http://www.printline.ru

Отпечатано в типографии: ООО «Принт Лайн», 664006, г. Иркутск, ул. Сергеева, 3, корп. 4, оф. 21. Тел. 8 (3952) 48-66-00.

Р/сч. № 40702810608030001744

к/с 30101810200000000777 Банк получателя ФЛ ПАО Банк ВТБ в г. Красноярск

Сч. № 30101810200000000777

БИК 040407777

ИНН/ КПП 3808086540/381201001

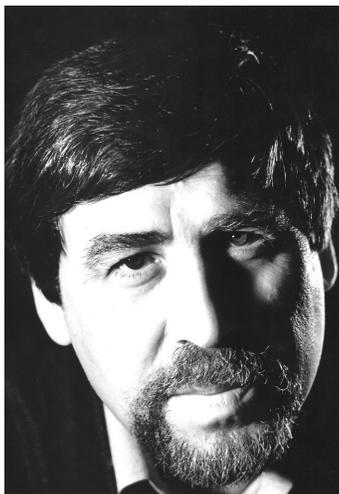
ОКПО 13623582

ОКПО 13623582

ПОЭЗИЯ



ВЛАДИМИР СКИФ



Бескрылый Ангел

* * *

Скрипит вселенская рессора,
Повозка времени скрипит.
Меж сном и явью нет зазора
И потому весь мир не спит.

Взвьётся лавою Везувий,
Проглотит старца и раба.
И никого не образумит
Помпеи гибельной судьба.

Достигший перенаселенья
На всей земле, он ждёт, когда
Начнётся светопреставленьё,
Взорвутся скалы и вода.

Не станет силы у природы
Спасти народы и леса.
И будет много всем свободы
Уйти навечно в небеса.

СКИФ Владимир Петрович, поэт, родился в 1945 г. в пос. Куйтун Иркутской области. Автор 25 книг: «Зимняя мозаика» (Иркутск, 1970); «Журавлиная азбука» (Иркутск, 1979); «Грибной дождь» (М., Современник, 1983); «Живу печалью и надеждой» (Иркутск, 1989); «Копьё Пересвета» (Иркутск, 1995); «Над русским перепутьем» (Иркутск, 1996); «Золотая пора листопада» (Иркутск, 2005); «Письма современникам» (Иркутск, 2005); «Русский крест» (М., 2008); «Молчаливая воля небес» (Иркутск, 2012); «Все боли века я в себе ношу» (Иркутск, 2013); Перевод «Слова о полку Игореве» (М., 2014), «Скифотворения» (Иркутск, 2014), «Где моей скитаться грусти» (Иркутск, 2015), «Байкальское Переделкино» (М., 2015), «Где русские смыслы сошлись» (СПб., 2016) и др. Член СП России. Секретарь Правления Союза писателей России. Член Приёмной коллегии Союза писателей России. Лауреат Международных премий им. П.П. Ершова (2009), «Имперская культура» им. Э.Ф. Володина (2014), «Югра» (2015), лауреат Всероссийских литературных премий «Белуха» им. Г.Д. Гребенщикова (2013), им. Николая Клюева (2014), лауреат премии журнала «Наш современник» (2015), лауреат Губернаторской премии (2010, 2011, 2015). Живёт в Иркутске.

Достоевский на каторге

...Я там себя понял, голубчик... Христа понял... русского человека понял и почувствовал, что и я сам русский, что я один из русского народа. Все мои самые лучшие мысли приходили тогда в голову, теперь они только возвращаются, да и то не так ясно.

Ф.М. Достоевский

Из письма Владимиру Соловьёву

Тобольска гул. Пропал из виду Невский.
Позёмка выла посреди времён.
Из Петербурга прибыл Достоевский,
Вернее, был в застенки привезён.

Не псом побитым вовсе, не страдальцем,
Невзгоды собирающим в клубок.
Он пребывал Господним постояльцем,
К нему на нарах прикасался Бог.

Тобольск и Омск. Четыре долгих года
Он в тюрьмах вопрошает сам себя:
Что есть душа? Чем стала несвобода
В его судьбе? Как выживать, скорбя?

А каторжане — воры и убийцы,
Непостижимый, подневольный сброд:
Не толстосумы и не кровопийцы,
А кровный, русский, страждущий народ.

Он будет жить суровой снежной далью,
Евангелием тёплым и родным,
Подаренным Фонвизиной Натальей...
Здесь Достоевский вызревал иным:

Да, каторга ломала самых дерзких,
Тюрьма — страшнее язвы моровой.
Но здесь, в тюрьме, родился Достоевский —
Великий гений мысли мировой.

Живой Рубцов

Я иду с ним за клюквой по волглому берегу,
По осеннему берегу Толшмы-реки.
По седым луговинам, по Северу бедному,
Где в болотах дымятся кудели тоски.

— Русь себя не хранит! Разломилось Отечество!
Как же больно в груди! — восклицает Рубцов.
И душа вместе с ним птицей-ангелом мечется,
И срывается дождик, как пули свинцов.

Набрили на зимовье в промозглой болотине,
Развели костерок для себя, для души.
— Клюква есть, погляди! Я тоскую по Родине! —
И Рубцов замолчал, будто плакал в тиши.

Ночь упала, как смерть, позакрыла прогалины
Между чёрных стволов, зацепила лицо.
— С утраца наберём! — на фуфайке подпалину
Не спеша загасив, заключает Рубцов.

Леденеет земля и молчит Мироздание,
Млечный Путь заморожен, как белый язык.
Смотрит в небо Рубцов и таинственным знанием
Видит взорванный век и грядущего лик.

Он расстался с тоскою и жизнью несытою,
С тихой Родиной, где страсти мира сплелись,
Где кровавыми звёздами клюква рассыпалась
И стихами рассыпалась горькая жизнь.

Осень-любовь

(триптих)

1

Осень, родня моя! Буйная, знойная осень!
Кровосмешенье багровой и жёлтой листвы.
Тайна и спесь. Всё смешалось, всё близости просит,
И поцелуев, и сладкой истомы травы.

Осень-любовь, не гляди на меня в изумленье,
С бритвою опасной лечу на восторге любви.
Осень-любовь, сохрани эти годы-мгновенья,
Чтобы измазать меня в своей грешной крови.

2

Я люблю тебя, осень! Ты — рыжая и золотая!
Ты мне стоны свои, свою жгучую страсть сбереги!
Я в тебе уже весь, я в изгибах твоих пропадаю,
Только ты меня жди и спаси на пороге пурги.

Там зима упадёт на тебя, загорелую, осень,
И, наверно, сгорит от багрянца рябины твоей.
Это вьюга меня по лыжне звездопада уносит,
Но я снова с тобой, хоть и жить мне на небе вольней.

3

Разожгу свою душу среди белопенного поля,
Где кочуют снега и где мыши в соломе снуют.
Разве осень ушла? Разве нет уже счастья и боли?
А на небе созвездья о доле небесной поют.

Осень, где ты сейчас? Я тебе освещаю дорогу
Своим рыжим огнём, источающим пламень души.
Выйди, осень-любовь, из-под снега до Бога!
Ты спасала меня! Я спасаю тебя! Поспеши!

Бескрылый Ангел

— Где ты, Россия, и где ты, Москва? —
В небе врагами зажатый,
Это бросает на ветер слова
Ангел с последней гранатой...

Юрий Кузнецов

В штольнях века плыли наркоманки,
Пел уродец или Божий птах.
По России шёл бескрылый Ангел
В синяках, коростах и шипах.

Покрывалось время серой пылью,
Всюду билась дольняя печаль.
— Где, бескрылый, потерял ты крылья? —
Чёрный Демон Ангелу кричал.

— Эй, пернатый! Что ты ходишь-бродишь?
Не летаешь в Божьих небесах? —
Раздавались голоса в народе,
И звучала горечь в голосах...

Ангел, видно, многого не помнил,
Он смотрел в тревоге на людей.
Крыльев нет — он это сразу понял,
Где найти их — не было идей...

Перед ним Москва огнём горела,
На Арбате шёл б...й парад.
И вдали до самого предела
Простирался современный ад.

Ангел вспомнил: вечером остылым
Он спустился с облачных небес...
Это где-то над Полтавой было,
Мимо мчался торопливый бес.

Всё как будто рядом, близ Диканьки,
Но среди размолотой земли
Пахло чёрным порохом, и танки
По дорогам Украины шли.

И не пел Боян, а пуля пела,
Разрывался гробовой снаряд.
Ангел посмотрел оторопело
На убитых хлопцев, лёгших в ряд.

Он увидел мир несовершенный,
Понял: что-то на земле не так...
Закричал, как будто оглашенный,
И пошёл с гранатой на танк...

...Он очнулся в тёмных катакомбах,
Его били много дней подряд.
Ангел жил, но превратился в зомби,
Его крылья оторвал снаряд.

А когда во тьме его подняли,
Он бескровен был и очень плох.
На «укропа» ночью обменяли
У ручья, который пересох.

...Покрывалось время чёрной пылью,
Мир тяжёлой злобой истекал.
Видел я, меж небылью и былью
Ангел крылья белые искал.

Месяцеслов

Поэма

Январь

Дыханье Ангары сгустилось от мороза,
Исчезли голоса, и вымерли слова.
Завязли в темноте трамвайные колёса,
И вмёрзла в край небес луна или сова.

И кажется, сам век и всё вокруг застыло,
Деревья и столбы, и птицы на лету.
Едва приподнялось полдневное светило
И рухнуло в мороз, в немую пустоту.

Недвижная земля в ночи оцепенела.
Как хрящики, снега кристаллами срослись.
И, превращаясь в жесть, пространство зазвенело,
И мир закостенел, и занемела высь.

Так длилось до утра оцепененье мира.
Казалось, что во тьме не тикали часы.
Но прошуршала мышь, зарокотала лира,
Посыпался снежок на звёздные весы.

И киноварь зари проклюнула железо
Небесной скорлупы, и молодой январь
Спустился с высоты над белым зимним лесом,
И в колокол небес ударил пономарь.

Февраль

Завыла февралём космическая глотка,
Холодные ветра нагнала из-за гор,
Затмила полземли, забила снегом плотно —
Простуженно хрипит небесный коридор.

Насыпался, налип, свалился снег бетонный
В углах моей души, на скатах тёмных крыш.
Скулит безродный пёс, или февраль бездомный,
В обрывках тишины, плакатов и афиш.

В окошке стынет ночь, колеблемая светом
Угрюмого, как волк, ночного фонаря.
Качаются в окне, разорванные ветром,
И жалуются мне лохмотья февраля.

А я и сам — февраль. Я тоже этой ночью,
Наверно, сам собой на части разделён,
Выплакиваю жизнь, собачью или волчью,
Простуженно хриплю разъятым февралём.

На свете — ни души, ни окрика, ни вздоха.
Лишь шорохи афиш и шаткий шум ветвей.
И колющая глаз колючая эпоха
Снежинками свистит и целит меж бровей.

Март

Задвигались ручьи под ослеплённым снегом,
Рассыпались лучи и пёрышки зари.
На лежбищах зимы под переспелым небом
В капели тонет март, пуская пузыри.

Просторные поля корёжит бездорожье,
Кошёвка не летит по талой колее,
И крошки-семена берёзовых серёжек
Нашли водоворот в проснувшемся ручье.

Деревня голосит и вспархивает птицей,
Духмяное сенцо солому ворошит.
Нагрянула весна и поселилась в лицах.
Ликует в людях март, смеётся и грешит.

За хомутаркой лёд позванивает тонко.
На небе солнца сноп оранжевый висит.
В конюшне целый день танцует лошадёнка,
А конюх-старичок ей плёткою грозит.

В вечерней полутьме затихнет ездвая...
Я гляну в небеса с высокого крыльца:
Колышется звезда, как свечка восковая,
В покоях золотых Небесного Творца.

Апрель

Весна перетрясла пуховые постели,
В жаровнях вечеров расплавилa снега.
Под окна принесла стозвонный шум апреля
Ревущая, как лось, ледовая шуга.

Всё ходит ходуном на старой переправе,
Взобрался на скалу испуганный малец.
За пасекой пустой, в заброшенной канаве,
Последний снежный пласт горит, как леденец.

Деревня к небесам скворешни прибывает,
Коровушке даёт последнего сенца
И сказку, и любовь из сердца добывает
И вяжет жизни нить под крылышком скворца.

В промокшем тальнике сияет медуница...
Российская земля, ты помнишь о святом?
Сегодня на погост приходит Радуница,
И поминальный день восходит над крестом.

Исчез ледовый гнёт, одыбывает роща
От яростных когтей отшельницы-зимы.
Святители земли, святятся ваши мощи!
К ним губы и сердца прикладываем мы.

Май

Багульник раскидал малиновое пламя
Среди трухлявых пней и травяных рогож.
Пчелою кружит май над пёстрыми полями,
Из пригоршни небес струится первый дождь.

Черёмухи кусты, как с белой пеной чаши,
Подъяты в небеса. А в дальнем далеке,
Где зеленеет луг и где чернеют пашни,
Стремительный восторг летит на мотыльке.

Ах, благодатный май! Для будущего хлеба
Горячего тепла и неги не жалеи!

Колышется земля, и в обмороке небо
Косынкою висит над бархатом полей.

В вечернее село вернулось стадо поздно,
Знать, первая трава сладка, как пастила.
Свободная, как дым, лошадка грациозно
Скакнула в небеса и крылья обрела.

Забытая моя деревня дорогая,
И Музу, и меня с Пегасом принимай!
Как хочется парить, воскрыльями сверкая,
И сеять зёрна слов в родную почву, май!

Июнь

Жарком взошёл июнь. Земля насквозь прогрета,
Чтоб семя проросло, был урожай толков.
Вновь, как аэродром, гудит шмелями лето,
Спускается заря на стропах облаков.

Прошёл алмазный дождь, полил живые грядки.
За всходами следить желанно, сладко мне.
На даче у меня сегодня всё в порядке,
Вот только нет его в запущенной стране.

Ах, если бы вернуть утраченные годы,
Потерянных людей, их неподдельный жар,
И оживить любви растоптанные всходы,
Порядок возродить и потушить ПОЖАР!

Ах, если бы... Но зло случается нередко
В простреленной моей, прославленной стране...
По шпалам вдаль иду. За мною скачут детки.
Мне с ними так легко и так покойно мне.

Я радую своих детишек бледнолицых
Походом на Байкал к туннелям и мостам.
В панамках вырезных и в платишках из ситца
Бегут они за мной по дорогим местам.

Июль

Ударил гроза. Пришёл июль громовый.
Вон молния взошла, как молодой цветок,
И канула в Байкал, и возродилась снова,
До синевы сожгла пылающий восток.

Пошёл шипучий дождь — шампанское июля,
Бери любой бокал — гремучий водосток —
И пей его до дна среди домов и улиц
За жизнь и за любовь, за Ангары исток.

Но минула гроза, и мир, рождённый снова,
Как в Сотворенья миг, ожил и задышал.
Так, жабрами горя, живых существ основа
Цвела сетчаткой глаз, клинками острых жал.

И крылья, и цветы — всё билось, трепетало,
Тянулось в небеса, к Господнему крыльцу...
И не было ни пуль, ни злобы, ни металла,
И только был полёт к Алмазному венцу.

Тысячелетний зов возник, и кроме зова
Не мнилось ничего... Исчез страданий груз.
И Библия взошла, и первым было Слово:
На радуге цветной светилось — ИИСУС.

Август

Вновь август обагрил валежники брусникой,
Вознёсся над травой грибом боровиком.
Не жадничай, тайга, в моё ведро плесни-ка
Рассыпчатым, живым брусничным молоком!

В распадках иван-чай мне ноги заплетает,
Малиновым платком накрыто полтайги.
Пречистая, как свет, моя тайга святая,
Отечеству спастись и выжить помоги!

Как остро, как свежо в ночи твоё дыханье!
Мы, ягодники, ночь проводим в шалаше...
Но вот уже рассвет заговорил стихами,
И счастье, как цветок, вошло в моей душе.

По океану трав плывём легко и бодро.
Как тысячи зеркал колеблется роса.
И отраженьем в них — рубиновые вёдра.
И вот уже вдали — Байкала полоса

Трепещет и зовёт, волной высокой дразнит.
Висит смолёвый зной, в лазури — небеса.
На катере летим, а в памяти не гаснет
Таёжной глубины зеркальная роса.

Сентябрь

Заполыхал сентябрь, твердеющий и древний,
В себя вобрал весь мир с лукавством янтаря:
Там светят мотыльки, лазоревки, деревья
В янтарной глубине живого сентября.

Там кубком золотым возносится берёза,
Янтарных облаков касается едва.

На охристой траве последнего покоса
Опалами горит опалая листва.

Лечу по сентябрю, по ягодникам, кручам,
То плачу, то молчу на солнечной горе.
Я запечён в янтарь — комариком летучим
Навеки сохранён в прозрачном янтаре.

Янтарный Божий день. Деревня оживает.
К ней Ангелы летят на крыльях сентября.
Стоит янтарный зной. Не спит сторожевая
И, как из глубины, рычит из янтара.

Янтарный русский день да будет жив плодами!
Деревня жнёт хлеба, молитву сотворя.
Успеть бы до дождей. Пшеница молодая
Засветит в закромах, как горы янтара.

Октябрь

Приметы октября — небесная прореха,
Закрытая с утра белесой пеленой...
Наш сладкий поцелуй, как ядрышко ореха,
Пропахшее смолой и хвойной тишиной.

Начало октября отмечено заботой
Гогочущих во тьме гусиных вожаков
Над спящею рекой и первою охотой
Ликующих в тайге сибирских мужиков.

Последняя листва истлела бабьим летом,
Сгорела от тоски, сжигающей дотла.
Приметы октября... Но ты не верь приметам,
А к памяти прильни — печаль твоя светла.

Из дальнего угла прикатится колечко
Зажжённой от зари кручёной бересты:
Стреляют в Белый дом! И вздрагивает свечка,
И ходят мимо сна тяжёлые кресты.

В мерцающих ночах не отступлю от лиры,
Для сердца песнь её была поводырём.
Царапается лист в окно моей квартиры,
Простреленный насквозь тем чёрным октябрём.

Ноябрь

В ворота ноября влетающий с разбега,
Я замираю вдруг в знобящей тишине.
Здесь тьма и пустота, и ожиданье снега,
А лёгкость прошлых дней уж недоступна мне.

Под сводом ноября в томленьи спит округа.
Вот-вот уже крупной поля запорошит.
И заперта душа, как плотная фрамуга,
И льдинкою тоска внутри меня дрожит.

Гуляет ветер слепой по вымершим долинам,
И в мире нет людей. Лишь встали на дыбы
За далью ледяной над Родиной пустынной
Отпевшие её ходячие столбы.

Ах, Родина моя, скреплённая любовью
И болью, и виной, не спи последним сном!
Рябиновая гроздь запёкшеюся кровью
Пылает за окном и гаснет за окном.

Но вот и первый снег обрушился на поле,
Как выжатая из тысячелетий соль.
А может быть, среди тысячелетней боли —
Грядущая пришла и затвердела боль.

Декабрь

И вот замкнулся круг на белом декабре.
Горошиной Луны распадок подавился...
С хлыстом колючих вьюг на царственном дворе,
Как белый офицер, аскет-декабрь явился.

Ну что, мой друг декабрь, отыдем от невзгод!
Поднять бокал вина Постумия велела.
Неужто миновал непроходимый год...
А может, сто веков над миром пролетело?

К двадцатому числу сподобился мороз,
Покрылось звонким льдом речное коромысло.
Из тучи снеговой — летучий снег пророс,
И небо до земли брюшиною провисло.

Ну что, мой друг декабрь, давай под Новый год
Закатим русский пир по русскому наитью
За белопенный снег, за годовой приплод
И за родной простор, что назван русской вытью.

Поднимем до краёв наполненный бокал
За воина Руси, за деву молодую,
И выпьем за Москву, за Волгу и Байкал,
За горлицу мою — за Родину святую!



АНДРЕЙ ХРОМОВСКИХ



Горе глиняному горшку...

РАССКАЗЫ

Петрович и поэзия

Понятия большинства людей о поэзии так туманны, что туманность служит им определением поэзии.

Поль Валери

Лежание с книгой приятно не на скрипучей кровати второразрядного гостиничного номера, а дома на диване: так гораздо удобней и привычней. Упомянутая мною кровать предназначена для самых разнообразных целей, даже безаппетитного поедания на ней холодных и чёрствых беляшей, пирожков и прочей немудрёной командировочной снеди, но отнюдь, уверяю вас, не для чтения: неудобно, потому как слишком уж узко, да и освещение какое-то тусклое и рассеянное; кружку с горячим чаем — если бы она была — поставить, кроме как на тумбочку, некуда. Даже принуждённо вдыхаемый гостиничный воздух, лишённый домашних вкусных и просто запахов — сухой и самый что ни на есть казённый, — к чтению, тем более занимательному, побудить не может. Постояльцу поздним зимним вечером, к тому же в одиночестве, остаётся лишь полёживать себе на боку

ХРОМОВСКИХ Андрей Анатольевич, прозаик. Родился в 1962 г. в г. Братске. В 1965 г. семья переехала в пос. Жигалово. Окончил Иркутский кооперативный техникум. Первая публикация состоялась в районной газете «Ленинская правда». В 2006 г. издал литературный альманах «Разбег», составленный из произведений жителей Жигаловского района. Создал районное общественно-литературное объединение «Разбег» и стал его председателем. В 2011 г. выпустил авторскую книгу стихов «Зазеркальная птица». Делегат 1-го съезда писателей Иркутской области. Публиковался в журналах «Наш современник», «Сибирь», «Иркутский писатель», «Северо-муйские огни», «Иркутский альманах», в коллективных сборниках «На перекрёстке», «Дарю тебе мой стих». Живёт в Жигалово. Член Союза писателей России.

или просматривать газеты, или, если уж совсем нечем себя занять, решать кроссворды. Этим я, кстати говоря, и занимался, когда дверь номера, простонав несмазанными петлями, вдруг открылась.

Через порог легко перешагнул мужик невысокого роста, примерно средних лет, средней комплекции и ничем не примечательной — так мне поначалу показалось — наружности. Вскоре оказалось: украшением этой наружности была борода, чёрная с проседью, короткая, на манер шкиперской, она была не прямой и не раздвоенной. Словно бы отдуваемая неутихающим ветром, она росла и вперёд, и немного вправо, отчего и всё лицо мужика казалось искажённым, словно виденное в кривом зеркале. Но этот недостаток (совсем незаметный, если его, конечно, не высматривать) мужика не безобразил, а его глаза — живые, с заметной лукавой хитринкой — придавали ему вид уверенный, неуловимо чем-то даже и значительный.

Мужик поздоровался, поставил себе под ноги новую китайскую сумку, мельком, как всё временное, оглядел номер, заметил: «Ничего, жить можно!» — и стащил с нешироких плеч китайский же, поподавший виды пуховик. Подошёл, протянул бугорчатую от закамевших мозолей ладонь, представился:

— Меня в нашей деревне все Петровичем зовут. Я недалеко отсюда живу, немного двести вёрст не будет.

Узнав, что я обитаю от областного центра ещё дальше, чем даже он сам, и тоже — деревенский житель, Петрович хитро подмигнул и, промолвив: «Ну, тогда, если мы, оказывается, свои, за знакомство не грех и выпить», извлёк из сумки заткнутую пробкой бутылку, пластиковые стаканчики и поставил на столик у окна. Затем там же появились каравай домашнего хлеба, увесистый кусок солёного сала, картошка в мундирах, пара луковиц, головка чеснока, пачка чая и, как бы завершением всего, соль в тряпице.

Я добавил остатки от своего ужина и бутылку минеральной воды.

Петрович сноровисто нарезал и разложил на недельной давности газете хлеб, сало и колбасу, причём ломтики сала и колбасы, припорошенные луковыми кольцами, он разложил на тексте интервью с Джорджем Бушем-младшим, поп-артовую пирамиду из картофеля соорудил на фотографии Барака Обамы, а художочные прелести неведомой рекламной красоты присыпал солью, одним словом, за какую-то минуту им было всё приготовлено. Осмотрев накрытый стол, он восхитился: «Ну, прям-таки по-царски!» — и одним ловким движением откупорил бутылку. Одурающий смрад сивухи сейчас же опалил не только мой нос, но, как показалось, и уши.

— Нет, — поторопился я отказать, — нет-нет, спасибо, минералкой обойдусь.

Петрович не стал настаивать, убрал бутылку.

— Да я, можно сказать, и не пью, это супружница бутылку в сумку засунула. Возьми, говорит, вдруг в дороге пригодится. *(Он задумался на мгновение.)* Пойду, кипятку у дежурной попрошу: кишки можно и чайком пополоскать.

Вскоре он возвратился с электрическим чайником, сказал: «Добрые люди везде есть, да жаль, что не всем на глаза показываются», насыпал в закопчённую жестяную кружку заварку и залил её кипятком. Натёр долькой чеснока ноздреватый хлебный ломоть (промолвив при этом: «Люблю я чесночок: палючий, аж глаза выскакивают, — ах, ты! а с хреном ежели — так куда с добром!») и с нетерпеливостью проголодавшегося человека вьелся в него, немедля ухватил картофелину, кусочек сала и жестом предложил последовать его примеру.

Я попробовал сало, оно оказалось изумительно вкусным.

— Супружница сало солила, — заметил Петрович, увидев мой интерес к продукту. — Она по салу и вообще по дому — мастерица!

Незаметно для себя самих мы разговорились. Беседа наша, прерываемая пережёвыванием, неспешно продолжалась; но вот Петрович от общих фраз круто повернул на крестьянскую тему, и мне поневоле пришлось из собеседника обратиться в слушателя.

— Родители мои, — заговорил он раздумчиво, — потомственные хлеборобы. Их родители тоже издавна землю пахали. Ещё при Столыпине сюда, в Сибирь, из нечерноземной

полосы перебрались. Как дед мне, тогда совсем ещё пацанёнку, рассказывал, вроде бы откуда-то из-под Перми. Я сам, не хвалясь, скажу, что предков не позорю: на любой технике, хоть на тракторе, хоть на грузовике, работать могу. Ну да не в этом суть... Надумал я фермерством заняться. Сюда, в город, приехал насчёт кредита узнать: сколько дадут и под какой процент. Если кредит дадут, можно бычков с тёлочками рóстить, тех же свиней. Пчёл разводить, говорят, прибыльно, да я в этом деле ни бум-бум... Короче говоря, чем-то заниматься надо, да как подступиться-то, с какого такого боку? И — самое главное — с кем? Братьёв у меня нет: все по городам разъехались, а одному фермерство никак не потянуть. А супружница — что она? Баба и есть баба, её на трактор не посадишь. (*Выбрав картофелину, он принялся сдирать с неё кожуру.*) Картошка, даже и холодная, с салцем, да ещё и лучком, — пробормотал он, жуя и причмокивая, — это такая, прямо сказать, вкуснотища! А тут ещё перекупщики к нам в район зачастили: понравилось им, видать, мясо по дешёвке скупать. Так он, перекупщик-то этот, попросту говоря, пришей-пристебай, и половинную цену давать не хочет! Я одному такому сказал (в прошлом году это было): «Нет, не продам бычка задёшево! Ты посмотри, бычок-то какой справный, нигде кости не торчат, шкура вон лоснится вся!» А он заухмылялся во всю свою наглую рожу: «А мне какое дело! Ты, мужик, или бери деньги, пока дают, или расходимся. Другие тебе за эту скотину побольше не отвалят, не жди!» Кулаки у меня так и зазуделись, спрятал их, от греха подальше, в карманы. «Надбавь хоть немного...» — прошу его. Так он повернулся да и пошёл от меня, будто и не слышит. Что ему со мной, думаю, рядиться-то? Я откажусь, так ему далеко ходить не надо: он у соседа моего, Фёдора Семёныча, пару тёлочек купит. Он, Фёдор-то, рад был за этих тёлочек хоть какие-то деньги получить, чем вообще ничего, ведь у него старшая дочь и сейчас в институте учится, а младшая в десятом классе тогда была, да ещё и сын в восьмой класс ходил. (*Очистив вторую картофелину, он занялся ею.*) Да и мне деньги позарез нужны были. Я и подумал про себя, что если бычка вот этому прощельжнику сейчас же не продам, так придётся следующего поджидать, а приедет ли — вопрос! В соседнюю деревню, тем более она к трассе поближе, заглянет, соберёт всю скотину по дворам — и в город... «Ладно, так и быть, — говорю перекупщику этому, чтоб ему провалиться, — забирай бычка». Тот обернулся и снова, гляжу, ухмыляется: «Так бы, мужик, сразу и говорил, а то все вы, хитрованы крестьянские, нажиться на мне хотите, да только время зря тратите!» Деньги он мне отсчитал, а потом с таким, гонорным видом ещё сто рублей сверху пришлёпнул. Вот тебе надбавка, говорит. Как я ему по роже тогда не съездил, сам удивляюсь... (*Он обиженно поспеел, теребя бороду.*) Да вам, наверное, уже надоело мои басни слушать?

— Что вы, Петрович, — запротестовал я, — очень даже интересно! — И тут же поинтересовался, признаюсь, для поддержания разговора: — Почему вы сами свою продукцию в город не увозите? Колхоз был, значит, автомобили остались.

При моих словах лицо Петровича покривилось, он хотел что-то сказать, но лишь махнул рукой; принялся было натирать долькой чеснока хлебную корочку, но отложил её в сторону.

— Какие там автомобили! Многие технику, какая им при разделе колхозного имущества досталась, продали ещё в начале девяностых, чтобы как-то выжить. Да и колхоз наш был — так себе, как говорится, ни мёртвый ни живой — полудохлый, правда, название было куда как звучное — «Знамя коммунизма». Так что техника у нас почти вся неходячая: ни запчастей, ни топлива. Вот есть у меня тракторишко, из хламья всякого, на свалках да под заборами найденного, моими руками собранный, — ну и что? Как я на ём зимой — кабина не отапливается — двести вёрст с коровой в телеге или пусть даже и с мясом, в город попрусь? Я только по деревне раскатываю, а за околицу боюсь: летом, если трактор сломается, — ещё туда-сюда, а зимой запросто на дороге замёрзнуть можно: за цельный день две-три машины если по ней проедет — уже хорошо. Ладно, что это я, как пацан сопливый, жалоблюсь... Давайте лучше чай пить.

«Недоговаривает он что-то», — подумал я, наблюдая, как Петрович разливает настоявшийся дегтярный чай по стаканчикам.

— Вот вы говорили — фермерство... — сказал я. (Петрович пролил чай на стол.) — Пчеловодством не будете заниматься: не умеете. Это понятно. Не пойму, чем же тогда?

Петрович лишь вздохнул и снова принялся тереть бороду (его широкие клешневатые ладони постоянно были в беспокойном движении и так и норовили ухватиться за что-нибудь; скоро я уже не обращал внимания на эту его странность).

— Да не с кем заниматься-то! Друзья разлетелись кто куда, а те, кто ещё остались, пьют без просыпу, как будто все с ума посходили... Ну вот, снова в жалобах, как в грязи, застрял! Вы, как я жаловаться начну, меня сразу останавливайте... Стареть, видимо, начинаю: уже позабыл, о чём и говорил-то... *(Оставив бороду, Петрович взялся за лоб.)* А, вспомнил! Работать не с кем стало, понимаете? Пробовал я уже, знаю, как только мужики первые деньги получают — и в загул... никакими словами, никаким дубьём их потом не остановить! Вот знакомый у меня был, можно сказать, что почти друг — Сашка... вот с ним-то можно было бы сейчас развернуться. Всем был хорош, только одно его портило: стихи сочинял.

— Что же в этом плохого? — удивился я.

— Не знаю даже, как вам и сказать... — замялся Петрович и в тягостном раздумье почесал бровь. — На иное дерево взглянешь, так оно стоит вроде бы высокое, ровное. Можно, думаешь, на дом его пустить или на баню, или просто на дрова. А спилишь его — внутри червоточина такая, что голова пролезет. Вот и Сашка был с червоточиной... Он и в школе был... странный, но тогда над ним ещё не смеялись и не сторонились его. Странности начались, когда он в колхоз устроился, трактористом. Водку вообще не пил, а таких чудачков в деревне, кроме него, не было, уже, можно сказать, заметный, как таракан на блюде. Матерные слова в гараже или где-нибудь на гулянках тоже не употреблял. Ну, разве это не странно?

Петрович замолчал, взглянул на меня вопрошающе, я кивнул.

— Если бы он в культурной какой семье вырос, где родители учителями или врачами работали, это было бы понятно, — ободрённый моим уже неподдельным интересом, продолжил Петрович свой рассказ, — а у Сашки отец всю свою жизнь трактористом вкалывал, а мать на ферме горбатилась. Культуры, какую в фильмах показывают, Сашка от своих родителей нахвататься ну никак не мог: шибко грамотными они не были, разве что и тот и другая матерились без ошибок. Насколько я знаю, во всей его родове этих... интеллигентных-то... сроду никогда не бывало, он первый. Как мой дед говорил, посеяли дураки овёс — вымахала пшеница. И откуда у него что взялось, если он сам в школе на тройки учился — вот что я до сих пор понять не могу! *(Он ухватился за бороду и долго молчал.)* Потом вдруг слушок по деревне пошёл: Сашка стихи сочиняет. Я не поверил, спрашиваю его самого: «Болтают, стишки пишешь... врут или как?» «Пишу...» — отвечает. «Зачем?» — снова его спрашиваю. Сашка посмотрел на меня... ну, так, словно бы ему сквозь меня ставни на доме тётки Агафьи разглядеть захотелось. Потом говорит: «Для души, вот зачем». А где-то через месяц (на пахоте дело было) кто-то из трактористов подначил: «Почитай, Сашок, чего ты там втихую от нас пишешь». Ему бы сразу отказаться, мол, то да сё, на память не упомяну... Так у него, дурня, ума не хватило, начал читать, как на уроке литературы, с выражением. Про природу, птичек там всяких... про солнце... Ничего, складно так у него получилось... Два стишка, как сейчас помню, прочитал. *(Он отпил остывшего чая, сморщился, оставил стаканчик и посмотрел на часы.)* Ого, как, однако, поздно уже! Пора и на боковую...

— Вспомните, понравились ли народу стихи? — перебил я его желание закончить разговор.

Петрович завздыхал, завозился на стуле.

— Ну, это трудно сказать... Народ слушал, переглядывался, похмыкивал... В ладошки, точно помню, никто не хлопал. Наверное, стихи всё-таки не понравились, если после этой читки начали в деревне Сашку сторониться.

— За безобидные стихи — едва ли не бойкот?.. Не понимаю!

Петрович принялся водить ладонью по крышке стола, расписывая её невидимыми узорами.

— Тут дело-то вот в чём... Везде люди занимают своё место в жизни: этот — тракторист, этот — зоотехник, а эта — учительница. И всем понятно, как к кому из них относиться, с кем можно и не здороваться, с кем — обязательно, а перед кем из уважения к его должности надо издали шапку снимать... А бывают и такие люди, которых ни на одно место поставить нельзя: на какое ни попытаются их поставить, обязательно, если не на то и не туда, так мимо, ну, что ты будешь с ними делать! В никчёмные таких не определишь, в значимые не поставишь. То ли с ними здороваться, то ли молча мимо пройти, поди, угадай... И вот ещё что вспомнил... В нашей деревне была, как будто для человеческого комплекту, дурочка, Парашкой прозывалась, её вскорости в жёлтый дом увезли. Я к чему всё это говорю... Не знаю, как и сказать...

Я помог ему — договорил за него слова, которые он удерживал в себе, не решаясь выговорить.

— Нетрудно догадаться: Александр занял место Парашки.

Не возражая, Петрович продолжительно, шумно вздохнул и с силой, словно после долгого сна, провёл по лицу ладонями.

— Никто в нашей деревне стихи никогда не сочинял. В соседних, насколько я знаю, тоже. Народ задумался: Сашка — это кто? где его место? как к нему относиться? С одной стороны, на него глянуть — поэт вроде бы, а если с другой стороны посмотреть — так он же обыкновенный тракторист! На двух стульях, значит, посиживает. И решил народ, что если у Сашки места как бы и нет, обходить его стороной. Дурачком его за глаза не называли, больше писакой или стихоплётом, но Сашка всё равно обиделся. А потом свои стихи по почте в нашу районную газету отправил. Решил, наверное, всем в нашей деревне доказать, что он всё-таки поэт, а трактористом работает по совместительству. Недели где-то так через три очередной слухок по деревне гулять пошёл: в газете Сашкины стихи забраковали, сказали — слабые. Я эту газетку, если и на глаза когда попадётся, не читаю, а тогда, помню, от корки до корки смотреть начал. Супружница сразу это дело приметилла, говорит мне: «Надо же, какой ты, Вася, у меня стал молодец! Этак ты скоро и книжки читать начнёшь». Да толку-то, что смотрел я эти газетки, ведь не было там стихов... Жалко им было хотя бы один стишок тиснуть, что ли... Это же районная, а не центральная газета, не «Известия» какие-нибудь. А мне хотелось стихи именно прочитать — на слух я только про движок могу сказать, карбюратор в ём подрегулировать надо или поршня поменять, или просто выбросить. Конечно, проще было бы попросить у Сашки тетрадь со стихами, но эту тетрадь, я знаю, он никому не показывал, даже от супружницы своей прятал. Хотя, если уж честно говорить, моё мнение такое: поэзия — штука совсем не нужная.

— Василий Петрович!.. — только и смог я воскликнуть.

Лицо моего собеседника снова покривилось, он нахохлился и сделался похожим на иззябшего воробья, залетевшего с улицы в освещённую и тёплую комнату.

— Что с этой поэзии толку-то, скажите, пожалуйста? Вот, — он взял со стола ломтик сала и показал мне, — к примеру, обыкновенное сало... Его можно съесть и лечь спать не с пустым брюхом. — Он схватил сало крепкими зубами и начал разжёвывать его с такой быстротой, что борода чёрной челночной мочалкой задёргалась вверх-вниз. Звучно сглотнул, посмотрел на меня хитро и вызывающе. — А прочитаю я стишок — и что? Где его теперь искать?

Он незряче вытянул руку и пошевелил пальцами, изображая попытку нащупать то, что чувствовал только он, но не дано было видеть мне. Затем, вздрагивая волосатыми ноздрями своего длинного шишковатого носа, чутко обнюхал вокруг себя воздух, — настолько, как самая настоящая собака, правдоподобно и презабавно, что я, наблюдая его импровизированную пантомиму, невольно рассмеялся.

— Вам, я гляжу, смешно, а в жизни, если здраво рассуждать, стихи не кормят, денег в кармане не прибавляют. Как это говорится-то... суета сует, во! Да я и сам, если захочу, из баловства стишок придумать смогу, делов-то! Сейчас... (Он задумался.) Ага, вот уже и придумал! Как утро, значит, начинается... Слушайте.

*Ночь густо изгадила небо
портяночной мозглостью туч;
вдруг вижу: людям на потребу
с горы прётся солнечный луч.*

— Да вы, Василий Петрович, поэт! — сказал я серьёзно. — Скажите, Александр тоже сочиняет нечто подобное? Кстати, вы почему-то не говорите, где он сейчас, чем занимается.

При моих словах с Петровичем произошла разительная перемена: его глаза потухли, стали колючими, неприятно жёсткими, он напоминал уже не воробья, а старого ворона.

— Если бы не поэзия, Сашка до сих пор был бы жив... Будь моя власть, я бы эту чёртову поэзию вообще запретил, — его голос звучал глухо, надтреснуто, словно включили заигранную грамофонную пластинку. — А сочинял он, я вам скажу, так, что куда там до него не то что всяким другим, а и многим некоторым... Боже мой... — произнёс он вдруг шёпотом, и некоторое время просидел молча. — Боже мой, а ведь я только сейчас, будто мне по голове чем-то тяжёлым ударили, сообразил, что неспроста мне сегодня с самого утра Сашка вспоминается! Ведь это он помянуть просит.

С этими словами Петрович наполнил стаканчик самогоном.

Я поспешил налить в свой минералку.

Помянули, помолчали. Задумавшись, мой собеседник перебирал пальцами пустой стаканчик, казалось, он позабыл обо мне. Я уже и не надеялся на продолжение разговора, когда Петрович снова заговорил:

— Как случилась вся эта история с газетой, Сашка пить начал. Сначала потихоньку, а потом — будто с цепи сорвался... Интересную штуку я заметил: интеллигент выпьет — и начинает куролесить: вместо того чтобы, как все люди, посидеть, поговорить о работе, о бабах или песню спеть, в разговоры про политику ударяется или критикует всех подряд. Или начинает о себе говорить, какой он весь из себя непризнанный умник... Простой человек пропьанствует недели две-три, встряхнётся — и снова живёт, работает, а интеллигентный, если уж запил, то остановиться не может. Через год от его интеллигентности мало что остаётся, а ещё через год с него вся эта культура слезит без остатка, как змеиная кожа. Пить, короче говоря, не умеют, а скорее всего, водка интеллигентных не любит — не для них придумана. Вот и Сашку, как запил, скоро было уже не узнать... *(Стаканчик в его руке начал потрескивать.)* Не то чтобы опустился он, а как-то потерялся, что ли... На гулянках в разговоры не ввязывался, просто пил и молчал, будто и нет его. К зиме в одиночку пить начал. Встретишь его на улице и думаешь: в деревне никакого праздника нету, все вокруг вроде бы трезвые, а Сашка уже едва на ногах стоит. Говорил ему, мол, что же это ты делаешь. Так он уставится на мою шапку или ещё куда-нибудь и молчит, качается... А потом Сашка тетрадь со стихами в печку бросил... *(Петрович смял в кулаке запищавший пластиком стаканчик.)* Супружница его успела тетрадь из топки вытащить. Тетрадь была толстая, сразу не вспыхнула, но только по краям обгорела. Так Сашка дождался, когда супружница в магазин уйдёт, и тетрадь эту дожёт... Хватит говорить, пора спать, — оборвал он себя и, взглянув на часы, выбрался из-за стола.

— Что же произошло с Александром? — поинтересовался я.

Петрович, разбирая свою постель, нехотя, словно по принуждению, ответил:

— В прошлом году замёрз на улице в ночь на второе января.

Улёгшись, он, наверное, решил не ждать моего вопроса, прибавил:

— Мужики, как рассвело, поехали в соседнюю деревню Новый год праздновать. Возле самой околицы на Сашку и наткнулись.

Взволнованный рассказом, я долго ворочался с боку на бок, стараясь заснуть. Поняв всю безуспешность своих попыток, подумал, как оказалось, вслух:

— Страшная история! Самое страшное — невыдуманная.

— Мгм... — вдруг отозвался Петрович сонным голосом.

— Жаль, конечно, Александра... И как жалко, что не догадалась его супруга спрятать стихи, — наконец-то высказал я мучившие меня мысли. — Кто она, кстати, чем занимается?

— Да замуж вышла... чем же ещё бабе в деревне заниматься... Год после Сашки прошёл, она и вышла... — совсем уже засыпая, невнятно пробормотал Петрович. — Её новый мужик тоже — Сашка, но стихи не сочиняет.

Петька-амбал

I

...Тамбур кинотеатра, или, как его образно называют в посёлке, «предбанник», набит подростками. Поминутно открывается уличная дверь, клубы удушливого табачного дыма, перемешиваясь с врывающимся морозным паром, взвихриваются к высокому потолку, — входят приятели, знакомые и остальные прочие, знаемые в лицо или по именам; а других здесь и не бывает. Обмен приветствиями и рукопожатиями происходит солидно, серьёзно, как у взрослых. Возня за место на двух чуть тёплых батареях отопления, на которых сидят те, кто постарше и «поавторитетнее», не утихает.

Величественно входит Амбал и останавливается в центре тамбура. Шум обрывается. Амбал свысока (на голову выше всех) осматривает пацанов узкими нагловатыми рыже-зелёными глазами, с немногими здоровается за руку, остальным кивает так, что непонятно, не то поздоровался, не то головой, украшенной крупными кольцами подпалённых солнцем осенних кудрей, просто так качнул.

Сидящие на батареях поспешно освобождают Амбалу место, приглашают присесть, но он не торопится присоединиться к общей массе, медленно, чуть в нос, выговаривая слова, роняет без вопросительной интонации:

— У кого закурить есть.

Сейчас же со всех сторон к нему протягиваются руки с папиросными и сигаретными пачками.

— Возьми мои!

— Нет, мои!

— Мои папиросы покрепче будут!.. — наперебой раздаются голоса. Выдержав паузу, Амбал снова роняет:

— У кого с фильтром.

Остаётся две руки с пачками сигарет «Лайка» и «Столичные». Амбал выбирает «Столичные», вытягивает сигарету, поднимает на угостившего его паренька взгляд, смотрит долго, немигающе, без интереса, как на пятно на стене. В тамбуре воцаряется тишина: все ожидают, что сейчас будет.

Двенадцатилетний паренёк смущён всеобщим вниманием, его рука с зажатой пачкой сигарет начинает заметно подрагивать. Амбал говорит усмешливо:

— Ты, пацан, чо-то рано курить начал. Мамка знает? Если не знает, я ей скажу, она ремнём тебя отлупит — смотри!

Забирает пачку, невозмутимо кладёт себе в карман. Тамбур немедля взрывается хохотом и вскриками:

— Ну, Амбал! Ну и сказанул!

— Мамке, говорит, скажу! Ха-ха-ха!

Паренёк, счастливый — как же, все обратили на него внимание! — и не думает обижаться: открыв рот, смотрит на Амбала едва ли не с телячьим обожанием.

Смех постепенно стихает. Словно вдруг прозрев, все замечают, что Амбал стоит с незажжённой сигаретой во рту. Полутёмный тамбур сейчас же озаряется частыми подрагивающими спичечными сполохами. Амбал медленно, сознавая торжественность момента, вынимает из кармана меховой куртки-москвички сверкнувшую никелем зажигалку и с небрежной щеголеватостью подкуривает сигарету.

— Гля, ребя, какая у него зажигалка козырная... — шепчутся вокруг.

Амбал выпускает несколько дымных колец подряд, все восторженно ахают. Раздаётся первый звонок и — эхом — призывный возглас старенькой контролёрки: «Заходите! Да заходите же!» Но Амбал невозмутимо курит.

Второй звонок, он же и последний. Амбал бросает на пол докуренную сигарету, лениво произносит:

— Пошли, пацаны, позырим, чо ли, на картину...

И все срываются с места.

II

...Август. Вечер. Задворки кинотеатра. Четверо мальчишек откупорили бутылку «Старорусской» и стоят, переминаются: стакана, или другой какой посуды, нет, а пить из горлышка водку, да ещё теплую и без закуски, — противно. Очкарик Генка предлагает приятелю:

— Ну чо, Мишка, давай, пей!

— Не, я потом! — торопливо отказывается тот.

Третий мальчишка, вздохнув раз-другой, берёт бутылку и, заранее сморщившись, подносит её ко рту. В это время со стороны кинотеатра слышатся шаги, среди густо разросшихся кустов акации мелькает еле различимая фигура.

— Кого ещё там чёрт несёт? — хмурится Генка.

— Тише ты! — обрывает его Мишка. — Ослеп, чо ли, четырёхглазый? Это же Амбал!

Фигура выходит из-за кустов (это действительно Амбал, причём изрядно «подда-тый»), оглядывается. Заметив около кочегарки компанию, направляется к ней.

— Чо, пацаны, тут собрались, о чём таком базарите? — подойдя, говорит он хриплым голосом, ни к кому не обращаясь, и вдруг замечает бутылку. — Чо вы на неё оставились? Дайте-ка её сюда!

Мальчишка безропотно повинуется. Амбал забирает её, взбалтывает, выдыхает: «У-ух...» — и делает несколько громких глотков. Сплёвывает под ноги, суёт едва ли не ополовиненную бутылку Мишке и уходит в переулочек.

— Силён Амбал, водку всё равно как воду хлещет! — говорит четвёртый мальчишка восхищённо и утирает губы ладонью, словно сам выпил.

— Понял, как надо? — обращается Мишка к третьему собутыльнику. — Давай, пей, не тяни резину, а то ещё кто-нибудь подвалит, так и на доньшке не оставят!

Третий мальчишка передаёт бутылку четвёртому со словами:

— Лучше ты.

— А чо так? — интересуется тот.

— Да меня вдруг замутило... к лешему водку эту, выпьешь всего ничего, а потом блюёшь так, что кишки наизнанку выворачиваются... Пейте сами, я не буду.

Четвёртый мальчишка принимает бутылку, но пить не решается.

— Да ну вас всех к чёрту! — злится Генка и отбирает бутылку. — До утра здесь с вами торчать, чо ли?

Из переулочка приближаются тяжёлые шаги.

— Дождались... — бурчит Генка, совсем уже решившийся выпить. — Опять кто-то сюда тащится!

Появляется Амбал. Его бросает из стороны в сторону по замысловатой синусоиде, но он каким-то чудом умудряется держаться на кривоватых, широко расставленных ногах. Подходит вплотную и, промычав: «Чо... кто... кто т-такие», раскачивается, склоняя на грудь разломаченную кудрявую голову. Мальчишки трусливо молчат: пьяный, Амбал становится непредсказуемым.

— К-кто т-такие?! — вскидывает Амбал голову, одновременно разворачиваясь для удара. Мальчишки шарахаются в стороны, но вдруг уже занесённый было кулак Амбала опускается. Левою рукою он выдёргивает у Генки бутылку и, ухватив её за горлышко, словно гранату, уходит за кусты акации.

— Выпили, называется, из-за этого мародёра... Вот уж, действительно, по усам текло, а в рот не попало, — негромко бормочет Генка вслед Амбалу. Обернувшись к приятелям, спрашивает: — Кто из вас, растяпы вы этикие, хочет испытать чувство опьянения? Я знаю, где можно раздобыть недельной выдержки самогонку.

— Хватит тебе издеваться! — отвечает Мишка и обиженно отворачивается от него. — Будто ты не знаешь, денег уже нету.

Генка улыбается, оглядывает понурюю компанию:

— Чо вы на меня оставились? Пошли по домам, алкаши несчастные!

III

...Дом культуры. Новомодная дискотека. В распахнутых дверях фойе две женщины у каждого входящего спрашивают билет, «своих» — пропускают. Мужчина с красной повязкой на рукаве посиживает рядом с ними на стуле, временами украдкой позёвывая в кулак — на дискотеке всё чинно, благородно, скучно. На балконе ярко освещённого фойе самодельный ВИА исполняет затёртый шлягер «Прощай» в собственной аранжировке — чёрт те что, но громко. Молодёжь, выстроившись вдоль стен, смотрит, как несколько отважных парней и девчат, уже студентов, познавших «прелести» городской жизни, изображают подобие пляски святого Витта. Желаящих последовать их примеру не находится, молодёжь стеснительно переглядывается, ухмыляется — и только.

В дверях появляется разряженный по последней поселковой моде Амбал: широкие, в белую и зелёную полоску брюки клёш, концы чёрной, расписанной мелкими красными розочками рубашки завязаны узлом на животе, рукава закатаны до локтей. На могучей шее на стальной цепочке висит кулон — отлитый из свинца череп размером и толщиной со спичечную коробку. Развалистой «морской» походкой, широко загребая расставленными, согнутыми в локтях руками, он по живому коридору — перед ним все расступаются — направляется к танцующим студентам. Вклинившись между ними, потряхивая, словно норовистый колхозный конь, разросшейся шапкой кудрей, он пытается повторить немислимые «па» студентов, но у него выходит лишь медвежье топтание на месте и бестолковое размахивание поднятыми вверх руками. Оно и немудрено, изящному искусству хореографии Амбал никогда не обучался, к слову сказать, и неизящными науками открыто пренебрегал.

Среди девушек раздаются смешки и уничижительные, пропитанные смертельным метафоричным женским ядом, реплики. Амбал багровеет и начинает толкать парней, танцующих рядом с ним, плечами.

— Осторожнее, пожалуйста, — оборачивается к нему один из них, интеллигентного вида.

Амбал берёт его за грудки, без натуги приподнимает — рубашка на парне разлезается по всем швам — и радостно спрашивает:

— Недоволен, чо ли, глист паршивый? Ну, так щас выйдем, поговорим!

Девичий визг заглушает разудало исполняемый ВИА припев уже другого заезженного шлягера: «Ах, любовь, ты, любовь, золотая лестница!..» От дверей бегут сразу обе контролёрши и, взяв Амбала за руки, выводят из зала. Он, и не думая сопротивляться, идёт всё той же неспешной развалкой, громко говоря контролёрше справа:

— И как тебе, тётъ Маш, не стыдно меня при всём народе позорить? Сама же видишь, что я сегодня никого ещё не тронул!

— Ишь ты какой! А рубаху парнишке я разорвала? И винищем от тебя, ирода, несёт так, что и не продохнуть! — резонно возражает тётя Маша, удерживая Амбала, а может, и держась за него — со стороны и не поймёшь, кто из них кого конвоирует.

IV

...Тот же Дом культуры. В самом начале дискотеки контролёрши ещё пытались спрашивать билеты и навести хоть какой-то порядок, но подвыпившая молодёжь на их требование предъявить билет или отвечала, что, мол, был, да потеряли, или прорывалась в двери с боем. Сейчас контролёрши одиноко стоят около гардероба, и на их лицах можно прочесть: «Да делайте что хотите!» Два софита беспорядочными красными и фиолетовыми вспышками прорезают тьму фойе; голос Адриано Челентано, до неузнаваемости искажённый захлёбывающимися на пределе своей мощности динамиками, мечется над толпой, прыгающей в дикарском танце. Разговаривать даже и в полный голос в этом звуковом аду невозможно, потому и приходится, не слыша собственных слов, кричать прямо в ухо и вслушиваться в ответный крик, пытаясь уловить хоть какой-то смысл в речевых

обрывках. Здесь для общения может быть употреблён лишь язык жестов; его не без успеха все и применяют, отчего прыгающая, орущая и жестикулирующая толпа кажется или скопищем глухонемых, или живым воплощением сюрреалистического бреда.

Пьяный Амбал прохаживается по фойе. Он уже не возвышается этаким одиноким дубом, как раньше: молодёжь успела подрасти, раздаться в плечах, а некоторая её часть — налиться молодецкой силой. Уже есть такие ребята, что ничем ему не уступают. Они не раздвигаются перед ним с прежней предупредительной готовностью, словно лодки перед пароходом, а просто дают ему пройти. И уже среди приезжих парней можно услышать вопрос «Кто это?» и ответ «Да Амбал! Он у местных вроде шишкаря».

Амбал не в духе, он выбирает, к кому придраться, и жертва найдена — это никому не известный паренёк, что стоит у входа в Дом культуры и с любопытством осматривается по сторонам. Его самого тоже исподтишка разглядывают, словно какую диковину: паренёк одет в мало кем виденные настоящие потёртые джинсы и чудную полувоенную рубашку, да ещё и курит не «Беломорканал», а сигарету из красивой пачки с иностранными буквами, одним словом, на его лбу так и читается: я — городской, а то и столичный гость.

«Кто такой? К кому приехал? А сюда он один пришёл?..» — перешёптываются взволнованные девушки.

Амбал, развеивая своими широкими клёшами, подходит к пареньку, спрашивает, откуда, мол, такой взялся, тот отвечает, что приехал в гости.

— Что-то мне морда твоя не нравится, — прямо сообщает неискушённый в дипломатии Амбал и предлагает пареньку отойти в сторону, поговорить.

Драка заканчивается быстро: оказавшийся шустрым, паренёк успеваешь вклепить неразворотливому Амбалу три оплеухи (не оказавшие, впрочем, никакого заметного воздействия) и пропускает прямой сокрушительный удар, отправивший его в глубокий нокаут. Амбал оставляет паренька лежать на траве и, торжествующий, идёт к Дому культуры. «Герой — этакого бугая вырубил!» — слышит он у себя за спиной, спотыкается от неожиданности и поворачивается всем корпусом, как волк, в сторону громкого, насмешливого голоса.

— Ведь он ниже тебя, боксёра хренового, на целую голову и легче чуть ли не в два раза, — улыбаясь углом рта, дерзко говорит ему парень, недавно приехавший в посёлок и до сих пор державшийся особняком.

Амбал тупо смотрит на него, затем на собравшуюся молодёжь, почуявшую запах небывалого скандала, улыбается такой же кривой улыбкой и говорит лениво:

— Ну, пошли, махнёмся, чо ли...

Драка заканчивается ещё быстрее, чем первая: парень, не тратя времени на обмен ударами, с ходу хлётко бьёт с левой руки и достаёт каблуком по челюсти — и ничего не успевший сообразить Амбал рушится навзничь. «Ничего себе...» — раздаётся из зрительского окружения. Амбал, с трудом приподнявшись, усаживается на траву и хватается за голову, размазывая по лицу кровь. Парень, в одночасье ставший знаменитостью, покидает поле битвы, сопровождаемый почтительной толпой недавних зрителей: свершилось неизбежное — король умер, да здравствует король!

V

...Лето. Берег реки. Компания молодёжи устроила пикник. На прибрежной гальке расстелена местная газетка, на которой кособоко стоит захватанный пальцами и как бы надкусанный нетерпеливыми зубами гранёный стакан. Вокруг него амфитеатром располагаются увядшие зелёные перья лука, толстые ломти ржаного хлеба, крупные звенья жаренной сельповской селёдки, тонкие пластики домашнего копчёного сала. В тени от мотоцикла «Восход» возвышается пирамидальная горка из бутылок портвейна «Агдам». Уже сорвана пробка с первой бутылки, уже нагревшееся вино шипит и лопается рубиновыми пузырьками... Из-за полуразрушенного речного портового склада появляется «под-

датый» Амбал. Завидев молодёжную компанию, он заворачивает в сторону, постаравшись придать своему неуклюжему маневру если не заранее обдуманную целеустремлённость, так хотя бы бездеятельную или же равнодушную ко всему рассеянность. Местные парни замолкают и смотрят Амбалу вслед, неместные поглядывают на немую сцену и тоже молчат. Но вот один из них не выдерживает и спрашивает:

— Кто это такой?

— Амбал, — отвечают неохотно местные парни.

Неместные не понимают, почему «амбал». Им разъясняют, что не так давно он «держал» весь посёлок, отсюда и кличка, и прибавляют, что сейчас за глаза его называют просто Петькой-амбалом. Неместные парни изумляются, некоторые из них, привстав, осматривают Амбала, одетого в затрапезную рубашку, заправленную в трико, обвисшее на заду и вытянутое «пузырями» на коленях, грузно двигающего в траве подошвами стоптанных кирзовых сапог с низко завернутыми голенищами и высоко, по-турецки, загнутыми носками, и возражают:

— Что вы по ушам ездите? Да он на бича похож!

— Видели бы вы его лет этак пять назад! — не сдаются местные.

— А сейчас он что из себя представляет?

— Можно сказать, ничего и не представляет: работает, где придётся, чтобы не посадили за тунеядство, да спивается потихоньку. На физической силе держится да на фокусах: может сразу две бутылки водки выпить, причём без всякой закуски, и на своих ногах домой уйти, а ещё он папиросу в три затяжки выкуривает.

— Действительно, «амбал», — соглашаются неместные. — А от нас почему шархнулся?

— Так он же вас не знает! Он пару раз сдуру подваливал к неместным — как обычно, карманы у них потрясти, да и нарывался не то на боксёров, не то на каратистов, их сейчас по городам много развелось! Они с виду все вроде бы и хлюпики, да вместо того чтобы дать ему денег на водку, давали ему «оторваться» так, что он едва ноги уносил. Вот он и побаивается переть нахрапом, понимает, что на одной силе далеко не уедешь.

Стакан пробегает по кругу, без задержки переходит на второй и прогуливается с остановками по третьему. Случайно начавшийся разговор о превратностях никому неведомой судьбы сменяет беззаботное, а затем и шумливое пикниковое бездумье.

VI

...Весна. Поселковая улица. Около коммерческого магазина стоят два изрядно побитых жизнью субъекта. Курят, изредка перебрасываются вялыми, отрывочными фразами. Субъекты были бы самыми обыкновенными, если бы не являли собой живую иллюстрацию к известному чеховскому рассказу: первый (его лица не видно) — высокий, грузный, из-под вязаной шапочки на воротник линиялой зимней куртки выбиваются седые кудри; второй — без шапки, в одной лишь майке под распахнутым камуфляжным бушлатом, выглядит малорослым и худым, а может, просто кажется таким рядом со своим напарником.

Дверь магазина распахивается; на высокое, залитое полуденным солнцем крыльцо вышагивает субтильный юноша лет двадцати в чёрной бейсболке, светлой лёгкой курточке, бесформенно свисающей с узких плеч и пакетом покупок в руке.

— Петька, — произносит он, обращаясь неизвестно к кому, и прищуривает наглые блёклые глаза на припаркованную вплотную к крыльцу иномарку. Полубоившись на чудо японского автопрома, не вчера отпраздновавшее своё совершеннолетие, юноша вынимает брелок и, уткнув его чуть ли не в самую дверцу, нажимает кнопку. «Чудо», словно бы спросонья, всхлипывает и издаёт громкий, схожий с неприличным, баритональный звук. Этот звук оказывает на высокого субъекта воздействие, без преувеличения, магнетическое: он передёргивается всем своим большим телом и даже как будто становится меньше ростом, словно из него выпустили весь воздух. Рывком обернувшись (это Амбал,

вот так встреча!), бросает в лужу папиросный окурок и опрометью бросается к крыльцу. Остановившись в отдалении, он торопливо сдёргивает с головы шапочку, хрипит:

— Звали? Так вот он я, уже и тут... — и, пытаясь улыбнуться, сморщивает редкими рельефными складками опухшее лицо.

Юноша осматривает лобовое стекло иномарки и говорит ему:

— Я чо, должен тебе по два раза кричать? Ты, Петька, совсем уже обнаглел!

Амбал покаянно склоняет голову и бубнит:

— Так я, это... заговорился вот с корешем...

Юноша осматривает длинную и глубокую царапину на капоте, осторожно трогает её пальцем, прихмуривая при этом занятии свои тонкие, словно выщипанные, брови.

— О чём ты, чучело моргучее, вообще можешь говорить?

Амбал шумно вздыхает и переминается с ноги на ногу. Юноша осматривает заляпанный грязью бампер, говорит поучительно:

— Когда я спрашиваю, надо отвечать.

Амбал делает полшага назад.

— Да мы... мы так, о своём базарили...

Юноша фыркает и говорит, обращаясь к решётке радиатора:

— Какой крутой! Надо же, «базарит» он!

Амбал делает шаг назад и натягивает на голову шапочку.

— Короче, слушай сюда, крутой! Забираешь своего чмаря и вдвоём чистите двор. Адрес знаешь. И чтобы ни соринки! Ты понял или тебе ещё раз объяснить?

Амбал стаскивает с головы шапочку, кивает и снова пытается улыбнуться.

— Когда закончите, Лидка пузырь самогонки и пожрать чо-нибудь вынесет.

Договорив, юноша протягивает руку к дверце иномарки. Амбал весь подаётся вперёд, торопливо выдыхает:

— Так это... нам бы...

Юноша впервые за весь разговор взглядывает на него:

— Ну?

— Так это... похмелиться бы! — стонуше выхрипывает Амбал и прижимает кулак с зажатой в ней шапочкой к груди.

Юноша вынимает из пакета бутылку пива и бросает в его сторону. Амбал с вратарской ловкостью хватается её на лету и начинает пятиться назад. Юноша давится коротким смешком, вынимает вторую бутылку и быстро бросает, но уже в другую сторону. Амбал ловит и её.

— Да ты, Петька, совсем как Третьяк, только клюшки не хватает! — хохочет юноша.

Амбал тоже улыбается, ладонью срывает с горлышка бутылки пробку и начинает громко глотать, давясь пеной и блаженно прикрыв глаза. Иномарка, оставляя за собой удушливый шлейф, отъезжает. Амбал отбрасывает к забору опорожнённую бутылку, трубно отрыгивает, протягивает вторую бутылку напарнику, говорит:

— Подфартило нам, Сашок, клёвый калым подвернулся! Похмеляйся по-быстрому и пойдём, пока его другие не перехватили.

...Каждый раз, когда я встречаю Петьку-амбала, то вспоминаю когда-то услышанное или прочитанное где-то изречение: «Горе глиняному горшку, когда на него падает камень; горе ему и тогда, когда он падает на камень».

Вспоминаю — и испытываю к Петьке-Петру и острую жалость, и непонятную — за какие такие грехи? — вину.

ПОЭЗИЯ



ЮРИЙ РОЗОВСКИЙ



Среди ромашек русских и берёз...

Совесьть

Совесьть — такое слово.
Или такая участь?
Что заставляет снова
Душу сомненьем мучать,

И задавать вопросы,
С логикой часто ссорясь?
Может быть, это просто
Слабость людская — совесьть?

Или же сила это,
Сила, в которой правда,

Сила добра и света,
Сила прямого взгляда,

И не удара в спину,
И обращенья к вере.
Чтоб не наполовину
Верить, а в полной мере.

Что же такое совесьть?
Миф, что из сказок выжат?
Или спасенье, то есть
То, без чего не выжить.

РОЗОВСКИЙ Юрий Витальевич, поэт, родился в 1963 г. в пос. Чистоозёрное Новосибирской области. Автор поэтических сборников: *«Не опаздывайте жить»* (Иркутск, 2000), *«Совсем немного до рассвета»* (Иркутск, 2001), *«Медовый ветер»* (Иркутск, 2006), *«Царь-бобыль и волшебные грибы»* (Братск, 2009), *«С любовью»* (Иркутск, 2013), *«Забавные истории»* (Братск, 2014), *«Стихи на балконе»* (Братск, 2017). Лауреат Всероссийской православной литературной премии имени святого и благоверного князя Александра Невского в номинации «Поэзия» «За верность русской поэтической школе» (2015), серебряный лауреат премии «Золотое перо Руси» (2012) и др. Член Союза писателей России. Живёт в Братске.

Я русский по праву

Я русский и всю жизнь живу в России,
Среди ромашек русских и берёз.
Средь русских трав, что под росой скосили
Среди веселья русского и слёз.

Я русский и всю жизнь в Россию верю,
И в Бога верую, что Русь мою спасёт,

Застолью русскому и русскому похмелью.
Я свято верю в русское во всё.

Я русский, и язык мне мой по нраву,
Он мне милее прочих языков.

Я русский по рождению, по праву,
По месту написания стихов.

Парк у вокзала

Парк у вокзала — место для свиданий
В любом провинциальном городке,
Стоял у окон зала ожиданий
Метатель с диском в гипсовой руке.

Пружину дверь входная отрывала,
Работая со скрипом, на излом.

Неподалёку девушка стояла
В купальнике и с гипсовым веслом.

Давно тех статуй нет, исчезли все,
Уж не встречают каждый эшелон.
Но память их как символы рисует
Советских пригнобленных времён.

Я так люблю свой дом

Я так люблю свой дом, с цветами у балкона,
Где ветер тянет тюль в распахнутый проём.
С божницей у окна, где каждая икона
О Боге говорит и слушает о Нём.

Я так люблю свой дом с картинами по стенам,
Которые мой друг когда-то написал.
Люблю диван в углу и в возрасте почтенном
Люблю гостей, на нём сидящих, голоса.

Я так люблю уют, наполненный любовью,
Где звук твоих шагов пока ещё не стих.
Где смотрят на меня то радостно, то с болью
Уставшие глаза родителей моих.

Я здесь порой люблю побыть с самим собою,
С собой поговорить об этом и о том.
Люблю, когда стихи весёлою гурьбою,
А то по одному ко мне приходят в дом.

Люблю, что тополя шумят со мною рядом,
Что с ними двор один уж много лет делю.
И тополиный пух люблю, летящий на дом.
Я так люблю свой дом, я так его люблю!

Танец с осенью

Дворник осень подмёл с тротуара,
Сгрудил, чтобы поджечь в стороне.
Вдруг с балкона открытого пара
Жёлтых листьев влетела ко мне.

Вдруг влетела и на пол упала
На линолеум в зале, без сил.
Мне бы вымести листья из зала,
Я же даже балкон не прикрыл.

Я сидел и на них любовался.
Дворник шаркал метлой во дворе.

Вдруг один из листьев приподнялся
И тайком на меня посмотрел.

Что во мне он увидел, не знаю.
Как об этом поведал своим?
Но гляжу: а с балкона влетают
В зал мой листья, один за одним.

Вот их пять, вот уже целых восемь,
Ветер листья как в вальсе вскружил.
Я решился, взял за руку осень
И на танец её пригласил.

Осенний ресторанчик

Мне как-то веселее стало, что ли.
Пенёк с декором высохшей коры,
Как будто бы заказанный мной столик,
Осенний ветер листьями накрыл.

Опята, словно свежие салфетки.
Дресс-код проводит сгорбленный канюк*.
А на краю пенька кусок газетки
Улёгся предлагаемым меню.

Меня здесь ждут всегда и рады очень.
Осиновые листья вместо роз
Я подарю тебе. И если хочешь,
Я попрошу, чтоб спел нам песню дрозд.

Официанты — белочка в манишке
И шустрый полосатый бурундук —
Предложат нам с тобой грибы и шишки
И прочую осеннюю еду.

И принесут нам ягоды с тобою,
И много ещё разного всего.
Я расплачусь листвою золотою
Мне для тебя не жалко ничего.

Пусть тёплый воздух осени обманчив,
Но мы с тобой сюда пришли не зря.
И не забудем этот ресторанчик —
Осенний ресторанчик сентября.

На покосе

Солнце лба ещё не греет.
Росы в отблесках зари.
Утро, роща, а за нею
Точат косы косари.

Точат, жала отбивают.
Глазу их труды любви.
А иначе не бывает
И сноровистой косьбы.

Дело сделано, ложится
В руку длинное косьё*.
Шаг в росу, — и вверх взойт
Звонкой стаей комарьё.

Пара штук в лицо вопьётся,
Заворчит в сердцах мужик.
И косою размахнётся,
Да как даст с оттяжкой «вж-ж-ик»!

Слева «вж-ж-ик» и тут же справа.
Сзади, эхом средь берёз,
Дружно вжикает дубрава —
Начинается покос

И тогда пьянящий, тонкий,
Разнесут вокруг ветра
Запах, срезанных литовкой,
Только что стоявших трав.

*Канюк — хищная птица.

*Косьё — рукоять косы.

Буря

Везли людей таксомоторы, В осенних куртках и пальто. Сливался в щёлканье затворов Звук открываемых зонтов.	И ветром зонтики ломало, На них свою срывая злость. Оно пронзительно свистело, И даже показалось мне, Что это демон Азazelло Верхом на угольном коне.
И с крыш плевались водостоки На выходящих из машин. В дождя потоках шли потоки Осенних женщин и мужчин.	Промчался вкупе с малой свитой, Желаньем Воланда гоним, Что это Мастер с Маргаритой Неслись во весь опор за ним.
А небо словно полыхало, Гремя, рассерженно тряслось,	

Зеркало прошлого

О прожитом память, как зеркало прошлого.
Меняются лица глядящих в него.
Меняются лица, но столько похожего
В них можно найти на себя самого!

А в зеркале этом и время меняется,
И даже идёт не вперёд, а назад.
Всё чаще в него поглядеть собираются,
Очки поправляя на мокрых глазах,

Прожившие жизнь старики со старушками,
Надеясь увидеть сквозь слёзную соль
Ушедшую молодость, танцы с частушками
И сладость, и горечь, и радость, и боль.

— А помните, девоньки, шестидесятые?
Гагарин, Кобзон, Евтушенко, Фидель!
— А в юности в шахматы, помню, ребята, я!...
Меня приглашали экспертом в ФИДЭ.

И слёзы и смех, правда с вымыслом смешаны.
И грусть об ушедших нелёгких деньках.
— Да, Колька мой пил, а по пьянке был бешеный...
Лупил... но, проспавшись, носил на руках.

— Эх! С Зойкою мы до последней минуточки
Так жили, ребята! Другим не чета.
Другим не чета. Только нынче я туточки,
А Зойка моя лет уж десять как там.

Надюшенька, Толенька, Таюшка, Славочка —
Звучит, то тихонько, то чуть не навзрыд.
И грунт под ногами сидящих на лавочках
Их обувью старой истоптан и взрыт.

И гладила жизнь их, и судьбы коверкала,
Неласковой чаще была, но они
Всё чаще и чаще глядят в это зеркало,
Всё пристальней, чтоб не остаться одним.

Проводы зимы

Крыша вздыбилась вздохом весенним,
Одеяло из снега задрал.
Март. Прощёное, всех, воскресенье
Извинить его просит с утра.

Всё сегодня прощается, даже
Не прощённому раньше врагу.
И блины испечённые мажут
Люди маслом и чучело жгут.

Столб ошкуренный парни штурмуют,
Смех и крик заглушают слова:
— Эй! Рябую снимайте, рябую!
— Самовар забирай! Самовар!

Клетку с курицей ветром колышет,
Самовар на верёвке повис.
Сделал вид, что насмешек не слышит
Неудачник, сползающий вниз.

Тут поют, там танцуют вприсядку,
Забывая про всё впопыхах.
Мужичок разухабил трёхрядку
Так, что чуть не порвались меха.

Ребятня, как в снегу облепиха,
Угродилась у горки гурьбой
И снежками кидается лихо,
И хохочет сама над собой.

Что ж такому веселью виною?
В чём причина такой кутерьмы?
Это новая встреча с весною,
Это проводы русской зимы.



ИВАН КОМЛЕВ



Рядовой Иван Ященко

ПОВЕСТЬ

(Начало в «Сибири» № 3 за 2015 г.)

Часть 2

Проснулся Иван одновременно с Николаем, «богатырей» рядом уже не было. Надо начинать как-то новую жизнь, зимой в лесу. В поле, летом на сенокосе, Ивану приходилось жить неделями, ночевать в шалаше, пищу готовили, как правило, на всю бригаду бабы. Если косили не для колхозных животных, а для своей скотины, то всё равно было кому варить: иногда кашеварила мать, а чаще — сёстры. А как тут?

Из котомки, собранной ему Устиньей Фёдоровной, Иван извлёк мешочек с крупой, дроблёной пшеницей, обнаружил в свёртке половинку тушки курицы. Это его удивило. Пеструшка, на которую Устинья Фёдоровна ворчала, что она не несёт яиц, ещё за день до прихода партизан бегала по двору. Зарубила хозяйка её, будто знала, что придётся снаряжать Ивана в дорогу. Котелок, алюминиевую кружку и деревянную ложку не забыла положить. Котелок медный, солдатский, очевидно, сыновний, не пожалела — это отозвалось болью в душе Ивана, будто он виноват в том, что сын Устиньи Фёдоровны умер от ран.

— Водица вон там, в ручье, — показал Ивану направление Николай, заметив, что товарищ в некотором раздумье. — А то давай в наш колхоз, мы тут в большом котле вместе варим, по очереди.

КОМЛЕВ Иван (Иванов Виктор Павлович), прозаик, публицист (род. в 1940 г. в г. Омске). Автор книг: «Ковыль»: повести и рассказы (Иркутск, 1990); «Лепёшка»: рассказ (книжка-миниатюра) (Иркутск, 1992); «У порога»: повести и рассказы (Иркутск, 1994); «Когда падает вертолёт»: повести и рассказы (Иркутск, 2001); «На рубеже»: публ. статьи (Иркутск, 2008); публикаций в коллект. сб. и журналах. Заслуженный геодезист РФ. Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.

— Хорошо, пойду умоюсь.

— Ведро захвати, заодно воды принесёшь.

По тропинке шагов полста, спустился к воде, умылся, набрал воды в ведро, пошёл обратно и, не дойдя до костра метров двадцать, уловил запах конского навоза. Поставил ведро, пошёл на запах и увидел за деревьями вытоптаный пяточок земли, огороженный жердями, и трёх лошадей. Близ ограждения, с противоположной стороны, расположились две телеги и сани. Лошади насторожились при появлении незнакомого человека. Иван не стал подходить близко; на душе при виде животных стало теплее, словно друзей увидел — к лошадям он был равнодушен.

Дальше за оградкой разглядел землянку. Та самая, в которую накануне входили Тихон и Николай, тогда из-за темноты Иван её толком не увидел. Двери нет, вход завешен плащ-палаткой. «Ага, вот они как тут устроились!»

Едва успели позавтракать, два «богатыря», Кузьма и Виктор, явились откуда-то к котлу шумные и весёлые. Вскоре всех позвали в штаб, в ту самую землянку, что видел Иван, когда шёл с ведром. Командир был в ватнике, без шапки, он уже успел дать распоряжения сидевшим там партизанам, сразу обратился к Ивану:

— Мне доложили о тебе, Иван Яковлевич. Правильно я называю твоё имя?

Иван кивнул, потом спохватился, ответил:

— Точно.

— Меня звать Александр Захарович. Они вон, — кивнул в сторону Николая и ребят, — дядей Сашей меня кличут. Можно и так. Говорят, что ты несколько раз бежал из лагерей. А в плен как попал? Ранили?

— Нет. наших часовых и командиров ночью убрали, а нас утром построили под немецкие автоматы.

— А бежал как?

— Первый раз мы подкоп сделали, но догнали нас, с собаками. Второй раз, уже из другого лагеря, мы с товарищем в кузов машины забрались и выехали за ворота. И до леса доехали. Несколько дней шли, а потом нас старик, у которого попросили хлеба, полицаям сдал. Ну, а здесь Маруся меня от немцев увела.

— Так. Понятно. Здоровье поправил? По доброй воле к нам идёшь, или Тихон тебя заставил?

— Почему заставил? Он спросил, я согласен, что ж я буду отсиживаться в тёплой хате, когда немцы тут хозяйничают?

— Это верно: помогать надо нашей армии. Оружия для тебя у нас пока нет, помогай лагерь устраивать. Землянки нужны, дрова. Николай знает, покажет, — посмотрел ещё раз внимательно на Ивана, сказал, обращаясь уже ко всем: — Ступайте. Коля, задержись на минутку.

Иван вышел последним, сразу за плащ-палаткой остановился, ожидая Николая, и услышал, как Александр Захарович сказал ему, понизив голос:

— Присматривай за ним.

— Хорошо, — тоже негромко отозвался Николай.

Иван поспешно отошёл от землянки. «Не верят моим объяснениям, как я в плен попал и как вырвался на волю. Ну да ладно, я бы тоже сомневался на их месте: в плен — без боя, бежал аж два раза, а немцы за это не расстреляли, и даже ноги не выдернули...»

Александр Захарович вышел из землянки, на голове кепка — колхозный бригадир в своём ватнике, если бы на ремне не было пистолетной кобуры. Иван решил подойти к нему:

— Товарищ командир, разрешите обратиться?

— Обращайся.

— Нельзя нам организовать нападение на охрану лагеря, где я был? Умирают пленные, мучаются.

Александр Захарович вздохнул:

— Поздно, Иван Яковлевич. Ликвидировали лагерь.

— Как ликвидировали?!

— Построили в колонну и отвели на станцию железной дороги. Тех, кто мог идти, а кто не мог... — командир опять огорчённо вздохнул. — У нас тогда отряда ещё не было почти — ни людей, ни оружия.

— Товарищ у меня там... — пробормотал Иван, хотя знать он не мог, там ли теперь Семён.

Через несколько минут командир, Тихон и неизвестный по имени Ивану партизан, ведя в поводу лошадей, возглавили группу из восьми вооружённых человек и удалились по тропе.

Николай достал из-под неприметного укрытия пилу и топор.

— Сперва пойдём парочку сушин свалим, тут недалёко, на болотце.

Засохшие листовницы не слишком толстые, но спилить их было непросто: прочные, словно каменные, топор звенел, когда Николай подрубал дерево с одной стороны, и пила не сразу вгрызлась в ствол. Но спилили две листовницы, обрубили сучки и разделали каждый ствол на три части. Взяли по бревну на плечо и понесли к лагерю. Сходили ещё два раза и возле кострища распилили брёвна на чурки.

— Пока хватит, — сказал Николай, — потом сосен напилим и наколем, чтобы дрова подсохли, а теперь обед.

Обед сготовил Илья, который отоспался после ночного дежурства на тропе и теперь заведовал костром и кашей.

Под навесом воздух прогрелся от огня, Николай повалился на хвойные ветки, погладил живот:

— Хороша кашка, да мала чашка, где моя милашка? Перекур четверть часа!

Иван прилёг рядом, Илья отправился к ручью с ведром. Николай заснул мгновенно, и проснулся, как и объявил, не позднее, чем через пятнадцать минут. Иван позавидовал такой способности товарища, сам он, конечно, не мог уснуть, думы его бродили от Маруси с дочкой до отца, матери и сестёр. Но отдохнул, и новый наряд — рытьё ямы под землянку — был ему не в тягость. Земля сверху покрылась мороженой коркой, но штыковая лопата пока ещё успешно пробивала эту броню. Мешали корни кустарников и деревьев, но тут приходил на выручку топор Николая.

— А вот те две землянки, что я видел, похоже, давно сделаны, — вспомнил Иван.

— Ну, — Николай вытер испарину со лба, — в прошлом году. Райком тогда распорядился, знали чего или догадывались, я не скажу. И продуктишек кое-каких схоронили в лесу, нынче по весне, да мало.

Он помолчал, морща нос, усмехнулся:

— Ты приметливый. Дядя Саша велел за тобой присматривать, а я тебе военные тайны выдаю. Смотри, не сдай меня.

Иван засмеялся:

— Что ж ты так? И где твоё ружьё, чтобы лазутчика караулить?

— Ружьё в надёжном месте, чтобы дождь не намочил. А ты мне нравишься: работать умеешь, за тобой не угонишься.

Так вот и сблизились Иван с Николаем в этот день, словно заговорщики.

А на следующий день Иван услышал, как неподалёку за густыми деревьями и кустами раздался стук молота по наковальне.

— Это что? — стоя по пояс в яме, спросил у Николая. — Никак кузня?

— О, познакомлю с Петром Остаповичем — знаменитый кузнец! Похоже, что он наковальню свою в лес приволок. Пошли, посмотрим.

В укромном месте, окружённом ольховыми деревьями, а сверху ещё и прикрытом ветвями вековых сосен, горел жаркий огонь. Возле наковальни, укреплённой на пеньке, невысокий кряжистый мужчина, лет пятидесяти, а то и старше, в одной исподней рубахе, щипцами, левой рукой, держал раскалённый стержень, а правой молотом плющил поковку. Увидел парней, придержал руку, посмотрел на них вопросительно. Николаю: кого, мол, привёл? Ивану: кто таков? И тут же кивнул ему:

— Постучи, — и передал молот.

Иван глянул на кузнеца с благодарностью, взял молот и стал бить, куда указывал маленький молоточек мастера.

— Что будет? — спросил Николай, когда Пётр Остапович сунул остывающую поковку в костёр.

— Так, — неохотно отозвался кузнец. — Проба. Угля нет, хочу посмотреть, хватит ли жара от дров, чтобы металл прогрелся? Пешню вам скую, чтобы было чем мёрзлую землю долбить. Зима лютая будет.

— Откуда знаешь, дядя Петя?

Кузнец только отмахнулся:

— Идите своё послушание делать, а то командир спросит, где народу в мороз спать ложиться.

«Не только для рытья землянок пешня нужна будет, — вдруг пришла невольной тревожной мысль Ивану, — могилки зимой тоже придётся копать».

Вечером у костра Иван ножом обрабатывал корешок от берёзки, которую им пришлось убрать на месте будущей землянки. Когда деревце было выкорчевано, Иван увидел, что часть корня напоминает человеческую фигурку. Он эту часть отрубил и теперь доводил творение природы до совершенства: получалась куколка размером с ладонь. Будет Ане, дочке, радость. Бабушка, Устинья Фёдоровна, сделала из тряпичных лоскутков куколку внучке, а вот названный папа подарит ей деревянную. Говорят, что такая кукла может служить оберегом ребёнку.

Николай с Ильёй с интересом следили за его работой.

— Ишь ты, — подивился Николай, — какая забавная штука получается: девочка — в магазине такой не купишь. Ловкие у тебя руки. Ещё чего умеешь?

«Посмотрели бы вы, что мой батька умеет», — мысленно ответил им Иван.

Отец его умел делать всё, что требуется крестьянину в хозяйстве: пахать и сеять; изготовить телегу, в которой всё сработано своими руками, от колёсной ступицы до плетёной кошевы; сшить конскую сбрую, загнуть дугу; собрать бочку для засолки огурцов и, что редко кому даётся в деревне, умел паять и лудить не хуже любого городского ремесленника. И много ещё чего удавалось отцу, что сразу и не вспомнишь.

Иван отвлёкся от поделки, помедлил, попросил:

— Подай топор.

Николай выдернул топор из чурбака, протянул Ивану. Иван, как сидел на пеньке, так и не вставая, с силой швырнул наотмашь топор, тот, кувыряясь в воздухе, пролетел десяток шагов и врубился в освещённый костром ствол сосны.

— Фюить! — присвистнул Илья. — Ты так можешь башку снести. Надо сказать дяде Саше, что тебе винтовка не нужна, с топором на фрица можешь ходить.

— С топором ещё при Александре Невском наши предки на врагов ходили, — вспомнил школьные уроки истории Иван.

Ночью выпал снег, утром прояснило, и ударил морозец. В ручье у берегов появился лёд, но в ямке, под уступчиком от падающей струи, ещё легко можно было зачерпнуть воду ведром. «А что будем делать потом, когда вода замёрзнет, ручей ведь промёрзнет до дна, — подумалось Ивану, — колодец надо рыть или как?» Но беспокойства не чувствовал, как если бы проблемы, которые есть и ещё будут в их лагерной жизни в лесу, уже заведомо несущественны, не главные, главное было в другом: где он возьмёт оружие и когда, наконец, посмотрит через прицел на врага?

Они заканчивали крыть землянку, когда услышали говор и топот приближающихся людей. Из-за деревьев показался отряд, который уходил на дело три дня назад. Впереди шёл Тихон, за ним верхом на лошади, наклоняясь от веток к самой гриве, ехал незнакомый Ивану партизан, бережно убирая забинтованную ногу от сучьев.

— О! — Николай увидел его. — Лёшка, однако, пулю словил.

Они подошли к раненому, помогли ему спуститься на землю. За Лёшкой гуськом втягивались на поляну остальные партизаны. Три лошади, запряжённые в две телеги и

в сани, привезли несколько оконных рам с целыми стёклами, снятую с петель чьего-то дома дверь, железную печь, палатку и ещё какие-то вещи. Под палаткой в саях оказалось несколько мешков картофеля.

А ещё Иван увидел, что народу прибавилось. Уходили восемь, а вернулось в два раза больше. Большинство из них были в шинелях, на головах, по-летнему, пилотки, вооружены.

Спросили Тихона:

— Кто такие?

— Александру Захаровичу сообщили, что неподалёку действует группа, которая выходила из окружения, да не вышла. Ну, мы их потихоньку окружили, взяли в плен, можно сказать. Проверили — наши солдатики, отошали.

— А ещё одна лошадь откуда?

— Оттуда, — хмыкнул Тихон, — все колхозные. Немцы в деревне берут, а мы у них позаимствовали.

Вечером в лагерь прибыл командир в сопровождении двух мужчин. Один, чернявый, интеллигентного вида, был в очках. Второй, зрелого возраста, внешне ничем не отличался от лесных братьев, разве что в его движениях угадывалась какая-то особая уверенность в себе, словно бы человек знает нечто, что другим неведомо.

— Интеллигенты нам зачем? — увидев вновь прибывших, пробурчал Николай.

Утром после завтрака, когда Иван с товарищами приступили к своим делам, Александр Захарович призвал партизан к своей палатке. Они построились в две неровные шеренги на пятачке, ждали, что скажет командир. Вид у него был несколько необычный, казалось, что он волнуется, хотя с чего бы? Казалось бы, ему не привыкать выступать перед народом. Рядом с ним стояли прибывшие вечером «интеллигенты».

Александр Захарович окинул взглядом своё войско, посмотрел на небо, поверх деревьев, — макушки деревьев клонились под напором ветра, а выше, гонимые ветром, сплошным потоком мчались серые холодные облака. И понизу, сквозь лесные заросли, тянуло стылým воздухом. Он склонил голову, несмотря на сквозняк, стащил зачем-то с головы свою кепку, взъерошил пятернёй волосы, вздохнул. Его волнение передалось партизанам: предстояло что-то необычное.

— Да, — сказал командир, — товарищи, вы помните, какой сегодня день?

По строю пробежал ропот.

— Я поздравляю вас с двадцать четвёртой годовщиной Октября!

— Ура! — отозвались партизаны — не очень громко и не очень дружно.

— У нас теперь есть радио — вот, знакомьтесь: начальник Василий Фёдорович. И ещё товарищ Гольдин Лев Владимирович, — Александр Захарович кивком головы указал на мужчину в очках, — второй секретарь райкома. Э-э, простите, был вторым, сейчас Лев Владимирович назначен моим заместителем. Как партийный, политический руководитель. Прошу любить и жаловать.

— Комиссар, что ли?

— Да, комиссар.

Командир помолчал, надел кепку, посмотрел назад — там, на входе в землянку, к утру появилась дверь вместо плащ-палатки, улыбнулся:

— Василий Фёдорович уже антенну натянул и настроил радио. И обещал, что мы сегодня услышим Москву.

«Неужели?!»

Василий Фёдорович вдруг, круто развернувшись, нырнул в землянку, из распахнутой двери донёсся щелчок и послышался характерный треск и шум работающего приёмника. Партизаны придвинулись к землянке, сгрудились, взирая с удивлением и надеждой то на командира, то на маленький светлячок радио. Писк настройки, и сквозь треск эфира донёсся голос диктора, который заканчивал обзор событий на фронте: «...ведутся бои местного значе...»

Партизаны не могли видеть и знать, что маскировка с мавзолея Ленина была снята, а на трибуну поднялись члены Правительства. Вдруг голос диктора прервался на полусло-

ве, а сквозь эфирный шум донеслась характерная неторопливая, но напористая речь: *«От имени Советского Правительства и нашей большевистской партии приветствую вас и поздравляю с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции...»*

Гольдин ахнул и кинулся в землянку. Иван никогда прежде не слышал голоса Сталина, но сразу понял: «Это ОН!» И это поняли все, кто тоже никогда не слышал голоса вождя. Гольдин, видел Иван в полумраке землянки, спешно доставал из полевой сумки бумагу и карандаш, а Василий Фёдорович уже записывал в тетрадь речь Сталина.

«В тяжёлых условиях приходится праздновать сегодня 24-ю годовщину Октябрьской революции. Вероломное нападение немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей, враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы. Враг рассчитывал на то, что после первого же удара наша армия будет рассеяна, наша страна будет поставлена на колени. Но враг жестоко просчитался. Несмотря на временные неудачи, наша армия и наш флот героически отбивают атаки врага на протяжении всего фронта, нанося ему тяжёлый урон, а наша страна, — вся наша страна, — организовалась в единый боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков.»

Радиоголос то заглушался шумом эфира, то вдруг врвался в холодный воздух леса громко и отчётливо, словно бы передача шла из-за ближайших деревьев. Партизаны слушали, казалось, не дыша.

«Бывали дни, когда наша страна находилась в ещё более тяжёлом положении. Вспомните 1918 год, когда мы праздновали первую годовщину Октябрьской революции.»

Иван видел, как при этих словах переглянулись Тихон и Александр Захарович — они, верно, могли вспомнить те трудные годы.

«Три четверти нашей страны находились тогда в руках иностранных интервентов. Украина, Кавказ, Средняя Азия, Урал, Сибирь, Дальний Восток были временно потеряны нами. У нас не было союзников, у нас не было Красной Армии, — мы её только начали создавать, — не хватало хлеба, не хватало вооружения, не хватало обмундирования. Четырнадцать государств заседали тогда на нашу страну. Но мы не унывали, не падали духом. В огне войны организовали тогда мы Красную Армию и превратили нашу страну в военный лагерь. Дух великого Ленина вдохновлял нас тогда на войну против интервентов. И что же? Мы разбили интервентов, вернули все потерянные территории и добились победы.»

Иван слышал, как облегчённо выдохнули товарищи за его спиной, словно бы это они тогда всё вытерпели и одержали победу. И тоже вздохнул, только теперь почувствовав, что давно уже задержал дыхание.

«Теперь положение нашей страны куда лучше, чем двадцать три года назад. Наша страна во много раз богаче теперь и промышленностью, и продовольствием, и сырьём, чем двадцать три года назад. У нас есть теперь союзники, держащие вместе с нами единый фронт против немецких захватчиков. Мы имеем теперь сочувствие и поддержку всех народов Европы, попавших под иго гитлеровской тирании. Мы имеем теперь замечательную армию и замечательный флот, грудью отстаивающие свободу и независимость нашей Родины. У нас нет серьёзной нехватки ни в продовольствии, ни в вооружении, ни в обмундировании.»

И опять Иван увидел, что командир и Тихон переглянулись. Ну да: уже заметили партизаны, что, несмотря на ударивший мороз, немцы налегке. Не рассчитывали, видать, что придётся воевать зимой. Грабят население, забирают тёплую одежду...

Сталин продолжал неуклонно гнуть свою линию.

«Вся наша страна, все народы нашей страны подпирают нашу армию, наш флот, помогая им разбить захватнические орды немецких фашистов. Наши людские резервы неисчерпаемы. Дух великого Ленина и его победоносное знамя вдохновляют нас теперь на Отечественную войну так же, как двадцать три года назад. Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков?»

Небольшая пауза. На поляне никто не шелохнулся.

«Враг не так силён, как изображают его некоторые перепуганные интеллигенти-ки. Не так страшен чорт, как его малюют. Кто может отрицать, что наша Красная Армия не раз обращала в паническое бегство хваленые немецкие войска? Если судить не по хвастливым заявлениям немецких пропагандистов, а по действительному положению Германии, нетрудно будет понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. В Германии теперь царит голод и обнищание, за четыре месяца войны Германия потеряла четыре с половиной миллиона солдат.

«Почему голод, — мелькнула у Ивана мысль, — когда немцы гребут и зерно, и картошку?» Но тут же эта мысль пропала, всё внимание голосу вождя.

«Германия истекает кровью, её людские резервы иссякают, дух возмущения овладевает не только народами Европы, подпавшими под иго немецких захватчиков, но и самим германским народом, который не видит конца войны. Немецкие захватчики напрягают последние силы. Нет сомнения, что Германия не может выдержать долго такого напряжения. Ещё несколько месяцев, ещё полгода, может быть годик, — и гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений.

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки! На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят порабождённые народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии! Война, которую вы ведёте, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!

За полный разгром немецких захватчиков! Смерть немецким оккупантам!

Да здравствует наша славная Родина, её свобода, её независимость!

Под знаменем Ленина — вперёд к победе!»

Заговорили все враз, перебивая друг друга:

— И про нас, про партизан, не забыл! — ликовали за спиной Ивана товарищи.

Но тут грянул оркестр, и диктор стал объявлять участников парада. Первой пошла колонна курсантов артиллеристов.

— Парад! Парад!

Изумление, восторг неопиcуемый охватил партизан. Стали маршировать на месте, даже Алёша, поддерживая на весу раненую ногу, пытался представить себя в строю на Красной площади. Там, в далёкой Москве шли пехотинцы и ополченцы, кавалеристы и артиллеристы. А когда под конец парада диктор воздал похвалу танкистам, раздались одобрительные голоса:

— Так их, фашистских гадов, давить надо!

И не замечал Иван, что с неба на них, медленно кружась, повалил хлопьями снег, что даже под полушубок его пробрался мороз, что стынут ноги в ботинках.

— Вот это да! Вы знали про парад? — наседал на командира Николай.

— Нет, — Александр Захарович сиял, как именинник. — Даже предположить не мог.

Из землянки выбрался Гольдин.

— Вот, — сказал он, — Сталин в Москве! А немецкая лживая пропаганда утверждает, что правительство вместе с Иосифом Виссарионовичем бросило всё и выехало из столицы. Армия защитит Москву! Мы победим!

«Не только армия — все, и мы, партизаны, — Иван почувствовал, что слова вождя будто поставили и его, недавнего пленника, в общий неохватный строй. — Победим — да! Не все останемся живы, но — победим!»

Такая уверенность появилась после речи Сталина, подкреплённой звуками марша с парада, что осветились лица, и партизаны, глядя друг на друга, прониклись верой: «Да, праздник! Великий праздник! Мы победим!»

— Самогонку пить не будем — у нас её нет, — сообщил, улыбаясь Александр Захарович, — а вот горячего чайку попейте, озябли, у всех носы синие.

Партизаны засмеялись. Иван повернулся идти к своему шалашу и встретился взглядом с невысоким совсем юным партизаном, который двигался навстречу, видимо, хотел подойти к командиру.

— Это ты?! — выдохнул изумлённо Иван.

— Это вы?! — эхом отозвался паренёк.

Николай, Илья, Алексей остановились, обратили на них внимание.

— Откуда вы знаете друг друга?

— Дядя Тихон! Александр Захарович! — закричал паренёк: — Это он, я узнал его!

Теперь и командир вернулся от своей землянки, куда он, было, направился, спросил:

— Кто «он»? Ты о ком, Денис?

— Это тот, в машине! Я вам рассказывал, — от волнения паренёк не мог ничего связно сказать.

Но Александр Захарович сообразил:

— Когда вас немцы везли, да? Когда ты сбежал?

— Ну да! А как вы здесь оказались? — обратился Дениска к Ивану.

Разница в пять лет Денису кажется огромной и поэтому он обращается к Ивану на «вы». Иван, не отвечая, улыбался радостно, словно бы родного братишку встретил.

— Ладно, — сказал командир, — идите чай пить, там разберётесь.

Под широким тентом, натянутым между деревьями, установлены два стола, сбитые из длинных плах, скамейки возле них, и горит большой костёр. Здесь хозяйка общей кухни, Клавдия Семёновна, попросту — Клава, раздала парням из котла варёную картошку «в мундерах», сухари и каждому — кому в миски, кому в котелки — по ложке льняного масла. Горка соли в тарелке продвигалась по столу от одного едока к другому. А к чаю — по половине лепёшки — лепёшки она испекла на раскалённом камне. Чай — кипяток из двух ведёр, заправленный, вместо чайной заварки, ягодами шиповника.

Ели, обмениваясь впечатлениями от услышанного по радио.

— Москву не сдадут!

— Где ему, Гитлеру, — кишка тонка!

— Парад! Сила!

— Как он всех объединил!

К столу подошли командиры: дядя Саша и дядя Тихон, и комиссар — со своими кружками. Следом за ними появился и Василий Фёдорович. Клава налила им чай, дала и по половинке лепёшки.

— Как же у нас радио появилось? — раздался негромкий голос с дальнего конца стола. Но его услышали. — Ведь был приказ сдать все приёмники. Я сдал свой. Чуть ли не в первый день.

Все смотрели то на командира, то на его политического заместителя. Мало у кого были радиоприёмники перед войной, и для большинства слова партизана были неожиданными.

— Да, — Гольдин посчитал, что ему, представителю партии, надо отвечать за действия руководства страны. — Двадцать пятого июня был такой приказ. Сдать в пятидневный срок приёмники в ближайшее отделение связи. Но Василий Фёдорович свой приёмник не сдал, наверное что-то помешало ему.

— А зачем было сдавать? — опять тот же голос. — Сейчас нам вот как пригодился!

«Чтобы немецкую пропаганду не слушали», — подумал Иван, помня газетчика, что приносил к ним в лагерь фашистские газеты.

— В армии, видимо, приёмники нужнее — вот и приказали, — сказал Александр Захарович.

— А тогда Василий Фёдорович, выходит, нарушил приказ?

Василий Фёдорович молча пил чай, поглядывая исподлобья то на командира, то на партизан, едва заметная усмешка пробегала по его губам.

— Фёдорович, скажи-ка, почему ты своё радио не сдал? — командир не скрывал иронии.

Василий Фёдорович отхлебнул ещё раз из кружки, неторопливо дожевал лепёшку, сказал:

— Не до приёмника было первые дни, много чего надо было сделать — тоже по приказам, а потом суматоха началась, и я понял, что приёмники куда следует не отправят.

— И от фрицев спрятал?

— А то как же? Спрятал. И антенну к нему специальную изготовил, чтобы дальность приёма увеличить.

Командир поднялся из-за стола, развёл руками:

— Простим Фёдоровича?

Партизаны облегчённо засмеялись.

Отряд выстроили для принятия присяги. Так было решено командиром и комиссаром.

Пар, как единое дыхание отряда, поднимался в морозном воздухе. Иван вместе со всеми повторял слова присяги.

«Я, гражданин Великого Советского Союза, верный сын героического русского народа, клянусь, что не выпущу из рук оружия, пока последний фашистский гад на нашей земле не будет уничтожен...»

Я обязуюсь беспрекословно выполнять приказы начальников... Беспощадно мстить за сожжённые города и сёла... Если я нарушу эту священную клятву, пусть меня постигнет суровая кара моих товарищей...»

Второй раз присягал Иван Ященко своей стране и своему народу: весной, когда прошёл курс молодого бойца в регулярной Красной Армии, и теперь, холодным ноябрьским днём в партизанском отряде.

В землянке командира поставил Иван свою подпись под большим листом с текстом присяги. «Будет так», — мысленно сказал он себе, выйдя из землянки и увидев посуровевшие лица товарищей. Они враз будто стали старше и мудрее.

Денис сидел рядом с Иваном. Шапку он снял и держал на коленях. Ветерок свободно гулял под тентом, Иван покосился на него, сказал:

— Хоть и грешно, наверное, есть в шапке, но ты надень — голова ещё пригодится.

Денис глянул вдоль стола: все были в головных уборах, красноармейцы из окружения — в пилотках, надел свою суконную шапку, не переставая жевать, искоса глянул на Ивана: вот, мол, я слушаюсь старших.

После принятия присяги и праздничного застолья Дениса позвали в землянку командира и поручили ему переписывать речь Сталина на отдельные листы, чтобы потом раздать их в ближайших деревнях. Население должно знать, что страна борется, что не иссякла наша сила и Сталин в Кремле. Такая информация, полагал новоявленный политрук Гольдин, поможет партизанам, когда им понадобится обращаться к крестьянам.

Иван с Николаем после завтрака подошли к поварихе.

— Клава, — сказал Николай, — мы вот с Иваном хотим закрыть твою столовую от ветра. Зима ведь наступила. Вишь, какая неожиданность.

— И с костром надо что-то делать, — заметил Иван, — рогатины подгорели, скоро упадут. Что-то наподобие печки — у ручья камней можно набрать. Лепёшки вкусные. Но на камне печь — дров не напасёшься. А печку соорудим — будешь готовить кашу и лепёшек напечёшь.

Женщина перевела взгляд с одного парня на другого, занятая своими заботами, не сразу нашлась, что ответить.

— Хотим согреть тебя, хоть немного, — пошутил Николай.

Парни внимательно смотрели на Клаву, и женщина засмушалась:

— Ну-у... Да. Командир разрешит если...

Александр Захарович инициативу поддержал, распорядился, чтобы Ивану и Николаю помогли новенькие — солдаты, которым не удалось выйти из окружения.

Вечером Иван с Николаем взяли Дениса под свой навес, против которого горели брёвна. Землянку, ту, что они приготовили к зиме с Николаем, отдали бывшим бойцам, теперь партизанам.

Денис казался Ивану ребёнком, случайно заблудившемся в лесу. Он привалился к боку старшего товарища и слушал. Иван коротко рассказал ему о том, что с ним было после того, как Денис выпрыгнул из кузова грузовика. А Денис своими приключениями поделиться не успел: над лесом послышался стрекот лёгкого самолёта. Звук то удалялся и затихал, то вновь приближался.

— Б... — выругался Николай, который успел заснуть, но проснулся, — это же немецкий разведчик! Костры!

Но костры гасить было поздно. Доложили командиру. Александр Захарович вышел из землянки, послушал удаляющийся звук самолёта, сказал:

— Вряд ли этой ночью прилетят бомбить, а вот костры надо прикрывать, чтобы с неба нам подарков не накидали.

Самолёт улетел, но тревога осталась: вдруг прилетят другие — бомбить!

— У нас тут все уже успели с немцами поцапаться, — сказал, вместо рассказа о себе, Денис, приваливаясь плотнее к боку Ивана. — Дядю Петю от фашиста бабы спасли.

— Кузнеца?

— Ну. И знаешь кто? Наша Клава.

— Повариха? Как это?

— Дядю Петю два немца повели за деревню расстреливать. Он с немцами ругался за то, что они его сына расстреляли.

— А сына за что?

— Он на цыганке был женат. Немцы цыган забирают, приказали всем евреям и цыганам явиться с вещами, а Гриша, сына Гришей звали, свою жену куда-то спрятал. Кто-то донёс, наверное, ну его и расстреляли. И других несколько человек. Вот. Дядя Петя драться с ними полез. Его побили, руки связали, и двое повели за деревню, там овражек. В овражке уже были убитые, и Гриша там. Вот. Женщины пошли за ними. А тут одного немца позвали, он побежал назад. Ба... женщины стали упрашивать конвоира, чтобы он отпустил. Говорили ему, что Пётр Остапович кузнец, на деревне без кузнеца нельзя.

— Как будто фриц понимал, что ему талдычат, — подал с насмешкой голос Николай. — Они ему говорили: «Господин солдат, не стреляйте кузнеца, мы вам молока принесём и яиц». Ещё говорили: «Лучше отпусти, а то мы тебя порвём». Или что-то оторвать обещали, — Николай не мог без сарказма говорить о том случае.

— И что? — Иван представил эту сцену. — Отобрали автомат?

— У него винтовка была со штыком. Он на них ствол направлял и страшал: «Цурюк! Цурюк!» Назад, значит, — уточнил Денис.

— Да уж, — Иван вздохнул, — мы это выучили: цурюк, халт да хенде хох! Тебе фриц тогда тоже цурюкал.

— За деревню вышли, до самого обрыва почти дошли, когда Клава на немца сзади прыгнула. На спину и сразу рукой ему рот закрыла. Немец опрокинулся, выстрелить не успел, другие женщины винтовку выхватили, ну и растерзали его.

— Пётр Остапович помог?

— Не, у него руки за спиной верёвкой были связаны.

— Помог, — поправил паренька Николай. — Он сапогом в башку фашисту так дал, что тот и отрубился. Когда немцы спохватились, что его долго нет, то уже никого не нашли. А труп в овраг же и сбросили.

— С деревней не расправились? — Иван представить не мог, что немцы спустят жителям казнь своего солдата.

— Да, — неохотно подтвердил Николай, — сожгли дом Петра Остаповича, и Клавин дом спалили, заложников взяли десять человек и увезли куда-то.

— Пётр Остапович хотел сдать, чтобы освободили заложников, но ихние родственники не допустили, — сказал Денис, — убедили, что этим всё равно не спасёшь, что если начнём сдаваться, немцы ещё пуще будут брать людей, чтобы мы им покорялись.

— Постой-ка, родные у Петра Остаповича были, у Клавы?

— Жену его, бабу Настёну, женщины предупредили, она сразу же и ушла. Дом жгли,

а там никого. Ещё несколько домов сожгли. А у Клавы муж воюет, детей они ещё не народили. Она ушла вместе с Петром Остаповичем. Дом сгорел, полицаи злобствуют — куда ей? Только в партизаны.

Помолчали. Николай уже было засопел, засыпая, но вдруг вздрогнул, проснулся и добавил:

— Петр Остапович ходил тайком в деревню, искал свою старуху, и в соседних деревнях спрашивал — нигде не нашёл. Ему сказали: «Если живая — найдётся после войны. Иди себе в лес, пока тебя полицаи не сцапали». Ну, он вот тут и есть.

«Вот тебе и Клава, — думал Иван, — стеснительная женщина...»

И сестёр своих вспомнил, погружаясь в сон, всех пятерых. И мнится ему, что это они спасают кузнеца: Анастасия, самая старшая, дочь от первой жены отца, Надежда — вторая, от второй жены, тоже умершей — от тифа, когда отец был на «германской» войне, Паша — Надина ровесница, родная сестра Ивану и ещё две сестры — Вера и Аннушка. А теперь вот и братец у Ивана появился — Дениска. Дениска падает в ноги немцу, огневолосая Надя, маленькая, но крепкая, как репка, прыгает на фрица, а Настя выхватывает винтовку и бьёт прикладом гада в лоб. Девчата, Вера и Аннушка, держат поверженного на землю фрица за руки... А отец задумчиво пропускает бороду через ладонь, говорит: «Вот и добре, урожай будэ хороший». И никакого немца уже нет, а только паханое поле, и отец идёт по нему, широким взмахом рассеивая по земле семена ржи.

— Ну, — сказал Николай, — пришла наша очередь: топай к Тихону.

Иван посмотрел на товарища:

— На дело пойдём, что ли?

— На гостинец.

— На какую гостиницу? К немцам в гости, что ли?

— На большую дорогу, на шоссе, значит. Шевелись, Тихон не любит ждать.

Тихон распорядился:

— У Кирея Карповича возьмишь лошадь и сани, у Клавы Николай продукты возьмёт.

Погрузишь, и пилу с топором не забудьте. Два топора.

— Кто такой Кирей Карпович? — спросил Иван, он такого не знал.

— Кирей Карпович уже третий день здесь. Ему поручено, как бывшему кавалеристу, за лошадьми смотреть. Да! Ты с лошадьми-то управляться умеешь?

Иван улыбнулся:

— Я деревенский...

Тихон махнул рукой — иди, мол.

У Кирея Карповича квадратная седая борода и пегаая, густая не по возрасту шевелюра на голове и пристальный взгляд из-под нависших бровей. Он выслушал молча Ивана, осмотрел его с ног до головы и так же молча надел уздечку на морду рыжего мерина и вывел коня из оградки. Потом вынес сбрую и положил на сани. Сани самые простые — два неоконных полоза и настил без отводов. Для движения по лесу самое то.

— Пстой-ка, — вдруг раздался хриловатый голос конюха, когда Иван запряг мерина и двинулся прочь.

Иван оглянулся. Старик подошёл к нему и протянул небольшую торбу.

— Пригодится, — прохрипел он. — Сразу весь овёс не отдавай, чтобы конь к тебе... Ну, сам понимаешь.

— Спасибо, — Иван хотел добавить что-то ещё, но не нашёлся.

Кирей Карпович ещё раз окинул взглядом Ивана, вздохнул и пошёл к себе. На этот раз взгляд показался Ивану не столь суровым, как вначале, было в нём что-то знакомое — так иногда смотрел отец, когда Иван был маленьким.

Уложили на сани продукты, два ведра, пилу и топоры, небольшой свёрток, в котором оказались скобы, скованные кузнецом, укрепили всё верёвкой, которую принёс Тихон, и маленький отряд тронулся той самой дорогой, которой Ивана привели сюда.

Недалеко от лагеря их встретили и проводили караульные — Илья и солдат в натянутой на уши пилотке. В яме под вывороченной ветром сосной у них горел небольшой костёр.

Тихон шёл впереди размеренным шагом, не валко, но и не слишком быстро — предстояла дальняя дорога. На небольшой поляне с нетронутым снегом Тихон свернул с дороги, которая привела Ивана сюда, на другую, и стало ясно, что в свою деревню Иван не попадёт.

Увидев звериные следы, которые пересекли им путь, Иван приостановился. Заячий неторопливый скок прострочен ровной цепочкой лисьих следов — косою явно не подозревал, что за ним началась погоня.

— Ты чего остановился? — Николай, шедший за санями, подошёл к Ивану.

— Да вот, увидел и подумал: мы на охоту пошли, а не придётся нам, как зайцу, драпать?

— Испугался, что ли? — удивился Николай.

— Нет. Просто, я думаю, разъяснить бы нам нашу задачу, а то идём вслепую.

— Тихон всё скажет, когда надо.

Звуки моторов заставили всех поднять головы. Сквозь ветви деревьев можно было увидеть звено самолётов — три бомбардировщика направлялись в ту сторону, откуда партизаны шли. Самолёты явно снижались, и минуты через две до путников донеслись звуки взрывов.

— Бомбят? Лагерь бомбят?!

Тихон посмотрел назад, прислушался к буханью, сказал не слишком уверенно:

— Вроде в стороне, — и сам себя спросил: — А чего тогда бомбить?

Постояли минуту, Тихон сказал:

— Пошли, потом узнаем.

Спустя некоторое время взрывы прекратились, и самолёты вновь прошли над группой туда, откуда явились.

Вышли на дорогу, которая вела к деревне, перешли мосток через замерзающий ручей, но деревню обошли стороной, лесом — людской глаз, хоть свой, хоть чужой, не к добру. И снова дорога, поле, лес, болотце и, наконец, упёрлись в необъятное болото. Там и сям по снежной целине торчали хилые погибшие деревья, кое-где были видны кочки. Но для Тихона это препятствие не было неожиданным. Он прошёл к тому месту, где к болоту вплотную примыкал лес, и там партизаны увидели бревенчатую избушку, которая пряталась в окружении небольших сосенок и елей.

Ивану это место показалось диковинным. Он хоть и вырос в местности, где хвойного леса близко не было, но заметил, уже здесь, что сосна растёт на сухих местах, а ель любит влажные, но тут ели и сосны рядом.

Близ избушки следов нет.

— Перекур, — сказал Тихон. — Николай, за тобой обед. Тимур — дрова.

Иван посмотрел на Тимура — этого красноармейца со слегка раскосыми глазами он увидел только сегодня. Тот скромно шёл всю дорогу позади саней и пока не проронил ни одного слова.

— Пойдём, — кивнул Ивану Тихон.

Командир вышел из избушки, позади неё было несколько жердин, прислонённых к стене. Тихон взял одну, Иван тоже. Они прошли к тому месту, где едва видимым бережком начиналось болото. Тихон ударил слегка торцом жерди по заснеженному льду. Лёд выдержал. Тихон ступил одной ногой, потом поставил вторую — лёд под ним прогнулся и лопнул. Но Тихон был готов к этому и успел отпрянуть назад. На сапоги его брызнула грязная жижа. Иван понял, что он нужен был командиру для подстраховки.

— Понятно, — сказал Тихон, — при хорошем морозе лёд будет прочным дней через пять.

Они вернулись к избушке. Иван взял торбу из саней, зачерпнул из неё ладонью овса и поднёс мерину. Конь выдохнул воздух, зашлёпал губами, принял угощение. Иван свободной рукой погладил по холке коня, тот ответил, как показалось Ивану, благодарным взглядом. Животное и человек, кажется, могли положиться друг на друга.

— Ну что, — сказал мерину Иван, припомнив Семёна и его слова, что тот у коней видел крупные слёзы, — ты рыжий, я рыжий — плакать не будем?

По распоряжению Тихона Иван выпряг коня, спутал ему передние ноги поводом и отпустил пастись. Из-под тонкого слоя снега пока ещё были видны будылья засохшей травы.

После обеда Тихон поставил задачу:

— Будем делать гать. Иван с Николаем — валить лес, Тимур и Роман — обрубать сучки, мы с Николаем — вторым, и с Виктором будем вязать и укладывать фашины.

— А разве цари работают? — не удержался от вопроса Николай.

— Какие цари? Где? — удивился Тихон, занятый своими мыслями командир не сразу понял шутку.

— Ну, если я Николай Первый, а он Николай Второй, то нам положено быть в царских палатах, — кивнул на избушку товарищ Ивана.

— А-а... Поясняю: боец Кругляк — второй Николай — на фашины. Но ты, Первый, не забывай, что случается с царями, которые работать не хотят.

— Понял.

Парни засмеялись. Иван, оглядывая заснеженную гладь, подумал: «Тут за несколько дней не управисься... одной пилой леса навалить».

Тихон словно услышал его мысли.

— Деревьев надо немного, главное — ветки и хворост. Я покажу, как без верёвок ветки скреплять, чтобы они под ногой не рассыпались.

— Фашины?

— Да. Связка, значит. Кстати, вы знаете, что от этого названия и фашисты происходят?

— Ну-у?!!

— Да. Фашисты вначале в Италии появились, Гитлер у них поучился и в Германии то же самое организовал, кое-что добавил своё. Переплюнул Муссолини. Не удивлюсь, если итальянцы тут у нас появятся. Кстати, Муссолини был социалистом в молодости, и Гитлер тоже: национал-социализм строит. Как вам?

Работали до самой луны, но гать из хвороста причудливой змейкой легла лишь чуть далее половины намеченного пути. Каким образом Тихон определял повороты, которые необходимы, чтобы обойти самые ненадёжные места, для парней осталось загадкой.

В избушке у глинобитной печурки, труба которой выходила не через крышу, крытую берестой, а в углу задней стены, отогревали ознобленные руки и ноги. Рукавиц ни у кого не было, валенок тоже никто не имел.

На ночь попеременно становились на караул. Когда подошла очередь Ивана сменить Тимура, тот передал ему винтовку и сказал:

— Ха-роший пагода! Но, ой, башка и рука замёрз!

Красноармейцы, которые не успели обзавестись шапками, сделали в пилотки подкладки из материи, но этого оказалось мало.

Иван засмеялся:

— Ты, чтобы башка не мёрз, в пилотку соломки постели. Это, наверное, не всё. Пётр Остапович, кузнец наш, обещал, что будет ещё лучше — градусов за двадцать, я думаю.

— Вай! — вздохнул Тимур и скрылся в избушке.

Сказочный лунный свет лился с неба, серебрил снежинки на кустарниках и деревьях, и стояла такая тишина, что слышно было, как похрустывают сухие травы на зубах мерина. Конь пасся где-то за деревьями, но потом он направился к избушке, каким-то чувством угадал, что на улицу вышел Иван. Мерин, вскидывая передние спутанные поводом ноги, приблизился к Ивану на несколько метров, немного передохнул, потом подошёл вплотную. Иван закинул настывшую винтовку за спину, приблизил морду животного к своему лицу, и так они замерли, вслушиваясь в тишину леса. Иван стряхнул с гривы коня изморозь, обнял его за шею и грел руки о тело животного.

Утром продолжили работать. Когда гать почти дошла до противоположного берега, — оставалось метров десять — Тихон сказал:

— Всё, дальше ветки не кладём. Давайте стволы.

По льду рядом с гатью продвинули два сосновых бревна, скрепили их скобами и удлиннили гать до берега.

— Когда будем возвращаться, — пояснил Тихон, хотя всем было уже и так ясно, — уберём брёвна, и немцы на гать не попадут.

— А куда всё-таки идём? — задал мучивший его вопрос Иван.

— На большую дорогу, как разбойники, — без улыбки ответил командир.

Тихон не сказал, что проложить гать было главной задачей группы. О том, когда и зачем нужен будет путь через болото, что замышлял командир отряда, этого пока не знал и Тихон. А сейчас на дорогу шли с целью разведки. Но, конечно, надо и настроение молодых бойцов учитывать — парни жаждали боя.

После небольшого отдыха собрались к выходу.

— Пилу и топор возьмите, — распорядился Тихон, — и верёвку.

— А с лошадьёю как? — обеспокоился Иван.

— Пусть пасётся.

— Но она же пойдёт следом за нами.

— Лошадь — умное животное, со спутанными ногами на лёд не пойдёт.

— А если... — Иван не договорил.

Но Тихон понял, смягчил мрачную невысказанную мысль парня.

— Если задержимся? Путы сними, чтобы конь мог от волка отбиться.

Шоссе оказалось недалеко, шли до него менее часа. Гул проходящих машин предупредил партизан ещё до того, как они вышли из леса. Затаились, пережидая. Шоссе здесь делало небольшой поворот, но партизанам с их места были видны оба конца дороги. К западу шёл небольшой подъём, метров через двести он заканчивался, и что происходит за перевалом, отсюда не было видно. К востоку шоссе просматривалось почти на километр. А по другую сторону дороги напротив партизан была поляна с редкими кустами вереска, дальше, шагов на сорок от шоссе, сплошной стеной стояли молодые ели.

Когда на дороге стало пустынно, Тихон скомандовал:

— На ту сторону — бегом! Всем! До ельника и обратно! Марш!

Оставив возле командира пилу и топор, Иван бросился за остальными. Несколько минут спустя, запыхавшиеся партизаны упали рядом с Тихоном.

— Так, — сказал Тихон, — задача следующая: ждём одиночную машину с фрицами. Чтобы нас не прихватили неожиданно из-за перевала... — он оглядел бойцов, — Николай — второй, то есть боец Кругляк, идёт туда и будет сигнализировать нам о приближении одной машины или нескольких.

— А как я посигналю? — удивился Второй.

— Одна машина — подними шапку. Если больше — помаши.

— Понял. Эх, зеркало бы...

Тихон посмотрел на небо, подтвердил:

— Зеркало бы хорошо, конечно, но облака, закроется солнце, и что тогда? Ступай. На дорогу не высывайся.

— Слушаюсь.

Николай ушёл. Партизаны ждали, что дальше скажет командир. Тихон показал рукой на берёзу, росшую в двух шагах от дороги. Корни дерева со стороны шоссе были слегка подмыты — когда-то здесь, вероятно, брали грунт — и берёзка наклонилась и нависла над дорогой.

— Я ещё до войны заметил, когда проезжал тут, — сказал Тихон, — что дерево когда-нибудь упадёт, и надо его убрать, чтобы не случилось беды. А теперь пусть она послужит нам.

— Спилить?

— Заранее нельзя — вдруг колонна. Надо сделать как-то так, чтобы берёза упала перед одиночной машиной...

— Запилим до половины, — предложил Николай, — а когда надо будет — спилим до конца.

— Хм, — Тихон смотрел на дерево с сомнением. — Толстая, пока вторую половину будете ширкать, либо подстрелят вас, либо цель укатит. А сильно запилить — может свалиться преждевременно.

— Я знаю, как сделать надрез, — сказал Иван, — с двух сторон наискось. Тогда останется как бы клин, который можно быстро пропилить.

— Да? — Тихон посмотрел на Ивана, перевёл взгляд на Николая, решил: — Ладно, будь по-вашему.

Но приступить к делу не успели: с западной стороны дороги показалась колонна. Николай Второй, который не успел добраться до места, таясь за деревьями от едущих немцев, махал шапкой, но опасность партизаны видели и без сигнала.

— Не стрелять! — предупредил на всякий случай Тихон.

Затаились, лёжа в снегу за деревьями.

Машины шли с невысокой скоростью.

В кузове переднего автомобиля сидели, скрючившись от холода, автоматчики. Второй и третий грузовики были накрыты брезентом, а четвёртым шёл диковинный агрегат: у него были и колёса, и гусеницы. Не танк и не автомобиль. Такого чуда партизанам видеть ещё не доводилось.

— Смесь бульдога с носорогом, — пробурчал Николай, не опасаясь, что его услышат в колонне, рокот моторов и лязг гусениц заглушал голос.

— Это броневик, — сказал ему Иван, он видел такую технику в первый день войны, когда навстречу колонне пленных шли войска немцев.

Пятым был легковой автомобиль, замыкал колонну ещё один открытый грузовик с солдатами.

Когда на дороге всё стихло, Иван с Николаем подпилили обречённую берёзу.

С восточной стороны прошли два автомобиля, их пропустили, но Тихон пожалел, что не приказал остановить машины: рядом с шофёрами в кабинах было лишь по одному охраннику, а в кузовах тесно стояли овцы. Фрицы везли к железной дороге мясо и шерсть для рейха.

— Виктор, — приказал Тихон, — давай в ту сторону, метров на сто пятьдесят — по-сигналишь, когда можно будет действовать.

Парень ушёл лесом.

— Тимур, ты хорошо стрелять умеешь?

— Да, камандыр!

— Тогда на ту сторону, замаскируйся там. Не напротив, чуть подальше, чтобы мы друг друга не перестреляли.

— Слушаюсь!

Прошёл ещё час, солнце уже пряталось за верхушками деревьев, партизаны мёрзли, а нужного объекта не оказывалось. Тихон в блокноте отмечал, какой транспорт проходит и с каким грузом. К вечеру движение на дороге почти прекратилось. И вот оно: Виктор поднял вверх шапку, когда мимо него прошёл небольшой грузовик. И с другой стороны, на увале, Николай не сигнализировал.

— Пилить!

Иван с Николаем, не чуя задубевших ног, поднялись у берёзы, заочневшими руками схватили пилу и начали допиливать ствол. Берёза не падала, а машина была уже на повороте. Иван отпустил пилу, схватил топор и, рискуя попасть под дерево, рубанул против запила раз и другой. Полетела щепка, раздался треск, и берёза медленно-медленно стала валиться на дорогу.

Водитель увидел и партизан, и падающее дерево, но сделал роковую ошибку — сработало естественное, отработанное опытом действие: он убрал на мгновение ногу с педали газа, намереваясь затормозить, вместо того чтобы прибавить газ. Скорость движения чуть-чуть снизилась, и лишь мгновения не хватило, чтобы машина проскочила по дороге раньше, чем появится на ней препятствие. Берёза, ускоряясь в падении, рухнула на капот, ветви, ломаясь, пробили жёсткость и застряли в ней, брызнули во все стороны стёкла кабины. Двигатель не справился с внезапным тормозом и заглох — машина, протаскивая по инерции берёзу с десятком шагов, остановилась. Из пробитого радиатора тонкими струйками текла горячая вода, расплывалась на дороге тёмным пятном.

Иван едва успел отпрянуть, чтобы его не зашибло стволом.

Водитель, пригвождённый к спинке сиденья острым сучком, погиб мгновенно, но пассажир, открыв прижатую веткой правую дверку кабины, протиснулся на дорогу. Левая сторона лица его была в крови — порезана осколками стекла, в левой руке — чемодан.

Николай, бросив пилу, одним движением выхватил ружьё из-за спины и на вскидку, как на охоте, выстрелил — картечь попала немцу в грудь. Тот ткнулся лицом в землю. Тихон бросился к нему, перевернул.

— Ты зачем его? — укорил он Николая, ощупывая карманы немца и доставая документы. — Живого надо было брать!

— Мне показалось, что в руке у него пистолет.

— Это шина.

Чёрная куртка, розовый кант на погонах и на петлицах с серебряными черепами... Согнутая в локте рука немца была забинтована, с шиной до ладони. Иван видел, что по лицу убитого ещё сочилась кровь. Мёртвый враг в душе Ивана не вызвал никаких чувств — ни радости, ни сожаления, словно он был не человеком, а фанерной мишенью со стрельбища.

Роман попытался заглянуть под брезент, которым что-то было укрыто в кузове, но глянул ненароком в сторону дороги, позвал Тихона:

— Командир, Второй сигналит!

Кругляк отчаянно махал шапкой.

— В лес, — скомандовал Тихон, — и чемодан прихватите!

Тихон дал отмашку Виктору и Второму: уходите!

Едва они скрылись за деревьями, из-за перевала показалась колонна, она быстро приближалась, но скоро на передней машине увидели препятствие на дороге и сбавили скорость. Не доехав до места метров двадцать, передний открытый грузовик остановился, за ним затормозили ещё несколько. Солдаты из кузова передней машины ударили из автоматов по лесу, в обе стороны от дороги, ещё до того, как произошла остановка.

Из двух следующих крытых машин выскочили немцы и веером рассыпались по обочинам шоссе, ожидая нападения. Но лес молчал — партизаны уходили всё дальше.

— В нашу сторону стреляют меньше, — сказал удовлетворённо Тихон, — в другую сторону палят, по ельнику. Путь там атакуют.

Понятно стало, зачем командир приказывал подчинённым наследить в сторону елей.

Виктор и Николай Второй присоединились к группе вблизи болота. Увидев Николая с чемоданом, Виктор, возбуждённый и довольный тем, что «дело» успешно завершилось, пошутил:

— Ты, никак, в командировку собрался?

По брёвнам перешли на гать, затем их оттащили подальше от берега, чтобы преследователи не смогли прогуляться следом за партизанами. К этому времени стрельба на дороге стихла.

Коня, когда партизаны пришли на эту сторону болота, возле избушки не оказалось. Иван посмотрел следы, но вблизи снег был ископачен весь, надо было искать те следы, которые мерин оставил последними. Иван догадался посвистеть, свистнул протяжно, прислушался. Тихо. Он зашёл в избушку, взял торбу с овсом, вышел. Смеркалось, и следы читались на снегу нечётко. В какую сторону ушёл Рыжий? Иван отошёл от избушки метров на пятьдесят, и ему показалось, что слышен топот. Остановился, прислушался. И точно — из-за деревьев показался бегущий мерин.

— А, Рыжий, — обрадованно сказал Иван, — ну, иди — угощу.

Он запустил руку в торбочку, поднёс коню. И снова они стояли рядом, как при ночном дежурстве минувшей ночью.

Опять ночевали в избушке.

К полудню Тихон привёл свой маленький отряд к небольшой деревне. Два Николая сходили на разведку, вернулись, доложили:

— Фрицев нет, полицаев — тоже.

Виктор, оказалось, что он местный, принялся топить баню. Перед тем остальных он развёл по квартирам. Иван провёл коня во двор — ворот здесь не было, вошёл в неказистый дом, поздоровался с встретившей его у порога хозяйкой.

— Добры дзень, — ответила она.

В глазах её одновременно и радость, и тревога.

У печи на лавке сидела седая старуха. Углублённая в свои думы, она не ответила на приветствие и, кажется, вовсе не заметила Ивана. Он снял свой испачканный кожух и шапку, прошёл и сел на предложенный ему табурет. За печью на лежанке увидел старика. Тот смотрел на Ивана. Когда взгляды их встретились, старик, не вставая, кивнул слегка головой, повёл рукой, словно извиняясь за свою немощь. Из-за подушек на кровати показалась голова девочки, она пряталась там, поднялась, смотрела насторожённо, к незнакомому дяденьке не приблизилась. У Ивана ёкнуло в груди и заняло сердце — как там его названная дочка Аннушка? И Маруся — живы ли?

Хозяйка собрала на стол: поставила тарелку с холодной картошкой и квашеной капустой, положила горбушку ржаного хлеба, поверх горбушки — небольшой, в половину спичечного коробка, — ломтик солёного сала. Иван посмотрел на свои серые и заветренные руки — утром умывался, как и в прошлые дни, снегом и, конечно, без мыла. Женщина зачерпнула ковшиком из бадейки воды, добавила из чайника немного горячей, полила Ивану над тазиком уже тёплой водой и подала полотенце.

Иван ел, но пища не шла в горло. Чувство голода вдруг пропало — жалость, обида за горькую участь этих людей комом стояла в горле. Что их ждёт? Он готов был заплакать, но слёз у него давно уже не было.

В дом вошли Тихон с Николаем.

— Колхоз даёт нам сено, — сказал Тихон Ивану, — в фонд обороны. С Николаем погрузите, он знает где. Романа возьмите.

Мерин во дворе тоже, оказывается, подкреплялся: хозяйка бросила ему охапку сена.

— Прости, Рыжий, — сказал коню Иван, — приказано: сперва работа, отъедаться будешь потом.

На ферме, позади коровника, нагрузили сеном воз, укрепили его жердями. Вернулись.

В баню Иван попал последним, вместе с Виктором. Удивился, входя в предбанник, что из него вышли две женщины, кивнули парням и пошли дальше. Просторная баня, хоть и топилась по-чёрному, рассчитана явно не на одну семью. Иван сказал об этом Виктору, тот охотно пояснил:

— Дак это колхозная. Я пацаном был, когда колхоз организовывали, помню, что решили сделать общую баню: выгоднее. Да и не было раньше, до колхоза, почти ни у кого своей бани. А так хорошо: деревня маленькая, все могут мыться и париться — день мужики, день — бабы с ребятнишками.

Снимая исподнее, Иван поморщился. Виктор засмеялся:

— Что, русским духом пахнет?

Пар, пихтовый веник и запах от него — какое блаженство!

Когда Иван вышел, чтобы одеться, он не увидел своего нижнего белья на скамье, где оставил его. Шёл мыться — думал, что придётся после бани надеть грязное, и это было неприятно. А тут и грязного не оказалось. Кто-то пошутил? Виктор уже оделся, а Иван стоял в недоумении.

— Куда всё подевалось?

— Чего?

— Да исподнее.

— Вон — подними глаза — на полке рубаха и кальсоны.

— Это не моё.

— Твоё. Хозяйка принесла, пока ты парился, а шмотки твои забрала.

— Как же я верну?

— А никак. Считаю, что махнулись. У Ромки и Тимура и вовсе от кальсон одни ремки остались, но приодели и их. Бабы у нас понимающие.

— Так. А я-то думал, чего это женщины навстречу нам попали из предбанника?

— И носки надень. Она ещё приходила, принесла тебе тёплые носки.

— Как узнала? — сконфуженно пробормотал Иван, надевая новые вязаные носки.

Тихон, несмотря на то, что парни предвкушали провести ночь в тепле, ночевать в деревне не разрешил:

— Если нагрянут немцы или полицаи, то перестреляют поодиночке, как рябчиков.

Поужинали у хозяев и двинулись в ночь.

При подходе к лагерю вдруг на пути оказались ямы и поваленные, искалеченные взрывами деревья. Опять Илья с солдатом преградили им путь, запросив пароль.

— Что у вас тут было? — спросил Тихон.

— Бомбёжка! Ой, как страшно! — поделился впечатлением Илья. — Скажи, Стас.

— Да ладно, — отмахнулся Станислав, — покидали маленько, лишь бы поугадать. Вот когда час да другой непрерывно бомбят, да одновременно из пушек и миномётов долбят — тогда страшно. Скорчнись в окопе и маму родную вспоминаешь.

— Это вы на себя огонь вызвали, потому что костёр жгли, — догадался Тихон.

— Ну. Нам дядя Саша то же самое сказал.

Поутру Александр Захарович пригласил всю группу Тихона к себе в землянку. Гольдин был там же, сидел за столом и рассматривал документы убитого немца. Командир окинул взглядом вошедших, сказал:

— Вам благодарность, — увидев удивлённые лица парней, улыбнулся: — От командира соседнего отряда.

Партизаны переглянулись.

— За что благодарность, дядя Саша? — спросил Николай.

Командир улыбался:

— Вот — хорошее дело зря не пропадает. Немцы, которых вы на шоссе задержали, каратели, ехали на подмогу своим, да из-за вас опоздали. На полчаса, примерно. Отряд дяди Васи успел отступить. А по темноте фрицы в лес побоялись сунуться. Обошлось без потерь.

Тихон развёл руками, словно укорил немецких командиров, которые, вероятно, приказали наступать на ельник. Потом сказал:

— Жалко, что оружие не успели взять: к водителю быстро было не подобраться. Но Ивана Яковлевича можно поздравить с почином: он и без винтовки фашиста угробил. Николай тоже не промахнулся.

После небольшой паузы Тихон добавил:

— Не объединиться ли нам с дядей Васей? На большой отряд не всякая команда немцев посмеет сунуться.

— Думаем, над этим — есть плюсы, но есть и минусы, — вздохнул Александр Захарович. — А не хотите ли узнать, кого вы на дороге стукнули? Лев Владимирович бумаги немца прочитал.

— Хотим, конечно!

Гольдин поправил очки, подвинул документы немца и, заглядывая в них, доложил:

— Танкист. Танк 616. Курт Мауэр, рост сто семьдесят один, глаза серые, волосы тёмно-русые. Кровь группы «А». Противогаз третьего размера. Шлём четвёртого размера. Отправил из России семь посылок.

— Вот сволочь! Когда успел?

— Родился в 1914 году в Мюнхене, — продолжал Гольдин. — Женат, отец двоих детей. В связи с ранением направлялся в тыл, на лечение. В послужной книжке есть запись о том, что получал благодарность от командира корпуса, что хороший семьянин. Кстати, тут и фотографии есть.

На фото Курт в гражданской одежде сидит с девочкой на коленях, рядом — дебелая супруга с другой девочкой, помладше, все напряжённо смотрят в объектив камеры. На другой фотографии девочки стоят одни, в нарядных платьицах — фотографировались, видимо, по случаю какого-то праздника.

— Почему он на машине ехал, а не поездом? На машине далеко и от фронта, и до Берлина. Что он тут делал?

— А вот посмотрим его чемодан, и узнаем, — Александр Захарович водрузил на стол раскрытый чемодан немца.

— Какой завидный — кожаный!

Командир стал доставать вещи, придерживая их двумя пальцами: детские платьица для девочек — примерно четырёх и шести лет, вязанные кофточки на тот же возраст, два клубка пряжи из овечьей шерсти, куклу...

Ивана больше всего поразили детские туфельки — тоже две пары — голубые, с изящными металлическими застёжками, чистые, аккуратные, но, всё же, не совсем новые. Где-то в Мюнхене любимые дочери Курта Мауэра, Эльза и Грета, должны были гулять в этих туфельках, потому что они не нужны больше Вере и Тане...

Иван вывозил спиленные сухие деревья с участка, расположенного в двух километрах от лагеря — их валили Николай и Виктор, когда его остановил Илья и сказал, что всех троих требуют к командиру.

Они вошли в землянку, поздоровались с Александром Захаровичем и Львом Владимировичем, обратили внимание на сидевшую на чурбаке, в стороне от стола женщину, кивнули и ей.

Командир мельком оглядел парней, спросил, глядя на Ивана:

— Много заготовили?

— Недели на две хватит. Но там ещё есть спиленные, надо только вывезти.

— Вот, ребята, дело какое: немцы с полицией сожгли дома в деревне. Жители под открытым небом с ребятишками у костров спасаются. Мужчин мало, надо помочь им отстроить хотя бы несколько домов. Барак там или что. Вот Нину Сергеевну прислали к нам с такой просьбой. Вы же у нас главные строители.

— А-а... — Николай посмотрел на своих товарищей — все трое должны были на днях выйти с группой партизан на разведку, выяснить: какая охрана у складов, которые остались после спешного отступления Красной Армии.

Александр Захарович понял невысказанный вопрос.

— Ну, пойдёте в следующий раз. Как ты считаешь, Лев Владимирович?

— Считаю, что спасать наших людей не менее важно, чем убивать врагов.

— Можно, я спрошу? — подал голос Виктор. — Нина Сергеевна, фашисты убили кого-нибудь? За что деревню спалили?

Женщина приподнялась, потом снова села на чурбак.

— Мостик там у нас недалёко, с километр от деревни. Доски подгнили, машина въехала, колесо провалилось. Диверсия, значит. Вот. Учора забрали пять человек, увезли, а с факелом прошли, огонь под стреху, ну и всё. Тушить не давали враги, смеялись.

— Чем строить — есть?

Нина Сергеевна на минуту задумалась, сказала с некоторым сомнением:

— Топоры да пилы, не погорели, поди, железные.

— Так, — сказал Александр Захарович, обращаясь к Ивану, — Яценко — старший. Лошадь, сани, топоры, пилы возьмите. Да, — повернулся к женщине, — как у вас с продуктами?

— Пока есть, в склепе, — поправилась: — В погребках не сгорело.

Иван запряг своего мерина, на сани уложили всё необходимое для строительства. Кое-что из продуктов дала, на первые дни, Клава. На выезде из лагеря, где немцы бомбили, остановились. Решили использовать «работу» лётчиков: наготовить брёвен из поваленных деревьев, в основном сосен.

Нина Сергеевна решила не ждать и пошла было дальше одна, но Николай остановил её:

— Я ведь не знаю, как к вам лучше проехать.

Она вернулась.

То, что увидели партизаны, потрясало. Деревня небольшая, менее трёх десятков домов, и ни одного целого! Среди белых заснеженных площадей чёрные пепелища, а среди этих гарей — печи с неестественно высокими трубами — там, где они не упали. Деревянные дома сгорели дотла, лишь у двух сохранились нижние венцы. Иван, Николай и Виктор не видели того, что творилось в зонах боевых действий, какие там разрушения и какие жертвы среди населения, поэтому пожарище произвело на них жуткое впечатление.

У некоторых пепелищ копошились женщины, старались убрать с полов обломки кирпичей, глины от штукатурки и остатки обгорелых брёвен, чтобы добраться до запасов, которые хранились в погребках. При виде партизан они замерли, выпрямившись, смотрели с тревогой, пытаясь понять, что несёт им появление незнакомых людей. Показалась из-за воза с брёвнами Нина Сергеевна, это успокоило женщин, они подошли к ней и стали спрашивать, надолго ли пришла помощь.

— Что, мужчин совсем нет? — спросил на правах старшего Иван.

— Есть, — ответила за всех Нина Сергеевна.

— И где они?

— Четверо ферму латают — дах працякае, а старики в перелеску со старухами и с малыми детьми возле костров, — мешая русскую речь с белорусской мовой, показала рукой в сторону леса женщина в стёганой телогрейке.

Оказалось, что два длинных коровника не были сожжены, там, к удивлению Ивана, были коровы. Но людям подселиться к животным было невозможно: из-за дыр в крыше — дах працякае — в коровник намело снега, ни окон, ни дверей, в помещениях было так же холодно, как и под открытым небом.

Решение было принято такое: в первую очередь восстановить стены дома, у которого сохранились нижние венцы и не разрушилась печь, и одновременно закрыть проёмы пуствующего угла коровника, очистить там пол для костра.

В первый же день, когда начали класть венцы дома, из леса вышел к строителям мальчишка лет шести. На голове у него была вязаная шапчонка, сбившаяся набекрень, поверх её повязан женский платок. На теле, кроме своей одежки, очевидно не слишком тёплой, была материна кофта, рукава которой накрест охватывали пацана и были завязаны узлом на спине. На ногах — валенки. Он остановился поодаль и стал наблюдать, как работают мужчины. Стоял неподвижно пять минут, десять, полчаса.

— Что стоишь как истукан? — не выдержал Виктор, — Иди ближе — вон, под полущубок.

Иван и Виктор, разогревшись от работы, скинули тяжёлую одежду.

Но мальчишка не шелохнулся. Тут за ним пришла мать и увела к костру. Отогревшись, мальчуган пришёл на своё место снова. Пришёл и на следующий день, и на третий. Стоял, смотрел и молчал. О чём-то думал.

— Скажи, как тебя зовут? Говорить-то умеешь? — попытался вывести малыша из задумчивого состояния Виктор.

— Раньше умел, — ответила за сына мать, уводя его в очередной раз к теплу.

Снег шёл, потом небо прояснилось, и крепчал мороз. Но вместе с местными мужиками при помощи женщин через неделю всех детей разместили в новом доме, в тепле, а взрослые ютились в утеплённом углу коровника.

Немцы не появлялись, непонятно было, что их занесло прежде в этот глухой угол, куда ехали вдали от магистральной дороги?

Голод погорельцам пока не грозил, хотя молока детям не было: коровы не доились — до отёла было ещё далеко.

Когда отстроили ещё два дома, туда перебралось большинство селян, и партизаны засобирались в лагерь.

Благодарные жители предложили им взять с собой картофеля. Оказалось, что колхозный картофель хранился в поле, в буртах под соломой, и теперь уже под толстым слоем снега. Иван удивился, но Виктор сказал:

— А что — у нас колхозная тоже в поле остаётся.

У погорельцев не оказалось мешков — всё сгорело.

— Сделаем на санях короб, — предложил Николай, — увезём сколь-нибудь.

— Помёрзнет, — сказал с сожалением Виктор.

Нина Сергеевна выручила:

— А от там есть ещё солома — накроете бульбу, довезёте.

Расколотое на доски бревно пригодилося, поставили доски на ребро — по краям саний — получился вместительный короб. Один бурт вскрыли, нагрузили сани картофелем, навалили сверху соломы.

Неожиданно для парней многие женщины пришли проводить помощников.

— До свиданья! Храни вас Бог.

— До побачэння. Пospехау вам.

— Спасибо. Удача не помешает, — ответил за всех Виктор.

Весь отряд ушёл на задание. Когда Иван с товарищами пришёл в лагерь, там оставались только: повар Клава, кузнец Пётр Остапович, Кузьма и Лёшка. Нога у Алексея поджила, он, чуть прихрамывая, ходил по лагерю с винтовкой, охранял, значит, и гордился тем, что был в этот момент почти за главного тут.

— Опять мы в стороне, — сказал со злостью Николай. — Война кончится, спросят люди, сколько фашистов положил, а что я отвечу? Что два дома построил да на сарае крышу покрыл? Куда пошли наши? — обратился к Алексею.

Тот пожал плечами:

— Мне не докладывали. Пошли немцев с Новым годом поздравлять.

— Как?! — в один голос изумились Виктор с Николаем. — Когда Новый год?

Иван тоже потерял счёт дням. Насчёт того, что скоро война кончится, с Николаем он не был согласен. Иван видел, какая громадная сила прошла на восток уже в первый день войны, а сколько прошло потом — кто знает.

— Ха! — развеселился Алексей. — Мы-то думаем, что вы там гулеванили по случаю праздника, а вы и не знаете, что Новый год уже наступил. Скажи им, Кузя.

Кузьма улыбался, но ничего не говорил. И тут подошла Клава.

— Пойдёмте, ребята, я приготовила ужин.

Под навесом от печки шло тепло. Пётр Остапович уже был тут. Клава поставила на стол тарелки с картофелем, с ломтиками сала, с хлебом. Налила в кружки горячий чай. Подняла свою и сказала:

— Картошка ваша немного подмёрзла, сластит, но ничё. Командир спасибо скажет. Вот. С наступающим вас. Желаю вам...

— Как с наступающим?! — Николай глянул на Алексея. — Ну, жук, ухмыляешься?! Надул, да? Ну, подожди!

— Желаю вам в новом году побить фашистов и дожить до победы, остаться в живых, значит, — закончила свою речь Клава.

В ожидании возвращения отряда Иван с товарищами готовил дрова. Начали вскрывать мёрзлую землю, чтобы построить ещё одну землянку. Потом Ивана позвал Пётр Остапович — поработать молотом. Они сковали клин, сбоку которого была полоса с двумя отверстиями.

— Что это? — спросил Иван. — На плуг не похоже.

Кузнец только улыбался, прикладывая штангенциркуль к остывшей поковке — измерял расстояние между отверстиями. Потом смотрел, входят ли в отверстие болты. Наконец сказал:

— Взрывчатки у нас нет, а эта штука свалит поезд.

Отряд вернулся на четвёртый день нового года. На передних санях, теперь все четыре коня были запряжены в сани, лежал мёртвый партизан, ещё двое были ранены, сидели рядом с покойным. Пешня, которую сковал в первые дни Пётр Остапович, пригодилась теперь, чтобы выкопать могилу. Из тесовых досок сделали гроб.

Короткая речь командира, небольшой холмик, деревянный крест и залп из трёх винтовок. На кресте Пётр Остапович раскалённым штырём выжиг:

Сидоров Валентин. 2.01.1942 г.

Только дата смерти. Дата рождения неизвестна. Сидоров Валентин был из красноармейцев, которые влились в отряд несколько дней назад. Никаких других сведений, кроме тех, что попали на крест, о нём не было.

Николай при похоронах отсутствовал: он, наконец-то, дождался, что его пошлют куда-нибудь с заданием, и ушёл в тот же день, когда вернулся отряд. Ушёл, как понял Иван, в город, так как перед выходом мылся и брился, и никакого оружия с собой не взял. Куда идёт и с какой целью, Ивану не сказал — не положено.

Появился в отряде Денис, о чём-то сообщил командиру, и там же, в командирской землянке, его накормили и уложили спать. Иван только обменялся с ним приветствием. А уже следующим днём парнишка ушёл своим маршрутом опять.

Иван видел, что затевается какое-то большое дело — один за другим уходили партизаны во все концы. А он оставался неизменным работником в лагере. Обратился к Тихону, как раз когда вернулся Николай:

— Когда же меня пошлют?

Тихон посмотрел ему в глаза:

— Тебе в город нельзя.

— Почему?!

— Слишком приметный, сразу видно, что пришлый, без пропуска погоришь.

— Ты большой и цветной, — подтвердил Николай, довольный тем, что ему, наконец, было поручено дело, с которым он успешно справился. — Но ты, Ваня, не горюй: скоро всем будет работа.

Иван получил оружие: винтовку погибшего Валентина Сидорова и к ней неполную обойму — четыре патрона. И к изумлению Ивана Тихон сказал ему:

— Как ты думаешь, Марийка по тебе не скучает?

Иван даже покраснел от такого вопроса, но ответил:

— Узнать бы — как они там?

— Сходи, узнай. Помнишь старика, у которого мясо брали?

— Лукича?

— Да. Колхозники нам собрали продуктов, они у Лукича. Надо привезти. Пойдёте с Николаем, с Первым. Передавай привет Марийке от меня и Устинье Фёдоровне тоже. И вот что, лыжи, если найдёте там у кого, попросите. Деньги появятся у нас — рассчитаемя. Снега навалило, а лыж мало — прямо беда. Вежливо просите, не обижайте людей.

— Конечно.

Но не успели они собраться с Николаем, как объявили построение.

Александр Захарович оглядел своих бойцов и сказал без предисловий:

— У Льва Владимировича есть сообщение.

Гольдин снял очки, запотевшие на морозе, протёр носовым платком, надел и тоже оглядел строй. Бойцов в отряде уже столько, что не всем хватило места на поляне.

— У меня несколько сообщений. Первое: стало известно, что партизаны в некоторых отрядах берут у крестьян продукты и тёплые вещи без разрешения. Партия и Правительство категорически запрещают обижать население. Этим мы настраиваем наших людей, — Гольдин сделал ударение на слове *наших*, — против партизан. То есть способствуем врагу. Второе: замечено, что у некоторых товарищей появились насекомые. Вши — разносчики болезней. Необходимо покончить с этим явлением.

— Мы уже боремся с кровопийцами, — не удержался от реплики Виктор, — вот.

Он распахнул свой полушубок, и Гольдин увидел подол рубахи, на котором выгорел изрядный кусок ткани. Рядом засмеялись.

Иван днём ранее видел, как выжаривали над костром вшей из рубах Виктор и ещё два парня. Иван тогда посоветовал им делать это на горячих камнях, а не над огнём, чтобы не сжечь одежду. И как в воду смотрел. Гольдин обернулся к командиру:

— Надо, Александр Захарович, подумать, как организовать санитарную обработку.

Командир кивнул:

— Есть идея, сделаем.

— Третья новость очень хорошая, товарищи, — продолжил Гольдин, — просто замечательная новость: фашистам под Москвой дали прикурить. Целый ряд городов освобождён, и наша армия бьёт захватчиков в хвост и в гриву.

— Ура! — грянуло дружно, так что снег посыпался с ветвей.

Радио у Василия Фёдоровича молчало уже давно — из-за того, что «сели» батареи питания, а тут, оказывается, что кто-то принёс новые батареи в лагерь. Глянул Иван на счастливую, широкую — до ушей — улыбку Николая и подумал: «Однако Колька в город не зря сходил».

Александр Захарович дождался, когда Гольдин закончит речь, сказал:

— В отряде дяди Васи был наказан партизан-мародёр. Наказан расстрелом. Имейте в виду: никакие заслуги не спасут, если кто-то станет грабить население. Всё. Свободны.

Тихон подозвал Николая и Ивана:

— Вот что, бойцы, новая вводная: увезёте в лазарет раненых, а потом в Липки, в свою деревню за продовольствием, как было сказано.

— Где лазарет? — удивились парни.

— А там недалёко, в соседней деревне.

— Прямо в деревне?! А немцы?

— Там покажут, где прячут. Говорят, что место надёжное.

Один из раненых ехать в деревню наотрез отказался:

— Дырка в боку у меня заживёт, ноги целы, если немцы нагрянут, я и повоювать могу, и драпануть, если что. А в деревне от немцев не спасёшься. Юрка хочет ехать — ему надо к доктору — пусть едет.

Юрий кивком подтвердил, что ему лучше показаться доктору: кроме рваной — от осколка — раны на ноге, у него болело что-то в груди. Иван с Николаем перенесли его в сани, усадили в солому, прикрыли рядом, которое им выдала Клава. Рядом с ним, под солому, Иван спрятал винтовку, Николай своё ружьё подсунул с другой стороны.

Снег на дороге притоптан, конь легко, трусцой, увлекал сани под нависшими, присыпанными снегом ветвями деревьев.

— Юрка, значит? — спросил Николай раненого, когда выехали за пределы лагеря.

Тот глубоко вдыхал холодный воздух, наслаждаясь свежестью после духоты землянки.

— Ага, — отозвался Юрий и приподнялся на локте. — Уй, хорошо как!

— Ты не увлекайся, — обеспокоился Иван, — если грудь болит, то простудился, может быть. Добавишь ещё и — хана.

— Не, это меня об землю шибануло на камень, наверное.

— Да, расскажи, как вас поранило, — вступил в разговор Николай. — Чё хоть сделали?

— Сделали. Там разобрали путь, говорят, поезд с рельсов сошёл, несколько вагонов перевернулось. Но это без меня — после, когда меня ранило. А была мечта на мосту аварию устроить. Но плохо разведали. Охрану на мосту и возле мы подстрелили, а когда сунулись — там пулемёт замаскированный оказался. Вальку Сидорова сразу наповал, мы его еле вынесли.

— А тебя где ранило?

— Меня-то? Потом, когда уходили от немцев. Им подмога пришла, с другой стороны моста, гранатами нас, еле ушли.

— А как же поезд?

— Двое наших, пока мы с немцами бились — отвлекли их, значит, двое километра за два от моста скрутили гайки, сдвинули рельсу. Вот. Воинский был эшелон, говорят, сколько-то немцев погибло, покалечилось, ну и машины побились там. Не шибко здорово, на мосту бы лучше, но не получилось. В следующий раз умнее будем.

— До следующего раза подлечиться надо, Юра.

Не доезжая деревни, свернули в небольшой лесок. Николай пошёл на разведку и вскоре вернулся с молодым парнем.

— Вот, — сказал Николай, — это доктор. Его зовут Степан Николаевич.

Парень ничуть не смутился, что его назвали по имени-отчеству. Он сказал:

— Давайте-ка из лесочка выедем: маскировку нарушаете.

Смысл его слов дошёл до партизан, когда сани спустились по дороге под небольшой уклон, а потом Степан Николаевич круто повернул к тому же леску, только с противоположной стороны. Парни удивлённо переглянулись: лесок был рядом с деревней и просматривался, кажется, насквозь. От края леса к центру была тропа, но метров через двадцать она упиралась в большую кучу хвороста. Можно было подумать, что некоторые жители ходят сюда за топливом для печи. Но хворост закрывал от посторонних глаз вход в подземелье. Юрия на руках принесли от саней в это убежище.

— Тут до войны хранилище строили, да не успели — то ли для картофеля, то ли для овощей, я не знаю, — сказал Степан Николаевич перед входом в помещение. — Теперь вот храним раненых.

— Немцев не бывает? — обеспокоился Юрий.

— В деревне бывают и немцы, и полицаи, но им в голову не приходит, что рядом может находиться госпиталь.

В подземелье горела керосиновая лампа, освещая лежащих на матрасах на полу раненых. Некоторые из них приподнялись, когда в широкую дверь вошли доктор и парни с Юрием на руках.

— Лежать, лежать, — приказала им невысокая девушка в сером халате, очевидно, медсестра, — к нам новенький.

— Ага, — отозвался Юрий, — дырка у меня совсем новая.

Доктор распорядился уложить его на стол, а не на матрас, кивнул помощнице на потолок:

— Валя, открой.

Она выскользнула за дверь, и через несколько мгновений на стол хлынул свет. В потолке было окно, которое закрывалось деревянной крышкой, покрытой мхом и снегом. Валентина вернулась.

Осмотрев рану, Степан Николаевич, обнадёжил:

— Тут осколок сидит, мы его удалим, и всё будет хорошо. Гангрена, вроде, не намечается.

Послушал грудь:

— Внутренности в порядке, а болит ушиб — пройдёт.

— Ну, мы свободны? — спросил Иван.

— Я провожу.

Они вышли на воздух. Парням было интересно узнать, как такой молодой человек — вряд ли ему больше двадцати лет — оказался врачом партизанского госпиталя.

— Учился в медицинском в Минске, на третий курс перешёл. В гости я приехал к родным, а вдруг — война. Пока думал, что надо возвращаться, немцы Минск взяли. В отряд пришёл, командир узнал, что я медик, ну и отправил сюда — раненые как раз появились. Хирург поневоле. Но пока справляюсь, — Степан Николаевич постучал согнутым пальцем по стволу ближней берёзки.

— Инструменты откуда, лекарства? — спросил Николай.

— Доставили мне инструменты, и лекарства, и бинты. Не густо, но есть. Будет у вас возможность — приносите. А сами — желаю вам — лучше не попадайте под пули, чтобы у меня было меньше работы.

Короткий зимний день сменился сумерками. Там, где село солнце, красно-розовое небо казалось освещённым заревом пожара, и это вызывало беспокойство в душе. Как там, Марийка, Анечка и Устинья Фёдоровна?

Ни полицаяв, ни немцев в деревне не оказалось.

— Ты иди к своей, ночуй, — сказал Ивану Николай, — а я — к Лукичу. Давай вожжи мне.

Иван слез с саней, пошёл, разминая застывшие ноги, оскользаясь на неровностях дороги, в край деревни, к дому, где надеялся встретить тепло и ласку. Сердце от волнения колотилось сильнее, чем тогда, когда ждал боя с немцами на шоссе.

Дверь в сени не была заперта, словно здесь ждали кого-то. И действительно, едва скрипнула половица под ногой, как навстречу Ивану отворилась дверь из жилой части, и навстречу ему шагнула Марийка.

— Ой! — только и выдохнула она. — Ваня...

— Ты знала? Ждала меня? — изумился Иван, обнимая её.

— Знала, что будут партизаны за продуктами, и немножко надеялась, что пошлют тебя.

В комнате горела лучина.

Устинья Фёдоровна поднялась со своего привычного места, слегка наклонила голову в приветствии, сказала:

— Добры вечер.

Потом она шагнула ближе к Ивану, прикоснулась рукой к его плечу, словно проверяя, что перед ней реальный человек, а не ночное видение.

— Ваня, — вдруг раздался детский голос с печи, — лови меня!

— Анечка, не надо — я грязный!

Но девочка уже не могла удержаться на краю, Ивану невольно пришлось подхватить её на руки.

— Ты не забыла меня? — горло перехватило от волной окатившей нежности.

Иван передал девочку матери, стащил со спины котомку, развязал узелок.

— Вот, — сказал, доставая деревянную куклу, — бери, она давно к тебе просится. Будет тебе сестрёнкой.

Аня взяла куклу в руки, внимательно всмотрелась в неё, потом прижала к груди:

— Голенькая, ей платице надо.

— А спасибо где? — напомнила ей мама.

— Ваня мой папа, — вместо благодарности сказала девочка, влезая на печь.

— Я на всякий случай баню истопила, — сказала Марийка. — Будешь мыться, или вы сразу в лес?

— В баню! — выдохнул Иван.

Марийка собрала бельё Ивану и полотенце, и они пошли друг за другом по узкой тропе, прочищенной в снегу, которого было почти по пояс. Марийка зажгла огарок свечи и поставила её в знакомый Ивану фонарь.

— Воши есть? — спросила она.

— Да нет вроде. Хотя у некоторых парней рубахи погорели, когда они вшей жарили. Николай бы тоже помылся, если тут воды хватает. За все дни только раз в бане были.

— Я позову его, — сказала Марийка, чмокнула в небритую щёку Ивана и вышла.

Когда Николай пришёл, Иван сидел в предбаннике на лавке, отдыхал после парной.

— Ну, что, — спросил товарища, — есть что везти?

— Есть, — Николай стащил с себя всю одежду, потянулся. — Такая благодать — ходить без штанов! Иногда мне кажется, что жизнь наша — это кошмарный сон, что всё неправда, что такого не может быть.

— И мне. А настоящая жизнь — вот она.

В доме, при лучине, Иван толком не разглядел любимую, в предбаннике свеча слабо освещала её, на улице было темно под закрытым облаками небом — укладываясь в постель и обнимая Марийку, он прошептал:

— В потёмках так и не увидел тебя. Кажется, ты поправилась.

— Есть немного, — шёпотом отвечала она с тихим смехом, — тебе не нравится?

Иван не ответил, припал к её губам.

Рано утром, ещё не рассвело, раздался стук в оконную раму. Иван, дожёвывая завтрак, в одних носках вышел на крыльцо:

— Мы уже не спим.

— Давай, жених, пока темно, сматываемся. Мы с Лукичом всё погрузили. И три пары лыж есть, одни с «кисой».

У ворот стоял рыжий мерин, запряженный в сани. Иван вернулся в дом, сел на табурет, чтобы надеть ботинки, и увидел рядом с ними валенки, которые он подшил осенью.

— Надень, — негромко сказала Марийка, — зима же.

Горела лучина, зажжённая Устиной Фёдоровной, свет падал на Марийку сбоку, она стояла перед ним в одной сорочке, и он опять отметил, то, что знал теперь наверняка:

— Ты поправилась. Не болеешь, случаем?

— Глупенький, — засмеялась Марийка.

— Яна цяжарная, — Устинья Фёдоровна решила, что Ивану надо знать правду.

— Что? — он не знал этого слова, но понял: — Ты беременная?!

В глазах Ивана Марийка прочла изумление, кажется — радость и... тревогу. Она склонилась голову:

— Да. У меня будет ребёнок.

В оконную раму повторился стук. Иван держал в руках полушубок и не знал, что делать.

— У нас ребёнок?!

Марийка обняла его, не стесняясь свекрови, поцеловала крепко:

— Иди. Иди, родной, и возвращайся. Мы будем ждать.

Анечка спала и не видела, как ушёл «папа».

Иван стоял на запятках саней, Рыжий шёл трусцой, и продвигались они быстрее, чем если бы шли пешком. Николай — сзади, наслаждался тем, что подбитые мехом лыжи скользили прекрасно, и он, при желании, мог бы обогнать коня.

Рассвело, и уже оставалось не более километра до лагеря, как навстречу Ивану с Николаем вышла группа партизан. Все на лыжах, впереди — Тихон.

Остановились.

— Фу-у, — выдохнул Тихон, — живы?

— Да, — удивился Иван, — почему нет?

— Нам сообщили, что каратели должны нагрянуть в наши края. Вот мы и двинулись предупредить вас, чтобы не сидели долго в деревне. Предупредить и, если что, выручить вас, ну и продукты, конечно, спасти.

В лагерь вернулись все вместе.

Кирилл с двумя бывшими красноармейцами привёл в расположение отряда немца. Все, кто оставался в лагере, сбежались смотреть пленного. Немцев видели многие в прицел винтовки, те, кто бывал в городе или на разведке в деревне, видели сытых уверенных в себе «хозяев», а вот этот — каков?

Фриц не был связан. Шинель его внизу была расстёгнута, он обеими покрасневшими от холода руками держал штаны. Партизаны ремень у него отняли, пуговицы срезали — чтобы не сбежал, и так привели под конвоем в расположение лагеря. Немец изрядно замёрз, дрожал, кожа лица его покрылась пупырышками, но взгляд упрямый, злой.

— Однако шинелишка у него на рыбьем меху, — сказал кто-то сзади Ивана, — где вы такого взяли?

— Деревню эти сволочи сожгли, — сказал Кирилл. — Мы на огонь-то и вышли. Их там уйма была — не сунешься. А двое в кустики отошли. Одного закололи, а этому кляп в пасть и — ходу.

— И на хрен он нам сдался?

— Не знаю, — Кирилл развёл руками, — начальству, может, что скажет. Комиссар у него документы взял.

— Не улыбается, — сказал негромко, самому себе, Иван.

Его услышали. Николай, удивился:

— Ты чего, Ваня?

— Так. До этого я видел только весёлых фрицев.

— А-а. Ну, они у нас ещё попляшут и плакать будут.

В это время из землянки показался командир, за ним вышел Гольдин, поднял руку, в которой была какая-то бумажка.

— Вот, товарищи, послушайте, что написано в памятке немецкого солдата. Я уже слышал об этом, но прочитал сейчас впервые.

«У тебя нет сердца, нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сочувствие — убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик — убивай, этим ты спасёшь себя от гибели, обеспечишь будущее своей семье и прославишься навеки».

На поляне воцарилась тишина. Кирилл стащил со своего плеча автомат, отнятый у немца, но Александр Захарович остановил его движением руки. Немец что-то произнёс дрожащими от холода губами.

— Что он сказал? — спросили сразу несколько парней у Гольдина.

— Он сказал, что он солдат Германии, а солдат Германии находится под защитой фюрера.

Тут зашумели все.

— Гнида!

— Распятъ его!

Немец опять что-то сказал, видимо, догадался, чего требуют от командира русские парни.

Гольдин перевёл:

— Он сказал, что он пленный, а пленных расстреливать нельзя. Иначе будем наказаны.

— Су-у-ка!

— Отставить! — скомандовал Александр Захарович. — Кирилл и Тимур, приказываю вам сопроводить пленного в штаб бригады. Отправляйтесь немедленно!

Недавно командиры нескольких партизанских отрядов встретились и решили, что следует координировать свои действия, образовать бригаду, для чего был избран штаб. Штаб временно располагался на базе отряда дяди Васи.

Гольдин зашёл в землянку и скоро вышел. Партизаны, сбившись в круг, курили и обсуждали «Памятку» и то, как выглядел пленный фриц.

— Звери!

— Хуже зверей!

— Ребята, что вы курите? — обратился к ним комиссар. — Дайте затянуться разок.

Сам Гольдин недавно бросил курить. Когда он прибыл в лагерь, был у него запас папирос на месяц. Однажды, выйдя с папиросой на воздух, он увидел, с какой завистью смотрели на него бойцы — с куревом в отряде было «хуже некуда». Поделился — пачка «Беломорканала» разошлась мигом.

Шутили мужики:

— Если «Дели» надоели — то покурим «Беломор»!

В общем, месячного запаса Гольдина не хватило и на неделю. Тогда-то комиссар и решил бросить курить. И вдруг: «Дайте затянуться...»

— У меня — «Дубки».

— У меня — «Матрас моей бабушки».

— Лев Владимирович, «Матрас» трещит, самый лучший сорт у меня: «Клён ты мой опавший».

Табак был в дефиците, пачку махорки, принесённую кем-нибудь, делили по-братски, а потом к табаку добавляли сухие листья или травку — кто во что горазд. Отсюда и появились названия изобретенных «сорт» табака.

— Давай твой «Клён».

— Вы же, вроде, бросили, товарищ комиссар?

— Бросил, — Гольдин затянулся, выдохнул: — Ну и вонь! Бросил, а сейчас не выдержал. Я при Кирилле не всё сказал, чтобы он этого фашиста живым в штаб доставил. У немца ещё дневник нашли. С первого дня войны делал короткие записи. Вот что записывал: «26 июня. Принял участие в очистке квартир, кое-что захватил с собой.» Или вот: «...разговариваем с населением языком автоматов и пулемётов. Крики, стоны, кровь — у меня чешутся руки, когда вижу толпу. Стрелять, стрелять — не знаю большего наслаждения, хотя Отто предпочитает штык».

Гольдин затаился ещё раз:

— Нет, брошу, эту гадость курить невозможно. В дневнике есть ещё более жуткие записи, не буду вам читать, достаточно, чтобы вы поняли, с кем идёт война.

— Мы поняли.

— Давно поняли.

Конвоиры вернулись в тот же вечер, но докладывать командиру о выполнении задания не спешили. Николай увидел, что Кирилл занёс в свою землянку объёмистый свёрток.

— Что-то вы быстро вернулись. Кокнули? — спросил Кирилл. — И барахлишко взял?

— Я себе, что ли? — вскинулся Кирилл. — Форма пригодится, кто пойдёт в разведку, или что.

— Что тебе батька скажет?

Из землянки командира Кирилл вышел без автомата, лицо красное.

— Ну, как? Вломил тебе дядя Саша? — Николай ждал неподалёку.

— Как-как? Отстранил на неделю — вот что! Забрал автомат.

— А! Я бы тоже не сдержался. Убить такую сволочь — сто грехов простится. Вы его сперва хлопнули, а потом раздели, или как?

— Вот ещё! Заставили — сам разделся! Хорохорился, а как приказали раздеваться, так струсил гад, глазки забегали, начал что-то лепетать по-своему. Мразь, в общем.

Пришёл из очередного выхода Денис в сопровождении Ильи и красноармейца. Денис доложил командиру, что в большом селе, в том, где рядом был лагерь военнопленных, работает церковь. Народ ходит слушать проповеди.

— Поп католик или православный? — спросил Гольдин.

— Я не знаю, — ответил Денис, — я туда не заходил.

— Я знаю, — сказал красноармеец, — я разговаривал с одной старушкой. Наш, то есть православный. Немцам служит.

— Мы знаем: не только эту церковь немцы открыли. И что? — спросил Александр Захарович. — У вас есть какое-то предложение?

— Есть, — вмешался в разговор Илья, — привести эту сволочь в лагерь и приговорить к смертной казни. Он внушает старухам, что всякая власть — от Бога.

— Это не новость, — вздохнул командир, — церковь всегда так говорила.

— Да ведь получается, что и фашисты — от Бога. По его проповедям.

— Предлагаешь расстрелять?

— Можно повесить! Патронов жалко.

— Н-да. Что думает комиссар?

Гольдин протёр очки.

— Партия советует прислушиваться к мнению народа. Но в каждом конкретном случае надо разбираться.

— Понятно. Давайте послушаем наш народ, — сказал Александр Захарович. — Илюша, позови ребят.

В землянку командира набилось человек двадцать, Ивана притиснули к столу.

— Давай, Илья, докладывай.

— А что тут докладывать? Поп уговаривает наших людей служить фашистам, а не воевать с ними. Я считаю, что его надо казнить.

— Какие мнения у вас? Лев Владимирович, считает, что надо знать мнение партизан на этот счёт, — сказал Александр Захарович. — Вот у тебя какое отношение к такому священнику, Иван Яковлевич? Вообще — к верующим?

От неожиданного вопроса Иван покраснел. И ещё ему неловко оттого, что командир всегда обращается к нему по имени-отчеству, когда остальных парней он зовёт попросту, по именам.

— Ну, я, — растерялся Иван. — Я в школе учился. А батя у меня в Бога верит. Он говорил, что Ленин не запрещал верить.

— Ленин?! — удивился Гольдин. — С чего это твой отец так решил?

— Они ходили к нему.

— К Ленину?! Кто «они»?

— Ну, ты, Иван, отлил пулю, — голос подал от двери Николай. — Из Сибири к Ленину? Долго топали?

— Почему «из Сибири»? С фронта. Когда с немцами замирились, в ту войну они, солдаты то есть, ходили к Ленину, чтобы узнать, что делать дальше. Армию-то распустили.

— И твой отец был у Ленина?!

Кажется, о священнике, который служит немцам, забыли — такой интерес вызвал Иван сообщением о Ленине. Он посмотрел на командира, словно хотел, чтобы тот избавил его от необходимости рассказывать свою семейную тайну. Но Александр Захарович кивнул ему:

— Как твоего отца звать-величать?

— Яков Мартынович.

— Значит, Яков Мартынович говорил с самим Лениным?

— Нет. Там много было ходоков разных. Он не попал. Те, что вышли от Ленина, рассказывали. Удивлялись, что он всё знает: чем пашут, какая где земля, что сеют, почём пшеница и рожь... В общем, даже спорили, из какой Ленин губернии и чем занимался до революции — пахал или скотину разводил.

— Хорошо, — сказал Гольдин, возвращая разговор к началу, — а про верование откуда у твоего отца такие сведения?

— Это я запомнил. Батя рассказывал, что один солдат задал Ленину вопрос, как ему быть, если он в Бога верит и не собирается отступать от веры? Хотя ему и большевики нравятся, если землю и взаправду дадут, как обещали. А Ленин ему сказал, что важно, как человек относится к эксплуататорам — в мундирах они, в костюмах ли, или в рясе. Если против эксплуататоров, значит, с большевиками ему по пути, хоть верующий он, хоть неверующий.

— Да-а, — сказал Александр Захарович, — такая история. Вот, Лев Владимирович, твоя правда: с народом надо советоваться, глядишь, и узнаешь что-нибудь такое, что заставит задуматься — тебе ли учить людей или самому у них поучиться.

Он замолчал, о чём-то думал. Молчали и парни, ожидая, что ещё скажет командир. И он сказал:

— Владимир Ильич считал, наверное, Иисуса Христа первым коммунистом.

Даже Гольдин изумился словам Александра Захаровича.

— Христос ведь сказал: «Кто не работает — тот и не ешь», — продолжил командир. — И торговцев из храма прогнал кнутом, не так ли, Лев Владимирович?

— Да, — засмеялся Гольдин, — и много ещё чего вполне по-коммунистически: «Не укради...»

— Хорошо, — прервал его командир. Обратился к Ивану: — Ну, так какое твоё мнение, Иван Яковлевич, насчёт попа — казнить или пусть проповедует дальше? Как ты вообще к священникам относишься?

Иван помнил, как сестра Надя плакала, когда вспоминала своё детство. Когда он родился, у отца уже было три дочери. Голодали. Отец нанимался к богатым сельчанам, к кулакам, на работы — пахать, сеять, жать, молотить — за то, чтобы дали ему лошадей для обработки своей пашни. Семья большая, а работник один. Наде к тому времени исполнилось шесть лет. Вот её и отдали в няньки попу, у которого было двое маленьких ребятшек. Надя по ночам должна была укачивать грудничка, чтобы он не плакал и не мешал спать попадье, а днём на её попечении был ещё и старший, непоседа четырёх лет. Рано утром она должна была выпускать коров и овец в стадо, а вечером следить за тем, чтобы вся скотина оказалась на месте. А ещё помогать попадье на кухне, где легко можно было получить затрецину за самую малую провинность. Не жизнь — каторга. Но если бы не взял её поп в служанки, то вряд ли бы выжила Надя в отцовском доме, когда в родном на столе — шаром покати, а мачеха была как мачеха. Неприятно было слышать Ивану такие слова о его матери, но что делать, если это правда? Два года бессонницы — спала Надя

урывками, и если бы не школа — Советская власть в двадцать втором году потребовала, чтобы все дети учились грамоте — так и продолжала бы Надя служить у попа за корку хлеба и тарелку супа. Ничего этого не сказал Иван командиру.

— Не знаю, что делать с вашим попом, — вздохнул он, — решайте сами.

Александр Захарович покивал головой, оглядел своих бойцов и спросил их:

— Верующие старушки помогают нам с продуктами?

Никто не отозвался.

— Помогают, хоть и ходят в церковь к продажному попу. Убьём его, что нам скажут верующие? Спасибо? А немцы привезут другого, и всё будет по старому, или ещё хуже. Как ты считаешь, Лев Владимирович?

— Пожалуй, вы правы, Александр Захарович.

— Илюша, ты настаиваешь на том, что надо попа повесить? — обратился к Илье командир.

— Ладно, пусть живёт, — буркнул Илья. — Пока.

Когда выдавалась свободная минута, Иван шёл к Петру Остаповичу. Смотрел на огонь и на то, как работает кузнец и его помощник. Помогали кузнецу разные партизаны — от случая к случаю. Когда Пётр Остапович был один, Иван с удовольствием качал меха и брал в руки молот. В прошлый раз кузнец делал небольшие звёздочки в четыре конца. Десяток изделий лежал на доске. Иван тогда спросил:

— Что это будет?

— А вот разогреем сейчас, — ответил Пётр Остапович, — и разведём кончики — увидишь, что получится.

Получились пирамидки. Как ни кинь — три шипа в землю, а четвёртый шип торчит кверху.

— Да, — сказал Иван, — эта штука любую шину проткнёт.

— Вы дерево на дорогу свалили, чтобы машину остановить, — сказал Пётр Остапович, — я знаю, а несколько таких колочек под колёсами и — стоп машина! Ребята уже испробовали — очень им понравилось.

В следующий раз Иван помогал ковать плужок, как он про себя назвал клин, такой, что они сделали с кузнецом прежде. Для того чтобы свалить с рельсов поезд. Но в этот раз Пётр Остапович не стал делать у клина крепёж с дырками, а под клином вывел две пластины, пояснил:

— Откручивать гайки на стыках рельс, чтобы закрепить клин — долго, охрана стрелять начинает. А вот этот — раз! — и надел на головку рельса. Перед самым поездом. Уже испробовали — и я с парнями ходил — годится.

— Рационализация, — вспомнил Иван когда-то услышанное им слово от трактористов, работавших в машино-тракторной станции.

— Да, — согласился Пётр Остапович.

На лице его появилось выражение удовлетворения, таким довольным его Иван ещё не видел.

— И что, было крушение? С немцами?

— Да. Нам сообщили со станции, когда пойдёт состав с техникой. О-о! Это было, это было... — Пётр Остапович покачал головой. — Разве я мог когда-нибудь подумать, что собственными руками пушу под откос поезд на нашей железной дороге?!

Видя, что обычно молчаливый кузнец на этот раз не уходит от разговора, Иван решил спросить:

— Вам сколько лет, Пётр Остапович? Вас не мобилизовали по возрасту?

Пётр Остапович положил в угли железную полосу — обрезок колёсной шины, посмотрел на Ивана с некоторым недоумением во взгляде, будто и сам задался таким вопросом.

— Не знаешь? Был приказ по мобилизации, кажется, на второй или третий день после начала войны. Тех, кто родился до тысяча девятьсот пятого года, не призывали. Что получается? Не старше тридцати шести лет, да? А я уже полсотни разменял. Кстати, и молодых по тому приказу не всех брали. Кажется, не моложе двадцати трёх, точно не скажу.

— Вон что... — задумчиво протянул Иван, — то я и смотрю, что парни, не младше меня — Николай, Алексей, Кирилл и другие, — а не в Армии, тут, в партизанах, оказались.

— Если не в партизаны, — вздохнул Пётр Остапович, — то к немцам на заводы, снаряды делать, забрали бы. Или в лагеря.

Летом и осенью партизанский отряд быстро рос, но зимой, к февралю, поубавился. Погибла группа, которая организовала аварию на железнодорожной станции, но уйти от преследования не смогла. Несколько обмороженных красноармейцев отправили в деревню в сопровождении Виктора, который должен был обеспечить пострадавшим устройство в семьи местных жителей. Ещё несколько партизан ушли, не выдержав испытаний голодного существования и жизни в мороз под открытым небом.

Но зато в отряде появился человек с «Большой земли». В Москве были приняты решения о поддержке партизанского движения: людьми, вооружением, средствами связи, медицинскими материалами. Партизанскую самодеятельность требовалось подчинить общим задачам фронта.

Какие инструкции привёз из Москвы «товарищ Фёдор» — под таким именем посланец стал известен в отряде, — рядовые партизаны не знали. Фёдор интересовался, как вооружены партизаны, где снабжаются продуктами, как у них с одеждой. Он подарил комиссару пистолет ТТ с двумя обоймами патронов. Гольдин смутился:

— Зачем очкарику пистолет?

— Совсем плохо видите? Никогда не стреляли?

— Стрелял два раза — в тире. Но даже в мишень не попадал. Хотя мишень видел как будто неплохо.

— Понятно. Давайте я вас научу. А то, что получается: комиссар при случае себя защитить не может!

К сосне прибили фанерный щит, на котором был изображён бравый немецкий ефрейтор, он рукой указывал направление движения. Кто-то из партизан, возвращаясь на базу, сорвал этот указатель.

— Вот, во фрица и постреляем, — сказал Фёдор, обращаясь не столько к Льву Владимировичу, сколько к партизанам, которые окружили их.

— Для начала на десяток шагов отойдём, — продолжал урок Фёдор. — Давайте, товарищ комиссар, два выстрела в этого вояку, а я посмотрю, как вы это делаете.

Гольдин прицелился, нажал на спуск — грохнул выстрел, но щит не дрогнул, пуля ушла «за молоком». И вторая миновала цель.

— Вот, — Лев Владимирович был несколько смущён, но попытался шутить, — точно как в тире. Я с тех пор не боюсь тех, кто против меня с пистолетом, — не попадут!

— Всё ясно, — сказал Фёдор, — типичная ошибка всех начинающих: не умеете держать пистолет. Кисть должна быть закреплена жёстко, иначе при нажатии на курок ваша расслабленная рука уводит ствол вниз или в сторону. Кстати, Дантес, убийца Пушкина, я думаю, был хреновым стрелком. Попал Пушкину в бедро, очевидно потому, что кисть была расслаблена и пуля ушла ниже.

— Ну-у?! — удивились парни.

— Как её закрепить? — усомнился Лев Владимирович. — Я и так держал рукоять изо всех сил.

Фёдор забрал пистолет.

— Сок выжимать не надо. Смотрите: напряжены два пальца — безымянный и мизинец. Запястье становится жёстким. Рука — как палка. Куда ни поверни — мушка в прозе не утонет. Одновременно указательный палец должен быть свободен, чтобы плавно обработать спуск.

Иван вслед за комиссаром повторил движение пальцами — пистолета в руках ему держать не доводилось. И он видел, что Николай и другие партизаны тоже слушали инструктора заинтересованно.

Фёдор вернул пистолет комиссару.

— Попробуйте теперь.

Лев Владимирович взял оружие, посмотрел, как его пальцы держат рукоять, пошевелил указательным, поднял руку, прицелился. Заметно было, как рука с пистолетом ходит из стороны в сторону.

— Ничего, — сказал Фёдор, — это нормально. Нужна тренировка. Держите ровно мушку в прорези и не забывайте про кисть.

Щит с немцем дрогнул от попадания пули.

— Действительно, — удивился Лев Владимирович, — попал!

— Ещё.

И ещё две пули легли в мишень.

— Не кучно, но ваш фриц уже покойник, — прокомментировал Фёдор.

Лев Владимирович обернулся к партизанам, протянул пистолет стоявшему ближе других Ивану:

— Попробуй.

Иван взял пистолет. Его холодная компактная тяжесть непостижимым образом придавала чувство уверенности: ты вооружён! Вот почему у командиров такое оружие... Он поднял пистолет на уровень глаза, закрепил кисть, как учил Фёдор, нажал спуск.

— Попал! — это Николай. — Дайте мне!

Иван нехотя расстался с пистолетом, в котором оставалось ещё два патрона.

Николаю тоже удалось поразить цель. И Тимуру досталось выстрелить один раз. И восторгу его не было предела, когда у плакатного фрица появилась дыра во лбу.

— Ну, ничего, — скупно похвалил парней Фёдор, — способные ребята. Одну обойму, Лев Владимирович, расстреляли, но не расстраивайтесь — у меня есть в запасе патроны.

— Товарищ инструктор, — подал голос Кирилл, ему немного обидно, что выстрелить из пистолета не довелось, — нам что — этот пистолет? Нас из винтовок толком стрелять не научили. А у меня — вот — автомат немецкий. Я из него по немцам шмальнул, но не попал. Почему?

— Далеко до немцев было?

— Ну-у... метров двести или около того.

— Зря патроны трагил, — сказал Фёдор. — Это оружие для ближнего боя. Кучности нет, рассеивание большое.

— Баб и ребятшек в упор стрелять, — угрюмо подтвердил Николай.

— Наша винтовка надёжнее, мощнее, для дальнего боя лучше, особенно если с оптическим прицелом.

— А немецкая винтовка как?

— Тоже ничего. Лучше, я считаю, чем их автомат, надёжнее. Но всё зависит от условий боя.

Была намечена совместная операция с отрядом дяди Васи — атака на охраняемые немцами склады с оружием, которое не успели использовать части Красной Армии. С оружием в отрядах было не густо, а с наступлением тёплых дней ожидали, что в леса уйдёт масса народу — не только мужчин, но и женщин. Фашисты жгли деревни вместе с жителями. Из обоих отрядов небольшими группами велась разведка объекта и, наконец, решение было принято. В лагере дяди Саши в этот день остались немногие: Клава, у которой несколько дней назад появилась помощница Варя, кузнец Пётр Остапович да несколько партизан для охраны. Даже конюх Кирей Карпович шёл со всеми — правил одной из лошадей, запряжённой, как и три других, в сани.

Отряд полным составом длинной цепочкой вытягивался из леса, когда к командиру, идущему на лыжах впереди, приблизился авангард, три партизана. Они должны были разведать, нет ли немцев или полицаяев в деревне, через которую лежал путь отряда.

— Александр Захарович, — задыхаясь от волнения, доложил Кузьма, — там... там — беда!

— Говори, — командир не сбавил шаг, — что случилось?

— Случилось: немцы сожгли людей.

Но запах гари уже доносило ветром до впереди идущих, и вот оно: открылся вид на деревню. Прямо перед отрядом оказался чёрный, закопчённый снег, а за ним — большое угасшее кострище. Среди пепла и углей в разных позах полусгоревшие тела взрослых и детей. При приближении людей над пепелищем с тревожным карканьем поднялась стая ворон.

Командир остановился, замер, отказываясь верить тому, что видел. Партизаны подходили и останавливались рядом, потрясённые жутким зрелищем. Иван сошёл с саней и тоже стал перед местом казни. Здесь когда-то был большой амбар, в него, было понятно, каратели согнали всех людей из деревни и подожгли. Несколько домов тоже были сожжены, из тех, что оставались целыми, не показался никто, не донеслось ни звука.

Иван оторвал взгляд от погибших людей, глянул на командира. Лицо Александра Захаровича было смертельно белым, глаза прикрыты, из-под ресницы по щеке ползла слеза. Он вскинул голову, повернулся к отряду.

— Смотрите, братья, что делают изверги с нашими матерями, с отцами, с малыми ребятишками... Запомните это! — он помолчал, молчали и партизаны. — Фашисты думают запугать нас — не на тех напали! Будем мстить, пока не останется на нашей земле ни одного гада! Мы покажем им, на что способен советский человек!

Надо бы похоронить погибших, но задерживаться было нельзя, чтобы не подвести второй отряд, не сорвать намеченную боевую операцию. Обнажив головы, прошли мимо траурного места, вдоль по улице мимо уцелевших домов. Двери везде распахнуты, над остывшими печными трубами ни единого дымка. Ни души. Лишь большой серый кот метнулся в испуге через дорогу и скрылся за сараем.

К месту сбора отрядов прибыли к вечеру. Расположились в лесу в полукилометре от территории складов.

— Костров не жечь, — был приказ.

Тихон привёл своих ребят на край леса, чтобы они, пока не стемнело, посмотрели подходы к складам. Прячась за деревьями, осмотрелись.

Территория была огорожена наполовину высоким дощатым забором, поверх которого навешены два ряда колючей проволоки — эта часть ограждения была, очевидно, сделана перед войной советскими военными строителями. И тогда же на территорию уже начали завозить вооружение. Но строительство не было доведено до конца. Вся техника — пушки, миномёты, ящики с винтовками и боеприпасами — хранилась под открытым небом, закрыта брезентом. Лишь небольшая часть вооружений была под шиферным навесом, но тоже укрыта брезентом. И там же, под навесом, был небольшой склад, сколоченный из досок.

Ещё одна половина ограждения была из колючей проволоки, которая позволяла видеть почти всё, что происходит на охраняемом объекте. Колючая проволока, можно догадываться, натянута немцами и в том месте, с внутренней стороны, где был забор. По двум углам территории — вышки, за толстыми брёвнами угадывались пулемёты. Ворота тоже из колючей проволоки, к ним хорошо накатанная в снегу дорога. Рядом с воротами — небольшое кирпичное караульное помещение с одним окном и с бойницами на все четыре стороны.

— Когда будем штурмовать? — негромко спросил Николай Тихона. — Тут одними винтовками не сладить, нужны гранаты.

— У меня и патронов всего четыре, — сказал Иван.

Тихон оглядел Ивана, Николая и всех своих подчинённых, притихших в ожидании разъяснений, как можно одолеть эту небольшую крепость.

— Значит так: не шуметь — это первое. Второе, не соваться куда попало: разведка обнаружила, что возле ограждения установлены противопехотные мины, проволоку под снегом не видно.

— А чё мины не снимали?

— Затем, чтобы не наследить, чтобы фрицы заранее не обнаружили, что готовится нападение. На территорию будем входить через ворота — по сигналу. Патроны, — Тихон вынул из кармана обойму, протянул Ивану, — возьми. Стрелять только по команде, только в крайнем случае. Твоя задача состоит в том, чтобы быстро загрузить сани оружием и боеприпасами. Это для всей нашей группы задача, но ты должен первым подогнать сани к месту, без задержки, за тобой остальные возчики. И смотри, санки на пеньках не разбей.

— Да, я вижу, — сказал Иван, — фрицы, похоже, здесь лес специально вырубил, чтобы обзор вокруг склада был больше. Но как я в темноте увижу пни? Их под снегом и сейчас не вдруг разглядишь.

— Ночью на проволоку и под прожектора не полезем, брать будем завтра днём, — сказал Тихон, — когда охране обед привезут. А сейчас — отдыхать.

Отдыхать без костра, когда к ночи мороз окреп, не самое большое удовольствие. Иван с Николаем устроились на соломе в санях, к ним привалились ещё несколько партизан. Другие расположились, тоже тесно сгрудившись, на лапнике. Крайние быстро мёрзли и лезли в сердку, тесня тех, кто пока не проснулся. Иван уснул ненадолго, встал, освобождая место, отошёл под дерево, где светился огонёк сигарки.

— Что не спишь? — это был Тихон. — Замёрз?

— А вы? — Ивану называть своего командира, который годился ему в отцы, на «ты», как это делали остальные парни, неловко. — Вы почему не спите?

— Охраняю ваш сон, — Тихон загасил окурок, завернул его в бумажку, сунул в карман. — Шучу, конечно, — охрана поставлена, сходил, проверил.

— Тихон, как вас по отчеству? Почему к вам все, и молодые тоже, по имени обращаются? У нас в деревне старших уважают. Ну, в общем... Нет, мы вас уважаем, но...

— Понятно. Я после той войны, когда, как Сталин сказал, на нас четырнадцать стран навалились, учителем работал. А ученики, в основном, были моими ровесниками, товарищами боевыми. Кто и постарше. Вот и обращались ко мне на равных. Так и повелось, хотя потом молодёжь подросла и стала в школу приходиться. И мне приятно, что они меня за товарища держат, за старшего друга.

— Ну вот. А почему командир меня Иваном Яковлевичем величает? Других — Коля, Кирилл...

— Хм... Плохо, что ли?

— Неловко мне.

— Я думаю, что он... Как бы это сказать? В отряде у нас есть парни, которые много чего повидали, и повоевали, и даже в плену некоторые побывали, недолго, правда, бежали почти сразу, хлебнули мурцовки, в общем, а вот чтобы три раза из плена бежать... Такой ты у нас один. Уважает тебя — так я думаю.

— А что будем делать, когда фрицам обед привезут, — неопределённость беспокоит Ивана, — за машиной в ворота побежим? Пулемёт-то — вон.

— Хм... Ишь, дотошный, всё тебе доложи, — усмехнулся Тихон. — Ладно. Дорога тут заканчивается, а идёт она от шоссе через небольшой овражек. Там, у мостика, засада будет. Сделают так, чтобы машина забуксовала и немцы вылезли из будки. Должны убраться втихую. Заодно телефонный провод порежут, его здесь под снегом не видно, а там он по низу бревна протянут. Ну, ребята подобрались опытные, справятся. А уж потом, под видом фрицев, и в караулку должны войти.

Тихон вздохнул, полез в карман за окурком, вытащил, но тут же сунул его обратно.

— Да... — Иван тоже вздохнул.

Тихон понял его:

— Не беспокойся, всё будет ладом. Иди отдыхай.

— Да уж, — пробурчал Иван, — отдохнёшь тут: холодно. Я почему-то раньше думал, что здесь у вас сильных морозов не бывает, а он ещё как печёт!

— Правильно думал, у нас в феврале обычно ноль градусов, даже ночью, снег мокрый, а нынче жмёт, как в декабре. Небесная канцелярия на нас работает.

Утром Иван погрыз сухарь на завтрак и стал, поочерёдно с товарищами, скрытно наблюдать за тем, как протекала жизнь немцев на охраняемой территории.

Вскоре после рассвета парни увидели, как, выходя из караулки по два, по три человека, немцы отходили к забору, мочились, переговариваясь и смеясь, возвращались в тепло помещения. Вскоре на крытом грузовике прибыла смена караула. Тринадцать человек новой команды прошли через небольшую дверь, которая была под замком — с внутренней стороны, и которую открыл начальник прежнего караула. Вновь прибывшие выстроились напротив входа в помещение. Инструктаж провёл начальник охраны, которая должна была уйти на отдых, и солдаты, протопав по двум ступенькам крыльца, скрылись за дверью.

— Чёртова дюжина. Маловато для такого объекта, — заметил Иван.

— У них же связь с гарнизоном, километра два отсюда — рота. Десять минут на машинах, и они будут здесь, так, видимо, они думают, — сказал Тихон. Помолчал, добавил: — Новички.

Иван посмотрел вопросительно на него.

— Из города нам сообщили, что гарнизон поменялся. Это хорошо: охранники не знают в лицо тех, кто привозит кухню.

Под водительством обоих начальников прошла смена часовых на вышках. Затем из караульного помещения вышли солдаты, построились по команде, покинули территорию склада и забрались в машину. Грузовик развернулся и протарахтел туда, откуда прибыл.

— Осторожные суки, — проговорил негромко Николай, когда увидел, что немцы, отдежурившие сутки, на построение с прибывшими не выходили. Тогда бы их можно было уничтожить дружным огнём из винтовок и автоматов.

Стрелков на вышках меняли через два часа.

День разгорался. Мороз отступил, заметно потеплело.

Напряжение ожидания нарастало и достигло предела к двенадцати часам дня. В это время пунктуальные немцы привозили обед на объект. Из караульного помещения вышел начальник караула, стал вплотную к воротам и посмотрел на дорогу, откуда должна была прибыть машина.

Тихон глянул на часы: пять минут первого. Сказал негромко сквозь зубы:

— Вот дисциплина у сволочей: война войной, а жрать подай вовремя!

Немец подождал минуту и вернулся в помещение.

Прошло ещё немного времени, и машина, наконец, появилась, проползла мимо вышки с пулемётчиками, вдоль забора и остановилась у ворот. На звук мотора вновь вышел из караулки начальник охраны, а из кабины автомобиля появился человек в тёплой офицерской шинели. Шинель без погон, с пушистым меховым воротником. Что-то знакомое показалось Ивану в фигуре и движениях офицера, но издали он не мог понять, кто это. Иван посмотрел на Тихона: лицо старшего товарища закаменело от напряжения, словно бы это он шагнул в раскрытую калитку. Тихон поднял руку, предупреждая: не шуметь и не стрелять!

«Гольдин?! — осенила Ивана догадка, когда на солнце блеснули очки офицера. — Неужели?» Комиссар казался Ивану сугубо гражданским человеком — совершенно неспособным к рукопашному бою, который мог возникнуть вот-вот...

У мостика через овраг, четверть часа назад, события развивались по плану: на подъёме к мосту машина забуксовала — там партизаны заранее взрыхлили снег в колее. Вылезших из машины немцев убрали без шума, остался только шофёр. С одной стороны в бок его упёрся ствол винтовки, с другой стороны Гольдин спросил его:

— Жить хочешь?

— Да, да, — поспешно закивал головой водитель. Был он в возрасте и, похоже, знал цену жизни. Ствол винтовки, направленной на него партизаном, был убедительным аргументом за предстоящее сотрудничество с русскими.

Машина та же, что привозила смену утром, водитель тот же. Гольдин сел рядом с ним. И вот теперь он на территории охраняемого объекта, где ему предстояло сыграть роль немецкого офицера.

Начальник караула вскинул в приветствии руку: «Хайль!» Гольдин ответил тем же. Он что-то сказал немцу, и тот развернулся и быстро вошёл в дверь. Через калитку прошли двое в немецкой форме, несли бачок с пищей, за ними ещё один — с коробкой, в которой, очевидно, был хлеб. И они вошли в помещение. Тут же из двери показался начальник караула, подошёл к воротам и стал отпирать замок.

В это время в караулке раздался взрыв, брызнули стёкла разбитого окна, и следом грохнуло ещё раз. Дверь распахнулась, из неё выскочили все трое солдат, что заносили пищу. Начальник караула схватился за кобуру пистолета, одновременно Гольдин сунул руку в карман пальто, где у него был подаренный Фёдором ТТ, но ни тот, ни другой не успели выстрелить: немец повалился набок — выстрелом из леса его поразила пуля.

Взрыв в караульном помещении послужил сигналом: сразу несколько стрелков ударили по вышкам с пулемётчиками. На дальней оба номера торчали на виду, слишком увлечённые тем, что происходило внизу у ворот, один был сражён сразу и поник головой на перилах. Второй исчез с глаз, и было неясно: убит и упал, или успел спрятаться. На второй вышке, у дороги, от выстрелов исчезли с виду оба, и тоже было неясно: убиты ли?

— Эх, нашумели! — огорчился Тихон. Махнул рукой: — Давай, Ваня, вперёд!

Объезжая пни — опасение, что их не будет видно под снегом, оказалось напрасным: солнечная сторона их уже обнажилась в преддверии весны, — Иван погнал своего верного коня к воротам, которые быстро отворили Гольдин и его помощники. Машина, в которой сидел немец, дрогнула и медленно отползла назад, освобождая проезд.

И тут заговорил пулемёт на вышке, рядом с которой проходила дорога. Первая очередь ушла в сторону леса, откуда на немца были произведены выстрелы. Потом стальная струя хлестнула вдоль дороги, наперерез мчавшимся повозкам.

Иван, стоя в санях, отметил краем сознания, что шофёр, рядом с которым в кабине не было никого из партизан, может развернуться и удрать. Но главным опасением его было, что фашист на вышке может убить коня. Мысль о том, что он сам может быть убит пулемётчиком, Ивану в голову не пришла. Ему повезло: машина прикрыла его, пули, предназначенные ему, врезались в кузов.

Сани влетели в ворота. Иван направил коня за накрытые брезентом ящики. В это время с разных сторон в уцелевшего пулемётчика стали стрелять партизаны, и пуля, наконец, нашла его. Фашист повалился, и ствол пулемёта задрался вверх, изрыгнув последнюю очередь в небо, словно салютуя — то ли упрямому немцу, то ли меткому партизану.

Но это был не последний охранник, оставшийся в живых. Партизаны, заносившие продукты в караульное помещение, забирали там из пирамиды, стоявшей при входе, оружие убитых немцев. Один из них, тот, что ранее заносил коробку с хлебом, решил проверить, не осталось ли что из пищи во второй половине помещения, где был обеденный стол и куда были брошены гранаты. Открыл иссечённую осколками дверь, шагнул в неё и получил пулю в грудь. Раненый немец, лежавший на полу за столом, держал винтовку наготове и немедленно выстрелил, как только партизан вырос на пороге. Не всё оружие оказалось в пирамидах.

Этого фрица застрелили через оконный проём.

Часть вооружения была уже вывезена немцами. Русская винтовка у них считалась надёжным оружием. Что ещё использовали враги из советского арсенала, пока было неясно. Брезент, укрывавший ящики, был закреплён у земли колышками, края его занесены снегом и примёрзли к земле, очевидно, ещё с осени.

Фёдор вспарывал брезент финским ножом, партизаны, у кого были винтовки со штыком, всаживали штыки в покрытие, как в ненавистного врага, но эффекта от прокалывания плотной ткани не было. Тихон следовал за Фёдором и вскоре махнул своим парням:

— Сюда! — сказал Ивану с Николаем. — Эти длинные ящики — с винтовками. Берите два. Загружайте в основном патронами — вон в тех квадратных. Не перегружайте: лошадь не потянет! — и через несколько минут Ивану: — Подожди за воротами. Заберёшь комиссара.

Иван выехал с территории склада и остановил свой тяжёлый воз вблизи караульного помещения. Здесь что-то обсуждали два командира: «дядя Саша», Александр Захарович, и «дядя Вася», Василий Пантелеймонович. К ним быстро шёл Гольдин, за ним, к великому изумлению Ивана, поспешал... немец, шофёр. Он, оказывается, не сбежал!

— Вот, — сказал Гольдин, кивнув головой на немца, — я обещал ему жизнь. Отпустим?

Мимо них выезжали гружёные сани, выстраивались цепочкой. Командиры, следившие за тем, как скоро росла колонна, повернулись к Гольдину, посмотрели удивлённо.

— Как — «отпустим»? — первым задал вопрос Василий Пантелеймонович. — Обещал? Мы им можем твёрдо обещать только одно: живыми они отсюда не уйдут!

Он глянул в сторону немца, и этот взгляд не обещал тому ничего хорошего. Водитель, догадываясь, что в этот момент решается его участь, стоял навтыяжку, руки по швам.

— Да и... — Василий Пантелеймонович запнулся, но продолжил: — Вам ли жалеть немцев? Они евреев уничтожают поголовно.

Лев Владимирович понял намёк.

— Я не еврей. Этот фриц хорошо нам помог: начальника караула в заблуждение ввёл, помаhal ему рукой, тот узнал его и расслабился. Машиной нашего солдата заслонил, вон его, — кивнул в сторону Ивана Гольдин.

— Что-то я тебя не пойму, — сказал Александр Захарович, — зачем ты хочешь фрица отправить к своим — чтобы они сами ему башку свернули?

— Ну, — Гольдин заволновался, — надо же начинать работать с немцами. Если он скажет кому-то, что его партизаны не казнили, а дали свободу, — это же подействует на мозги, не все же немцы нацисты.

— М-да-а... — протянул дядя Саша, но не успел продолжить, насторожился: со стороны дороги, от мостика через овраг, донеслись два винтовочных выстрела. Почти немедленно началась стрельба, резкие хлопки из винтовок и очереди из автоматов. — Вот и гарнизон прибыл. Удержат? — обратился к Василию Пантелеймоновичу.

— Да. Я думаю, что настил на мосту уже сняли — ребята там проворные.

К воротам подкатил Кирей Карпович. На санях у него плетёная кошева, возок предназначался для командиров. Сзади к саням прицеплена армейская походная кухня, которую старый вояка обнаружил среди ящиков с оружием. Кухня на колёсах, но это не смущало Кирея Карповича — возок у него лёгкий, конь потянет.

Командиры не сели в сани.

— Давайте Гришу сюда, — скомандовал Василий Пантелеймонович парням, которые вынесли из караулки убитого товарища. — Что ты наделал, сынок? Что я матери твоей скажу?

Покойного положили в сани, в простреленной немецкой форме. Рядом с ним сел Василий Пантелеймонович, показал рукой Александру Захаровичу:

— Садись.

Тот шагнул к саням, но его остановил Гольдин:

— Так что с немцем, Александр Захарович?

— А что? Твой немец, тебе и решать. Машину фрицам не оставляйте.

Гольдин повернулся к шофёру, сказал ему на немецком:

— Свободен.

— Найн! — возразил шофёр.

Его услышали в санях.

— Что? Он не хочет уходить? — обернулся к Гольдину Александр Захарович.

Немец быстро-быстро заговорил, и Гольдин пояснил:

— Он говорит, что никогда не сочувствовал нацистам, никогда не любил фюрера.

— Ну-ну...

Колонна из саней к этому моменту выстроилась и тронулась. Александр Захарович махнул рукой и показал на грузовик.

Гольдин сказал немцу, что надо испортить машину. Сам достал из кармана пистолет, подошёл к грузовику, выстрелил в радиатор, потом расстрелял колёса. Водитель открыл капот и вырвал из двигателя несколько трубок. Гольдин выстрелил и в двигатель.

— Уходим.

И они трусцой направились к Ивану. Рыжий с трудом сдвинул сани с места, но впереди идущие повозки уже уплотнили снег в лесу, образовалась дорога, и конь стал постепенно нагонять отряд. Со стороны моста слышалась стрельба.

Мост через овраг был протяжённостью метров пятнадцать. Шестеро партизан из отряда дяди Васи успели снять доски с половины моста, когда со стороны города показалась первая машина. Парни отбежали, рассредоточились и залегли. Они должны были задерживать карателей до тех пор, пока отряд не удалится от склада.

Увидев, что настил на мосту снят, водитель затормозил, солдаты быстро повыскакивали из крытого кузова, попадали на снег, ожидая выстрелов. Но было тихо. Водитель и офицер тоже выскочили из машины, залегли. Мост немного возвышался над берегами оврага, и теперь противники не могли видеть друг друга. Прошла минута, другая, и немцы стали осторожно подниматься. Перебрались к мосту, двое стали в рост, пытаются разыскать взглядом партизан, замаскировавшихся на другой стороне оврага. Никто не стрелял. Поднялись ещё несколько солдат, подошли к мосту, разглядывая разрушение. Ещё пришла машина с немцами и остановилась. Из неё высыпалось два десятка солдат, некоторые с автоматами, один с пулемётом. Офицер, прибывший в первой машине, тоже поднялся, рукой показал подчинённым: вперёд, через мост.

Один за другим на балки моста вступили два бойца и, балансируя, двинулись на противоположную сторону. Почти одновременно прогремели два винтовочных выстрела, и оба немца рухнули вниз. Сразу же в сторону партизан поднялась стрельба из винтовок, автоматов и пулемёта. Но стрельба велась нецельно. Немцы, стреляя, спешили укрыться, падали на землю в ожидании ответных выстрелов. Но со стороны партизан опять не стреляли.

Огонь утих, немцы решали, что предпринять: крутые заснеженные стенки оврага не позволяли обойтись без моста.

А партизаны тем временем отползли за кустарники, которые были позади них, потом — за небольшой лесок, где их ждал конь, запряжённый в сани. Прикрываясь леском, группа быстро удалилась вслед ушедшему отряду.

Всё вооружение и боеприпасы были доставлены в расположение отряда дяди Васи. Иван отметил разницу между тем, как устроились они у себя, и как оборудован был этот лагерь. Здесь у каждого въезда на территорию были надёжные, из толстых брёвен, боевые ячейки, по типу ДОТов, которые строили в полку Ивана перед войной. Длинный бревенчатый барак служил кухней и столовой; один отгороженный угол барака занимали поварахи со своими семьями.

В центре территории лагеря была большая поляна, которую очистили от кустарников: сюда надеялись принимать самолёты с Большой земли.

В ожидании карателей — в том, что немцы не оставят без последствий нападение партизан на склад вооружений, никто не сомневался — спешно минировали подходы, делали дополнительные укрытия для стрелков, подготовили две новые дороги на случай, если силы окажутся слишком неравными и придётся отступать. Далеко за пределами лагеря выставили посты, связные курсировали в ближайшие крупные населённые пункты, приносили информацию о накоплении и передвижении немецких подразделений.

Тихон сказал Ивану:

— Командир приглашает — есть интересное предложение.

Дядя Саша стоял в окружении партизан своего отряда, рядом с ним был и дядя Вася.

— Рядовой Яценко по вашему приказанию...

— Отставить, — махнул рукой Александр Захарович. — Здоров? Как твой конь? Сани в порядке?

— Так точно.

— Вот, — сказал Василию Пантелеймоновичу Александр Захарович, — у него сани почти готовы для установки «Максима».

— С пулемётом знаком? Стрелял? — спросил дядя Вася Ивана.

— Нет.

— Понятно. Пойдёшь вторым номером к Петровичу? — повернулся к пожилому бородавчатому партизану: — Как, Анисим Петрович, возьмёшь к себе рядового Яценко?

Этого партизана из отряда дяди Васи Иван видел мельком на территории склада. Похоже, он нашёл там место, где хранились пулемёты. Взгляды их встретились.

— Возьму, — кивнул Петрович.

Иван глянул в сторону своего командира:

— Пойду, — сказал, — если прикажете.

— Решено, — заключил разговор Александр Захарович.

Во взгляде своих товарищей Иван увидел нечто похожее на зависть. Николай поднял сжатый кулак, то ли приветствуя назначение Ивана вторым номером, то ли утверждая, что и он сам теперь боец, что надо. Новенькая очищенная от смазки винтовка была на плече Николая, на пояском ремне два подсумка с патронами и граната, а за спиной — ружьё, с которым он не пожелал расстаться. «Прибарахлились», — сказал Тихон, когда партизанам раздали оружие и патроны, кое-кому и гранаты достались. Себе Тихон взял только бинокль, винтовку оставил ту, что была у него прежде.

— Хорошая машина, — сказал Анисим Петрович Ивану, похлопав по кожуху пулемёта, — несмотря на то, что капиталистами придумана. — «Максим» был уже очищен им от смазки и установлен на станок. — Я с ним четыре года, с шестнадцатого по двадцатый, не расставался.

— Почему у него такое название? — удивился Иван. — Совсем русское — «Максим».

— А фамилия изобретателя была такая. Потом, конечно, пулемёт дорабатывали, и наши тоже, но в основном конструкция осталась и название. Калибр русские конструкторы сделали как у винтовки, ещё до революции. Вот с этого и начнём: набьём ленту патронами.

Иван удивился:

— Какая длинная: тут метров пять-шесть, пожалуй. Сколько входит патронов?

— Шесть и есть, — ответил Петрович, — на двести пятьдесят выстрелов.

Вскрыли цинк. И опять Ивану интересно:

— Сколько тут пачек? — перед войной в полку вскрывать цинки ему не приходилось.

— Двадцать, по двадцать патронов, — сказал Петрович, — на две ленты не хватает. — Вздохнул с огорчением: — Эх, машинки не оказалось!

— Какой машинки? — спросил Иван.

— Есть такая, чтобы патроны в ленту набивать. Придётся вручную.

Работали сосредоточенно. Иван думал: «Снаряжать долго, а за сколько времени все патроны будут истрачены?» Вскрыли ещё один цинк, снарядили и вторую ленту. Две коробки с лентами теперь главная забота Ивана.

— Почему вы меня взяли? Я ведь в пулемёте совсем ни-ни... Не знаю, как что? Есть, наверное, кто-нибудь поопытнее.

— Узнаешь, — успокоил Петрович, — дело нехитрое. Парень ты жилистый, а пулемёт тяжёлый — четыре пуда тянет, с водой в кожухе — и того больше. Правда, не твоя забота пулемёт таскать, моя. Но патроны, вода в кожух — будь добр обеспечить. Ну, когда и «Максима» придётся помянуть, не без того. — Петрович усмехнулся: — А главное, почему взял, — глаза у тебя хорошие — честные. Значит, надёжный, не подведёшь.

Иван смутился:

— Да ладно хвалить, ещё не заслужил.

Когда Петрович открыл ящик с инструментами, Иван аж задохнулся от зависти:

— Бате моему такой бы набор!

На миг ему представилось, что война кончилась и он вручает отцу этот инструмент — вот была бы ему радость!

В кожух, как подсказал ему Петрович, набил Иван снега вместо воды.

На санях укрепили заднюю стенку короба бревном, опробовали, как будет стоять пулемёт на этой «тачанке».

Ближе к вечеру на пост, куда определили с пулемётом Анисима Петровича с Иваном, прибыли с проверкой дядя Саша и Гольдин.

Командир внимательно осмотрел местность: поле, дорогу, по которой ждали немцев, потом — как устроились бойцы. Два поваленных дерева, вдобавок к прежнему укреплению, были преградой машинам и одновременно дополнительным укрытием для стрелков. Большинство бойцов расположились под соснами: солнечные лучи с каждым днём всё сильнее нагревали дерево, и под ним снег не то, чтобы таял, а словно испарялся — у ствола образовывался круг свободный от снега, кое-где даже подсохла прошлогодняя трава, хотя снег ещё местами лежал на ветвях деревьев, и в лесу были сугробы, когда под валенком корка проваливалась, нога утопала по колено и выше. Другие парни обосновались на хвойных подстилках.

Чуть в стороне от ячеек в углублении горел костёр. Два партизана следили за дорогой, остальные сидели вокруг огня. Когда пришли командиры, партизаны встали, но дядя Саша махнул рукой: «Сидите». Линию обороны партизаны расположили на краю леса: впереди поле, обзор хороший и слева, и справа. Дядя Саша остался доволен, но заметил Тихону:

— Сами-то устроились, а подкрепление должно на снегу лежать?

— Будет подкрепление?

— Конечно. Если сильно нажмут или попытаются вас обойти.

— Сделаем.

Они подошли к костру.

— Где ваша «тачанка»? — ещё раз обратился к Тихону и, одновременно, к Петровичу дядя Саша.

— За ельничком, — показал Тихон рукой, — чтобы фрицы коня не подстрелили.

— Кто ездовой?

— Пока никто.

— Назначить.

Тихон оглядел свою команду, словно он был с бойцами мало знаком. Иван думал, что они с Петровичем будут воевать на «тачанке» вдвоём, он будет за ездового и заодно вторым номером, а тут выясняется, без третьего не обойтись. Когда Ивана определили в помощники пулемётчику, он думал, что таким образом оказался в другом отряде, у дяди Васи. Но нет, это Петровича дали на усиление в отряд дяди Саши.

— Кирилл, — сказал Тихон, — принимай Рыжего.

— Слушаюсь, — Кирилл поднялся и посмотрел в сторону Ивана.

Иван молча развёл руки: бери, мол. Кольнуло чувство подобное ревности — конь, верный товарищ, уходил к другому.

Пока командир знакомился с обстановкой, комиссар, по приглашению партизан, присел к костру.

— Вот, Лев Владимирович, — посетовал Николай, — чуть бы раньше пришли, мы бы вас угостили. Анисиму Петровичу банку тушёнки из немецкого обеда подарили. Мы её оприходовали. Чудная банка. Да вот она, — Николай поднял пустую посудину из-под ног, протянул Гольдину. — Она, оказалось, сама нагревается. Вы когда-нибудь такую видели?

Гольдин взял вскрытую банку, повертел в руках.

— Не видел, но слышал, знаю, что такие банки делают.

— Фрицы-то не дураки, — сказал с огорчением Николай, — вишь, что придумали. Костёр не надо разводить, чтобы мясо подогреть.

— Ну, придумали такие консервы, то бишь банки, не фрицы, а наши, в России, ещё при царе-батюшке.

— Как?!

— Не-е, с чего вы взяли, — комиссару не поверили, — чего ж тогда у нас таких не делают?

— Фамилию изобретателя не помню, — вздохнул Гольдин, — дед мне про него сказал, про это вот изобретение, когда я ещё мальчишкой был. Дед химиком был, учёным. Не сильно известным, но знал многих в своём кругу. Его товарищ сообразил, что можно сделать три отсека в банке. В одном — продукт, в другом — известь негашёная, в третьем — вода. Повернул второй отсек по отношению к третьему — вода попадает на известь, начинается реакция с выделением тепла. Вот и вся загадка. А почему в России не стали делать такие консервы — не скажу, не знаю. Может, дорого показалось, может, думали, что потребность в них мала. Не знаю.

— Вечно у нас так, — вздохнул Николай, — а граница не дремлет: раз — и подхватили.

Командир подошёл к костру, услышал конец этого разговора, присел на поваленное дерево.

— И там случаются промахи, — возразил дядя Саша. — Пулемёт этот, «Максим», в Америке отказались взять на вооружение — из-за большого расхода патронов, так что изобретатель уехал продвигать его в Европу. В Англию, потом и в Россию. И русские оружейники его, сколько я знаю, много доработали.

— Да, — подтвердил Анисим Петрович, — калибр под наш патрон, станок, кожух...

— А в отношении консервов есть ещё любопытный факт, — продолжил Гольдин. — В прошлую войну немец Аденауэр — кажется, он был мэром какого-то города — предложил делать колбасу и сосиски из сои. Но патент он получил в Англии, чуть ли не от короля. Ушлые люди — изобретатели — везде есть, всё зависит от... — Гольдин поднял палец вверх.

Партизаны засмеялись:

— Ну-у... Это что же за колбаса будет? Вот дурят народ капиталисты!

— А чо? — встрял в обсуждение Николай. — Моя бабушка иногда редьку тёртую в пельмени вместо мяса клала. Да. И вкусно — если не смотреть, какая начинка, то и не отличить.

— Что ж она у короля патент не попросила?

— Грамоте английской не обучена была.

— Нашу-то знала?

— А как же — крестиком расписывалась.

Окончательно развеселил товарищей Николай.

Александр Захарович внимательно смотрел на Гольдина, будто хотел задать вопрос, но не задал. Гольдин догадался, о чём мог подумать Александр Захарович. Ответил на незаданный вопрос.

— Дед мой, по отцу, не еврей, а немец. В роду его, возможно, были евреи. Фамилия подсказывает. Гольд — золото, значит, что в немецком языке, что у евреев. Жена его русская была. Вот он меня и научил немецкому. Если я начинал у него просить чего-нибудь, он делал вид, что сильно занят, и отвечал мне на немецком, будто по рассеянности. Дразнил, в общем. Я, когда подрос, учебник по немецкому языку для вузов проштудировал, в пику деду, и перестал к нему обращаться на русском. Так, мол, тебе, немцу, хочется — получай.

— Обиделся? — теперь Александр Захарович вступил в разговор. — Где он сейчас? Жив?

— Нет, умер. Не обижался: мы с ним были друзьями. Что я вторым языком владею — доволен был, говорил, что знание языков способствует умственному развитию.

— А отец? — Александр Захарович про отца спросил с тайным умыслом. Но Гольдин понял и этот незаданный вопрос.

— Отец тоже на немецком говорил прекрасно. Владел языком, но на людях не пользовался. Была на него «телега» (как иногда говорят), что немец, мол, он и шпион — арестовали. Но месяца через полтора выпустили. То ли подтверждения не нашли, то ли по болезни. До войны не дожил.

Вечер и ночь прошли спокойно. И утром на дороге было безлюдно, лишь ближе к полудню вдаль замаячило что-то. Мотоцикл с коляской мотало на скользкой полевой дороге и потому к лесу он приближался довольно медленно, зигзагами.

— Без команды не стрелять, — приказал Тихон. Обернулся к ездovому: — Кирилл, дуй — доложи дяде Саше, что на наш участок идут гости.

Вслед за мотоциклом вдали показались машины.

Мотоциклист увидел поваленные деревья на дороге, притормозил, стрелок в коляске дал длинную очередь в сторону леса. Ответной стрельбы не последовало. Водитель круто развернулся, прибавил газ, и мотоцикл чуть не опрокинулся. Пулемётчик в коляске больше не стрелял, пригнул голову: опасался всё-таки, что из леса вдогонку получит пулю.

Партизаны посмотрели на командира с недоумением: немцев держали на мушке и могли бы застрелить. И Петрович, который смотрел на врагов через прицел, не стрелял.

— Почему? — спросил Иван.

Анисим Петрович повернул голову к напарнику:

— Команда была: «не стрелять». И правильно: зачем обнаруживать себя раньше времени?

Тихон смотрел в бинокль.

Колонна остановилась у дальнего края поля. Из машин выгрузились каратели, рассредоточились в цепь и двинулись по полю. Из установленного на автомобиле пулемёта в сторону леса ударила стальная струя, провоцируя ответный огонь. С деревьев, в которые попали пули, осыпался снег. По мере приближения немцев тёмные точки на снегу росли, превратились в чёрточки, потом стали вырисовываться фигуры. Их уже видели партизаны и без бинокля. Машины, пробуксовывая, ползли по раскисшей дороге.

Иван лежал справа от своего первого номера, ещё раз подвигал, укрепляя, коробку с патронной лентой, начало которой было заправлено в приёмник пулемёта, и тоже следил за приближающейся цепью врагов. Подумал: «Медленно идут. Снег мокрый. Какая у них обувь?» Валенки у него самого намokли от подтаивавшего снега — словно гири на ногах — ходить в них было тяжело.

До появления немцев его занимали мысли о еде. Пахло хвоей, и подумалось, что летом тут должно быть много грибов. Но до грибов ещё далеко, а в хлебе, который был дан на завтрак, мука из жёлудей была в большем количестве, чем из ржи. Жёлуди он впервые попробовал, когда с Семёном уходили от погони. Он подивился тому, что свиньи, как он слышал от кого-то раньше, питаются этой жёсткой горечью. Для человека, даже голодного, Иван посчитал тогда жёлуди несъедобной продукцией. Но, оказывается, надо уметь удалить горечь и можно приготовить муку.

Когда показались вдали каратели, мысли о жёлудях, о грибах — о еде — отодвинулись в сторону.

— Не стрелять, — снова предупредил Тихон. Он знает, что на большом расстоянии никто из его команды во врага не попадёт. Разве только что Петрович из пулемёта. — Разобрать цели, и огонь одновременно — по моей команде.

Вернулся Кирилл, принёс треногу от стереотрубы, за ним следом пришёл дядя Саша, принёс трубу. Окопа нет, но между Тихоном и Петровичем хорошая яма, очищенная от снега. Тут и устроился командир с прибором, настроил оптику.

— О! — сказал он Тихону. — Вижу, передняя машина засела. Похоже, что будут брать на буксир сзади. Понятно. Так. Почему они идут в открытую по полю? На немцев это не похоже.

— Мотоцикл развернулся перед деревьями, мы не стреляли. Наверное решили, что здесь их не встретят. Но рассредоточились, на всякий случай. Пусть подойдут ближе.

— Не подойдут, — сказал дядя Саша, — остановились и, похоже, разворачиваются назад. — Он снова перевёл трубу на машины, где что-то происходило у немцев: — Кажется, нас заметили: немец высунулся из кабины и смотрит в бинокль в нашу сторону. Да, щиток «Максима», видимо, разглядел.

В это время из немецкого пулемёта ударила длинная очередь.

Тихон разглядел, что немцы в поле стали удаляться.

— Огонь! — скомандовал он. — Чёрт! Уходят, гады!

Первый залп из винтовок не достиг цели. Только от пулемётной очереди упали двое. Возможно, залегли. Ещё залп, и опять без результата.

— Отставить стрелять! — Тихон сплюнул. — Далекое. Патроны нам ещё пригодятся.

Второй пулемёт немцев подключился к бою, пули вспарывали снег, впивались в стволы деревьев без результата: все партизаны уже попрятались в свои ячейки.

— Петрович! — обратился к пулемётчику дядя Саша. — Командира на машине достанешь?

— Попробуем, — Анисим Петрович перевёл планку для стрельбы на дальней дистанции.

Ударил короткой очередью. Через мгновение — ещё раз.

— Не пойму, — прокомментировал дядя Саша, — свалил ты его или он сам спрятался в кабине. Дай ещё по пулемётчикам, а то ненароком убьют кого из ребят.

Петрович выпустил две коротких очереди, потом повернулся к дяде Саше:

— Бесплезное дело, товарищ командир!

Дядя Саша кивнул, кончай, мол.

Умолкли и немецкие пулемёты. В это время до партизан донеслись звуки далёких взрывов снарядов. Командир и Тихон переглянулись, но обменяться мнениями не успели: от дяди Васи прибежал посыльный и сообщил, что другая группа немцев пытается наступать по той санной дороге, по которой отряд уходил от преследования после атаки на склады.

— И ещё дядя Вася просил сообщить, как тут у вас дела. И если можете, то отправьте на тот участок Петровича.

— Хорошо, — сказал Александр Захарович, — передай Василию Пантелеймоновичу, что Петрович скоро будет.

Не дожидаясь распоряжения, Петрович кивнул Кириллу:

— Гони!

Кирилл уже был на ногах и кинулся за конём. Несколько минут спустя пулемёт был установлен на сани, и все трое — Петрович, Иван и Кирилл — помчались по извилистой лесной дороге на подмогу парням из отряда дяди Васи.

Тихон, наблюдая в бинокль за карателями, сказал:

— Убитых хотят на мотоцикле увезти. Кажется, фрицы намерены отступить.

На лесном участке шла перестрелка. Немцы прибыли сюда на санях, подвезли несколько миномётов и пытались обеспечить продвижение по лесу своим солдатам огнём орудий и пулемётов. Но осаждённые зорко следили из укрытий за передвижениями наступающих и выстрелами останавливали слишком ретивых фашистов. Два немецких пулемёта, снятых с вышек партизанами накануне, немало досаждали немцам.

Петрович с «Максимом» был отправлен во фланг наступающим карателям. Он неплохо знал лес и указывал Кириллу, где их «тачанка» не застрянет между деревьями. Объехали крутую ложбину с зарослями, поднялись на взгорок и оказались не только во фланге у немцев, а даже чуть сзади. Кирилл развернул сани, Петрович прицелился, выискивая передвигающиеся от дерева к дереву фигуры врагов. Снега было по колено, быстро бежать невозможно. Невидимые за стволами для обороняющихся, они были на мушке у Петровича. Огонь с этой стороны поверг в панику немцев, они кинулись в ту сторону, откуда доносились выстрелы миномётов.

Отступили.

Самым драматичным стал бой почти в центре лагеря отряда. Группа немцев с автоматами просочилась туда с третьей стороны, тропами, которые были известны только немногим партизанам. Немцев обнаружили случайно. Завязался бой. Ручные гранаты летели с обеих сторон. И неизвестно, чем бы всё кончилось, если бы партизаны из отряда дяди Саши не пришли на выручку. Часть немцев была уничтожена, некоторые сумели уйти, а двоих раненых фашистов удалось взять в плен. Был и третий пленный, им оказался бывший партизан, который покинул отряд раньше. Тогда думали, что он, возможно, погиб на задании или попал в лапы к немцам. Оказалось, перешёл на сторону врага добровольно. Он-то и вывел немцев тайным путём к штабу отряда.

Когда немцы отступили и стало ясно, что карательная операция провалилась, партизаны собрали своих погибших и убитых немцев.

На следующий день похоронили партизан: завернули в парашютное полотно и ещё в тент, снятый с ящиков на складах, — гробов не делали — и опустили в общую могилу. По тому, что парашютов было три, Иван понял, что кроме Фёдора из Центра были направлены ещё два связных. Или больше.

Винтовочный залп стал прощальным салютом погибшим.

Убитых немцев зарыли отдельно, сняв с них одежду.

Раненых устроили в землянке, отведённой под госпиталь.

Суд над предателем был короткий. Но расстрелять его партизаны не дали.

Расстрел — много чести! Только верёвка! — было решение рядовых, и командиры уступили.

Раненых немцев разместили в небольшой землянке. У одного осколками гранаты разорван бок, и без серьёзной операции он был не жилец. Так сказал санитар, в прошлом — медбрат пехотной роты. У второго немца было два лёгких ранения: сквозные — в мякоть левой руки и в тот же левый бок, той же пулей. Этот был ходячий, и чтобы не сбежал, на охрану землянки поставили смену из трёх партизан.

Пока разбирались с предателем и неумело вешали его на сук с петлёй на шею — на задворках штаба, — к землянке с пленными подошёл Алексей.

На пеньке недалеко от входа в землянку сидел охранник. Сел, видимо, от слабости. Он глянул сонными глазами на Алексея.

Тот кивнул парню:

— Мне надо с немцами потолковать.

Алексей доводился племянником командиру, и меланхоличный охранник не возразил, посчитал, что тому дано такое поручение.

Алексей вошёл в землянку, и почти сразу прозвучала автоматная очередь. Алексей воспользовался оружием, которое досталось от убитых фашистов. Охранник встрепенулся, встал с пенька навстречу вышедшему товарищу.

— Порядок, — сказал ему Алексей.

Всех, кто не был на постах, построили на расчищенной от деревьев площадке. Большое каре — отрядные Василия Пантелеймоновича, напротив — в две шеренги — партизаны Александра Захаровича.

Василий Пантелеймонович прошёлся между отрядами из конца в конец, пошёл обратно, на полпути остановился, повернулся к своим:

— Боец Савчук! Выйти из строя!

Алексей сделал два шага вперёд. Смотрел прямо, в лицо командиру. Такое горькое выражение лица дядя он видел второй раз. Первый — когда судили и расстреляли за мародёрство партизана.

Иван думал: «Кирилл застрелил пленного — дядя Саша отстранил его от участия в операциях на неделю. А что сделает с племянником этот командир?»

Некоторое время дядя и племянник смотрели молча друг другу в глаза.

— Повернись к строю, — нарушил тишину дядя Вася, — пусть товарищи посмотрят на тебя.

Алексей через левое плечо чётко выполнил поворот, словно по команде: «Кру-гом!» Из-под сапога брызнула снежная каша.

— У него фрицы сестру угнали, — донеслось из строя. — Они детей убивают!

Как будто дядя Вася не знал, что у него племянницу увезли в неволю, что не только убивают мирных людей фашистские нелюди, но сжигают живьём.

Василий Пантелеймонович посмотрел в сторону, откуда высказались в защиту Алексея. Сказал, медленно, через силу разжимая губы:

— Мы победим, — помолчал минуту, пояснил: — Потому что мы люди, а не фашисты. В этом наша сила, а не в том, что добиваем раненых.

Строй молчал. Партизаны сознавали правоту командира, но вины за Алексеем, кажется, не признавали.

— Мы доложили в Центр, что у нас есть пленные, и нам сообщили, что пришлют за ранеными самолёт — когда будет готова полоса — и заодно заберут немцев. По опыту прошлой войны я знаю, что взять пленного непросто. Часто за это разведчики расплачивались жизнью.

Василий Пантелеймонович прервал свою речь, вздохнул.

— Что мы скажем Москве? Пошутили, мол? Там подумают: «А сведения о передвижении немецких войск, которые пришли от дяди Васи, — это не шутка? Можно им верить?»

Командир замолчал, потом сказал Алексею:

— Становись в строй.

В мёртвой тишине отряд выдохнул с облегчением.

Алексей выполнил команду, лицо его было красным, словно с мороза.

— С партизанщиной прекратить! — потребовал под конец собрания Василий Пантелеймонович. — Мы — армия в тылу врага. Давали присягу — помните это!

Спустя три дня Алексей с товарищами привели пленного. Точнее, притащили. Немец был ранен в живот, и последний километр уже не мог идти сам.

Алексей отдал командиру документы, которые он изъяс у фашиста. Василий Пантелеймонович попросил пригласить из отряда дяди Саши Гольдина, чтобы тот перевёл содержание документов.

— Я не силён в языке людоедов, — сказал комиссару дядя Вася, — так что помоги мне. Ничего интересного в бумагах немца Гольдин не усмотрел, сказал только:

— Рядовой из охранного батальона.

Допросить пленного не удалось: он умирал и уже не внимал окружающим.

Партизаны начали расходиться по своим местам, но тут Андрей обратился к Гольдину:

— Товарищ командир, я вот у фрица книжицу взял, ну вот — тетрадка маленькая такая, а в ней талоны. Это, может быть, на продукты. Нам бы знать точно, в городе отоварим, через наших.

Все, кто услышал про талоны, в том числе и Иван, остановились, вернулись. Гольдин взял в руки тетрадку, прочитал отпечатанную на её серой обложке строку, и брови его изумлённо поползли вверх. Парни, окружившие его, были заинтригованы.

— Ну и ну, — сказал Лев Владимирович, — во всём у фрицев порядок. Имперское отделение по делам поцелуев — вот тут какие талоны!

— Чего-о-о? — не поверил Андрей. — Вы шутите?

— Какие шутки! Бравым воякам дают три вида услуг по талонам: случайный поцелуй, мимолётный поцелуй и талон на свидание.

— Как это?

На некоторое время установилось молчание, а потом грохнул смех, парни стали давать советы Андрею:

— Ты, главное, не потеряй талончики. Когда придёшь с победой в Берлин, в любом борделе тебе будут рады.

— Немки и на фронт приезжают обслуживать своих героев, — вставил слово Иван.

— Откуда знаешь? — удивились парни.

— В лагере один наш... — Иван запнулся, — один пленный знал немецкий, он убирал в доме коменданта лагеря. Он сказал, что фрицы обсуждали эту проблему.

— Верно, — подтвердил Гольдин, — немки вносят свой вклад в дело победы. Воюют как могут.

Москва требовала усилить диверсии на железных дорогах. Отправленные на дело группы подрывников натолкнулись на карателей, которые заблокировали все пути из расположения отрядов дяди Васи и дяди Саши. Они были обстреляны, но ушли от преследования без потерь, только одному парню пулей слегка повредило руку.

Командиры решили атаковать один заслон — тот, что на въезде в лес, по которому отряды возвращались с операции. Предварительно следовало хорошо разведать численность и расположение карателей. Однако бой не состоялся: немцы неожиданно сняли оцепление.

Выяснилось, что, прекратив атаки на партизан, все эти дни фашисты занимались тем, что сжигали близрасположенные деревни, как правило, вместе с жителями. Возможно, что отчитывались перед вышестоящими начальниками одержанными «победами» над партизанами. Но уничтожением деревень занимались не только немцы, что скоро стало известно партизанам. Сформированный из украинских националистов батальон прибыл в Белоруссию весной 1942 года для борьбы с партизанами, и батальон этот ничуть не уступал в зверствах своим хозяевам, уничтожая деревни и жителей поголовно, от малого до старого.

Продовольствие у отрядов было на исходе, зимняя одежда и обувь промокли и требовали замены — командиры приняли решение вывести людей в населённые пункты.

Отряд дяди Саши перебазировался сперва на свою прежнюю стоянку. Фёдор остался в отряде дяди Васи ждать самолёт. Иван с удивлением обнаружил, что привык к этому посланцу Москвы, и сожалеет, что уходя со своим отрядом, он вряд ли когда-нибудь встретит его ещё. Похоже, что и командир был огорчён тем, что вынужден отпустить такого грамотного и умелого инструктора.

Оставленных в лагере партизан — кузнеца Петра Остаповича, поварих Клавы и Вари, троих охранников — не оказалось, землянки были разрушены, взорваны снарядами или вброшенными в них гранатами. Под обрушенной крышей командирской землянки было обнаружено тело Василия Фёдоровича, разбитое радио рядом, а искорёженная винтовка — у выхода. Судя по следам, в нападении на лагерь участвовал броневедомообиль.

Рядом с могилкой Валентина Сидорова похоронили Василия Фёдоровича в наскоро сделанном гробу.

Снег стремительно таял, почва в лесу пропиталась водой, на полях слякоть, на дороге густая грязь налипала на обувь. Валенки Ивана от воды и грязи превратились в хлюпающие кандалы. Они с Петровичем шли замыкающими отряда. Анисим Петрович, который перед выходом из лагеря снял станину и щиток с пулемёта, завьючил его на Рыжего — сани пришлось оставить в лесу, — смотрел на мучения напарника с сочувствием, сказал Ивану:

— Держись хотя бы за вьюк, пусть твой друг помогает, у него всё же четыре ноги.

Полушубок и шапку Иван снял, шапку в рукав, набросил кожух поверх пулемёта, шёл в рубахе — одному боку тепло под солнечными лучами, другому прохладно.

Сам Петрович был обут в обнову. Несколько дней тому назад, когда отряд дяди Саши был в расположении отряда Василия Пантелеймоновича, ночью прилетел первый самолёт из центра. Раскисшая аэродромная площадка не позволяла приземлиться самолёту, поэтому груз был сброшен на землю на парашюте. Газеты, медикаменты, перевязочные материалы и — неожиданно — тюк с обмундированием. Главное — пятнадцать пар сапог. Многие партизаны к этому времени износили обувь так, что подошвы подвязывали верёвочками. Петрович был в их числе. Когда ему вручили сапоги, он сперва с удивлением рассматривал их, потом поделился впечатлениями:

— Эко диво: переда кожаные, а голяшки-то из чего? Словно рыба чешуя. Первый раз такие вижу.

— Это называется кирза, — пояснил Василий Пантелеймонович, — кирзовые сапоги придумали выпускать, хорошая выдумка, самый раз по мокроте бродить.

К сапогам были приложены портянки. Вот с портянками-то и в новых сапогах шествовал Петрович из леса, сочувствуя напарнику и будто винась перед ним:

— Вишь, тебе не досталось, всё-таки ты в какой-никакой обуви, а ребята босиком.

Иван только отмахнулся:

— Ничего, переживу. Я в деревяшках картошку копал — вот была мука!

Однако когда пришли в деревню, он с трудом дотащился до своего дома. Немцев и полицаев, к счастью, в Липках не было. Часть отряда осталась здесь, другие продолжили путь к следующему поселению.

Валенки Иван стащил на крыльце, стал босыми мокрыми ногами на холодные доски, не решаясь пройти дальше. Тут его и застала Марийка. Иван одним взглядом охватил её лицо и фигуру, поразился переменам: лицо любимой похудело, осунулось, скулы заострились, а живот заметно торчал вперёд.

— Заходи, — она протянула ему руку, — застудишь ноги.

Осторожно обнялись и вошли в дом. Устинья Фёдоровна была у печи, встала с табурета, смотрела навстречу Ивану, вытянув шею, словно бы он был где-то очень далеко. Иван кивнул ей, скользнув взглядом по её лицу, но искал на печи или в комнате Аню. Девочки не было. Словно раскалённой спицей пронзило его — от правого ребра через сердце под левую лопатку. Перехватило дыхание, и, кажется, сердце остановилось на миг. Рука невольно схватилась за грудь.

— Что?! — испугалась за него Марийка.

— Где? — спица немного остыла, Иван перевёл дух. — Аня...

— Жива! Она жива, — поспешила успокоить его Марийка. — Я её к маме отвезла.

— Да? — Иван не сразу поверил ей. — Зачем? На чём отвезла?

— На саночках. Давай-ка согрейся, а потом расскажу, что у нас было без тебя.

Вечером на стол перед Иваном и Анисимом Петровичем Устинья Фёдоровна поставила пустые щи и тарелку с квашеной капустой. Ни сала, ни хлеба предложить женщины не могли.

— Вот видите, — сказала Марийка, — такое угощение. Вскоре, после того как вы ушли, нагрянули к нам фрицы. Всю скотину угнали подчистую.

— И коров, что за ельником?!

— Да. Косый был с фрицами, он-то и показал, где спрятали стадо. Угнали коров, лошадей, овец на машины погрузили. Борова мы к тому времени закололи, так Мирон всё мясо взял себе, и муку выгреб. Говорил мне, чтобы я спасибо ему сказала, что он меня в гестапо не сдаёт, как пособницу партизана. Он сказал, что теперь знает, из какой Богдановки на Украине ты прибыл. Мол, там, в Богдановке, лагерь военнопленных. А ты, значит, оттуда сбежал, поэтому и документов у тебя нет. Сказал: «Пусть твой рыжий мне не попадается!»

— Пусть он мне не попадается! — сказал Иван, но тут же поправился: — Нет, помолитесь, чтобы мы встретили этого гада, мы найдём, чем его накормить!

Анисим Петрович в знак согласия покачал головой.

— Аню я к маме отвезла, — продолжила Марийка. — У мамы две курочки спрятаны, яичко когда покушает моя доча, и в деревне можно чего-нибудь сменять. Наших-то куриц фрицы тогда же и постреляли.

Стемнело. В дом Марии неожиданно пришли трое: Тихон, Лукич и Екатерина Егоровна. Гости поздоровались.

— Вот, — сказал Тихон, — это два начальника тут. Да. Двоевластие, как при Керенском. Екатерина Егоровна, значит, от Советской власти — за председателя колхоза, а Лукич — от фашистов назначен.

— Какой из меня председатель, — вздохнула Егоровна, — когда на тридцать дворов всего девять мужиков, и те в лесу прячутся. Бабы да дети малые. Весна пришла, кто пахать и сеять будет?

— Лукич на Керенского не похож, — заметил Петрович. — А какую должность тебе фрицы дали, а?

— О! — Лукич поднял заскорузлый палец. — Я теперь этот... фок... фокель... А, едрит твою! Скажи, Егоровна.

— Фольксдойчен, — вымолвила Егоровна не без труда.

— И что это за фрукт?

— Старшиной его немцы назначили, — сказала женщина, — оклад обещали.

— Сколько?

— Тыщу двести, — вздохнул Лукич, — только что-то нейдёт кассир, два месяца уже я в начальниках, а говорят, что немцы порядок строгий держат.

— Рублей? — уточнил Петрович. — Ой, Лукич, смотри, как бы фрицы тебе фальшивых не всучили.

— Печатают фальшивые деньги, — вздохнул Тихон, — иначе откуда новые рубли у них?

— А чего вы от нас хотите? — обратился к Тихону Анисим Петрович, понимая, что не мошенников-оккупантов пришли Лукич и Егоровна обсуждать.

— Посты я выставил, — сказал Тихон, — смену назначил. А вам, пулемётчики, завтра следует устроить заставу на дороге, чтобы каратели сюда не нагрянули. Решение командиров такое: в наши деревни врагов не пускать. Это первое. Второе: Егоровна сказала, что посевную не с кем проводить. Будем помогать. Это тоже решение командования. Коня дадите в распоряжение Егоровне.

— Вот, — притворно вздохнул Лукич, — получается, что я не у дел — Советская власть возвращается. А фрицы что приказали? Приказали колхозы распустить, землю поделить, чтобы каждый работал сам на себя. Нам и газетки дали про «вызволнение крестьянства от большевистско-жидовского ярма», от колхозов. Должны будем сдавать продукцию рейху.

— Бесплатно?

— По цене, которую нам укажут новые хозяева. Излишки будет разрешено свободно продавать на рынке. Свобода, значит, будет — немецкая.

— Пасха прошла, а ни кулича, ни яичка крашеного, — сказала негромко, будто самой себе, Марийка, — освободили нас от всего эти хозяева.

— Да! — оживился Тихон. — В Москве Пасху праздновали, для этого даже комендантский час на всю ночь отменили. Сам слышал радио в отряде у дяди Васи.

— Ты ж вроде неверующий, — удивился Анисим Петрович, — а будто обрадовался.

— Ну, — усмехнулся Тихон, — хоть и неверующий, а яичко крашеное да кулич всегда у нас в доме на столе были.

Заулыбались почти все, только Лукич молчал, думая о своём, уточнил:

— Ну, если что не так, то голову мне снимут — за саботаж, значит. Так что вот: колышки по краю поля мы расставили, на всякий случай — будто землю поделили.

— А чего это они тебя в эти... в фольксы взяли, — поинтересовался Петрович, — чем отличился?

— Отличился. С начальником из району я, было дело, поспорил. Меня даже милиция в кутузке три дня держала. Про это вся деревня знала, и Мирон тоже. Вот: Косый меня рекомендовал. По его словам, так я думаю, фрицы меня за врага Советской власти посчитали. Ну и — в начальство.

— Газеты сохранились? — решил посмотреть, что ещё пишут предатели, Тихон.

— Дак нет, — Лукич развёл руками, — на закрутки пустили. Но хреновая бумага, не то курево получается — воньковатое.

— Семена есть? — решил подать голос Иван.

Егоровна и Марийка переглянулись, Лукич прищурился.

— Есть, — ответила Егоровна, — где спрятано, пока не скажем.

— Плуги? Трактор хоть один?

— Какой там! Всю эмтээс в районе фрицы вывезли, ни трактора, ни комбайна не осталось. Да если б и были, разве враги нам разрешат взять? Сказано ихней властью, что теперь от колхозов нас освободили.

Егоровна замолчала, потом припомнила:

— Плуг один у нас есть, соха, пожалуй, не одна, суковатка за моим плетнём — найдётся, чем землю черкать, а вот запрягаться самим, видно, придётся, как бывало после той германской. Бычка, может быть, запряжём да лошадь, коли командир ваш распорядился.

— Как? Откуда бычок?!

— А вот тот, что всё норовил от стада уйти, — напомнила Ивану Егоровна. — Когда скотинку нашу немцы погнали, то и бычка к стаду прихватили, но он где-то отстал и вернулся в деревню. За зиму подрос. Ужо с корову вырос, считай бык. Теперь это всё наше колхозное хозяйство. Думали: забить ли, чтобы подкормиться к полевым работам, или оставить на развод? Пока не решили.

По распоряжению Тихона Иван с Николаем пошли сопровождать Егоровну в лес, где — она знала — укрывались несколько семей.

— Пришли, — сказала Егоровна примерно через полчаса. — Гнат! — позвала она.

Парни недоумённо крутили головами — никаких признаков жилья не было видно. Но женщина ждала, и парни стали смотреть внимательнее, даже на деревья тоже. И вдруг в трёх шагах от них сдвинулась большая еловая ветвь, лежавшая на земле, под ней открылся вход в подземное укрытие. Из него показалась взлохмаченная голова мужчины неопределённого возраста.

— Ты, председательша? А это кто?

— Охрана моя. Да и ваша тоже будет. Вылазь.

Но мужик и без того уже поднялся по ступенькам вверх и стал на ноги. Опасливо поглядывая на вооружённых парней, отряхнул с одежды налипшую глинистую землю.

— А-а, — узнал Ивана, — ты пас скотинку осенью?

— Я, — усмехнулся Иван. — А ты чего в нору зарылся?

— Чего? Думаешь, не знаем, что фрицы детей забирают, и даже людей в деревнях палят? У меня трое мальцов и жинка, что ж в деревне ждать — когда сожгут?

В это время обнаружили и другие укрытия, из которых, услышав голоса, стали показываться мужики и женщины.

— Однако, — сказал с удивлением Николай, — здорово схоронились, пройдёшь рядом и не догадаешься. Только слякотно, наверное, в яме, а, Игнат? Где твои детки? Давай их на солнышко.

— А землю из ям куда девали? — оглядывал ближние места Иван, везде чисто.

— Дак это, в мешках уносили, к обрыву, — пояснил Игнат.

Из норы показалась женщина в грязном ватнике, за ней — чумазые дети. Скоро вокруг прибывших образовалась небольшая толпа из шести мужиков, их жён и десятка ребятишек — от трёх до двенадцати лет примерно.

— Земля вот-вот подсохнет, — объясняла взрослым Егоровна, — пахать надо и сеять. Не то кушать будет нечего. На корешках да на пучке долго не протянете, поморите детишек-то.

— А фрицы?

— Фрицам дорога заказана, — сказал Николай, — мы деревню заняли. У нас и пулёмт есть, — кивнул на Ивана: — Он вторым номером. А приспичит, так уйдёте в свои ямы, мы карателей задержим.

Иван с Петровичем дежурили ночь на заставе. Утром, вернувшись домой, Иван увидел, что Марийка орудует вилами, разбрасывает копну соломы, которая сохранилась до весны, поскольку животных в хозяйстве не осталось. Иван отобрал у неё вилы:

— Сдурела?! Разве можно с таким животом? Зачем — солома разве мешает?

Она отступила на шаг, потупилась:

— Семена тут, пора достать.

— Какие семена?!

— Рожь. Два мешка закопаны. Осенью раздали по деревне — и пшеничку, и ячмень, и овёс... И попрятали — кто где, чтобы и соседи не знали.

— Конспираторы! — подивился Иван. — А другие не съели втихаря зерно? Хлебушка-то нет, а голодные дети плачут.

— Хм, — Марийка не удостоила ответом Ивана, пошла в дом, бросила на ходу: — Уберёшь солому, аккуратно копай, чтобы мешки не порвать. Достанешь, позовёшь меня.

Коня впрягли в плуг, Игнату доверили главное орудие пахоты.

Бычку досталась соха. Иван не видел, как приучали быка к работе. Когда он пришёл на поле после дежурства на дороге, то дело уже пошло на лад, бывший неслух исправно тянул за собой соху, которой управлял один из мужиков, вызволенный из нор Егоровной. Мужик уже упарился, Иван решил подменить его, хотя только тут впервые увидел соху и то, как надо работать с нею. Оказалось, не просто: руки были в постоянном напряжении, потому что приходилось силой удерживать соху, чтобы сошники не зарывались в землю или не выскакивали вверх. Да ещё и набок заваливалась она. Больше пуда постоянно на весу. Умение требовалось

и навык, к тому же силушка нужна недожинная и выносливость. «Вот, — подумалось ему, — откуда в прежние времена богатыри на Руси рождались — от сохи». В общем, прошёл Иван полосу туда и обратно и уступил рукояти передохлавшему умелому пахарю.

— Труднее, чем плугом, — польстил крестьянину, — плуг мне знаком, а сохи у нас в деревне не видал.

Тем временем на соседнем поле впряглись в соху бабы.

И пошла страда как в мирное время — день за днём, с утра до ночи: пахали, боронили, сеяли. И свой огород каждая семья не забывала.

Работали, опасливо поглядывая на дорогу. Но, как сказал Лукич: «Помирать собираешься, а жито сей». Этот наказ Иван слышал однажды и от отца, в голодном тридцать третьем году.

Ни оккупанты, ни их холуи — полицаи — не появлялись. Может, надеялись, что за весенними работами будет некогда партизанам совершать набеги на гарнизоны, взрывать мосты и рельсы — поутихнут диверсии. Да и будущий урожай на оккупированной территории немцы заранее внесли в свои планы.

Но война на дорогах, на железнодорожных путях не прекращалась и в эту пору.

Ранняя Пасха была в том году, соответственно, и Троица ранняя. Но к Троициному дню все весенние работы остались позади, пора бы уже и на луга посматривать, но не для чего было сено заготавливать: нет скотины, и как её теперь восстановить, никто сказать не мог.

А через три недели после Троицы Марийка разрешилась мальчиком. Ивана в деревне в те дни не было. Они с Петровичем установили на телегу свой «Максим» и колесили с отрядом по лесам и дорогам, то поддерживая «железнодорожников» — подрывников, то отбиваясь от наседавших преследователей. Эту новость, что он, наконец, стал отцом, Иван узнал, когда выдалась передышка и отряд завернул отдохнуть в деревню. «Ровно год прошёл, — ударило в сознание Ивану, — как меня взяли в плен, и вдруг — у меня сын!»

— Вот он какой... — глядя на личико укутанного в простынку младенца, сказал Иван, и голос его не смог скрыть разочарования. Ребёнок спал, но дышал как-то прерывисто, лицо серое, тогда как Иван ожидал увидеть румянец на его щеках.

— Что ты хочешь? — Марийкин голос дрогнул. — Молока у меня было мало — какое с одной капусты молоко? А на третий день, как он родился, сказали, что каратели к нам идут, я с перепугу со всеми через болото в ельник подалась. До нас каратели не дошли, а молоко совсем распало.

— И чем же он кормится?

— Бульбу нажую, да через тряпочку даю сосать, — Марийкины глаза полны слёз.

Устинья Фёдоровна отворачивается от них, скрывая горе. Иван вспомнил, что Марийка ещё до рождения ребёнка сказала ему:

— Назовём Мишей, ладно?

Он сразу понял тогда: хочет жена дать мальчику имя первого мужа, в память о нём, и тем самым хоть чуть-чуть притушить боль свекрови, матери по умершему сыну.

— Ладно, конечно, — поспешил согласиться он. — Но почему ты думаешь, что будет мальчик?

— По животу — как торчит. Мама знает. И ножками он по-другому бьёт, — она засмеялась тогда, — не так, как Аня.

Устинью Фёдоровну она продолжала называть мамой. И вот теперь Ивану надо было что-то предпринимать во спасение сына.

Однако уже на следующий день пришлось отряду выдвинуться за десяток километров от деревни, чтобы защищать свой район от карателей. Когда же через неделю ему удалось навестить дом, Миши не было.

— Лукич сделал гробик, — покусывая ладонь, чтобы не разреветься, сказала Марийка. — Хороший гробик.

Недолго был Иван отцом, и на могилку сыночка не смог сходить — война не отпустила ему лишнего часа.

Иван сидел у костерка, ожидая с товарищами самолёт. Здесь, на базе отряда Василия Пантелеймоновича, собрались и бойцы дяди Саши. Боеприпасы почти у всех кончились, у Анисима Петровича с Иваном осталась одна неполная лента с патронами для пулемёта. На просохшей от весенних вод поляне уже приземлялся самолёт «из Москвы», доставил тогда несколько ящиков со взрывчаткой, цинки с патронами и медикаменты с бинтами. Теперь ждали, что «Москва» поможет не только боеприпасами, но и продовольствием. По краям поля был приготовлен хворост для костров, с берёзовой берестой — для быстрого возгорания огня.

Тёплый летний вечер в лесу был тихим и мирным, словно никакой войны уже не было. И вооружённые люди в лесу будто замерли в ожидании, разговаривали негромко и мало.

Иван мыслями был возле Марийки. Она, бедная, горюет там безутешно, и боль её отзывается в сердце Ивана, хоть и находится он вдали от любимой. Мишу Иван один только раз и подержал на руках, прислонил к груди маленькое беспомощное тельце сына, а тот заплакал, и Марийка взяла его, дала сосать пустую грудь.

Словно обручем сдавлено сердце, а в голову лезет проклятая мысль, что, возможно, это лучше, что сынок умер и похоронен, а не убит зверем в человеческом облици. Видели партизаны, проходя одно село, обезумевшую молодую мать, которая качала на руках мёртвую девочку, баюкала её, пела колыбельную, приговаривала: «Спи, моя лапочка, спи красавица. Ты у меня самая лучшая...» Накануне в доме её ночевали фашисты, девочка ночью заплакала, и тогда один изверг взял её за ножки и ударил головой о косяк, и ребёнок замолк, а мама сошла с ума.

Отряд ушёл по необходимости из Липок, и не мог Иван не думать о том, что может случиться с жителями, если туда нагрянут каратели.

Тихон подсел к Ивану, положил руку на плечо. Опыт Первой мировой говорил старому воину, что солдат, которого взяла кручина, рискует потерять голову. Надо отвлечь Ивана от своих дум, пусть ценой ещё одной тяжёлой вести. И Тихон сказал:

— Крепись, Ваня, ещё одно горе у нас: Ваню погуб.

— Ваню? — недоумённо поднял голову Иван. — Как «погуб»? Когда?

Ваню, болгарский паренёк, был из отряда дяди Васи. Но когда в прошлый раз два отряда отражали наступление карателей, он был на позиции вблизи пулемётчиков Анисима Петровича и Ивана. Очень восторгался тем, как работает «Максим». И потом помогал Ивану снаряжать ленты, и вообще, потянулся к нему, как к брату. А Петровича готов был считать за отца. Мечтал стать пулемётчиком. Говорил он по-русски хорошо, потому что с детства жил в России. Родителей потерял в первые дни войны, но надеялся, что они живы, и он встретит их рано или поздно.

— Подорвал себя Ваню гранатой, чтобы немцы его живьём не взяли, — сказал после недолгой паузы Тихон.

Иван молчал, медленно возвращаясь в этот жестокий мир из своей печали. Потом вдруг вспомнил:

— Тихон, вы так и не сказали мне, как ваше отчество.

— Савельевич, — вздохнул командир, поднялся и готов был отойти, но Иван попытался остановить его следующим вопросом.

— Тихон Савельевич, а Дениска живой? Давно его не видно.

Тихон отошёл, сделав вид, что вопроса не услышал. Недобрым было это молчание. Иван оглянулся. На его молчаливый вопрос отозвался Николай:

— В городе Денис, — сказал, но голос дрогнул, и Николай решил открыть правду: — В тюрьме. Кто-то сдал его немцам.

Сгустились сумерки, прошёл час ожидания, потом второй и, наконец, раздалось:

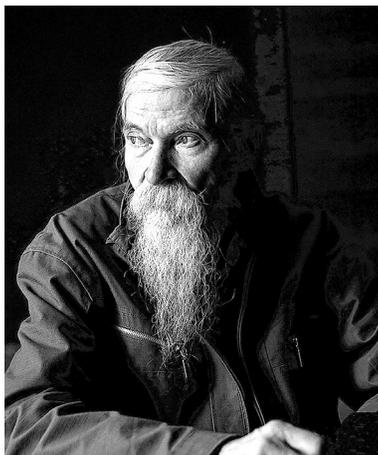
— Летит! Костры!..

Продолжение следует

ПОЭЗИЯ



ВИКТОР СОКОЛОВ



Я тороплюсь проститься...

* * *

Кладу поклоны утреннюю ранью,
Чтоб хоть на миг приблизиться к Тебе.
Ты, Бог, живёшь в нерукотворном храме.
Ты здесь во мне, Ты здесь в моей судьбе.

Ни в образах людьми творимых кукол
(Ведь люд и не такое сотворит),
Вновь надо мной сияет звёздный купол.
Дух космоса со мною говорит.

Встаёт рассвет. Туман плывёт над сопкой.
В осенней стыни ёжится река.
Склонилась над болотиной осока,
Прислушиваясь к слову ветерка.

Ты, Бог, во всём! Здесь всё подвластно Богу —
От мха в воде до камня-валуна.
В холодном плёсе глубоко-глубоко,
Сорвавшись, тонет бледная луна.

СОКОЛОВ Виктор Павлович (1936—2012), поэт, родился на ст. Могоча Читинской области. После окончания средней школы служил в Советской армии, строил Иркутскую ГЭС, затем — Братскую, работал в геологии, на Иркутском алюминиевом заводе. Виктор Соколов — автор десяти книг: «Солнечные чащобы» (1962), «Предрассветное» (1966), «Верность» (1970), «Вера, Надежда, Любовь» (1977), «Горислава» (1982), «Верба бела» (1986), «Господи, это мы» (1995), «Мастерская Бога» (1996), «Русское лето» (2000), «Пока дышу» (2010).

* * *

С детства — в полный рост, не на коленях.
С устремлённой в небо головой
Я стою по праву поколений
Перед Высшей силой мировой.

Внук я Твой.
Отправлен в мир Тобою.
Ты свети сквозь ночи тьму, свети!
На роду мне писаны судьбою
В жизни сей нелёгкие пути.

Я пройду их все. Не разуверюсь.
Не предам... Не струшу...
Не солгу... С подлой властью
Мужеством померюсь, выстою —
И победить смогу.

Чтобы здесь перед Тобою
Снова за дела свои держать ответ.
Замирая, слышать Божье Слово,
Ощущать всей сутью Божий Свет.

* * *

Бог мой древний, Бог Всевышний!
Будь мне стенами и крышей,
Будь мне крепостью в степи,
Дух мой мощью укрепи!

Будь мне в северном таёжье
Зимовьём или острожьем.
Будь пещерой мне в горах,
Юртой на семи ветрах.

Будь наставником мне строгим,
Будь поводырём в дороге.

И повсюду за Тобой
Я пойду, как за судьбой.

Быть с Тобой позволь мне рядом,
Просветли мой тёмный разум,
Запали огонь в груди,
Душу мне разбереди.

Бог мой древний, Бог Всевышний!
В этом мире я не лишний,
Коль меня Ты сотворил —
Дверь земную отворил.

Ярило

Вымыт мир дождём — небесною водой.
Ходит по полю Ярило молодой,
Ходит, солнечными струнами звенит,
Листья, травы и побеги зеленит.

Где метель свивала белые снега,
Загрывая их в овраги да в лога,
Ныне ведренным таким пригожим днём
Занялись жарки негаснувшим огнём.

На угоре кем-то спутан травный шёлк —
Видно, кто-то там невидимый прошёл.
Видишь, справа красных лилий ряд примят.
Слышишь, слева колокольчики звенят.

Мы, как дети, друг за дружкой бежим.
Упадём — и на цветах сплошных лежим.
И над нами, отражая облака,
Всё течёт куда-то времени река.

Нас Ярило с этим миром подружил.
Задурманил... Закружил... Заворожил...
В хрупком царстве и природы, и весны
Навевает нам он сказочные сны.

* * *

Крестики сирени сыплются на землю —
Целый мир в сиреневом плену.
Верю в день грядущий. Нынешний приемлю.
Прошлый, отгоревший, не кляну.

За весной покорно лето постучится.
Сбросят тень под солнцем тополя.
И другое детство за село помчится,
Старыми тропинками пыли.

Там на сочных травах бродят резвы кони.
Там во славу Велеса-творца

Глубоко-глубоко Русь пустила корни
В земли и в обличья, и в сердца.

На ромашках белых досыхают росы.
На угоре рано поутру
В тесный круг собрались русские берёзы,
Бьют заре поклоны на ветру.

И живут там люди, добрые на диво,
Верящие в сказки старины,
Где легли дороги от избы родимой
В поле на четыре стороны.

* * *

Это чьей же волей
в мире я возник?
Не было... и вдруг
однажды появился.

Путь мой то прямился,
то подчас кривился.
Мутным тёк. И... вновь
Был чистым, как родник.

Кто родил меня —
посредники всего.
Не они начало.
Не они причина.
Кто-то захотел,
чтобы жил я здесь, кручинясь.
В муках добивался в жизни своего.

Лишь кому-то ведом
был я здесь ничем,
малой частью был.
Великого пространства
по Вселенной пылью
бесконечно странствовал, но не знал —
кому се нужно? И зачем?

И когда уйду однажды
в мир иной,
превращусь в частицы,
распылюсь по свету.

По чьему желанию?
По чьему завету
жило это всё
и было прежде мной?..

* * *

Всё течёт. Как вода, всё меняется.
Всё кому-то в пути подчиняется.
Только непреходящая истина —
Мать Писания — вечно одна.

Мысли долго живут, иль мгновения
Могут форму менять откровения.
Ипостасей не ведает истина.
Нам основа её не видна.

Непонятная. Непостижимая.
Словно русская баба двужильная.
Словно книга, что в спешке пролистана...
Словно омут, не знающий дна.

Ненавистная всем... и любимая.
Нас влечёт своей тайной глубинною.
И всегда, хоть глупцами освистана,
Всебесстрастна и всехолодна...

* * *

Лишь единицам — кем бы кто ни был — мир сей познать в жизни было дано. Мыслью пронзая космоса небо, опускаясь в глубины на дно...	Люди наивны и легковёрны. Сиюминутно дело вершат. Хоть эти дела всё же делают скверно — не мастера, да к тому же — спешат.
Люди в массе — послушное стадо, идут на смерть и позор за козлом. Лезут в закрытые двери ада. Испытаны на разрыв, на излом...	Им не хватает разума... воли... Им лжеученья мешают в пути. Их след теряется где-то в поле. И этот след уже не найти.
Но никому не нужен их опыт. И, значит, снова — предательство... плен... Кажется, им под вражеский топот уже никогда не встать с колен.	И хоть считают, что верят в Бога, Бог им нужен для нужд бытия. И обрывается в мир дорога, тайну жизни в себе затая..

* * *

В ясном осеннем небе звон колокольни дальней.
Крик журавлей над полем, замыкающих круг.
Тайная, словно небыль, жизни забытой, давней,
Сердце наполнив болью, даль поманила вдруг.

Вдаль улетают птицы, за горизонтом тают.
Лягут пути-дороги. Смолкнет в тиши труба.
Я тороплюсь проститься с первой спешащей стаей.
Я не сужу их строго, знать, такова судьба.

Я ли сказал, не я ли, ныне слова простые.
Сердце болью исходит. Кружится голова.
Птицы ли прокричали — в стылом воздухе стынут
и с ума меня сводят эти чьи-то слова.

В сердце окрепнет вера. И судьбе сопричастны,
в поисках счастья люди. Помните Божий Суд.
Прочее — всё Химера. Так удойтесь счастья.
Только знайте: на блюде счастье не поднесут.

В ясном осеннем небе звон колокольни дальней.
Крик журавлей над полем, замыкающих круг.
Тайная, словно небыль, жизни забытой, давней,
Сердце наполнив болью, даль поманила вдруг.

Стихи Виктора Соколова несут боль за свой народ, за поруганную веру, дают надежду на возрождение религиозного и национального самосознания. Дай Бог, чтобы больше людей обращалось к православной теме, ибо сопротивление со светом несёт свет. Луна светит не сама — отражает солнечный свет. Так и поэт, соприкасаясь со светом Божественной Истины, будет отражать этот Божественный свет в своих стихах.

Протоиерей К. ПОДЛОСИНСКИЙ, 1994 г.

* * *

В переломные времена у людей возникает острое желание понять, в чём всё-таки смысл жизни, каковы причины движения истории. Поэтому я смог для себя объяснить, почему известный поэт Виктор Соколов, чьи произведения прежде росли из светской почвы, вдруг написал стихи на библейские мотивы — Библия, как вечная книга, и содержит вечные человеческие вопросы и ответы. Но при этом меня особенно порадовало, что Виктор Соколов на этот раз явил читателю не просто новую тему, но и новое поэтическое чувство.

РОСТИСЛАВ ФИЛИППОВ, 1995 г.

* * *

Из книги ИВАНА КОЗЛОВА «КОЛОКОЛА БАЙКАЛА», 2006 г.:

...Какая-то таинственная неведомая нам сила все же живет в байкальских глубинах. Мы всматриваемся и не можем разглядеть, опускаем в Байкал руки, но ничего не находим. Но есть в нем что-то древнее непознанное, волнующее сумерки нашего подсознания. И хорошо это выразил Виктор Соколов, первый по времени поэт города Шелехова, магистр поэзомагических наук:

*Волны Байкала круты, холодны.
Смотришь —
Мороз пробирает по коже.
В сонной глуби,
На кого-то похожи,
Призраки-тени порою видны.
Кто-то сквозь водную толщу плывет,
Кто-то следит за тобой ненароком
И, приближая конец твой до срока,
Снова в объятия рока зовет.
Сам себе снова
И чужд и постыл,
И одиноко кому-то внимая,
Смысл этой жизни едва понимая,
Ты перед бездной туманной застыл.*



ОЛЬГА КАЛАЯНОВА



Снова вместе

РАССКАЗЫ

Валенки

Лисьи увёртки мои не помогли — и в глаза заглядывала так жалостливо и проникновенно, что любой бы сдался, не выдержал. А дед ни в какую: «Нет!» И на ухо шептала ласково, что он самый добрый, самый хороший... И опять: «Нет!»

Кремень бесчувственный! Не взял меня на базар! Идти, мол, шибко далеко, и обутки у меня не больно тёплые и справные, и на улице не лето — мороз, да ещё с ветром. Много отговорок нашёл. Осерчал даже, разворчался:

— Хватит уросить да вяньгать! Выгоду свою надоть иметь. От грошовой свечи и Москва сгорела. Покумекай: перемерзнешь — тут хворь иль немочь кака и пристанет. Все каникулы просидишь кажен день в хате. Зачем тебе така оплошка — мы ить за тобой, как за крашеным яичком тряёмся. Отец твой вот-вот на порог нагрянет. Уже Хабаровск давно проехал. Чё нам скажет? Не уберегли, мол, как надоть не обихаживали. Садись-ка лучше за уроки аль шаньги помоги тётке раскатывать. Рождество скоро! Вот тебе весь мой сказ.

Дед противно растопырил усы, дверью хлопнул так, что льдинка, намёрзшая у порога, обломилась, и ушёл с Марфушкой.

КАЛАЯНОВА Ольга Алексеевна, прозаик, журналист, редактор. Родилась в г. Владивостоке. Детство и юность прошли в Красноярском крае, куда привез её на воспитание к своей сестре отец — капитан Тихоокеанского флота. После десятилетки поступила на филологический факультет Иркутского государственного университета, который окончила в 1958 г. Много лет работала редактором научно-технической литературы. Печаталась в областных газетах, в журнале «Сибирь». Живёт в Иркутске.

Отца ждала я со смешанным чувством горечи и восторга. Боялась, что он заберёт меня насовсем от Марфы и Якова, которого называла то дедом, то папкой. Почти с годовалого возраста жила я с ними, с тех пор, как мамочка моя родимая — Анна Ивановна — «подкинула» меня (Марфа — родная сестра моего отца), пока отец по морям ходил. Вот сейчас едет он с Камчатки, отпуск у него всегда через три года выпадает. Последний раз видела его сразу же после окончания войны, приехал, как только на Курилах с японцами отвоевался. Люблю его до щенячьего восторга, но от Якова с Марфушкой не уеду. Без них не житьё мне.

А прошлым летом взяли меня на базар, когда Бурёнку ходили покупать. Надивовалась я на всё глядячи. Живности из соседних деревень понавозили на продажу всякой: и лошадей, и коров, и овец. Всё кругом мычит, кукарекает, поросята визжат, как скаженные. Особенно те, которых в мешки суют, уже купленных. Чуть поодаль от «зоопарка» ряды пузатых бочек с калиной мочёной и брусникой выстроились. А меня ягода поразила — невиданная в наших лесах клубника. Лежит одним рядком на плоских ящичках — огромная, чуть не с ладошку, как кукла разрисованная, румяная, но духу лесного приятного от неё никакого. Вроде неживая даже.

Марфушка тихонько объяснила, таинственно голос приглушив:

— Это в тайге на хуторах живут ссыльные литовцы. Рассаду ягоды привезли с мест своих родных, но ни корешка, ни усика местным не дают. И не выпросишь ни за какие коврижки. Летом у них эта ягода — подспорье. Жить ведь и им надоть. Поэтому и дорога́, не по нашим деньгам. Зато наша клубничка хоть мелковата и неказиста, но уж духмяна и к сушке годна.

Ни одной ягодки на пробу мне не купили. Да и понятно, дед торговался и присматривался к коровам, что на привязях в рядах на продажу стояли. И выбрал уже одну — беложую, с чёрными пятнами по бокам и тёмной стрелкой по всему носу — Бурёнку.

«Обнову» зацепили верёвкой и важно повели домой.

Кормилицей Бурёнушка стала — и молочко, и творожок, и сметанка стали у нас водиться. Ухаживали за ней — не ленились. А стайку, особенно зимой, утепляли как могли и чем могли. Вот и сейчас дед снег подгрёб под самый скат крыши. Окошечко, вырезанное почти под потолком, заткнул ветошкой. А на двери старое ватное одеяло для тепла накинул.

Сено приходилось косить далеко. Помню, и меня на покос однажды взяли. В шалаше спали. Ночью иногда доносился рёв то ли изюбря, то ли другого какого большого зверя. Страшновато становилось. Зато днём можно было по кустам поскакать, грибов наломать. Росли здесь лисички оранжевые, завитые, как невиданные цветы, но запах их аптечный, какой-то медицинский, мне не нравился. Обабки жареные или в похлёбке вкусней были, хотя и темнели.

Расчувствовалась что-то! Дед прав — за уроки надо браться. Сегодня история Древнего мира — самая интересная для меня наука. Интересней сказок и всяких других выдумок. Правда, не меньший восторг вызывал и журнал «Вокруг света» (связку отец когда-то привёз). На чердаке их хранили. Все уже перечитала. Было и другое чтиво — путешествия, открытия. Когда-то отец, ещё совсем молодой, преподавал историю в каком-то училище Томска. Да бежать ему пришлось на самый край света, во Владивосток, когда узнал, что его отца, Николая Никифоровича, и брата старшего, Григория, арестовали, как врагов народа.

Но хватит думы думать. Историю выучила. Узнала про древнее государство Урарту, которое существовало и процветало в VI–V веках до н. э.

Легенду вспомнила об ассирийской царице Шамиран (греки называли её Семирамида), которая построила город на восточном берегу озера Ван. Где-то я уже это читала. Литературу повторила. Хоть сейчас спроси — от зубов отлетит. А вот математику придётся списать у кого-нибудь.

Стрелки ходиков в кухне всё ближе подбираются к обеду. Торопиться надо, ещё и к Бурёнке заскочить — погладить, корочкой угостить и морковкой. Она мигом всё смякает. Так всё сделала и домой незаметно шмыгнула.

Но всевидящая и всеслышающая бабушка Параскева (мама Марфушкина и отца моего родного) всё углядела и тут же заворчала:

— Ишь, цаца кака! Летит из стайки, как скаженная. Воздух ей там не ндравится. А с чистого не воскреснешь и с грязного не треснешь. Избаловали совсем, не приведи Господь! Цаца и есть цаца. У других таки девки коров сами доюць, а этой готовенькое молочко в кружке подавай. И по дому не допросисся чё сделать! Нет, не любит робить. Вон хвикус пылью зарос. Книжки б только и читала. Умная больно. И в кого така уродилась?

К ворчанью бабы Параскевы я привыкла и к напраслинам её тоже. Правда, обидно. У фикуса вчера все листья до одного влажной тряпочкой протёрла.

Теперь самое главное для меня действо — катанки «утеплить», чтоб никто не заметил. Пятки-то все уж светятся. Бумаги надо напихать или сенца сунуть и придавить. Это я с вечера ещё обмозговала.

Да вдруг кольцо железное на калитке брякнуло. Неужто наши с базара вернулись? Что-то раненько. Видно, мороз поторопил. Так и есть, Марфушка с Яковом заявили. Дед ещё с порога скользнул по мне взглядом из-под косматых бровей, вздохнул сокрушённо:

— Не повезло тебе, Дарья, не было сегодня катанок хороших. Все жидковаты да косматы, да и выделка плохая. Придётся тебе сегодня, девица-краса, в Марфушиных в школу сходить. К завтрашнему утру твои починить успею.

Схватил дед мои катанки и вытряхнул из них всё содержимое: полетела солома, ком бумаги вывалился, и дыры во всей красе своей открылись миру.

Ну, чисто коршун, ухватила я свои катанки. Вцепилась обеими руками. Да дед сильнее оказался. А я орать да причитать:

— Не пойду в школу! Засмеют. От них стайкой пахнет. Лучше в носках...

Так и вылетела во двор, прихватив на лету портфель.

Дед меня уже у калитки перехватил, в хату притащил и к печке на лавку сунул. Пришлось смириться. Отцом запугали: всё, мол, неслух, о тебе расскажем. Стыдоба какая! Скоро Рождество, праздник великий, а ты грешишь!

После ужина, как в кухне толокониться перестали, Яков достал с полки свой инструмент — жестяную коробку, где у него лежал кусок вара, моток дратвы, шило и две толстых иглы. Зажёг керосиновую десятилинейную лампу, очки на нос нацепил. Дратву крепко нагёр варом, выкроил на пятку заплату, и заходила игла вверх-вниз.

К утру на моих обутках появились новые «пятки». Дед снял катанки с печи, тёплые, просушенные:

— Дарья, иди мерь! Походи пока в подшитых, глядишь, никто с тебя их не сымет.

— Дед, а почему здесь все говорят «катанки», а не «валенки»? Помнишь, как по радио одна певица пела: «Ваเลนки да валенки, не подшиты, стареньки, если валенки подшить, можно к милому ходить».

Дед объяснил коротко, но толково:

— Что валенки, что катанки — один хрен.

А я опять с вопросом:

— А куда певица та делась? Что не поёт?

— Провинилась чем-то твоя певица. Рядом, говорят, где-то. То ли в Решотах, в Тайше-те, то ли дальше где-то. Запретили петь ей. За каки грехи, не знаю. Никто не знает. Да всё это пустое, зряшное.

— Дед, а мне слово «валенки» больше нравится. Уж такое оно уютное и мягкое.

— Называй как хочешь. Валенки так валенки. Вреда не будет, — заявил дед. Бережно закрыл свою жестяную коробку с варом, суровыми нитками и положил на полку, в надёжное место. Хитро подмигнул голубым глазом из-под косматых бровей: — Уберу подальше. Глядишь, ещё не раз мой струмент сгодится — валенки твои подшивать. Аккурат вовремя нонче отпочинился. Рождество сегодня, как стемнеет, так и наступит. А вот завтра утречком пойдём на вокзал отца твоего встречать. Ноги-то в тепле будут — не отморозишься!

Снова вместе

Прасковья Васильевна проснулась около полуночи от резкой опоясывающей боли — ни охнуть ни вздохнуть. Сползла с кровати, авось, на холодном полу боль утихнет. Не тут-то было! Не отпускало. Попробовала снова взобраться на койку, почти дотянулась до железного изголовья, а на большее сил не хватило. Упала.

За окном тьма кромешная. «Скорее бы рассвело, может, днём полегчает», — подумала. А боль снова, как зверь когтистый, вцепилась — не отдерёшь, опоясала, выдавила из неё, всегда такой терпеливой, стон невольный, тягостный.

Неслышно ступая, половица не скрипнет, вошла Катя, квартирантка, студентка: «Баба Пана, сил смотреть на вас нет. Сколько раз захожу, а вы меня даже не видите. Я «скорую» вызову». И вызвала. По темноте увезли Прасковью из дома. Два дюжих санитара уложили её на носилки — идти самой было неважно, доставили в отделение экстренной хирургии.

Мишка толком ничего и не понял, куда, зачем едет его хозяйка? Правда, голову кудлатую приподнял, для острастки на незнакомец зубы оскалил, клыки показал. И хотя тяжело вставать было, но сопроводил Прасковью до машины. «Ничего, — подумал, — утром всё равно вернётся. Куда ей деваться! Кур кормить надо? Надо! И из стайки на волю их выгнать. Какое-никакое, но хозяйство всё же».

Утро пришло. Распогодилось. Серые облака, затянувшие плотно ночное небо, истлели, незаметно растаяли, растворились в распахнутой сини. Солнышко выкатилось, пригревать стало. Пора и хозяйке вернуться, делом заняться. Понукать её не надо, уж больно привычная она к труду да порядку.

Но только в десятом часу из хагы вышла квартирантка. Отворила дощатый курятник, кинула в долблёное деревянное корыто корм, выпустила кур на волю.

«Не больно прыткая, — подумал старый пёс про квартирантку, — день-деньской на дворе, а она только встать удумала. Ночью спать надо, а не книжки изучать. Непорядок это».

К своей чашке Мишка даже не подошёл и не взглянул в ту сторону. Аппетита не было. Вроде и своя Катерина, давно уж на постое у Прасковьи, но из хозяйкиных рук даже сухарь мягче.

Один за другим тянулись безрадостные, тягучие дни, постылые, пасмурные. Прасковья не возвращалась. Катерина частенько уходила куда-то, то с сумкой, то с пакетом. Когда возвращалась, шёл от нее какой-то противный, наверное, лекарственный запах, как от тех в белых халатах, которые ночью увозили хозяйку.

Прошло ещё несколько дней. Совсем затосковал Мишка. И понять его можно. Прожил в этом доме девятнадцать лет. Срок для собаки очень даже солидный. Но за всю эту долгую жизнь не отлучалась Прасковья так надолго: «Бросила, что ли? Чем обидел?» И подстилка на веранде, где он всегда спал, казалась ему теперь жёсткой, хуже куска скрученной стальной проволоки. И ушёл добровольно Мишка со своей тоской, неопределённостью и обидой насовсем жить в курятник. Куры, хотя и горлопанистые да заполошные, но всё равно свои.

Редко выходил пёс из курятника. Бока его заметно ввалились, большие лапы всё чаще давали о себе знать. Свет не мил стал, глаза б его ни на что не глядели! Ни на какие Катеринины посулы-уговоры не отзывался. Вроде и не видел её, и голоса не слышал. Глаза закрывал, как запечатывал. И только картинки прежних дней всплывали в памяти.

«Плохого-то ничего не было, и не могла меня так просто хозяйка бросить», — успокаивал себя. Вот вспомнил, как ещё несмышлёнышем, глупым щенком косопалым положила Прасковья его на колени. Запричитала удивлённо и восторженно: «Ну, впрямь Мишка, Мишка на Севере. Белый-то какой да пушистый! В снегу, поди, и не углядишь, коль схоронится». От неё Мишка узнал, что отцом его была московская сторожевая овчарка, а матерью — шотландская колли, рыжая, как огонь, с широким белоснежным воротником. От отца досталась Мишке осанка, широкая грудная клетка, настырность, безоглядная отвага. Мать наделила его красотой необыкновенной — белоснежной пуховой шубой. Общешься, но не найдёшь, сколь ни старайся, ни одного самого маленького рыжего пятнышка.

А пуху сколько от Мишки вычёсывалось! Как заведённое кружило веретено в ловких Прасковьиных руках, когда пряжу пряла да на клубки нитку наматывала. Зятьям, дочерям, внукам и правнукам справу к зиме готовила — носки да варежки.

Хотя и сил не было уже выбиратья из курятника, но всем нутром своим пёс чувствовал, что весна подступает. Вот-вот на старой берёзе, что перед домом белеет, клейкие листочки проклюнутся, у черёмухи да сирени почки лопнут. «Пора грядки в порядок приводить — землёй запахло. В толк не могу взять, отчего Прасковья в одночасье всё бросила — и меня, и кур, и землицу. Беда с хозяйкой приключилась», — чувствовал Мишка. Заботило и угнетало его бессилие.

Вторая тягостная неделя пошла. Да стукнула вдруг калитка. И голос знакомый, такой родной, такой единственный! Дождался! Сердце запрыгало, ухнуло. Все силы свои собрал, поднялся. Подставил кудлатую голову под Прасковьюну руку, из последних сил приподнялся и лапы на плечи положил. Шершавым языком лизнул.

Вернулся Мишка на старое место. Подстилку свою подтащил к самой двери, чтоб Прасковья из хаты не вышла. А тут соседи набежали проведать — никого не пустил. Отдыхает хозяйка, сил набирается.

Утро следующего дня выдалось как праздник. И день весь тоже. Куда бы ни пошла тихохонько да остороженько Прасковья, неотступно провожали её благодарные глаза верного пса. Теперь они снова вместе — человек и собака.

Кукушонок

Внучке Екатерине Ивановой посвящается

Не судите, да не судимы будете.

От Матфея, 7:1

Скорый поезд «Владивосток — Москва» пролетал последние километры тайги. Мелькали мохнатые ели, сосны, истаивали мелководные речушки, сварливые ручейки, проплывали одинокие разъезды. Скоро станция, вот-вот вкатится состав на широкую деревянную платформу. Проводники уже вышли в тамбуры со своими флажками.

Поезд с толчком, наконец, остановился, заскрипели все его сцепки. Проводник одного из вагонов, открыв дверь, вынес на платформу небольшой дерматиновый чемоданчик и помог сойти на перрон молодой женщине с ребёнком, закутанным в стёганое ватное одеяло.

Заходящее солнце ещё серебрило оконные проёмы вокзального здания, заставляя их переливаться и мерцать холодными бликами. Колочие снежинки разлиновывали стылый октябрьский воздух.

Сумерки растворили и спрятали всё, что под силу было скрыть и утаить. Привокзальные фонари никто не торопился зажигать, а в потухающем небе засветилась первая звезда.

Поёживаясь от холода и застегнув на все пуговицы плюшевый жакет, ловко облегающий фигуру, женщина долгим взглядом проводила огоньки последнего вагона, пока они совсем не растаяли во мгле. Подхватив чемодан, приезжая решительно вошла в зал ожидания.

Зал был пуст, светилось лишь окно кассы. Вошедшая обратилась к кассирше: «В билете указана только станция, а мне нужен город... Далеко ль до него?» — «Да тут всё рядом, милая. Город за вокзальной дверью. Только иди осторожно, ищи тропинку. Скользко — сверзнешься».

В щегольских белых фетровых полусапожках на каблучках женщина осторожно пошла вдоль тротуара, не смея ступить на него. Провинциальная жизнь тридцатых годов

разительно отличалась от жизни большого приморского города, откуда неизвестно зачем прибыла поздняя гостья. Ни автобусов, ни уличных фонарей. Деревянные одноэтажные дома, плотно закрытые на железные болты ставни, глухие заборы. Лай собак. Народ здешний рано укладывался спать.

Наконец-то дошла. Вот он, дом, знакомый по рассказам мужа. Стук в калитку, заложённую тяжёлой щеколдой, разбудил задремавшего пса, и тот залаял где-то в глубине двора, загремел цепью. Но цыкнули на него — замолчал и из конуры не показался. Открыл калитку мужчина. Ничего не спросив, подхватил чемодан, проводил женщину в дом. В кухне за большим столом собралась на ужин вся семья — старуха, две женщины среднего возраста, мальчонка двух-трёх лет.

Керосиновая лампа, окутанная тонким, слегка закопчённым стеклом, как коконом, горела под потолком ровным тусклым светом. Никто из сидящих не проронил и слова. Ждали, что скажет незнакомка.

Положив на деревянную лавку запелёнутого ребёнка и сняв с себя шляпку, вошедшая представилась, обращаясь в основном к старухе, угадав в ней хозяйку:

— Ну, здравствуйте, Ульяна Федосьевна, я Анна, жена вашего сына Алексея. Приехала погостить с дочкой, пока муж в плавании.

И разом все заговорили, обступили, распеленали крохотную девчонку. Упрекнули — почему не сообщила о приезде, встретили бы как положено.

Прошло два месяца. Анна, нагостившись у родственников мужа, засобирилась домой, повинувшись лишь одной ей ведомой причине. Засобирилась одна, без дочери, уверив родню, что приедет за ней вместе с Алексеем, как только тот вернётся с моря.

Проводили Анну достойно, хлебосольно. Особенно хлопотала Ульяна. Всю кладь на долгую дорогу — как-никак пять суток до Владивостока в вагоне трястись! — просмотрела, напекла пирогов с молотой черёмухой, с сухой распаренной клубникой. Хороший кусок солёного сала прикупила у соседа Егора. Так и завернула в холстину с кристаллами крупной серой соли. Огурцов своего засола да квашеной капустки в горшок до горла набила, да много чего ещё по мелочи.

Проводили Анну, в вагон усадили. Сумки со снедью по полкам распихали. Расцеловали и наказали приезжать. Благословили... Только никто и никогда больше так и не увидел Анну Ивановну. И фотографии с обликом её не осталось. На память осталась только девчонка.

Вернувшись после полугодичного плавания, Алексей, едва сойдя на берег, узнал от друзей горькую правду. Не нашёл ни жены, ни дочери в маленькой квартирке, выделенной молодому офицеру для счастливого семейного проживания на берегу Уссурийского залива.

Пока судно отстаивалось в доке, выпросил он временный отпуск по семейным обстоятельствам. Командир не препятствовал, понял. Собирался тот недолго. Сцепил зубы — и на вокзал. Пять суток под перестук и железный лязг колёс промаялся он в горьких раздумьях. Как снег на голову неожиданно-негаданно свалился к родне.

Судили да рядили все разом всю неделю, все дни, что отмерены были Алексею отпускным сроком. Маменька в споры не вступала, только взглядывала, как искрой обжигала, да губы в строчку поджимала. Не угадать было, что она обо всём этом думает. Но только Алексей засобирился, твердо решив, что дочь с собой возьмёт, Ульяна враз всё по-своему устроила:

— Не дури, Лёшка! Девку не отдадим. Ироды мы, что ли? Няньки и здесь найдутся. Сестра твоя Марфа не подмогнет разве? С Яшкой своих детей не народили, вот и вырастят твоего кукушонка. Иди в море, не рви сердце и душу на разрыв никому не выставляй.

Проводили и Алексея.

Марфа с Яковым крепко привязались к малышке. Всё тепло их душевное, непоказное ежеминутно невидимыми лучами согревало Алёнку. Никто и не подсказывал девочке, а едва говорить научилась, называть их стала «мама Муся» да «папа Яша».

Говорят, руки матери никто не может заменить. Вечна и связь матери с ребёнком. Но Алёнка-то всегда помнила ласковые руки Марфы. И тихий шёпот её, когда болезнь какая

детская наваливалась, слышала сквозь дрему из сумерек: «Господи, спали боль-хворобу, очисти утробу...» Помнила и картины совсем уж раннего детства. Как усаживала её мама Муся в большое деревянное корыто с тёплой водой, отмывала бережно каждый пальчик. И не дай бог, чтоб в глазки мыло попало! А по праздникам появлялись то под подушкой, то под бочком улыбающиеся тряпичные куклы с разрисованными карандашами лицами, с огромными в чёрных ресницах глазищами. И руки и ноги их, пришитые к почти квадратному тулову, были нелепы. Но платья на каждой фасонистые. Это всегда был восторг. И, конечно, предмет зависти подружек.

Зимой большая печка не согревала дом, топи не топи. Углы промерзали так, что в каждом нарастал иней, и тогда Яков грел Алёнкино ватное одеяло у печи и закутывал её как куклу, только нос торчал...

Прошло три года, а может, чуть больше. Как-то раз Яков принёс телеграмму с почты: «Выехал скорым, встречайте. Алексей». В доме началась суматоха. Засиял медный оклад иконы с ликом Христа, протёртый промасленной ветошкой. Заблестели мытые листья разлапистого фикуса. Анастасия, невестка, до желтизны отдраила голиком пол в сенях. И во дворе метла походила — ни соринки, ни травинки.

В день приезда Алексея запорхали по всему дому запахи сдобного теста. В ещё крепких Ульяниных руках заплясал ухват. На жарких угольях в самой утробе русской печи томилось в чугунке какое-то варево. Следила сама Ульяна, чтобы не перепрело, не выкипело.

В хрустящем сатиновом платье, ещё ни разу не одеванном, растопыренном, поплыла на руках у Якова по улочкам и переулкам маленькая Алёна не знамо куда. Яков принарядился в выходные хромовые сапоги со скрипом. Марфа накинула на плечи кремовую шёлковую шаль с длинными кистями.

Вокзал ошарашил лязгом, суетой, непривычно тяжёлыми запахами. Издалека накатил свисток приближающегося паровоза. Чёрное с огромной трубой чудище промчалось вдоль перрона, дрогнуло. Остановился состав.

Ринулись к вагонам торговки с крынками жирного варенца, с горячей картошкой, обсыпанной укропом и луком. Встречающие, и Марфа с Яковым тоже, засуетились, закрутили головами. Где вагон-то? Куда бежать? Но скорый ушёл, и перрон опустел. Только Марфа, Яков да Алёна остались. Отступили на шаг и слегка подтолкнули девчонку вперёд — иди, мол. И приковалось её внимание к человеку, которого вдруг увидела на пустой платформе. Всё растворилось и исчезло из поля зрения, кроме русоволосого великана в тёмно-синем флотском мундире с золотыми нашивками. Ей бы зареветь — да страха не было. Захлестнуло ощущение радости, необъяснимого узнавания чего-то родного и близкого. Сердчишко захлебнулось от внезапно пришедшей волны чистого счастья.

А незнакомец присел на корточки, пристально всмотрелся в точно такие же, как и у него, серо-голубые глаза, удивлённо распахнутые, бесстрашные. Взял на руки. Прижал. Осторожно поцеловал куда-то в макушку и только ей прошептал: «К тебе, дочка, приехал». Посадил на плечи, так и пронёс по улице, сквозь белые заросли черёмухи...

Вскоре отец уехал. Ждала его совсем другая жизнь — пароходы, моря, шторма. В его жизни места для Алёны совсем не находилось. Встреча с отцом предстояла ей теперь не скорая. Военные годы накатывали. А пока складывалось всё хорошо. От папы Яши и мамы Марфы видела она искреннюю любовь и гордилась перед другими ребяташками, что у неё два отца. Но начала задумываться: а почему мама-то одна?

Уже как подросла Алёнка, посадил её Яков на велосипед — в тайгу возил по ягоды, на поляны, где нежилась под восковыми кожистыми листочками багряная брусника и словно обсыпанная росой голубела черника. И по грибы — грузди да маслята — наведывались. Места знали заветные, потаённые от глаз чужих. Иногда, как подфартит, и белых набирали. А в дождь попадали — прикрывались клеёнкой или дождевиком. Весело было. А как Марфа ждала их возвращения! Отпаивала горячим чаем с топлёным молоком, вареньем, и лицо её излучало тихий свет.

А вот кем была внучка для бабушки? Философствовать ещё рановато было, но понимать стала, что для бабушки Ульяны она почему-то как сорный репей. Предмет нео-

душевлённый. Благодати и тепла от бабушки не исходило вовсе. Было дело, что и коленки разбивала, цепляла занозы, но, захлебываясь от нестерпимой боли, никогда не бежала к бабушке за утешением и помощью. Даже мысли такой не рождалось в головёнке. И только частые походы с Ульяной в хлебную лавку открыли Алёнке тайну. Ей тогда уже годков шесть исполнилось.

Бабушка стала брать её с собой за хлебом. Обычно шли долго — с остановками, хотя лавка и недалеко была. Останавливались и заговаривали с каждой встречной — и со старухой, и с молодухой. Слово за слово — и пошло-поехало. На всю жизнь запомнилось, как цепкая сухая рука Ульяны крепко сжимала Алёнкину ладошку. Вырваться нельзя — можно ведь и свалиться с тротуара. А там чуть ниже дощатого настила застыло море грязи или бескрайняя лужа развалилась. Потихонечку отступая, Алёна прячется за Ульянину юбку. Но голос бабушки, обвиняющий, жёсткий, слышит отчётливо. И не доходило поначалу, кого это бабушка так отхлёстывает, говоря с очередной встречной:

— ...Привезла, кинула! Алёшка в морях батрачит, а она, принцесса драная, кукушка, девку нам бросила! Кормите, нянчитесь! Марфа у меня уж больно сердобольная, всё с ей валандается. И Яшка такой же...

Распалается бабушка. Выпихивает из-за спины Алёнку на свет Божий, на обозрение очередной подвернувшейся слушательнице. Истово, не заботясь о том, понимает ли её малышка, изливает всему миру горькую обиду за сына и лютую нелюбовь к снохе.

Любознательных собеседниц по дороге в лавку попадаетея много. Сценарий по обмену мнениями один и тот же. Алёнка заучила его наизусть, но понять не могла, о какой кукушке речь? И чего ж это бабушка так сердает да распалается? Но отчего-то виноватой считала себя... И от голоса её, жёсткого, как проволока, как-то незаметно зародился в её груди ледяной ком. Нет, не к маме, а к бабушке. Терпеливо ждала, пока бабушка душу отведёт, наговорится, и лишь потом пойдут они к высокому крыльцу хлебного магазина, где нежатся буханки. Нет, Алёнка не голодала, но страшно любила этот умопомрачительный запах хлеба — густой, сытный. Полки, крашенные в ядовито-синюю краску, плотно забиты этими кирпичами, тёмно-поджаристыми, а иногда и белыми с золотой коронкой- корочкой. До обморока хотелось Алёне этого хлеба. Просто корочки. Но просить у бабушки — ни за что! А хоть и попросит — бабушка не услышит. Только сверху вниз посмотрит, как иголкой прошьёт. В тряпичную сумку аккуратно сложит буханки, кирпич к кирпичу, и той же дорогой к дому. А уходить из этого царства благодати ой как не хотелось!

Из этих пересудов Ульяны по дороге в лавку и открылась для Алёны тайна, до поры до времени тщательно сохраняемая. И про кукушку со временем всё открылось. И в маленьком, с кулачок, сердце зародилось огромное чувство любви и нежности к никогда не виденной ею женщине. Тайно, чтоб не обидеть ни маму Мусю, ни папу Яшу, Алёна впустила в своё сердчишко ту, которая её родила. И любила её трепетно, никому о том не говоря. И всё верилось упрямо, что когда-нибудь мама Аня найдёт рождённую ею девочку. А если и не решится подойти, то хоть издали посмотрит. Обязательно!..

С Рождеством Христовым, мамочка!..

За плетнём, что нашу усадьбу — громко сказано! — огораживал, никто ни одного дома или избёнки не хотел ставить. Не потому, что место плохое было. Тянулись всё ближе к центру — к магазину или железнодорожному вокзалу. Здесь жизнь протекала поинтереснее и побойчее, а на площади, около промтоварного и булочной, иногда даже мороженое продавали.

Грунтовая дорога, истоптанная парнокопытными, проторённая издавна, проходила мимо нашей хатёнки. Редко-редко беспокоил её скрип колёс. Лишь в ягодный или грибной сезон грузился на телегу, запряжённую лошадёнкой, народ с вёдрами и корзинами — бабы, ребятишки, старики. В дальний лес все на заготовки торопились — соседей бы обогнать!

Но каждое утро и каждый вечер гнал бородатый дед Степан поселковое стадо на одному ему ведомые поляны с сочной травой. Виртуозно щёлкал Степан бичом, так же виртуозно ругался на своём отменном матерном, если какая особь далеко вправо или влево забегала, куда ей вовсе и не положено было.

А дорога уходила к самому Московскому тракту. Асфальта в те времена и в помине не было. Засыпали и утрамбовали шоссе серебристо-жёлтым песком. Лежал он уже не один десяток лет — затвердел, спёкся. Машин или другой техники по тракту мало ходило, и разбивать его некому было. А вот за ним, за трактом, чернели вспаханные совхозные поля, стеной неприступной синела тайга — лес с соснами, берёзами, лиственницами. И чего только не было в этих чащобах! Ягоды на любой вкус — малина, смородина, черника, а какие грибы сквозь хвою пробивались — грузди мокрые и сухие, моховики, рыжики, обабки! Деревенский люд наш только эти грибы и считал настоящими. Все остальные числились в поганках.

Вернусь к нашему огороду. Вернее, к тому, что за ним имело место быть. А была старая вырубка. Не знамо уж, сколько лет тому назад и здесь стояли вековые сосны, белокожие берёзы атласными боками выбеливали нетронутую ещё рощу. Вырубили всё давным-давно подчистую. И справа и слева от дороги в эту пору разросся молодняк — кустарник. Пни, что о прошлом величии леса напоминали, не то что одряхлели — истлели: и кора, и опилки, и щепка — всё сгнило. Следов никаких и в помине не осталось. Всё в торф, в перегной ушло — тёмно-коричневый пышный, мягкий субстрат. Такому перегною любой огородник нынешний городской иззавидовался бы. Не заставил себя ждать пырей и другие такие же цепкие длиннохвостые сорняки. Утрамбовали они самый верх почвы, уплотнили.

Однажды обнаружила я на этих вырубках целое царство невиданных грибов. Как на дрожжах выперли они из пуховых недр торфяных, но никому не нужны были. Не грузди, не рыжики — значит, поганки.

Когда стадо забредало в эти заросли, коровы шляпки копытами сбивали или совсем гриб растаптывали.

Но больно хороши грибы были. Не могут такие богатыри в белоснежных шапках с розовато-коричневым подкладом и запахом сладким быть совсем уж негодными — вывод такой я сделала. Полное ведро наломала и прискакала с ними домой.

Мамочка моя названная, Марфушка, не так уж и грамотна была, но читать и писать умела. В церковно-приходской школе успела поучиться два года. Страсть к чтению имела великую и «Работницу», и «Крестьянку» — журналы, которые Яков, муж её, выписывал на почте, где бессменно служил монтёром, от корки до корки прочитывала. А в них про всё можно было узнать, и про грибы тоже. Помню, что даже целую страницу с разворотом грибам отвели, где и шампиньонам несколько строк посвятили, и рисунок дали.

Вот Марфушка и изучила мои трофеи — понюхала, надрезала, пожевала. И вывод сделала:

— Ну, чистой воды шампиньоны.

Пристрастились мы к этим грибам-пузачам. Нет-нет да и сбегаю поутрянке с ведром, наломаю самых ядрёных. Матушка их тут же на сковородке своей большой, глубокой, толстостенной обжарит, сметанки плеснёт. И вот готово царское блюдо. Запах, вкус необыкновенные! А если ещё и картошечка отварная — тут уж никакие фирменные французские жульены в подмётки не годятся.

Осталось всё это в далёком прошлом — и городок тот маленький, и поляна грибная.

Вспомнила однажды, уже в Иркутске, когда проходила по бульвару Гагарина, смотрю, бабульки, ребятишки с палочками и мешочками бродят меж деревьев и кустарников, находят под дёрном грибки — белые крепыши с розовой подкладкой рубчиком.

Ба! Да это же шампиньоны! Как наяву увидела я свою поляну и в мягких шляпах царство грибное, кухню, где все мы за столом сидим, а посередине бабушкина сковорода. И даже запах, ни с чем не сравнимый, жареных грибов вспомнился.

Малая родина о себе напомнила...

Однажды дочь на рождественский ужин меня пригласила. Обещала блюдом каким-то удивить. Удивлять теперь можно! И книг поваренных тьма-тьмушая — и африканских, и европейских. А продуктов! Всё не перепробуешь и не накопишься. Были б деньги.

В гостиной белоснежной скатертью стол накрыт. В салатницах тонкого французского стекла содержимое томится. Новомодные салаты — с ананасами и киви. А этот явно из морской живности — креветки красными боками кокетливо на край блюда улеглись. Оливки и маслины перемешались с маленькими помидорками черри.

Мысль нехорошая мелькнула — не угостила бы дочь лягушачьими лапками!

Порадовал, правда, традиционный наш холодец. В старинной тарелке кузнецовского фарфора золотился он и плавился.

Всё откушано, всё испробовано. А где же сюрприз-то?

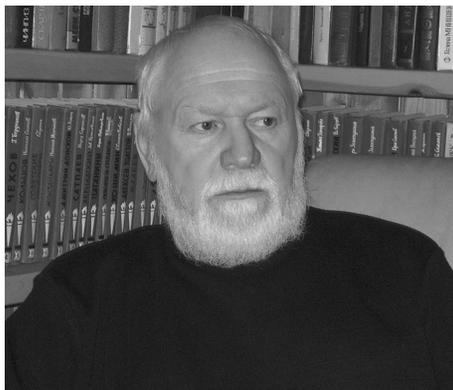
Из кухни запах больно знакомый просочился. Дочь водрузила на середину белоснежного стола чугунок, где паром исходила посыпанная укропчиком круглая варёная картошечка. Зять торжественно внёс на деревянной подставке бабушкину сковороду с благоухающими в сметане шампиньонами...

— С Рождеством Христовым, мамочка!..

ПОЭЗИЯ



ВАСИЛИЙ СКРОБОТ



Теряются в прошлом следы...

* * *

Слава Богу, не стал я богатым,
никакого добра не нажил.
Стал седым, как свинец, бородатым,
да стихи своей жизни сложил!

Рад судьбе, благодарен я Богу:
есть семья, есть большая родня.
Всю в колдобинах помню дорогу,
что носила по свету меня.

Славы нет, да по мне — и не надо.
Жил как жил, не гордясь, наугад.
Я не нищий, но лучшей наградой,
стало то, что не стал я богат.

СКРОБОТ Василий Александрович, поэт, родился в 1941 г. в с. Андрюшино Куйтунского р-на Иркутской области. Жил в Белоруссии, где окончил Селецкую среднюю школу в Брестской области. Работал в Братске и Норильске, там и были опубликованы его первые стихи в газетах «Заполярная правда» и «Огни Ангары». Первый поэтический сборник «Я радуюсь весне» издан в Восточно-Сибирском книжном издательстве в 1990 г. Автор книг: «Добротой поделиться» (Братск, 1991); «Моя судьба» (Братск, 1998); «Моя родня» (Братск, 1998); «Я дверь не закрываю никому» (Иркутск, 2001); «Исцеление» (Братск, 2004); «Повиниться хочу...» (Иркутск, 2009), «Горечь» (Иркутск, 2016). Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.

* * *

Снова ливень врасплох
нас застал на дороге,
и свинцовые тучи на сопки легли.
Помогала всегда
наша преданность Богу,
с этой верой
мы души,
наверно, спасли.

Сколько лет мы
по зарослям жизни блуждали —
много счастья встречали,
и много беды.
Не всегда свои чувства
добром побеждали,
оставляя на память
скупые следы.

Засыпают снега
наши прежние бурные годы.
Промывается опытом память,
шлифуя дела.

И от радости нас,
как всегда, разделяют невзгоды,
вот сегодня опять
ты словами помочь мне смогла.

От взаимных упреков
как будто погода мрачнеет,
и бессильно снотворное,
мысли дурные гнетут.
Жаль, что души людские
с годами всё больше черствеют,
хоть надеждой и радостью
все в этой жизни живут.

Говорят, что за всё
в этой жизни бывает расплата,
не уйти от грехов
и, конечно, от праведных дел.
Я в смятенье живу,
тороплюсь ежедневно куда-то,
но вот жаль, что пока
мало доброго сделать успел.

* * *

На Покров, как водится, завьюжило —
это в гости просится зима.
Я к берёзам выйду после ужина —
встретится мне зимушка сама.

Сумерки сгущаются над домом,
город засветился вдалеке.

Мне мои окрестности знакомы,
и снежинки тают на руке.

А собаки носятся кругами,
серебрится жухлая трава.
Отобью друзьям по телеграмме:
«Поздравляю с чудом Покрова!»

Свидание

Я приехал на малую родину,
в грустившее нынче село.
Здесь малина растёт и смородина,
и родиться мне здесь повезло.

Тут избушки стоят сиротливые
в закоулках разбитых дорог.
И прохожие — незлобивые,
хоть узнать уже многих не смог.

Здесь черёмухи запах неистовый
будоражит деревню весной.

Только небо по-прежнему чистое,
как и в детстве, висит надо мной.

Все избушки покрылись морщинами,
слава богу, что теплится жизнь.
Что ж оправдывать горе причинами —
эх, Андриюшино*, только держись!

И держаться, конечно, приходится.
Что же делать? Болеет душа.
Может быть, наконец, распогодится
и опять заживём не спеша...

*Андриюшино — название села.

Подарок осени

Я к осени внезапно занемог,
и мне не в радость золотая осень.
На горизонте радуется просинь,
и мне Всевышний, как всегда, помог.

Дохнула свежесть, тучи унесло,
посуровели в сизой бухте скалы,
и стало по-осеннему светло
от чистого дыхания Байкала.

Размыты повседневные мечты,
Вселенная присела на пороге.
Судьба подводит новые итоги,
и помыслы прозрачны и чисты.

Прошёл я в жизни истинный свой путь —
уже давно протоптана дорога.
И потому присяду на пороге
у звёздного Байкала отдохнуть.

Хамар-Дабан

Хамар-Дабан схватил меня за горло,
и тело рвал, и душу леденил.
Как будто бы вселенная прогоркла,
и боль людскую он объединил.

От баргузина волны клокотали,
Хамар-Дабан зубами скрежетал.

Притихли воды грозного Байкала,
Шаман из камня злобно трепетал.

Его хребты меня заморозили —
природа сотворила чудеса.
И только тучи яростно кружили
и над Байкалом рушилась гроза.

Бессонница

Вновь бессонница загостила,
поселилась хозяйкой в дом.
Разрешения не спросила,
и живём мы сейчас вдвоём.

Вспомнит радости и невзгоды
и крутой мне покажет нрав.

Она ночью к плечу садится
и беседу ведёт со мной.
Не куражится, не стыдится —
то зимой дохнёт, то весной.

Так измучила, надоела,
не уйти от неё никак.
За живое опять задела,
мол, живёшь ты опять не так.

Вспоминает былые годы,
укоряет: бывал неправ.

Я прошу её, умоляю:
уходи, дай часок поспать.
Я и так всё о прошлом знаю,
дай о будущем помечтать.

* * *

Заметелило вновь, запуржило,
все окрестности замело.
И дома, как во сне, закружило —
хороводом пошло село.

Это в память мою вернулась
юность, зрелым годам назло.
Это жизнь моя оглянулась,
встав, как в юности, на крыло.

* * *

Конечно, с милым рай и в шалаше —
так говорят и думают в народе.
Сегодня снова камень на душе
и что-то непонятное в природе.

Показывают тучи кулаки,
грозят дождём иль мокрым снегопадом.
По комнатам гуляют сквозняки,
стараясь с подоконников не падать.

Не буду никого я укорять,
открою свою душу нараспашку.
А просто застелю с утра кровать,
надену полинявшую рубашку.

Попробую дежурный бутерброд,
украшу кофе дольками лимона.
Мне всё равно, что думает народ.
Ведь я и сам — как грешник у амвона.

Спасибо, Братск!

Я покидаю легендарный Братск,
как будто бы прощаюсь с отчим домом.
Мне все братчане, как сестра иль брат,
и всё мне здесь привычно и знакомо.

Сюда судьба когда-то привела —
влекли в Сибирь житейские дороги.
Тогда тайга богатства берегла
и гневались Падунские пороги.

Романтика воспитывала нас,
мы с завистью о трудностях мечтали.
И нет сомнений никаких сейчас,
что славу Братска мы тогда писали.

Что впереди? Не знаю. Не пророк.
Щемит в груди, душа моя в смятенье.
Но знаю, Братск мне преподнёс урок, —
я человеком стал, и я не с теми.

Кто, улыбаясь, загребает жар
руками не своими, а чужими.
Кто раздувает на земле пожар
и ждёт, чтоб беды над страной кружили.

Сейчас нам ставят нашу жизнь в укор,
Левиафан вокруг победно рыщет.
Мы шли вперёд всему наперекор —
сейчас в сердцах тоска и пепелище.

Идёт торговля золотым тельцом,
уходят доброта и честь, и совесть.
Для тех, кто стал, кто будет подлецом,
напишет жизнь трагическую повесть.

В Норильске в эти дни метёт пурга,
и в Братске непривычные метели.
Но там и тут колышутся снега,
и жизнь моя похожа на качели.

Не знаю я, когда совсем уйду,
Не знаю я, куда ещё уеду.
Вот только не накликай бы беду...
Спасибо, Братск, за жизнь и за Победу!

За трудности, победу над собой,
за жизненную тяжкую науку.
И мне не страшен поворот любой,
вот только надо пережить разлуку...

* * *

Накрыли крыши
зонтиками город,
накрыли радость
и накрыли горе.
После полуночи
в одном окне
не гаснет свет —
здесь очень рады мне.

* * *

Я хочу повиниться,
прощенья у всех попросить,
чтоб грехи и обиды
омыли весенние воды.
Не могу я в себе
невесёлые думы носить,
потому что от них
нет душевной свободы.

Заметает пурга,
и теряются в прошлом следы.
Журавли улетели,
в руках остаётся синица.
Мне не надо богатств —
родниковой бы выпить воды
и, склонив седину,
перед людьми повиниться.

*Поздравляем с 75-летием
известного сибирского поэта
Василия Александровича СКРОБОТА!
Желаем ему крепкого здоровья,
новых стихов и читателей!*

Редакция журнала «Сибирь»
Иркутское региональное отделение Союза писателей России
ОГАУ «Иркутский Дом литераторов»



ВЛАДИМИР ЖУРАВЛЁВ



Недетская вина

РАССКАЗ

Рассевшись на пряслах загородки и шкодливо поглядывая с жёрдочки на медленно и путано шагающего по обочине Ивана Захаровича, пацанва, посмеиваясь, трепалась о предстоящей потехе.

— Он тётё Маше сёдня все поломанные лопаты наладил и тяпку новую сковал, поэтому пьяный, — поблёскивая глазами, как бесёнок, пояснил Мишка, живший возле самой кузницы.

— Да он и так, как с трактора сняли, почти каждый раз пьяный, — деловито заметил Колька. — Батя говорит, что переживает шибко. Он жеть ещё до войны на тракторе работал и на войне танкистом был. Говорят, с батей Куманя чуть не в одном танке...

— Без тебя знаем, — перебили его друзья. — Он потому и стал такой, что танк два раза подбивали, а сам еле живой остался. Один раз даже прямо на Курской дуге.

— Ща, как до лужи дойдёт, так сразу подбежим, чтоб его точь-в-точь у серёдки останить.

— Аха! Как Санька тот раз, возле Акимовых. Он тада в канаву, как в окоп запрыгнул... — пацаны уже не могли сдерживать расправший их смех.

ЖУРАВЛЁВ Владимир Аркадьевич, прозаик. Родился в 1961 г. в с. Ново-Летники Зиминского района Иркутской области, где жил до окончания в 1978 г. средней школы. В 1984 г. окончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта и был призван на срочную воинскую службу. В 1987 г. направлен в Саратов на Высшие курсы МВД СССР по линии ОБХСС. Двадцать лет прослужил в системе МВД, уволился в звании полковника. Писать начал в 49 лет. Автор двух поэтических сборников *«География души»* (Иркутск, 2011) и *«Лавочка»* (Иркутск, 2012). Печатался в различных периодических изданиях Иркутской области, а также в журналах *«Юность»*, *«Сибирь»*, *«Первоцвет»*, *«Сибирячок»*. Живёт в Иркутске.

— Всё, побежали! — спрыгнув с жердины и похохатывая в предвкушении веселья, ватага рванула в сторону ничего не подозревавшего о готовящейся пакости Ивана Захаровича.

А тот и не мог что-либо подозревать. Он просто шёл домой после работы, попутно отдав Марье-куме починенные лопаты. Да и как было не починить, когда её муж, фронтовой разведчик, уж пять лет как помер и всю мужскую работу в хозяйстве ей теперь приходится самой тащить. Заодно вот и тяпку новую сковал.

Пробыл-то у Марии всего минут пятнадцать, и выпил только три стопочки, а едва вышел за ограду, как забормотал, забормотал что-то одному ему понятное, замахал руками, словно кому что объясняет, а тот никак понять не может. Постоял, потолкался немного у калитки и пошагал в разговоре со своим, невидимым для других собеседником, часто останавливаясь и даже поворачивая обратно. Ему, дважды контуженному, после почти двенадцати часов монотонной, а временами тяжёлой даже для молодых мужиков работы и трёх стопочек за глаза хватало.

В совхозной отделенческой кузнице, где Иван Захарович «заведовал наковальной», вентиляцию и обогрев в одном лице представлял горн, а автоматизацию — пара кувалд да десяток разнокалиберных молотков. Та же вездесущая ребятня, что сидела на заборе, частенько наведывалась в кузню, посмотреть, как чего там делается. Не особо разговорчивый, но очень добрый, Иван Захарович никогда не выгонял ребятнишек и разрешал им шариться по всей кузнице, перебирать железяки и даже брать чего-нибудь себе, если это не было действительно нужной для работы вещью.

Щуплый, среднего роста, он никак не соответствовал описанному в сказках облику деревенского кузнеца. Впрочем, волшебные мечи и огромные лемеха ему тоже ковать не приходилось. В основном доставалось латать мелкий инструмент, ковать различные штыри и «пальцы», а в остальное время крутить гайки как обычному слесарю, для которого работы на совхозном мехдворе хоть в жару, хоть в стужу всегда навалом.

Кузнец проходил аккуратно мимо середины не высыхающей даже в июле придорожной лужи, когда школьники шумно обступили его, оставив свободной только сторону с краю воды.

— Здравсьте, Иван Захарыч!

Не сразу сообразив, что такое вклинилось в его сознание, тот остановился и, прервав «беседу» с самим собой, посмотрел на галдящую вокруг него рубашечно-маечную пестроту замутнённым, далёким как от этой пестроты, так и от сегодняшнего времени взглядом. Слегка вздрогнул, возвращаясь к реальности, и снова забормотал, обращаясь уже к ребятнишкам:

— Да-а! Марей, вот, лопаты... она говорит... а я сковал. А Марей, она у-у-у... Сергея то нет уже... а без лопат нельзя...

Пацаны, зная, что он может вот так вот перебирать одно и то же часами, до тех пор пока не зацепится взглядом или памятью за что-нибудь другое, быстро перебили его:

— Иван Захарыч, Иван Захарыч, а ты на войне танки видел?

— О-о-о! — глаза Ивана Захаровича мгновенно оживились, и взгляд стал вполне осмысленным.

— А ездил в танке? А в «тридцатьчетвёрке» ездил? А какой танк самый лучший? А немецкие танки подбивал? — видя, как с пол-оборота завёлся старый танкист, тут же зачастили подстрекатели, беря своими вопросами его и без того беспокойную память.

Иван Захарович, отвечая на всё разом, беспорядочно замахал руками, затоптался, поворачиваясь то к одному, то к другому из окруживших его мальчишек, и с такой непосредственностью стал громко рассказывать им про самый лучший в мире танк Т-34, про то, как от его снарядов «в хлам» разлетались немецкие «тигры», словно сам был таким же, как они, малолетком. А те, скача вокруг пьяненького Ивана Захаровича, с криками, будто играли в «перестрелку», продолжали забрасывать его всё новыми и новыми вопросами и всё больше и больше распалили память танкиста, подталкивая его к неизведанному ими, а потому казавшемуся забавным миру, со страшным названием *война*. И так до тех пор, пока

для Ивана Захаровича все звуки вокруг не заглушили взрывы снарядов и треск пулемётов, а видимое не скрылось в дыму горящей земли и танков. Пока не исчезло всё, кроме боя, того последнего боя, после которого война для него закончилась.

Но в этот раз он должен завершить бой совсем по-другому и потому вступил в него без всякой оглядки и промедления. Ухватился за рычаги, и танк рванул вперёд. Иван Захарович управлял, заряжал, отдавал команды, наводил пушку и стрелял. Стрелял, стрелял по врагу — до последнего снаряда, до последней секунды сознания. Он был один за весь свой экипаж, потому что почти тридцать лет назад, очнувшись уже в госпитале, он даже не знал, как и почему в нём оказался и осталось ли хоть что-нибудь от его друзей или как от многих погибших танкистов только свидетельства и память уцелевших в бою очевидцев-однополчан.

Но для глупых, ищущих своего озорного развлечения мальчишек это был всего лишь пьяный Иван Захарыч, на которого очень смешно смотреть, когда он «воюет». И они смеялись, громко, не стесняясь и не понимая, над кем и над чем смеются. А когда «бой» стал утихать, все враз замерли, и только один из них завопил, как в кино:

— Немцы слева! Иван, к пулемёту!

И Иван схватился за пулемёт. Упав прямо в лужу, он стал бить длинными прицельными очередями, не подпуская гадов к подбитому танку. Его тело затряслось от отдачи пулемёта, слеповатые после контузии глаза налились кровью, а из горла пошёл протяжный, хриплый, мало похожий на человеческий вой. Ствол пулемёта кидался то влево, то вправо, а рука судорожно шарила по затвору, когда оружие умолкало. Горящая броня нагрелась, и стало жарко, а может, на стрелке загорелся комбинезон, потому что Иван начал рвать с себя старенькую серую прожжённую в нескольких местах искрами горна куртёшку, продолжая при этом стрелять.

...Если бы мы увидели это сейчас, став взрослыми, нам стало бы больно и страшно. Но мы этого никогда больше не увидим, и сейчас нам больно и стыдно. А тогда было весело. Мы уже не могли смеяться, у нас не было для этого сил, и из нас вырывалось не то хлюпанье, не то хрюканье, а животы от смеха свело, как при икоте. Трудно придумать потеху уродливее этой.

Слава богу, закончилась она так, как должна была закончиться... Разгневанная баба Ганя с криком «Ах вы, акаяннаи!» так торопилась, что даже не поправляла свой неизменный белый в горошек платочек, сбившийся с седых, завитых в тоненькую косичку волос. В руке её подёргивался длинный бич, которым гоняют скотину, и не было никаких сомнений, что если хоть на чуток задержаться, то узнаешь, что ощущают на своей хребтине напакостившие телята. Потому, ни секунды не мешкая, «окаянные» рванули к спасительному забору и снова расселись на нём возбуждённые, довольные удавшейся вылазкой и готовые немедленно чесануть дальше.

Но бабушка даже не попыталась за ними гнаться. Доспешив до лужи, бросила бич и, не снимая своих хоть и давнишних, но вполне сносных туфель, не жалея длинной юбки, подол которой тут же вымок, зашла в лужу и, запричитав, стала поднимать хрипящего Ивана Захаровича.

— Ваня, Ваня, покойся, вставай! Нету больше войны, нету, кончилась, проклятушца, давно кончилась. И тебе домой надо, Марине ждёт, опять ругаться будет, что сморался. Подымайся, Ваня, подымайся!

Но подняться Ваня уже не мог. Может, самогон добрал своё, а может, и без того ослабелый, он во время боя истратил последние свои силы. Сумев лишь откинуться на спину и опереться на локти, тяжело дыша, прикрыл заслезившиеся глаза и, что-то шепча, то и дело старался ухватиться за подложенную ему под голову руку бабы Гани. Та сначала попыталась его поднять, потом хотя бы выволочь из лужи, но, не сумев даже сдвинуть, только беспомощно огляделась вокруг. Остановила тут же посуровевший взгляд на внуке, сидящем со своими дружками на заборе, и сердито прикрикнула:

— Чё расселись?! Помогите! Не видетья, поднять не могу!

Почему-то даже не думая о лежащем возле лужи биче, от которого только что пришлось убежать, все вспорхнули с забора и, на ходу закатывая штанины и скидывая обувь, устремились в лужу. Облепив Ивана Захаровича, словно мураши, выволокли его на травку и прислонили спиной к штaketнику палисада, возле низенькой лавочки, как велела бабушка. Достав из складок кофты чистую тряпочку, которую всегда держала при себе, баба Ганя принялась вытирать Ивану Захаровичу лицо. Тряпочка сразу намокла, и бабушка, коротко глянув на внука, негромко скомандовала:

— Там, у рукомойника, холщово полотенце, сбегай, принеси! Да большой ковш воды в бочке, что в избёнке, почерпни.

Довольный, что бабушка так скоро остыла от гнева, что уже просит его о подмоге, внучок пулей метнулся к дому.

Тщательно помыв и вытерев Ивану Захаровичу лицо и руки, баба Ганя присела рядом на лавочку. Помолчала, повздыхала, обращаясь к своему далёкому небесному Господу, и тихо заговорила:

— Мой-то Аверька на войну не ходил, ещё до её помер. А Ивану пришлось. Он до войны в армию ушёл, сразу после коммуны. В колхозе-то он на тракторе сидел, парень был. Што с им счас, смотреть не надо. Всё война проклята. Но он хоть живой пришёл, детей народил, и столь годов работает, как все. Безотказнай, хоть сена, хоть дров притащить, упрашивать, как нынешню молодь, не надо было. Денег сроду ни с кого не брал, а мядали все пропил да порастерял.

Опять помолчала, повздыхала и тяжело поднялась:

— Вы, ребята, побудьтэ тут с им, а я пойду. Он скоро встанет, вы яво до дому проводитэ, чтоб никто не обидел. Марине ругатьсэ станет, скажите, мол, споткнулся да упал, а я умыла да с вами отправила.

Чуть отойдя, вспомнила про одиноко лежащий бич, вернулась, подняла и, волоча его за собой, побрела к дому, провожаемая виноватыми взглядами мальчишек.

— А мой батя вместе с дядь Серёжей Шлыковым воевал, — вдруг тихо произнёс Колька Лашманов, по-прежнему глядя вслед уходящей бабе Гане. — Я даже видел, как он плакал, када дядя Серёжа умер.

— А мой батя — миномётчик, — тоже очень тихо, не то Кольке, не то сразу всем ответил Серёга Фидик. — Они с Пуцилой вместе под Сталинградом воевали, тока не встречались там ни разу. Зато батя видел, как там Михайлова с Первоуспенска немцы на штыки подняли. Тот прикрывал, прикрывал наших, а потом хотел себя взорвать вместе с немцами, а мина от миномёта не взорвалась. Батя говорит, прямо на глазах подняли, чтобы все видели.

— А у нас и не воевал совсем... — Витька Лысков, по кличке Буржуй, что был лет на пять старше остальных, пнул камень в лужу. — В первый же день ногу оторвало — и всё. Мамка рассказывала, как потом уже, после войны, домой медаль привезли.

— А у Иван Захарыча много медалей? — простой Вовкин вопрос неожиданно озадачил компанию, и, пожав плечами, все посмотрели на постанывающего танкиста. Действительно, никто из них никогда не видел у него наград.

— Наверно много, раз на Курской битве был и танк два раза подбивали, — после некоторого раздумья сам себе ответил Вовка.

— Точно много, потому что он хоть и танкист, а даже в рукопашную ходил. И када в том году Потёмкин на День Победы в клубе выступал, дядя Лёша Шлыков бате говорил, что лучше бы Ивану дали сказать, потому что больше его у нас в деревне никто на свою смерть напрямки не смотрел, — поддержал Вовку Колька Лашманов.

— А он откудава знает? — скорей на всякий случай, чем действительно сомневаясь, заспорил Витька.

— Откудава! У его орден Славы есть, и он в штрафбате был за то, что немца убил, вместо того чтобы в плен взять. И вообще, он батин друг! — вызывающе посмотрев на Буржуя, попытожил Колька.

Доводы были железные, и перепалка закончилась, не начавшись.

— А почему тогда Люська Иван Захарыча стесняется? Вон у дяди Ильи ноги нету, а Буржуй же его не стесняется! — никак не унимался в своих выяснениях Вовка.

— Ты тожеть дядю Илью никада не дразнишь, а Иван Захарыча сколь раз уже... — начал было Мишка, но договорить не успел, потому что танкист открыл глаза, что-то сипло прошептал, и на него тут же обрушился приступ душераздирающего кашля. Мальчишки, мгновенно став серьёзными и даже как будто повзрослев, взяли стоявший на лавочке ковш с остатками воды и склонились над Иваном Захаровичем, как во все времена склонялись над своими ранеными товарищами солдаты.

...Я не помню, о чём мы говорили, и не знаю, что каждый из нас решал для себя, пока мы провожали старого воина до дома. Наверное, внешне это никак не проявилось, потому и осталось за памятью. Но всё-таки за эту короткую дорогу с нами что-то произошло. Потому что, доведя его до калитки и усадив на лавочку, мы не сбежали, как обычно поступали, набедокурив, а виновато дождались, пока вышла тут же переполошившаяся тётя Марина. И, стыдась, даже не сумели ей хоть что-нибудь сказать...

С тех пор больше никто не отправлял Ивана Захаровича «на войну». Но он всё так же продолжал воевать в своей не поддающейся времени памяти. Не давая покоя, вызывая порой раздражение окружающих, память до самой смерти разрывала его изнутри бронёбойными снарядами и выжигала горящими танками.

Простите нас, дядя Ваня...

ПОЭЗИЯ



Жива русская поэзия

На далёком Севере, среди глухих лесов и мшистых болот, в древнем селенье Пучуга, родилась самобытная поэтесса Мария Аввакумова, странница русской поэзии. Её родословная замечательна: среди отдалённых предков должно назвать огненного протопота Аввакума. Вот так-то!

Узорочье её поэзии идёт непосредственно от Николая Клюева. Её космос, осиянный полярным сиянием, полон опасностей.

*Земля пролетает в молозиве
Враждующей с нами матери...*

Молитвенный шёпот её стиха упоителен, глубокая боль её отзывчивого женского сердца заставляет сопереживать, а, например, такое пронзительное стихотворение «Плач неродящей матери» способно вышибить слезу даже из сурового человека.

Привет тебе, Мария Аввакумова! Слава Богу, жива ещё русская поэзия!

1 декабря 1999 г.

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ

МАРИЯ АВВАКУМОВА



АВВАКУМОВА Мария Николаевна, поэт, родилась в 1943 г. в дер. Кондратовской (Пучуга) Верхнетоемского района Архангельской области. Окончила факультет журналистики Казанского государственного университета. Работала в газетах Татарии и Калининской (Тверской) области. Участвовала в нескольких научных экспедициях, в том числе по Северному морскому пути (апрель-май 1982 года). Автор поэтических книг: «Северные реки» (1982), «Зимующие птицы» (1984), «Неосёдланные кони» (1986), «Трамвай мечтаний» (1990), «Из глубин» (1990), «Ночные годы» (2000), «Прикоснуться к луне» (2004), «Иду домой» (2011), «Стихи Марии» (2014). Живёт в Москве. Лауреат Международной премии «Золотое перо» (первое место в номинации «Лучшее патриотическое стихотворение») — 2006 г. Трижды лауреат ежегодной премии журнала «Наш современник», лауреат Международной Есенинской премии (первое место в номинации «Большая премия») — 2012 г. Награждена памятной медалью «300 лет М.В. Ломоносову», литературным знаком-орденом «Г.Р. Державин». Член Союза писателей России.

Не бойся быть русским сегодня...

Плач неродящей матери

Маленький, родненький мой! — ты не со мной, не со мной. Нет тебя, не было вовсе. Ты не пришёл сюда в гости.	Но — приготовил век радость и для меня: ты не умрёшь вовек, ты избежишь огня.
Я без тебя где-то здесь... Ты без меня где-то там... Страшную эту мечь не пожелаю врагам.	Ты не уйдёшь в Афган, ты никого не убьёшь, ты ни в один капкан, мальчик, не попадёшь...
Жалкая меж матерей, нищая — всех я нищей. Кто растолкует мне смысл тщетных моих мощей?	Жалкая меж матерей, вот я! — счастливей всех! Слушай же, небо-зверь, мой сатанинский смех.

Ясное имя

Не бойся быть русским — не трусь, паренёк,
не бойся быть русским сегодня.
За этим не заговор и не намёк,
за этим — желанье Господне.

Он нас породил. Он один и убьёт.
А прочие все — самозванцы.
Да их ли бояться! не трусь, паренёк,
на русский призыв отзываться.

Прекрасное, ясное имя Иван.
Чудесное имя Мария.
Светите друг другу сквозь чёрный туман,
в который попала Россия...

* * *

*Говорят, что кипрей
любит расти на костях.*

Где осталась от кипрея ржавая стена,
там лежит, костями белея, бабкина страна.

Рыбоеды, чаглоты, где-то за войной
вы остались, патриоты, все в земле родной.

Чаглоты, рыбоеды, ведуны кудес,
вы стояли за Победу, словно русский лес.

И осталась от победы ржавая стерня,
там лежат отцы и деды — вся моя родня.

* * *

Наши матери стали старыми,
стали слабенькие совсем.
Наши матери знали Сталина,
знали прелести разных систем.

Да и мы уже столько закуси
поиспробовали на веку:
и Занусси там был, и «Затеси»...
Пир запомнится бедняку.

Запрягай опять клячу тощую,
разбросай пшеницу и рожь.
Напрягай опять жилы-мощи-то:
сей добро — никогда не помрешь!

...Собираются мамы старые
с узелочками — в старину.
Наши матери знали Сталина.
Наши дочери — Сатану.

Детский концерт в инвалидном доме

В катанцах драных, саржевых формах,
в галстуках с жёваными концами —
какие мы куцые были, наверно.
Но пусть и это останется с нами.

...Нам было лучше... И мы давали
детский концерт в инвалидном доме.
Что ты читала? И как принимали? —
Всё отлетело куда-то. Кроме

запаха бедствия, что, как обух,
нас шибанул по носишкам трепетным...

и как лежали калеки бок о бок...
и мы с пионерским над ними лепетом.

После концерта тебя стошнило,
пропал аппетит даже к жмыху ворованному.
И долго-долго ты силы копила
и нежные чувства к миру терновому.

И ты поняла, с чем Судьба обвенчала
и что приказала зачать на соломе.
...Тебе было лучше. И ты читала,
читала опять в инвалидном доме.

Слава меж людьми и венки мученические*

Приспевает время мучеников,
что спасут народ и други.
Приспевает время лучников,
время шлема и кольчуги.
Кузнецы! мечи выковывай
из победно-звонкой стали,
блеском стали очаровывай
замохнатевшие дали.

Раздувай дыханье горнее —
скоро, скоро время спросит,
скоро, скоро горе-горюшко
верных рыцарей подкосит.
Упадут они, емелюшки,
не с девчатами в солому,
упадут они в земелюшку,
чтобы дать простор живому.

Плачеи отвоют души их
на погостах древнерусских
так, как будто самолучшие
отплывают в лодках узких.
Над озёрами заволжскими,
где стрижи с водой забавятся,
новые кресты да кольшкы
к мёртвой горюшке прибавятся;

А когда с землёй сровняются
скромные захоронения,
люди с этой бойней справятся
и — на новое сражение.
Так — всегда. Не позабыты вы,
шлем с кольчугой харалужною.
Слава меж людьми — убитому!
Слава в небесах — живущему!

*Из старинного псалма.

Секрет белоснежных простынок

Говорят, что красивой была. Может быть.
Красота деревенская проще.
Только мне некрасивой её не забыть.
Вот стирает... Вот простынь полощет...

От нагибки багровым лицо налилось.
Руки бедные не разгибались.
Так их вздуло и так от воды разнесло,
что руками утопших казались...
(По весне, в ледоход, пронесило лихих
по разбитой Двине. Навидались.)

Но летают они над водой, распалясь.
Прорубь паром исходит недаром.
А потом на салазках с простынками таз
в гору тащат, окутаны паром...

И зачем нам, голодным, была чистота,
холод простыни этой хрустальной?

Видно, та чистота и была ВЫСОТА
нашей северной мамы печальной.

...Много лет — без тебя. Я смогла устоять
и в жестокий мороз не загинуть.
Только вот не могу, не могу разгадать
твой секрет белоснежных простынок.

Видно, руки мои,
чтобы воду отжать,
перенежены, слишком красивы.
Видно, вправду,
коленями надо вмерзать
в белый лёд перед прорубью синей.

И лицом багроветь, и красу вытравлять
беспокойством о сыне, о внуке.
И на стуле нечаянно засыпать,
уронив некрасивые руки.

* * *

Петушок на красной кружке
из рубинного стекла
ждёт подружки, ждёт пеструшки,
ждёт... А жизнь текла-текла...

Дотекла до новой Пасхи:
красим яйца, тесто жмём
и, как наши бабки, счастья —
русского — уже не ждём.

Ехал грека через реку,
а по речке плыл навоз...
Выдай, Петя, кукареку,
Разверни гармонью хвост!

Петушок на красной кружке
с каждым годом всё умней:
не видать ему подружки,
кроме личности моей.

Одинокий всадник

Хвойный и ольховый,
свежий, сквозняковый
лес какой-то лисий,
просветлённый весь.
Это дивный мастер, это Дионисий
красками святыми поработал здесь.

Яблонька сухая
на холме плечистом.
Жизнь бесповоротна.
Но витает дух!
Всадник одинокий скачет в поле чистом...
Конник ли небесный? Колька ли пастух?

Крестный ход

Ни двора... Всё сковано морозом.
Грозным мором выморено круто.
Ни клейма, чей знак глубок и розов.
Ни клейма, ни лошади, ни крупа.
Только в ночь спасения Христова,
вдоль дороги прыгая, как утки,
чтоб не утопить в грязи обутки,
выстонав молитвы два-три слова,
обойдут деревню две-три тётки —

освятят родимую деревню:
скот, углы, кусты, родню, болота...
всё живое... много ли всего-то!
Встанешь этот крестный ход послушать —
худо станет. Не глядела б лучше.
Небесина холода полна.
Чем же эти люди виноваты,
что не разгребёшь беды лопатой?
Чья же это всё-таки вина?

Переправа

Передóхнуть всем поодиночке —
это вот, пожалуйста, всегда.
Журавлихой примерзает к кочке
сирая российская звезда.

Звёздная, ночная переправа —
только ни паромщика, ни лодки.

Да к тому же матушка-держава
пожалела для сугрева водки.

Берега пусты: и тот и этот.
Всех перетопила переправа,
как котят, кутят и малолеток.
Слева хрен один и редька справа.

Языческие шутки

Кто там блеет: человек ли?.. зверь ли?..
Кто там млеет: девка ли?.. заря ли?..
Мы всё те же — нас куда б ни ввергли —
Чудь и весь, тунгусы и зыряне.

Президенты... в дамки претенденты...
Все шайтанят, плюют на пороги,
Где картошка мёрзнет под брезентом
И всегда разбитые дороги.

По дорогам конь давно не ходит,
Скорчились картохи под брезентом...

Но исправно выборы проходят
И всегда согласие с Президентом.

Мы, туземцы, тоже россияне,
Солнце и для нас в росе играет.
Мы, поляне, ведаем заране;
Мы, зыряне, видим, где зияет.

Ты ищи нас по весенней рани,
Ты лови нас по зиме искристой.
Это наше эхо барабанит
В замшевое ухо беллетриста.

Бабкин половик

Только бедная, тёмная воля.
Только ты, законное поле —
в арестанских плешинах жнивьё.
Что же сердце цепляется-стонет?
Неужели так дорого стоит
пестрядинное это шитьё?

Эх ты, бабка, тишком выпивоха.
Обошла суматоха-эпоха,
да убыток, видать, не велик.

Отошли дорогие подруги.
Отплели. Не плетут руки-крюки
своевольный огонь-половик.

Приезжали одно́ва студенты,
да и снова — всё те же студенты.
Нрав их громок. А образ их дик.
Ровно черти, прости меня боже.
И заладили черти всё то же:
не отдаст ли она половик.

Городской колбасой угощали.
После — денег карман обещали.
А с деньгами куда как житьё!
Что же сердце цепляется-стонет?
Неужели так дорого стоит
пестрядинное это шитьё?

Скажет: с Богом! Накинет крючочек.
Сядет к печке. Сомнёт фартучочек...
И до утречка так просидит.

Ночь-трясина, как боль, бесконечна.
А луна, как всегда, подвенечна.
И судьба за спиною сипит.

...Только тёмная, бедная воля.
Только ты, изломавшее поле,
в лишаях да плешинах жнивьё...
Что же сердце цепляется-стонет?
Неужели так дорого стоит
невесёлое наше житьё?

Маме Поле

Расстелила, разметала зелену твою кровать.
Я тебя бы уважала — не умела уважать.
Я тебя бы так любила — не успела полюбить.
Я тебя не сохранила — потащилась хоронить.

Память белая в заплатках о добре твоём и зле.
Я брожу на мёрзлых лапах в остывающей золе.
Забываю... забываю про ненастную метель:
все грехи твои прощаю. Ты безгрешная теперь.

И теперь уж непременно попадешь ты в алый рай.
Перепляшешь всю деревню, напоёшься через край.
У тебя там дел по горло: и обновы примерять,
и убитому Алёше вновь погоны пришивать...

Пристань Тихонь

Тёте Оле

Деревенские старухи
собралися по грибы.
Думы думали — надумали
меня с собою взять.
Слушать вёньгалу устали
и решили-таки взять.

Деревенские старухи
быстро в тёмный бор бегут.
Бьют корзины по корявым
узловатым их ногам.
Мне, девчонке, не угнаться —
быстро так они бегут.

Вот рассыпались по лесу
Полька, Манька и Олёна.
Только крики оглашенных,
что на мху они сейчас.

Голоса как у девчонок,
и глаза как у девчонок.
Точно ведьмы пролетают,
только верески трещат.

Боровые посшибали.
Прогибаются корзины.
Возле нежно-жёлтой лужи
примостились на обед.
Дружно узелки умяли,
отряхнулись, покрестились;
и ещё версты четыре предстояло.
На погост.

На погосте, что над старой,
ох и тёмною водою
и деревней кривопятой
по фамильи Сухой Нос, —

и всего креста четыре,
серебристых и трухлявых.
Там, под этими крестами,
наши памяти лежат.

Тихо стонут сосны сверху.
Тоже старые творенья.
Тихо ветерок базарит.
Тихо дятел шебаршит.

Тихо земляника вянет
над опавшею могилой...
Тихо. Медленно. Степенно.
Торопиться ни к чему.

Деревенские старухи, несдавичие старухи
Полька, Манька и Олёна
на могилки прилегли.
Тихо. Тихо. ...Пристань Тихонь.

* * *

Вхожу я в Непрядву... Вода хороша!
Тепла и спокойна, едва колебима,
как чья-то обывкшая в Боге душа,
которой всё явно, которой всё зримо.

А справа — высокий угора накат,
чтоб ветры не всякие шастали рядом,
а слева, над рощей, занялся закат,
согласно простому природы обряду.

И так по-житейски всё слажено здесь,
всё тихо и мирно, и неколебимо...
За то и являли геройство и честь,
и жизнь покладали за то — что любимо.

Я чуяла, как ворковала душа,
и самую светлой молитвой молилась
о том, что в Непрядве вода хороша,
о том, что сегодня я в Русь воротилась.

* * *

Я хочу историй светлых —
чистых, сказочных, простых.
Я хочу людей приветных;
только где мне взять таких?

Очень многого ты хочешь —
так бы мне сказала мать,

а сама ты, между прочим,
сотона, ни дать ни взять...

Что отвечу? Чем отвечу?
Мне ответ не по плечу;
и, как птица, каждый вечер
затиhaю и молчу.

Над альбомом русской иконописи:

Архангелы Дионисия

У апостола руки заняты
Книгой Жизни живет живых.
У Архангелов копия знатные,
нет минутки свободной у них.

Все иль ратники, иль учителя.
Приглядитесь: как видел их Грек?
Там согбенные спины зрителей,
землю видевшие прежде век...

Но они ж под рукой Дионисия
обретают иную статью:
у Архангелов главная миссия —
сферу света покрепче держать.

Прозревал, синеглазый, гонителей —
видел в Озере глубоко...
Все иль ратники, иль Учителя.
Не у нас. А у них... высоко.

Теплохладность

Я знаю: Ты видишь,
Ты глаз от меня не отводишь.
Ты мой полководец,
хранитель мой и судия.

Великий и вечный,
В родную Тебе бесконечность
Попутчиков ищешь...
А я не готова туда.

Ты где почиваешь?
Ты с кем свою душу отводишь?
И чем заглушаешь —
За грешную — Чувство стыда?

Я слишком обычна,
Я слишком сама человечность,
Мне ближе конечность:
Она не составит труда.

Японский тростник

В.А. Малафееву и А.П. Шляхину

Японский тростник удивительно нежен,
Он юного возраста хрупкий заложник.
Откуда в краях оказался он снежных —
Ведь так далеко и почти невозможно?..

И эти мгновенья наивной старушке
Великое благо в судьбе обещают:

Пред взором умильным осенней избушки
Листочки дрожат, изумрудно прельщают;

Что ливни прошли, а морозов не будет...
И выше, и выше мечты залетают:
Что скоро какие-то Божии люди
Придут и избушку её залатают.

Голос издалёка

Г.Е.

Я голос издалёка,
я крикну в тишину:
— Ты где теперь, сорока?
В какую мчишь страну?

Неведомым томима,
летишь через грозу...
А время мимо, мимо
и океан внизу.

В какое поднебесье
несёшь сорочий хвост
и что за весть чудесну
на нём ты принесёшь?

Не там ли ты, сорока,
найдёшь свою волну?
А та волна глубока...
Я крикну в тишину.

Блики спасенья

Земных забот в кругу извечном
свой век бездарно промотаем.
Но есть деньки... (стой, быстротечность!)
и ночи есть — где оживаем!

И есть полоска просветленья —
дойти бы только, дострадать бы...
И есть пути избегнуть тленья —
найти бы только, разгадать бы...

Поясок

...Падают самолёты,
рушатся города,
твёрдь сотрясают войны...
— Господи, дальше куда?

— Не подлежит огласке, —
слышу ответ с небеси. —
Дедову опояску
на телеси носи.

Древлезаговорённый,
он не простой поясок:

с верой его носивший
многое перемог.

Век, что его отринул,
век, что его осмеял,
бесам подставил спину, —
вот и пропал.

Падают с неба крылья,
рушатся города...
Тянутся корни бессилья
эвон куда.

Мотив

Я родилась на том (святом) участке суши,
где белой пеленой полгода скрыта жизнь,
где мучились в углах провидящие души,
стараясь не упасть в блистающую слизь.

Зачем я подвожу итог своих скитаний
по белой целине, по темени лесной?..
Что нового скажу? — Что в сердце нет испаний?..
И жизни цвет в глазах давным-давно иной?

Итожить смысла нет движенье примитива
куда-то, где цвело счастливое число...
Но я себе солгу, что не было мотива.
Божественный, он был!.. Да в бурях унесло.



ГЕННАДИЙ ПОПОВ



Иркутские истории

ПОВЕСТВОВАНИЕ

Соседи

Если бы у меня сейчас была возможность выбрать место для жизни, то я выбрал бы дом моего детства. Старый кирпичный дом с уютным зелёным двориком. В центре Иркутска. Рядом со сквером Кирова. В десяти минутах неторопливой расслабленной ходьбы до набережной Ангары. До сих пор уверен, что нет места лучше. Почему-то кажется, что если вернуться туда, то снова смогу стать абсолютно счастливым и свободным. Как в детстве.

Это в молодости казалось всё возможным. Казалось, можно было всё бросить, взять и уехать. А потом взять и вернуться. Уехать получилось. Вернуться — нет.

Наша семья переехала в этот дом в шестидесятом году. Новая квартира располагалась в старом трёхэтажном доме. В том, что квартира новая, а дом старый, никакого противоречия нет — просто при проведении капитального ремонта заодно надстроили ещё один

ПОПОВ Геннадий Иванович, прозаик, журналист, редактор. Родился в Иркутске в 1951 г. Окончил Иркутский политехнический институт. Работал по специальности «Автоматизация металлургического производства» с 1979 г. — многочисленные публикации в центральных и региональных изданиях, в том числе в журнале «Сибирь» (1982). Много лет проработал редактором в отделе сатиры и юмора Всесоюзного радио (передачи «С добрым утром!», «Вы нам писали», «Опять 25» и др.). Окончил Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания (литературное редактирование) и Институт повышения квалификации при ГИТИСе. Работал в журнале «Магазин Жванецкого», еженедельнике «Век», телепрограмме «Столица». Член Союза писателей и Союза журналистов России. Книги: «Здесь жил я», «Пролетая над собой», «Как уберечься от летящей пули», «Чип и стакан воды», «Этот веселый детский мир». Автор многочисленных кино- и телесценариев. Живёт в Москве. Член союза писателей России.

этаж. Получился трёхэтажный дом с двумя старыми этажами и одним новым. И если на нижних этажах как были тесные перенаселённые коммуналки с общими кухнями и туалетами, так и остались, то на верхнем уже появились отдельные просторные квартиры со всеми удобствами. В числе счастливых, поселившихся в надстроенном этаже, оказались и мы.

Между нижними и третьим этажами, помимо бросающихся в глаза отличий, проходила ещё и невидимая граница. Граница между двумя мирами. На третий, новый, этаж заселились, в основном, перспективные молодые семьи, благополучные и обеспеченные материально. На нижних — преобладали люди преклонного возраста. Неудивительно, что новые жильцы вызывали у старожилов чувство раздражения: жили-жили, никого не трогали, и вот в один прекрасный момент кто-то берёт и селится у тебя, можно сказать, прямо на голове. Тем более что этот, живущий над тобой, находится в гораздо более комфортных условиях. Хотя на нижних этажах бытовые условия после капитального ремонта и были улучшены, окончательно с произошедшим старожилов это не примирило. Они видели в появившемся помимо их воли и желания лишнем этаже акт произвола. И вопиющее проявление социального неравенства.

Потепление в отношениях между старыми и новыми жильцами произошло только после того, как подвал дома занял клуб тяжёлой атлетики. Грохот от бросаемых штанг разносился по всему дому, сотрясая его. Естественно, что в первую очередь страдали нижние этажи.

Как и всегда бывает, беда объединяет. Все проживающие в доме выступили единым фронтом в борьбе с общим злом. Ну а поскольку у новых жильцов возможностей выселить из дома шумных силачей было больше (что они в результате и сделали), то старые в знак благодарности изменили отношение к ним с «чтоб вам, буржуям, пусто было!» до «да ладно, живите, раз уж поселились, всё лучше, чем штанга».

На мой взгляд, жильцы нашего этажа были не только лучше, чем тупая громкая штанга, но и вообще замечательными людьми.

Слева от нас жила семья ректора Института иностранных языков, приехавшая в Иркутск из Ленинграда. Они полностью соответствовали тому романтизированному образу ленинградцев, который создавался тогдашним кинематографом и средствами массовой информации: истинные интеллигенты, целыми днями ходящие по Эрмитажу и другим замечательным музеям, высокая духовность и мужественность которых помогла им выстоять и пережить блокаду. Да и вообще, они гуляли по легендарному Невскому проспекту, любовались Исаакиевским и Казанским соборами... Я смотрел на соседей-ленинградцев с искренним восхищением и любопытством — не могли же обычные заурядные люди родиться в таком замечательном городе, о котором я столько читал, который столько раз видел в кино!

Чем же тогда конкретно, помимо места своего рождения, мне так понравились соседи-ленинградцы, сейчас точно не помню. Может, как раз тем, что не разрушали мои идеализированные представления о своих земляках. Может быть, своей приветливостью (хотя нельзя сказать, что другие соседи были менее доброжелательны). Может быть, мне льстило, что со мной, школьником, здоровается за руку начальник института. И, конечно, я был благодарен ему за то, что как-то по моей просьбе он перевёл с немецкого письмо школьника из Германской Демократической Республики, написавшего мне в рамках советско-германской дружбы. К тому же ректор ходил с тросточкой, сильно хромая на одну ногу. Я знал: результат ранения на фронте. И это поднимало ректора в моих глазах на недосягаемую высоту, моё мальчишеское воображение рисовало картины боёв, в которых он бесстрашно громил фашистов.

Ещё я запомнил, как ректор терпеливо и любезно беседовал с моим дедушкой на немецком. Дедушке, выучившему его в плену во время Первой мировой войны, очень хотелось попрактиковаться в языке, который он со временем из-за отсутствия общения стал забывать. По-моему, он всё же немного злоупотреблял терпением соседа-полиглота. Но его можно было понять: глупо же было не пользоваться такой возможностью — освежить в памяти иностранный язык. Их частенько можно было видеть на скамейке рядом с нашим подъездом. Дедушка любил после прогулки посидеть на ней. Присаживался рядом, давая больной ноге отдохнуть перед подъёмом на третий этаж, и ректор. Они сидели и

разговаривали на языке своего бывшего врага. Так, на скамейке у нашего дома в Иркутске сошлись две кровопролитные войны.

Справа от нашей квартиры жила семья Бручевских. Бручевские были характерными представителями так называемой научно-технической интеллигенции того времени. Доброжелательные, приятные в общении люди. Хотя всё общение сводилось больше к обмену при встрече дежурными любезностями.

Бручевские вели образ жизни тихий, спокойный, можно даже сказать, замкнутый. Не знаю почему, возможно, это моё детское впечатление, но мне казалось, что они больше походили на жителей какого-нибудь небольшого американского городка. Как-то далеки они были от всех проявлений социалистической реальности. Хотя не исключаю, что глава семьи всё-таки был членом партии. Он работал конструктором, заведующим отделом в каком-то НИИ, высокий, поджарый, с густой седоватой шевелюрой. Держался он всегда с неизменным достоинством. Его невозможно было представить суеязшимся, раздражённым или кричащим. Казалось, что он обладает одними положительными качествами. Этакий добропорядочный советский бюргер.

Хотя, как выяснилось, одна слабость у него всё же была. Не могу сказать, знали ли о ней другие соседи (на людях выпившим он никогда не позволял себе появляться) или только мы. Дело в том, что он когда-то бросил курить, а после употребления спиртного желание затянуться сигаретой возникало с новой силой. А сигареты он, чтобы лишний раз не искушать себя, не покупал. За ними и приходил к нам. Но, даже будучи нетрезвым, был полон достоинства и предельно вежлив, никогда не позволял себе панибратства и пустой пьяной болтовни. Мало того, в эти свои приходы он вообще не говорил. Молча, используя лишь мимику и жесты, он показывал, что приносит свои искренние извинения за доставленное неудобство, что ему крайне неловко, но обстоятельства вынудили его обратиться. И в завершение этого бессловесного монолога он поднимал вверх указательный палец, означавший, что ему нужна одна сигарета. Чаше всего через какое-то время он приходил снова, и повторялась та же немая сцена, с поднятым пальцем в конце. Иногда такие приходы повторялись с минимальными интервалами до глубокой ночи. Но взять больше одной сигареты он отказывался категорически. И не брал ни под каким предлогом, как его ни уговаривали. Только однажды, когда он пришёл за сигаретой часа в три-четыре ночи, родители, чтобы избежать дальнейших приходов, ухитрились-таки всучить ему целую пачку. И тут же, чтобы не успел её вернуть, захлопнули дверь.

К счастью, злоупотреблял спиртным он редко. Так что его приходы воспринимались нами как маленькая причуда на фоне безоблачных добрососедских отношений...

Когда я женился, то пришлось переехать в Москву, где проживала жена. Она училась в то время в институте, и её приезд в Иркутск был мало реален. Мы решили вернуться к этому вопросу после окончания её учёбы.

Разлуку с родным городом переносил болезненно. Больше всего скучал по дому. По своему старому дому. Вместе с его жильцами. Они были разными. Но до сих пор дороги мне одним — они часть моей жизни.

Когда сейчас приезжаю в родной город, то обязательно прихожу к нашему дому. Долго стою напротив и смотрю на окна нашей квартиры. За ними сейчас живут чужие люди. Живут своей жизнью. Ничего не зная о нас, бывших жильцах. Теперь это их дом.

В эти минуты особенно остро чувствую невозможность вернуть потерянное. Нельзя просто так вот взять и подняться на третий этаж, позвонить в шестнадцатую квартиру и услышать родной голос: «Что, опять ключи забыл?!»

Серёжа

Если из квартиры наших спокойных соседей Бручевских и доносились какие-то звуки, то это были крики их сына Серёжи. В детстве он обладал громким и пронзительным голосом. Даже когда просто говорил, то это походило на крик.

Серёжа вообще рос шумным и подвижным ребёнком. Со стороны он казался немного избалованным и даже капризным. Что, впрочем, не мешало ему быть с окружающими учтивым и предупредительным. Встретив кого-то из взрослых, Серёжа, даже если нёсся сломя голову, обязательно приостанавливался и подчёркнуто вежливо здоровался, с лёгким поклоном и обязательно по имени-отчеству. Честно говоря, я подозревал, что он немного придуривается, переигрывая со своей вежливостью. Может, и так, а может, просто был хорошо воспитан.

Даже я, будучи старше его всего на четыре года, похоже, проходил у него по категории «старшие». При виде меня он тоже притормаживал, давая понять, что я, как старший, пользуюсь у него повышенным уважением. Он, естественно, не обращался ко мне по имени-отчеству, но и просто Геней не называл — только Геннадий.

Серёжу отличали повышенная общительность и детская непосредственность. Благодаря этим своим качествам он и познакомился с группой приехавших в Иркутск туристов из Японии. Серёжа охотно рассказал им о своих увлечениях (он собирал значки), поделился тем, что знал о родном городе и его достопримечательностях. Товарищи капиталисты пришли в восторг от разговорчивого советского мальчика. Их можно было понять: наши соотечественники к иностранцам в то время относились, как правило, недоверчиво-настороженно. Да и иностранными языками, несмотря на обязательное их изучение в школе, за ненадобностью чаще всего не владели. А тут зарубежным гостям попался такой раскрепощённый мальчик. Они в знак благодарности завалили его значками, жвачкой и вопросами о семье и школе. Но поскольку Серёжин английский не позволял рассказать всё в подробностях и красках, он предложил им пойти с ним в школу, в которой учился, и посмотреть всё самим.

Из Серёжи получился прекрасным гид, он демонстрировал представителям капиталистического строя все преимущества советского бесплатного образования, водил их по классным комнатам и кабинетам, показал школьный буфет, знакомил с попадавшимися на пути учителями. Те от неожиданности теряли дар речи. Даже учительница английского языка не могла связать и двух слов на языке, который преподавала. Зарубежные гости проявляли неподдельный интерес ко всему. Вскоре появилась и первая жертва Серёжиной коммуникабельности: учитель физкультуры, засмотревшись на удивительных посетителей, не успел вовремя подстраховать прыгающую через козла неуклюжую подопечную — та, пролетев мимо него, глухо шлепнулась на мат. А Серёжа повёл любознательных экскурсантов дальше: пришло время познакомить их со школьным туалетом...

Директор школы долго не могла понять, что имеют в виду, сообщая ей о каких-то гуляющих по школе иностранцах. Из РОНО её ни о чём подобном не предупреждали. Она лишь беспомощно глотала воздух и хваталась за сердце.

В школе после этого посещения зарубежной делегации был жуткий скандал. Серёжа же смотрел невинными глазами на рычащую директрису, на кричащих учителей, удивлённо пожимал плечами, объяснял, что хотел как лучше и вообще отказывался понимать, чего он такого сделал. Хотел ведь просто показать гражданам далекой капиталистической страны, какие у нас хорошие школы. На Серёжу в конце концов махнули рукой и вызвали родителей.

В тот день из квартиры Бручевских были слышны не только Серёжины крики.

Когда Серёжа подрос, то превратился в симпатичного молодого человека, на мой вкус, так даже немного смазливый, с хорошими манерами. У девушек он вызывал повышенный интерес. Как-то я стал свидетелем такой сцены. Придя в ресторан, увидел в холле своего соседа. Серёжа был заметно нетрезв. Но держался молодцом. О чём-то оживлённо разговаривал с девушкой, вежливо держа при этом её за руку. Было похоже на сентиментальное признание в своих чувствах. Таким бы оно в моей памяти и осталось (если бы вообще осталось), но тут как назло мимо Серёжи проходила ещё одна вполне ничего себе молодая особа, увидеть которую он мог только боковым зрением. Но этого ему вполне хватило, чтобы успеть оценить все её достоинства. Оценив, Серёжа, видимо, счёл непростительной глупостью упустить идущее ему прямо в руки счастье: когда ещё такой шанс

подвернётся?! Поэтому он второй, свободной, рукой успел схватить и её. Теперь у него было две девушки. По одной в каждой руке. Он смотрел на них с удивлением, то на одну, то на другую. Как бы не понимая, откуда они взялись и что ему теперь с ними делать. Неизвестно, кому бы он в конце концов отдал предпочтение, но тут как на грех на горизонте появилась ещё одна соблазнительная фигура. Мало того что появилась, так она не нашла ничего лучшего, как пройти в непосредственной близости от разрывающегося Серёжи. Задача, стоящая перед ним, в связи с этим обстоятельством, усложнилась: рук было всего две, и обе они заняты. А упускать он никого не собирался. Но из любого, даже, казалось бы, безвыходного положения, можно при желании найти достойный выход. И Серёжа, похоже, нашёл его: третью девушку он стал подгребать к себе ногой. Было видно, что он при этом испытывает определённые физические неудобства. А тут ещё девушки оказались, что называется, с характером: одна, недовольная, пыталась что-то ему объяснить, вторая с возмущением вырывалась, а третья вообще старалась молча пройти мимо. Далеко не каждый справится с такой ситуацией. Но Серёжа делал всё, что в его силах. Чтобы не усложнять и без того нелёгкое его положение, я постарался остаться незамеченным. А то раскланиваться со мной ему было бы совсем уж не с руки.

Несмотря на то, что в школе учился совсем неплохо, в институт Серёжа почему-то поступать не стал. Неожиданно для всех он выбрал другой путь. Серёжа стал, как тогда было принято говорить, фарцевать. На фарцовщиков, в отличие от расхитителей государственной собственности, власть смотрела лениво. Не одобряла, конечно, и даже клеймила, но никаких особо активных действий не принимала. Так, время от времени поймает кого-нибудь и устроит показательное осуждение, чтоб знали. Смотрите, мол, тут, а то мы вам... Если уж человек совсем зарывался, тогда да: мог, конечно, получить и по полной программе.

Фарцовщики, если разобраться, власти были в какой-то мере даже нужны. Хотя бы для того, чтобы ей было с кем бороться, было кого осуждать. Чтобы у молодёжи был отрицательный пример, а у записных сатириков — объект для бичевания. К тому же, как это ни странно, фарцовщики, сами не подозревая, выполняли социальную задачу. Ну, подумайте, не станет же власть торговать шмотками своих идеологических противников. А народу-то в то время эти шмотки были во как нужны. Вот власть и решила: пусть он их приобретает где-нибудь в подворотне. Так для всех будет лучше. А в случае чего, в это дело всегда можно и вмешаться. Фарцовщик в то время был полпредом красивой и недоступной советскому человеку заграничной жизни. У него можно было приобрести настоящие импортные вещи. Которые он с риском, если ни для жизни, то для личной свободы уж точно, умудрялся где-то доставать. Откуда всё это брал Серёжа, представления не имею, мы с ним на эти темы не разговаривали. Да и вообще наши пути стали пересекаться всё реже и реже. У меня, особенно после поступления в институт, были свои интересы, у него — свои.

Встретившись случайно во дворе, мы обменивались приветствиями. Этим общение и закачивалось. Серёжина возможность достать заграничные шмотки интересовала меня постольку поскольку. Скажем, брюки я научился шить сам. Нашёл выкройку в журнале польской моды и с помощью бабушкиной швейной машинки «Зингер» быстро освоил портняжное мастерство. Однажды даже, поддавшись уговорам, сшил брюки своему однокурснику. Я долго не соглашался. Проигнорировал и его предложение заплатить. Согласился только в обмен на обещание сделать за меня курсовую работу. Возможность «сачкануть» оказалась слишком заманчивой. Сделка вышла для меня безумно выгодной. Брюки я сшил буквально за день, а он с курсовой, проклиная меня, мучился целых две недели. Но моё провокационное предложение расторгнуть сделку и вернуть штаны отвергал категорически.

Несмотря на то, что Серёже было явно неудобно продавать что-то соседям, а нам не хотелось ставить его в неловкое положение, совсем уж не воспользоваться его возможностями, естественно, не получилось. Однажды мой младший брат уговорил Серёжу продать ему фирменные джинсы Big John. Купил он их за тридцать пять рублей. За тридцать пять рублей! Джинсы из настоящей нервушейся джинсовой ткани! Джинсы, которые практиче-

ски невозможно было износить! Со временем они становились только лучше. Родители, наивные люди, не могли понять, как можно было отдать такие деньги за обычные рабочие штаны. С какой-то наглостью. Брат же прекрасно это понимал. Как понимал и то, что Серёжа сделал ему практически подарок. Продать такие джинсы на чёрном рынке в то время (начало семидесятых) он мог в два-три раза дороже. Это были лучшие джинсы, которые у нас с братом были в жизни. Я говорю у нас, потому что носили мы их с ним по очереди. Хотя какая уж там очередь: стоило только одному их снять, как тут же в них втискивался другой. За эти джинсы у нас шла борьба. Я не мог позволить брату носить их одному. Несмотря на его справедливое возмущение — купил-то их он, сила была на моей стороне. Да и родители меня поддерживали. «Ну и что из того, что ты их купил, — говорили они ему. — Во-первых, на наши деньги. И потом, он же твой старший брат». Саша считал это несправедливым, но терпел.

И ещё раз случился подарок от Серёжи. Мы с ним встретились во дворе в мой день рождения. В руках он держал какой-то пакет. Узнав про мой праздник, он, не колеблясь, раскрыл пакет. Там были пластинки. И какие! Виниловый альбом «Animals» группы Pink Floyd, последний двойной альбом Led Zeppelin, ещё какие-то диски неизвестных мне групп. Честно говоря, я и Pink Floyd, и Led Zeppelin тогда не сильно знал, так, слышал, что есть такие группы. Это же был семьдесят седьмой год! Я был счастлив просто только посмотреть на пластинки. Серёжа же предложил мне выбрать любой в качестве подарка. Я с подозрением посмотрел на него — не издевается ли? Похоже, что нет, как обычно он был подчеркнута вежлив и внимателен. Я не мог поверить в свалившееся на меня счастье. Мало того, что каждый такой альбом стоил кучу денег, так и достать их было невозможно. Они же и за границей только-только появились. Я долго разглядывал каждый альбом, осторожно, боясь испачкать, держа его двумя пальцами. Предварительно тщательно вытерев их о свитер. Наконец, я остановил свой выбор на альбоме «Animals». Который слушал потом, прикрыв от удовольствия глаза, круглыми сутками.

Я знал многих ребят, занимающихся фарцовкой. При всем том, что с некоторыми у меня были приятельские отношения, не помню, чтобы кто-то из них был способен на подобное. Все они были ребята расчётливые, не упускающие при случае своей выгоды. Что поделаешь, издержки «профессии». На такой широкий жест — подарить соседу дорогой и редкий диск, способен был только Серёжа. Он вообще не был похож на фарцовщика. Даже внешне. Несмотря на то, что через его руки проходило огромное количество модных шмоток, он был одет всегда скромно — «чёрный низ, белый верх», исключительно в отечественное. Ни разу не видел на нём ни джинсов, ни других фирменных вещей.

Впервые после отъезда в Москву я побывал в Иркутске уже в восьмидесятые. Во время сухого закона. Этот закон сильно осложнял жизнь всем, в том числе портил и моё пребывание на родине. Хотелось увидеться с друзьями, поговорить, посидеть, выпить, наконец. А вот выпить-то как раз было и нечего: купить спиртное было сложно. Порой невозможно. Когда, озабоченный отсутствием алкоголя, я в размышлении стоял на улице, рядом резко затормозила дорогая иномарка. Из неё вышел подтянутый, повзрослевший, но всё ещё молодой человек. «Здравствуй, Геннадий, — подчеркнута вежливо поздоровался он. — Вернулся?» Внешне Серёжа вроде бы не сильно изменился, узнать его было легко, но в то же время это был другой человек. В его глазах появилась какая-то грусть. Она не исчезала, даже когда он улыбался. «В отпуск вот, — пояснил я. — А тут этот чёртов сухой закон, ничего не купишь». «Если это все твои проблемы, то считай, что их нет». Серёжа предупредительно открыл передо мной дверь своей машины. Пока мы ехали, я узнал об изменениях, произошедших в его судьбе. Серёжа работал директором продовольственного магазина, сейчас занимался его приватизацией. Он женат. В личной жизни счастлив. Дети есть. Двое. Он усыновил детей жены от предыдущего брака. Ждут третьего. Жена сейчас на седьмом месяце. Она старше его. Работает завмагом.

Через полчаса я держал в руках две желанные бутылки водки. От денег Сережа категорически отказался. Только попросил (впервые попросил за всё время, что я его знал): «Ты, может, как-нибудь зайдёшь к моим родителям, они будут рады». Я пообещал.

Наши бывшие соседи встретили меня как родного. Они заметно постарели. Серёжина мама делилась своей радостью. Они так рады за Серёжу. Он очень удачно женился. Жена положительно влияет на их сына. Слава богу, что согласилась выйти за него. А то неизвестно, чем бы всё это закончилось. Я не стал уточнять, что она имеет в виду. Просто согласно кивнул головой, давая понять, что разделяю её чувства. Расставаясь со мной, она даже немного всплакнула. Больше я их не видел. Не видел больше и Серёжу.

Теперь и не увижу.

О его смерти я узнал от наших общих знакомых. Смерть была неожиданной. И дико нелепой. Он упал с крыши своей дачи. Полез скидывать с неё снег — и упал.

Пятнадцать лет спустя

Ко мне приехал в гости давний иркутский товарищ, живший когда-то в соседнем доме. Мы сидели, выпивали, вспоминали. Вспомнили и Серёжу, товарищ знал его лучше, он учился с ним в одном классе. Вспомнили и тот случай с иностранной группой, которую Серёжа привёл в нашу школу.

— Он потом сильно изменился, стал агрессивным, нервным, — грустно заметил товарищ.

Таким Серёжу мне представить было сложно.

— Это когда?

— После армии.

— А он разве служил?

О том, что Серёжа служил, я не знал, это произошло уже после моего отъезда из Иркутска. Так что Серёжа и армия в моем сознании совмещались плохо.

— Служил.

Мы выпили. Не чокаясь. Помолчали.

— А в каких войсках?

— В десантных.

Тут я понял, что не знал о Серёже почти ничего. За исключением разве что нескольких обрывочных детских и юношеских впечатлений.

Думаю, что мало кто может похвастаться тем, что хорошо знает человека, успешного за свою недлинную жизнь пройти путь от избалованного маменькина сынка до десантника. От юного коллекционера значков до крупного фарцовщика. Затем до директора магазина. И позже его владельца. От легкомысленно ловеласа до примерного семьянина, взявшего в жёны женщину старше себя и усыновившего её двоих детей. И пусть наши отношения с ним были просто соседскими, а долгое время мы с ним совсем не общались, в моей памяти он оставил пусть и неглубокий, но яркий нестираемый след.

Баба Клаша

О приходе бабы Клаши, так я привык её звать с детства, знал весь наш дом. И даже жители соседних домов. Её мощный крик «Попо-о-оовы-ы!» слышала вся улица. Она кричала до тех пор, пока кто-то из нас не выглядывал в окно. И только убедившись, что мы дома, поднималась к нам на третий этаж.

«Клавдия, ну что ты кричишь как оглашенная, перед людьми неудобно», — ворчала бабушка. «Что же я, Нюта, впустию буду подниматься», — отмахивалась баба Клаша. То, как она выглядит в чужих глазах, бабу Клашу волновало мало. Если вообще волновало. В отличие от моей бабушки — та всё делала с оглядкой на мнение окружающих. Для бабушки было крайне важно, что «люди скажут», что «люди подумают». Наверное, поэтому она

и была максимально сдержана в выражении своих чувств и эмоций: говорила негромко и с расстановкой. Больше слушала. Она никогда не прерывала собеседника, просто внимательно смотрела на него, склонив чуть набок голову и разглаживая на фартуке несуществующие складки.

Баба Клаша была полной бабушкиной противоположностью. Говорила всегда громко и то, что думает. Вела себя свободно и непосредственно. Во всех случаях и при любом скоплении народа. Любила быть в центре внимания. Точнее, не то что любила, а просто была. В силу своего характера. Если давать характеристики задним числом, то сегодня её, наверное, можно было бы назвать экстравагантной. Но во время моего детства подобные характеристики были не особо в ходу, скорее уж, учитывая её пренебрежительное отношение к общепринятым нормам, её называли бы чудаковатой. Но и такого в адрес бабы Клаши я не слышал. Строго говоря, на неё вообще вряд ли можно было навесить какой-то ярлык или подобрать подходящее определение, она просто была сама собой, бабой Клашей. В соответствии с этим и вела себя — естественно, непринуждённо. Невзирая на лица и обстоятельства.

Баба Клаша была личностью независимой и неординарной. Во всём. Начиная с поведения и заканчивая манерой одеваться. Практически вся одежда на ней была собственного изготовления. Она сама придумывала самые невероятные и неожиданные модели, сама же их кроила, сама и шила. Шиты ей самой были не только платья, безрукавки, тужурки, пальто, дублёнки, но и несурзные бесформенные головные уборы и ещё более бесформенная обувь, которую она называла чёботами или чунями. Главным для бабы Клаши было удобство и практичность. Вся её одежда соответствовала лишь этим двум принципам, всё остальное не имело никакого значения. Мода, красота, стиль, уместность — всё это было для неё пустым звуком, на то, что сейчас носят, она не обращала никакого внимания. Весь её гардероб был изготовлен с помощью ножной швейной машинки «Зингер». Это была не просто швейная машинка, это был настоящий станок, за которым можно было шить всё, вплоть до самой толстой кожи. Баба Клаша использовала машинку на полную мощность. У неё всё шло в дело: старые шубы, дублёнки, обувь, она их перелицовывала, и они снова становились, ну, если не как новенькие, то вполне годные к носке. Да, всё это было немного нелепо на вид, зато, по утверждению бабы Клаши, удобно и практично в носке. И, что ценно, это был эксклюзив, всё существовало в одном единственном экземпляре. Баба Клаша была на полном самообеспечении, даже шкурки животных, используемые для пошива, она выдельвала сама. Она многое что умела — жизнь заставила научиться.

Какое-то время она умудрилась даже разводить домашнюю живность. У неё были козы, свиньи, птицы, утки. И это в городских условиях! Правда, содержать это хозяйство ей удавалось, пока она жила в отдельном деревянном домике с маленьким двориком. А потом началась хрущёвская борьба с частным хозяйством. Вскоре выяснилось, что у этой борьбы есть положительные стороны — баба Клаша получила маленькую однокомнатную квартиру со всеми удобствами.

Баба Клаша была родной сестрой моей бабушки. Но, несмотря на близкое родство, представить более непохожих друг на друга людей было сложно. Представить сложно, а найти невозможно. Казалось, Бог зачем-то поставил себе цель создать две противоположности, и тщательно контролировал процесс создания, чтобы даже в мельчайших деталях их внешности и характеров не было повторений. Моя бабушка была роста выше среднего, с ладной, по мнению окружающих, фигурой и роскошной густой чёрной косой до пояса. У неё было привлекательное, с тонкими, чётко прочерченными чертами лицо, небольшой аккуратный нос и красивые выразительные глаза. У бабы Клаши всё было с точностью до наоборот: волосы ярко рыжие, короткие и редкие, рост невысокий, фигура куклы-неваляшки. Большой картошкой нос и белесые бусинки-глаза на широком добродушном лице делали её похожей на забавного рыжего снеговика из мультфильма.

Но баба Клаша и не думала комплексовать по поводу своей внешности. Наоборот, благодаря лёгкости характера и природному обаянию, она умудрилась все свои недостатки превратить в достоинства. Она обладала удивительным умением расположить к себе лю-

дей. Её непосредственность позволяла ей найти общий язык с кем угодно, неудивительно, что в компаниях она всегда была в центре внимания. Я любил, когда она приходила к нам, с её появлением сразу же становилось весело. Она любила пошутить и над собой, и над другими. Смеялась над своими шутками громче всех. Любила под настроение спеть. Это сейчас, когда компания собирается за столом, то все только и делают, что едят, пьют, рассказывают анекдоты, смотрят телевизор, обсуждают последние новости... всё, что угодно, но только не поют. По крайней мере, редко. Раньше редкое застолье обходилось без пения. Не берусь утверждать, что так было повсеместно, но я был свидетелем именно таких застолий. Ну и плясали тоже.

Баба Клаша не только пела, но и подыгрывала себе на гармошке. Гости у нас собирались часто. Оценив бабушкины кулинарные способности приготовления закусок и салатов, они расслаблялись, чуть отодвигались от стола, чтобы сделать небольшой перерыв перед тем, как подадут горячее, дедушка и баба Клаша брали в руки гармошки. «Когда б имел золотые горы и реки, полные вина, всё отдал бы за ласки, взоры, чтоб ты владела мной одна...» — начинал дедушка. «Не упрекай несправедливо, скажи всю правду ты отцу — тогда свободно и счастливо с молитвой мы пойдём к венцу...» — подхватывала баба Клаша. Подключались к пению и остальные гости.

Дедушка и баба Клаша были во время этих застолий самыми весёлыми и общительными. Сегодня (тогда мне это казалось в порядке вещей) я удивляюсь, что при этом ни тот, ни другая не признавали спиртных напитков. Да и все остальные тоже как-то не сильно увлекались. Например, бабушка, та за весь вечер могла выпить лишь одну рюмочку сладкой наливки. Я вообще не помню, чтобы кто-то из гостей злоупотреблял алкоголем. Так что сложившееся мнение о пьянстве, присущем всему русскому народу, уверен, сильно преувеличено.

Баба Клаша и бабушка отличались не только своим внешним видом, не были похожими они всем остальным — характером, темпераментом, поведением... Всем. непохожими были и судьбы сестёр. Начиналась их самостоятельная жизнь вроде бы одинаково — и та и другая рано вышли замуж и уехали с мужьями из сибирской деревни. Бабушка уехала с дедушкой в Иркутск, а баба Клаша со своим мужем на Север. Обе вскоре родили по дочке. На этом сходство закончилось. Бабушка всю жизнь прожила с дедушкой. Всю жизнь была домохозяйкой. Но это совсем не значит, что она не работала: работа домохозяйки, при отсутствии в то время разнообразной домашней техники, была ничуть не легче труда на производстве. Я вообще не видел, чтобы она сидела без дела. Благодаря ей в доме всегда были чистота и порядок, все были ухожены, накормлены и напоены. Бабушка прекрасно готовила. Я никогда в жизни не ел ничего вкуснее её пирогов. Больше всего любил пироги с капустой. Но и всё остальное было не хуже. Прошло столько лет, но, когда я вспоминаю её пироги, то явственно ощущаю их аромат и вкус. Пирогов давно нет, а все их качества в целостности и сохранности остались в моей памяти. Бабушка была идеальной хозяйкой.

Конечно, баба Клаша и готовкой еды тоже занималась, и стирала, и полы мыла, и выполняла другие хозяйственные работы, которые мы привычно считаем женскими, но всё же больше она была склонна к так называемой мужской работе, что-то прибить, привинтить... Могла быть и столяром, и плотником, и скорняком. Всё делала сама: и воду с колонки носила, и пилила дрова, и колола чурки, если требовалось. Выполняла самую тяжёлую работу. И никогда я не слышал, чтобы она на что-то жаловалась.

Уехав с мужем на Север, она рано осталась одна. С маленькой дочкой на руках. Нужно было как-то выживать, и баба Клаша освоила и неженские профессии: наравне с мужчинами она охотилась в тайге, ловила рыбу, сплавила по реке лес. Делала всё, что требовалось, чтобы выжить в суровых северных условиях. Позже переехала в Иркутск. Вместе с красавицей дочкой. Генетика нередко преподносит сюрпризы: дочка на родную мать походила мало, вернее, не походила вовсе, скорее уж на мою бабушку, свою тётку, у неё были такие же длинные густые волосы, тонкие черты лица и выразительные миндалевидные глаза. Фигура тоже была как у бабушки.

Как я уже говорил, к нам в гости баба Клаша приходила часто, но какого-то тесного общения между ней и бабушкой не было. Что при таких непохожих характерах и разном

жизненном опыте вовсе неудивительно. Если какая-то духовная близость между ними и была, то в глаза она не бросалась. Но кто уж точно был ей родственной душой, так это дедушка. Их объединяло многое: и любовь к пению, и игра на гармошке, и, главное, общие интересы — они любили мастерить, создавать что-то своими руками. Любили и умели. Дедушка был универсальным мастером, он мог сделать всё, начиная с ремонта часов и заканчивая... Да ничем не заканчивая, мне казалось, что он может всё, не было ничего такого, с чем бы он не справился. У него было множество разнообразных инструментов. Целая коллекция. На все случаи. За что бы он ни взялся, всегда находился нужный инструмент. Причем необходимого размера. Такого их ассортимента я не видел ни в одном специализированном магазине. Дедушка собирал их всю жизнь, они были предметом его гордости. Он часто перебирал свою коллекцию, внимательно разглядывая каждый инструмент, как будто с ним, пока он лежал в шкафчике, могло что-то произойти, с любовью протирал и аккуратно клал на место. Баба Клаша любила в эти моменты сидеть рядом, со знанием дела оценивала увиденное и выражала своё восхищение: «У тебя, Петя, и это есть! Откуда ты только взял? Дай посмотреть. Надо же, как новенький! Да сейчас такое вообще не делают...» Дедушке было приятно. При этом баба Клаша обязательно просила что-нибудь отдать ей: «А такой же у тебя есть! Зачем тебе ещё один? Отдай лучше мне!...» Дедушка не отдавал. Баба Клаша не обижалась. Она знала, что не отдаст. Просила просто так, ради общения. И — чтобы дедушка лишний раз почувствовал ценность своей коллекции.

Похожая история происходила, когда дедушка вытаскивал все свои рыбацьи принадлежности. Этих принадлежностей у него было невообразимое количество: лески, блесны, поплавки, грузила, удилица и даже различные сети. Вытаскивал, раскладывал и перебирал их, готовясь к очередному рыболовецкому сезону, как минимум два раза в год. Баба Клаша старалась не пропустить это зрелище. А может, дедушка сам подгадывал к её приходу. Чтобы свояченица ещё раз смогла оценить его богатство. Они оба были заядлыми рыбаками. И говорить на тему рыбалки они могли часами. Пока дедушка перебирал свои рыбацьи причиндалы, они с бабой Клашей в деталях обсуждали рыбацкие хитрости, делились случаями из своих прошлых рыбалок и строили планы на своё рыбацкое будущее. Баба Клаша при этом с завистью смотрела на дедушкино богатство. «Петя, — просила она, выбрав что-нибудь наиболее для себя ценное, — отдай мне этот набор крючков. Зачем он тебе?» Дедушка наотрез отказывался что-либо отдавать. Объяснял, что это ему самому пригодится в ближайшее время. «Да ты, Петя, вспомни, — убеждала баба Клаша, — когда ты последний раз был на рыбалке». Дедушка уверял, что в этом году выберется обязательно. «Не смей меня, — громко смеялась баба Клаша, — ты и в прошлом году то же самое говорил». Дедушка сердился, объяснял, что в прошлом году у него были уважительные причины, помешавшие ему поехать на рыбалку. Баба Клаша напоминала, что и в позапрошлом году он не рыбачил, да и вообще она уже не помнит, когда он это делал. Дедушка обижался, но они тут же мирились. Баба Клаша была права: я тоже не помнил, когда дедушка ездил на рыбалку. Самое смешное, что и сама баба Клаша не была там столько же. Но дедушка тактично не напоминал ей об этом.

Я заметил, что когда баба Клаша какое-то время не приходила к нам, бабушка начинала прислушивалась к шуму на улице. «Посмотри в окно, — просила она меня, — может, там Клавдия пришла?» «Вряд ли, — отмахивался я. — Если бы пришла, мы бы услышали».

С тех пор прошло много лет. Мне уже никто не будет кричать снизу, чтобы узнать, дома ли я. Ведь я живу теперь на семнадцатом этаже. Так что не докричишься. Да и домофон в доме есть. А вот бабы Клаши нет...

Мой младший брат

Саша почти на пять лет младше меня. С возрастом эта разница в годах стала, конечно, не так заметна — в каких-то житейских ситуациях он вполне может сойти и за старшего, но в детстве эти несколько лет создавали между нами непреодолимую пропасть.

В детстве возрастная иерархия соблюдалась неукоснительно: можно было не слушаться родителей, учителей, кого угодно, но только не старшего брата — наказание пинком или подзатыльником следовало от меня тут же. Я скептически относился к родительской системе воспитания моего брата, считая ее неэффективной и неправильной, поэтому вносил в неё разумные, на свой взгляд, коррективы. По преимуществу силовые. Но помимо права наказывать младшего брата, которое я, пользуясь возрастным преимуществом, присвоил себе, были у меня по отношению к нему и обязанности. Их я тоже добровольно принял на себя и старался добросовестно выполнять. Обязанностей было не так много, но тем не менее они были. Ну, например, я заставлял его делать уроки. Родители тоже заставляли, но у меня получалось лучше, быстрее. «Можно я с вами посижу?» — уговаривал меня Саша, когда ко мне приходили школьные друзья. «Иди делай уроки!» — командовал я и, как он ни упирался, выводил его за шкирку из комнаты. И еще... Может, кому-то это покажется не самым важным качеством в человеке, но я учил его делиться с близкими и без сожаления расставаться с деньгами. Последнее, кстати, очень даже пригодилось ему в дальнейшей жизни: когда страна вступила на капиталистический путь развития, он стал бизнесменом. Для воспитания в брате бескорыстия я использовал метод экспроприации. Метод, конечно, не самый гуманный, особенно по отношению к младшему брату, но я не особенно задумывался над этим. Если честно, всё получилось как-то само собой, когда Саша решил копить деньги. Начал он с того, что изготовил себе копилку с высокой, на его взгляд, степенью защищённости. Такая копилка представляла собой литровую стеклянную банку с крышкой. В крышке Саша прорезал отверстие для монет и намертво её приклеил, так чтобы нельзя было при случае снять и, поддавшись мимолётной слабости, извлечь содержимое банки. Копилка получилась на загляденье: надёжная, вместительная, удобная ещё и тем, что можно было отслеживать её наполняемость. Опустив в отверстие очередную выданную ему родителями на завтрак или какие-то иные нужды порцию монет, Саша оценивал, насколько увеличилось его накопления. Пополнялась копилка, надо заметить, поначалу довольно быстро, Саша отказывал себе во всём. Придя после школы и опустив в копилку денежки, сэкономленные на завтраке, он с нежностью и любовью смотрел на её содержимое. Мог смотреть довольно долго. Словно количество монет от его проникновенного взгляда должно было увеличиться. Так может смотреть только свихнувшийся на своём увлечении любитель экзотических рыбок на плавающие в аквариуме новые экземпляры своей коллекции. Двигаясь такими ударными темпами, Саша, наверное, быстро бы наполнил свою банку, но тут в процесс накопления вмешались внешние силы — в лице моих приятелей, предложивших мне пойти выпить пива. «Как это нет денег? — удивились они, увидев стоящую в книжном шкафу Сашину копилку. — А это что?» — «Да это брата, — пояснил я. — Копит на что-то». «Что значит копит?! — возмутились приятели. — Старшему брату с друзьями выпить пива не на что, а этот шкет, видите ли, копит! Борьтесь нужно с накопительством!» В общем, уговаривать меня долго не пришлось. Сашку, конечно, жалко, но друзья и пиво всё же дороже. Способ добычи монет из банки я придумал следующий: в отверстие в крышке просовывал лезвие ножа, крутил банку, пока на лезвии ни оказывалась монетка, после чего вытаскивал лезвие вместе с монеткой. Став на путь нечестной добычи, я уже не мог остановиться, то и дело при малейшей необходимости хватаясь за нож. Нельзя сказать, что меня сильно мучили угрызения совести, брать у брата мне казалось нормальным и даже в воспитательных целях где-то правильным. Тем не менее мне было жалко смотреть на Сашу, который, опуская в банку принесённые в кулачке монетки, удивлённо и растерянно смотрел на её содержимое. Банка вдруг резко прекратила пополняться. Более того, было такое впечатление, что её содержимое уменьшается. Саша ходил на добросовестную и доверчивую труженицу-пчёлку, которая не покладая крыльев носит пыльцу в улей, а вся её добыча достаётся прожорливому наглому трутню.

Но не зря говорят, что всё тайное становится явным. Как-то Саша всё же застал меня на месте преступления. Он ошарашенно, не веря своим глазам, смотрел на меня, вытаскивающего из банки его накопления. От родного брата, который был ему во многом авторитетом, он такого не ожидал. Он был готов заплакать от обиды. «Да ладно, — успокаивал я его, — подумаешь, вытащил несколько монет. Тебе что, жалко для брата?»

Но какие бы конфликты и обиды ни возникали между нами, а возникали они нередко, посторонним мы друг друга в обиду не давали.

Когда для меня наступило время проявления активного интереса к противоположному полу, то дома я стал гостем редким, появляясь только для того, чтобы поесть и немного поспать, в результате чего конфликты с братом свелись к минимуму, зато их сменили конфликты совсем иного рода.

В тот вечер я почему-то сидел как раз дома. Из моей комнаты я услышал дверной звонок и чей-то незнакомый мужской голос:

— Гена дома? Позовите его.

И излишне, как мне показалось, гостеприимный голос матери:

— Да вы проходите! Что же в дверях стоять!

Обычно она более сдержанно встречала моих друзей. Чем ей понравился незнакомец — непонятно.

— Нет, пусть он выйдет, — настаивал визитёр.

— Гена, тут к тебе какой-то стеснительный молодой человек пришёл!

Я сразу понял, что этот поздний визит не предвещает мне ничего хорошего. Пришедший кивком предложил мне выйти на лестничную площадку. Там при свете нервно мигающей лампочки состоялся «суровый мужской» разговор, который по всем законам жанра должен был закончиться мордобоем. Причем, скорее всего, пострадавшим предстояло стать мне. Вызвавший меня из уютной квартиры был вернувшимся после срочной службы в армии женихом объекта моего очередного юношеского увлечения. Но увлечение это было недолгим, мгновенно и ярко вспыхнувшим, что свойственно в этом возрасте, и довольно быстро, что тоже свойственно в этом возрасте, угасшим, поэтому отстаивать свои права у меня желания особого не было. Я бы с большим удовольствием пожелал молодым счастья и любви и посчитал вопрос закрытым. Но этот парень с военной выправкой вряд ли ждал моего благословения, он просто хотел набить морду покусившемуся на его девушку в то время, когда он выполнял свой гражданский долг. Хотя я его и понимал, но получать по морде у меня никакого желания не было. Ввязываться в драку тоже не сильно хотелось — он был здоровей меня, старше, опытней (он уже отслужил в армии, а я даже и не собирался), и, главное, у него были причины драться, а у меня — нет. Мне пришлось проявить максимум изворотливости и убедительности, чтобы сохранить своё лицо, и в прямом, и в переносном смысле. Разговор шёл трудно и долго, то отодвигая, то приближая момент физической расправы. Помощи со стороны мне было ждать особо неоткуда, мои безмерно гостеприимные родители безмятежно смотрели телевизор, их больше волновало то, что происходило на экране, а не на лестничной площадке. Да и вообще их вмешательство только ухудшило бы ситуацию, выставив меня в неприглядном и неприемлемом для молодого человека виде. Уж лучше быть избитым, чем прятаться за родителей, считал я. Так что рассчитывать приходилось исключительно на свои силы. Из приоткрытой двери нашей квартиры, правда, время от времени выглядывал брат, но какой толк от одиннадцатилетнего подростка? Не знаю, каким чудом, но мне удалось спустить эту разборку на тормозах и сохранить своё лицо в целостности и неприкосновенности. Визитёр ушел, а я вернулся в квартиру, где и столкнулся со стоящим прямо за дверью братом. В руках у него была палка. Оказывается, он, каким-то образом почувствовав, что брат в опасности, был готов с палкой в руках прийти ему на помощь. Как он понял, что мне что-то угрожает, для меня загадка — маленький ведь ещё! Родителям и в голову не пришло, что их сына пришли бить, а Сашка каким-то образом сразу сообразил, что к чему, и принял необходимые меры по моей защите.

— Ну что, ушёл? — поинтересовался он.

Меня охватила волна нежности к нему. И благодарности. До сих пор у меня перед глазами стоит эта маленькая шуплая фигурка моего защитника. С палкой в руках. Мне стало до боли стыдно за то, что я часто был к нему несправедлив.

— Ты-то куда лезешь? — нарочито строго проворчал я. — Тебя тут только не хватало, палку ещё взял!

Что касается палки, то она вскоре сыграла свою роль, как то пресловутое ружьё в спектакле, спокойно висящее на стене в первом акте и непременно выстреливающее во втором. Что ещё раз подтверждает правоту гениального старика Шекспира в том, что весь мир — театр.

Саша несколько дней не выходил из дома. Такого прежде никогда не было. Это можно было объяснить только тяжёлой болезнью. И больше ничем. Но он был здоров. Правда, был на удивление какой-то тихий и спокойный. Несмотря на солнечную летнюю погоду и каникулы, он сидел несколько дней подряд дома и смотрел телевизор.

— Все нормально? — обеспокоился я.

— Да, — ответил он, не отрываясь от экрана.

На четвёртый или пятый день своего затворничества сидеть дома ему, по-видимому, стало совсем невмоготу.

— Ты куда? — как бы между прочим поинтересовался он, увидев, что я собираюсь уходить. — Можно, я с тобой пойду?

Это было уж совсем что-то невозможное — наши интересы и пути обычно не пересекались.

— Со мной?! — думая, что ослышался, спросил я. — Куда это ты со мной собрался?

— Просто выйду из дома.

— А без меня выйти не можешь?

Он вынужден был объяснить своё поведение:

— Там старшие пацаны во дворе.

— И — что?

— Сказали, что побьют, если выйду.

— Что ты им сделал?

— Ничего.

— Чего это они тебя не выпускают, если ты им ничего не сделал?

— Да дураки просто здоровые.

— Пошли, — согласился я, — никто тебя не тронет. Только сам не лезь.

Саша покорно пообещал.

Мы вышли во двор. На первый взгляд, двор был пуст.

— Видишь, никого нет.

Но Саша был другого мнения.

— Подожди, я сейчас, — скомандовал он мне и бросился к беседке, скрытой в кустах вдали двора. Там обычно собирались дворовые ребята.

— Ну, что! — послышался из кустов Сашин крик. — Кто это меня тут бить собрался? Сейчас посмотрим!

Я поспешил на помощь брату.

— Вот эти меня обещали побить! — Саша тыкал пальцем.

В беседке сидели местные, чуть постарше Саши, ребята из нашего и соседних дворов. Ребята были не из разряда паинек, они принимали активное участие во всех дворовых драках (у нас вообще драки не были редкостью) и других немирных мероприятиях, доставляющих беспокойство жильцам. Но в данный момент они были больше похожи на невинных жертв, чем на кровожадных мстителей.

— Гена, — обратились они ко мне за защитой, — успокой ты своего брата, чего он на людей бросается? Коляна избил.

В разговоре выяснилось, что Саша что-то там не поделил с этим Коляном. А поскольку Колян был старше и сильнее, да и вообще был местным хулиганом и Саша справиться с ним просто так не мог, то он схватил подвернувшуюся под руку палку и прошёлся ею по превосходящему его в силе противнику.

Я пообещал ребятам, что больше он палками никого бить не будет, заодно пригрозив, что разберусь с ними, если они его тронут. Саша, казалось, был полностью удовлетворён состоявшимся выяснением отношений. Когда мы выходили из двора, он как бы между прочим поинтересовался:

— Ты во сколько сегодня домой придёшь?

Было непонятно, то ли он решил проявить внимание в качестве благодарности за мою поддержку, то ли решил выяснить на всякий случай, не полностью, видимо, доверяя обещаниям тех ребят не трогать его.

— Не знаю.

Был тот редкий для нашего детства случай, когда мы, два брата, старший и младший, мирно шли рядом. Я даже, кажется, чуть приобнял его.

Лёшка

Наш Дартаньян был маленького роста и рыжим. Внешне на героя только что вышедшего и безумно популярного тогда, в шестидесятые годы, французского фильма «Три мушкетёра» он походил мало. Этот фильм мы, ученики пятого класса иркутской школы, успели посмотреть не по одному разу и могли смотреть бесконечно. Книга была, конечно, тоже любимой и не раз прочитанной, но одно дело книга и совсем другое, когда живых и жутко обаятельных героев ты видишь на экране. Жизнь полюбившихся нам с первого кадра мушкетёров была заполнена головокружительными приключениями и невероятными событиями: с утра до ночи они только тем и занимались, что защищали честь короля, свою честь, а заодно и честь своих дам: «Моя шпага к вашим услугам, милорд. Защищайтесь!..» И звенели, безмерно радуя нас, скрещиваемые шпаги. Словно загипнотизированные, неотрывно наблюдали мы за схватками обаятельных мушкетёров, изобилующими головокружительными трюками и остроумными словесными перепалками. Всё это так не походило на наши однообразные мальчишеские будни, ограниченные в основном школой и улицей, что мы с головой погрузились в атмосферу Франции 17-го века с её дворцовыми интригами, борьбой за власть, дуэлями и любовными отношениями. Мы буквально бредили всем происходящим на экране и даже почувствовали себя немного мушкетёрами. Да нет, пожалуй, не немного, мы полностью перевоплотились, став самыми настоящими мушкетёрами, мы и разговаривали как они, и ходили, и думали, и защищали честь дам так же. К нашим дамам не то чтоб подойти, посмотреть на них косо было нельзя, мы тут же вытаскивали свои самодельные шпаги и бросались на покосившегося негодяя. И нам было совершенно неважно, что наши дамы и не подозревали, что они дамы, тем более, что наши. Думаю, они считали нас недоразвитыми оболтусами, размахивающими какими-то палками. Но это было и неважно, главное, что мы знали, кто они. Мы создали у себя в школе этакий действующий филиал Франции времён Людовика Тринадцатого. Учениками пятого класса мы были только по необходимости и только на время уроков. Сразу же после звонка мы превращались в мушкетёров, роли которых распределили между собой. Дартаньяном стал Лёшка Скорняков. Назначение его главным мушкетёром произошло как-то само собой, без всяких обычно возникающих в таких случаях споров и обид, другие кандидатуры даже и не обсуждались. Хотя он, как я уже упоминал, по внешним параметрам менее всего подходил на такую ответственную роль, зато этот небольшой недостаток с лихвой компенсировался его зашкаливающей амбициозностью и непомерным тщеславием. Этого добра у него было уж точно не меньше, чем у его кинопрототипа, а думаю, что и поболее. Провозгласив себя мушкетёрами короля, остальным желающим принять участие в игре мы отвели роли гвардейцев коварного кардинала Ришелье. Ну а тех, кто не желал участвовать в игре, мы кололи шпагами просто так, во имя королевы. Без королевы, сами понимаете, мы, стремясь быть ближе к той романтической эпохе, обойтись не могли. Какие же это мушкетёры без королевы? Ради её благосклонного взгляда мы готовы были сразиться с кем угодно. Королевой, не ставя её в известность, выбрали отличницу Нину Бойко, в которую тайно были влюблены многие мальчишки, а её лучшей подруге помимо её воли пришлось стать Миледи и терпеть наши презрительные взгляды. На роли короля и кардинала подходящих кандидатур не нашлось, поэтому обошлись без них. Вооружив-

шись самодельными шпагами, мы приступили к военным действиям. Полем сражения были все близлежащие дворы. Бились группами и, вызывая на дуэль, один на один. На дуэль вызывали по любому поводу, а чаще — зачем эти церемонии? — без него, подходишь и сразу бросаешь варежку в непонравившееся тебе лицо. Сколько варежек я потерял таким образом — не счесть. «На тебя не напасёшься, ты их ешь, что ли?» — ругалась бабушка.

Но уличных боёв нам было мало. Мы с Лёшкой нарисовали себе картонных мушкетёров. И играли ими по всей квартире, в одной комнате располагалась гвардия короля, в другой — кардинала, в третьей — замки, дворцы и прочая недвижимость, за захват которой шли напряжённые и кровопролитные бои. Мы зажимали спичку в кулак и прятали руки за спину; не отгадавший лишался солдата. Родители вынуждены были переступить через наши разбросанные по полу войска. «Большие уже, а всё в какие-то детские игрушки играете, — ворчали они. — Уроки-то хоть сделали?..»

Мой закадычный друг Лёшка Скорняков, как я уже упоминал, был ярко-рыжим, худеньким и маленького роста. Из-за чего жутко комплексовал. Чтобы казаться повыше, он ходил на носочках, вытянув, как гусёнок, шею и задрал голову. Не знаю точно, как ему это удавалось, но, несмотря на свой рост, он умудрялся смотреть на всех свысока. А когда на уроках физкультуры наш класс выстраивали по росту, в конце строя из-за Лёшки всегда возникала неразбериха. Чтобы не оказаться последним, а занять второе или даже третье место от конца, он использовал все возможные приёмы: толкался, врал: «Я всегда здесь стою!», «Я выше тебя, спроси любого», угрожал: «Давай подерёмся, кто победит, тот и выше!», шантажировал: «А я скажу Кафановой, что ты в детстве писался»... В конце концов он всё же добивался своего. Учитель физкультуры устало махал рукой и разрешал ему втиснуться, куда он хотел. Думаю, что если бы Лёшка сильно захотел, то мог бы занять место и во главе строя.

Лёшкина амбициозность, иногда граничащая с высокомерием, проявлялась во всём. Чтобы восполнить недоданное ему, по его мнению, природой, он во всём старался быть первым. Если принимал участие в конкурсах или соревнованиях, то ради победы готов был выпрыгнуть из себя. Играя в футбол, он носился по полю рыжей молнией, заряжая энергией других игроков и не сдерживая эмоций. Если ему приходилось принимать участие в художественной самодеятельности, то он делал всё, чтобы не остаться в тени. Благо, талантами обделён не был — хорошо пел, танцевал, рисовал. Так что его поползновения на исключительность были не лишены оснований.

Одной из производных Лёшкиной амбициозности была заносчивость. Из-за которой нередко возникали потасовки. Он не спускал никому, давал отпор в том числе и тем, кто старше и сильнее его. Разозлившись, он краснел, его рыжина становилась ещё ярче, и он с кулаками набрасывался на обидчика. Дрался он так отчаянно, что с ним предпочитали не связываться даже самые отъявленные хулиганы.

Лёшка пытался доказать своё превосходство всеми доступными средствами. Например, он взялся меня опекать. Без всякой на то необходимости и просьб с моей стороны. Опекать эта выглядела немного странной — я был выше и крупнее его. К тому же сам мог постоять за себя. Но Лёшку это ничуть не смущало. Он предупреждал всех, что если кто тронет меня, то будет иметь дело с ним. Мне лишь оставалось пожимать плечами.

Отношение учителей к Лёшке было особое. Несмотря на то, что примерным поведением он не отличался, ему всё сходило с рук. Объяснялось это не только многогранностью его натуры, а благодаря семейному положению: его семья относилась к категории неблагополучных. Лёшкина мама выпивала. Он очень переживал по этому поводу и стеснялся её. Она несколько раз приходила в школу нетрезвой, что вызывало у Лёшки крайне болезненную реакцию, вплоть до сбега с уроков. Так что если возникала необходимость в вызове родителей, хотя учителя старались обходиться без этого, то приглашали прийти Лёшкиного папу. Папа, конечно, тоже выпивал. Но не до потери лица. Хотя, конечно, всякое бывало. Он работал лектором в обществе «Знание» и часто ездил по области с лекциями о непростом международном положении. Его любовь к спиртным напиткам этим лекциям не мешала. Так же как и не мешала ему быть заядлым шахматистом. Когда я приходил к

ним в гости, то всегда заставлял его за шахматной доской. Игра, как правило, совмещалась с выпивками. Если рядом не было партнёра, то он и тем и другим занимался в одиночестве. Но чаще желающие составить ему компанию всё же находились. И если к дяде Серёже приходили, как правило, спокойные, интеллигентного вида люди, то тётя Рая (Лёшина мама) была менее разборчива в знакомствах. Правда, её друзья по выпивке появлялись дома только в отсутствии дяди Серёжи: когда он был дома, то гнал их. Всю шахматную партию тётя Рая крутилась рядом с играющими, то и дело нетерпеливо заглядывая им через плечо. Её любопытство было вызвано не внезапно проснувшимся интересом к игре, а ожиданием, когда же наконец её пошлют в магазин за очередной порцией спиртного. Получив требуемую сумму, мгновенно исчезала. Мы с Лёшкой видели из окна, как она шустро, в своём, на пару размеров больше, пальто, мелкой пошатывающейся походкой пересекает двор. Возвращалась быстро (как постоянному клиенту ей продавали спиртное без очереди, а когда была необходимость, то и из-под прилавка), ставила бутылку на стол и требовала свою честно заработанную долю: «Налейте чуток».

Подозреваю, что мириться со слабостью жены дяде Серёже помогала собственная слабость. А возможно, он выпивал, чтобы легче было пережить пьянство жены.

Играть после школы мы с Лёшкой предпочитали всё же у него. Хотя у меня дома условия были несравнимо лучше, зато там была полная свобода. И, главное, никакого контроля со стороны родителей. Дядя Серёжа, тот, казалось, нас вообще не замечал. Тётю Раю же интересовало лишь то, что имело отношение к спиртному. А от нас ей никакого толку не было. Это потом, спустя годы, мы тоже стали прибегать к её услугам в качестве алкокурьера. А пока у нас были совсем другие интересы.

Нас больше интересовала дворовая лужа. Лужа была огромная. Во весь двор. Через эту лужу жильцы проложили мостки, хотя мостки — это слишком громко сказано, точнее, просто доски. По этим доскам можно было добраться до деревянной покосившейся будки с гордым артистическим названием «Уборная». Ходить по таким мосткам, на наш взгляд, было одно удовольствие. Те то и дело норовили выскочить из-под ног идущего; а если тому удавалось устоять, то они прогибались под тяжестью его тела и оказывались вместе с ногами в воде. Особенное раздолье для нас было весной. Лужа разливалась аж до Лёшкиных окон. Так что когда я шёл к нему в гости, то надевал телогрейку и обязательно резиновые сапоги.

Квартира, где жил Лёшка, была полуподвальной, то есть подоконник был на уровне земли, ну а в случае с разлившейся лужей — на уровне лужи. Наигравшись, мы с Лёшкой снимали сапоги сушиться, намазывали хлеб маслом, посыпали сверху сахаром и с аппетитом уминали эту вкуснятину у окна, любуясь видом на лужу. Было дико смешно наблюдать за балансирующими на досках жильцами, пытающимися пройти не замочив ноги. Что не всегда удавалось даже нам, это с нашими-то весом и ловкостью.

Но и с наступлением зимы становилось не менее интересно. Лужа замерзала, превращаясь к нашей радости в огромный каток.

Несмотря на отсутствие элементарных бытовых удобств, которые были у большинства ребят из нашего класса, и недостаток родительской опеки, Лёша всегда был чисто и опрятно одет. Он вообще крайне щепетильно относился к своему внешнему виду. А с вступлением в тот возраст, в котором мальчишки начинают особенно тщательно следить за собой, отчасти, чтобы понравиться девочкам, отчасти, подражая старшеклассникам, это стало особенно заметно, — Лёшка стал одним из самых признанных модников в школе. Сложно даже сказать, как ему это удавалось, но как-то удавалось. Особенно учитывая затруднительное материальное положение их семьи. Он умудрялся даже обычную, купленную в заурядном промтоварном магазине одежду носить с таким пижонством, что у меня это вызывало плохо скрываемую зависть. Я так не умел. Как ни старался. Не спасали даже расклешённые, сшитые, после скандала с родителями, в местном ателье брюки и надбитые для увеличения роста и в полном соответствии с тогдашней модой каблуки. И, главное, у меня не получалось, в отличие от Лёшки, то выражение лица, с налетом некоторой отстранённости и независимости, которое было у героев голливудских вестернов и у ребят, стоявших по вечерам на углу улиц Карла Маркса и Ленина.

Мы подрастали, наши интересы менялись, сидению дома мы теперь предпочитали прошвырнуться по городу. Стали общаться с ребятами постарше, стараясь во всём походить на них. Меня уже начали пропускать в кинотеатре на фильмы, запрещённые детям до шестнадцати. Лёшку же неизменно отлавливали на входе бдительные контролёры. На них не действовали ни его хитрости по увеличению роста, ни его уверенный вид повзрослевшего на своём веку человека. Лёшка очень болезненно переживал эти унижительные для него минуты, с ещё большим рвением пытаюсь самоутвердиться.

То же постоянное стремление к самоутверждению привело его в секцию бокса, где он довольно быстро добился неплохих результатов, участвовал в соревнованиях и побеждал. Ему хотелось, чтобы я был свидетелем его спортивных успехов, он уговаривал меня тоже заняться боксом. Я же был совсем не расположен к мордобою, пусть и по правилам. На тренировку Лёшка привёл меня, можно сказать, за руку. В спортзале я чувствовал себя инородным телом. Хотя мне и приходилось участвовать в уличных драках, но всё же битьё друг друга без всякого повода вызывало во мне отторжение. Когда тренер поставил меня на спарринг с Лёшкой, то я не мог вот так просто взять и ударить друга по лицу, бил по перчаткам. «Бей! — злился Лёшка. — В лицо бей! Бей, я сказал!» Я неохотно ткнул его в плечо. Тогда стал бить Лёшка. Пришлось ответить. Дотянувшись до Лёшкиного лица, я остановился — «Ой! Извини!» «Молодец! — радовался Лёшка. — Бей ещё! Сильней!» Через какое-то время я освоился. Получая по лицу, Лёшка искренне радовался моим успехам: «Ну, вот! Можешь же! Бей ещё!»

Бокс плотно вошёл в мою жизнь. Кроме физической подготовки он дал ту уверенность в себе, которой мне так не хватало раньше.

Не меньшее удовольствие, чем сами тренировки, нам доставляли прогулки после них. Мы с Лёшкой обычно вразвалочку шли домой. Молча. С чувством удовлетворения и приятным ощущением победы. Неважно, над недавним соперником или над собой. Расслабленное тело ныло от полученных ударов. Нам было хорошо, мы были полны сил и веры. Напряжённая тренировка позади, впереди — вся жизнь.

Мои занятия боксом продолжались около двух лет, до тех пор пока мне в драке не сломали челюсть. В больнице к зубам тонкой проволокой прикрепили металлические дуги (что поделаешь, такие тогда были варварские технологии) и проволокой же связали их между собой. При малейшей попытке открыть рот проволока впивалась в дёсны, вызывая болезненные ощущения и кровотечения. Так, не разжимая зубов, мне приходилось разговаривать, по этой же причине вместо нормальной полноценной еды, положенной организму, употреблять бульон, жидкую манную кашу и томатный сок. После двух месяцев такой нерадостной аскетической жизни при виде махающих руками людей у меня возникало ярко выраженное желание отойти в сторону, и как можно дальше. Желание заниматься боксом пропало.

Тем временем мы с Лёшкой закончили восьмой класс и, поскольку наша школа была восьмилеткой, пришлось подыскивать себе новое место для учёбы. Тут наши жизненные пути с ним впервые разошлись: Лёшка выбрал школу с математическим уклоном, я же, поскольку у меня никакой тяги к математике не наблюдалось, пошёл в ту, где больше уделялось внимания литературе. Каждый стал жить своей жизнью. При встречах, которые становились всё реже и реже, Лёшка удивлял меня происходящими с ним изменениями: он, на мой взгляд, являлся наглядным примером того, что если человек чего-то очень хочет, то обязательно достигнет. В то время, когда его сверстники, исчерпав отпущенное им природой, давно и окончательно расти перестали, Лёшка вдруг неожиданно рванул вверх. Каждый раз при редких встречах я с удивлением отмечал его прибавку в росте. Он заметно перерос меня. И теперь смотрел сверху не фигурально выражаясь, а в самом что ни на есть прямом смысле. Достигнув ста восьмидесяти сантиметров, он, видимо посчитал, что намеченные цели достигнуты, и, наконец, остановился. Самое удивительно, что как-то сама собой прошла и рыжина. Его яркую непослушную шевелюру сменила хорошо уложенная причёска приятного каштанового цвета, с модным пробором посередине. Беспорядочно разбросанные по лицу многочисленные веснушки непонятным образом исчезли,

обнаружив незаметную до того аристократическую бледность. Только когда он злился или волновался, его лицо чуть розовело. Он чудесным образом избавился от раздражающих и портящих ему настроение недостатков своей внешности. А всем остальным он обделён не был. Вдобавок ко всем своим достоинствам он обладал даром повышенной коммуникабельности и умел расположить к себе окружающих. Что, впрочем, с его остроумием и показной бесшабашностью было неудивительно. Всякий раз, когда мы оказывались с ним в одних компаниях, он был в центре внимания: то и дело шутил, говорил витиеватые тосты, умел найти общую тему для разговора. К тому же он освоил игру на гитаре и недурно пел.

Я был полной его противоположностью: с людьми сходилась с трудом, в компаниях был замкнут, оказавшись в центре внимания, терялся, играть на гитаре и тем более петь не умел. Но нашей дружбе это не мешало никак.

Окончив десятилетку, мы поступили в институт: Лёшка — в педагогический, на физмат, я — в политех. Видеться стали совсем редко. Но Лёшка и на расстоянии не давал забыть о себе. И даже умудрялся влиять на мою жизнь. Из-за него я чуть не вылетел из института. Началось всё с моего конфликта со старостой нашей группы. Это был здоровый, уверенный в себе парень, уже успевший отслужить в армии, поэтому относивший ко всем нам, вчерашним десятиклассникам, с некоторым превосходством и пренебрежением. Понятно, что и на моё расположение он вряд ли мог рассчитывать. Но до открытого противостояния дело не доходило. Пока не начались занятия по военной подготовке. Им отводился один день в неделю. Мы передевались в военную форму и переходили в другую реальность, в которой, помимо занятий в классах, было хождение строем, рапорты преподавателям-офицерам, занятия на плацу... Здесь наш староста был в своей стихии.

Как-то во время строевых занятий подполковника, их проводившего, вызвали к начальству; на время своего отсутствия командование взводом он поручил нашему старосте. Только за ним закрылась дверь, я, сохранивший ещё школьное представление о дисциплине, тут же вышел из строя и в небрежной позе сел. «Рядовой Попов! — взял на себя роль командира наш староста. — Встать в строй!» Я и не думал подчиняться, объяснив это отсутствием полковника. «Тебя это не касается. Встать в строй!» — орал, войдя в роль, этот новоявленный командир. В ответ я принял ещё более независимую позу.

Вернувшись к подполковнику староста поспешил донести на меня: «Товарищ подполковник! Разрешите доложить! Во время вашего отсутствия студент Попов отказывался выполнять приказы». Нельзя сказать, что моё поведение как-то особо взволновало подполковника, за время преподавания в гражданском вузе он сталкивался с подобным, думаю, не впервые, тем не менее как-то реагировать было нужно. «Вы почему не в строю?» — устало поинтересовался он. «Нога болит», — нагло соврал я. — «Идите в медпункт». — «Уже прошла». — «Тогда встаньте в строй». Весь разговор проходил довольно миролюбиво. Видимо, подполковник тоже не любил стукачей. Я втиснулся в строй, пробурчав что-то недружелюбное в адрес доносчика. А поступок старосты по моему мнению был именно доносом и ничего кроме презрения у меня не вызывал.

После занятий я остановился в институтском вестибюле — месте общения тусовочных студентов и приезжающих к ним в гости прилагательных ребят из центра, там решались какие-то дела, включая торговлю импортными шмотками. Многих я знал, перекидывался с ними общими, ничего незначащими фразами. Тут на мою беду мимо проходил наш староста. Обида вспыхнула с новой силой. «А вот этому, — сказал я как можно громче, чтобы недавний обидчик их слышал, — нужно голову оторвать!» Угроза носила скорей ритуальный, воспитательный характер и никакого отношения к реальным намерениям не имела. Окружающие отнеслись к моим словам с пониманием. Кто-то просто так, для поддержания разговора, поинтересовался: «А кто это?» — «Да никто, староста нашей группы». — «Чего он тебе сделал?» — «Да ничего, урод просто». — «Помочь?» — «Сам разберусь». На следующий день я в институт не пошёл, остался дома, чтобы закончить чертежи курсовой работы. Мои занятия прервал телефонный звонок. «Ты дома? — поинтересовался знакомый весёлый голос. — Ставь бутылку, мы сейчас придём». «С чего это я должен ставить?» — не понял я. «Сейчас придём, расскажем».

Через час в дверях стояли ребята. Из тех, кто был со мной вчера в институтском вестибюле. Пришли излишне возбуждённые и весёлые. Бутылку принесли сами. За её распитием они рассказали мне о произошедшем в институте. Я слушал с вытаращенными от неожиданности и ужаса глазами.

Рассказали в красках и подробностях следующее. Оказывается, к нам в институт пришёл Лёшка. Пришёл «по делу»: нужно было набить кому-то морду. В принципе, мужские разборки, закачивающиеся мордобоем, у нас редкостью не были. Дрались городские с проживающими в общежитии, дрались представители разных факультетов, дрались из-за девушки и неизвестно из-за чего. Если на студенческом вечере или на танцах кто-то получал по морде, то на следующий день он собирал своих сторонников, чтобы отомстить обидчику. Чего уж там, нравы были далеко не либеральные. На этот раз в качестве силовой поддержки пришлось выступить Лёшке. Кто-то обратился к нему с жалобой на обидчика. Но того, как на грех (на грех для меня), в институте не оказалось. Получалось, что Лёшка зря пришёл. Потратил, можно сказать, своё время впустую. И тут кто-то, из жаждущих острых зрелищ и слышавший вчера в вестибюле мою угрозу, решил исправить неловкость, предложив взамен мою кандидатуру: «Гену вчера староста их группы обидел». Лёше повторять было не нужно. В глазах его появился металлический блеск. «Пошли!» — скомандовал он. Доброжелатели-энтузиасты помогли ему выяснить расписание лекций нашей группы. Когда они подошли к аудитории, где проходили эти занятия, то как раз был перерыв, а староста стоял у стенки и читал учебник. Судьба отвернулась от меня, планеты выстроились в ряд и устроили парад не в мою честь. Ведь если бы что-то пошло по-другому, например, лекции отменили или перенесли в другую аудиторию. Или хотя бы в этот момент не было перерыва. Или этот чёртов староста куда-нибудь делся. Но он стоял. Стоял, словно поджидал Лёшку. Тот подошёл и нарочито вежливо поинтересовался: «Не подскажите, где здесь туалет?» «Там», — махнул рукой староста, не отрываясь от учебника. «Пойдём, покажешь», — Лёшка почти бережно взял его за локоть. «Иди ты! — вырвал руку староста. — Сам найдёшь!» «Это ты зря!» — не одобрил его поведение Лёшка и с ходу провёл серию ударов. Староста стал медленно сползать по стенке. Глядя на поверженного противника, Лёшка напоследок дал совет: «Ты, это, Гену больше не обижай, не надо».

Узнав о произошедшем, я пришёл в отчаянье, на институте можно было ставить большой жирный крест. На следующий день я поехал туда узнать, можно ли что-то исправить. Старосту я нашёл тихим и с приличным фингалом под глазом. На меня он смотрел если не испуганно, то уж точно настороженно. «Извини, — примирительно начал я, — что так получилось, я не хотел». «Ничего, — он потрогал свой фингал. — Но тут такой шум поднялся, там же преподаватели набежали, всё видели... Вряд ли удастся замаять. Тебя, кстати, в деканат просили зайти».

В деканат я не пошёл, решил выждать, пока шум уляжется; поехал разбираться с виновником свалившихся на меня неприятностей. «Ты совсем обалдел?!» — кричал я на Лёшку. «Я же хотел как лучше», — оправдывался он. «Лучше? Интересно, а можно было сделать ещё хуже?» — «Мне сказали, что ты просил разобраться с этим типом...» — «Просил? Я тебя лично просил?» — «Нет, но ребята сказали...» — «Ребята сказали? А они не сказали, что меня теперь, благодаря тебе, выпрут из института?» — «Хочешь, я поеду к вам в деканат и всё объясню». — «Я тебя очень прошу, больше никуда не ходи. Это единственное, что ты можешь сделать для меня в данной ситуации...» Смотреть на Лёшку было больно. Вид у него был самого несчастного человека, он глядел на меня наполненными страданием глазами и не знал, как исправить свою вину. «Ладно, — прекратил я его мучить, — может, всё ещё обойдётся...»

Обойтись, конечно, не обошлось, но отделался я тогда можно сказать легко, хотя и вынужден был уйти в академический отпуск и пропустить год, но в институте всё же удержался.

С Лёшкой мы стали видаться совсем редко. У него появилось множество новых друзей и знакомых, как я уже говорил, он был желанным гостем во многих компаниях. У его повышенной общительности появилась и обратная сторона — он стал злоупотреблять

спиртным. Случались загулы. Для меня это было неожиданностью, я знал его нетерпимость к алкоголю; постоянные сцены пьянства дома, казалось, выработали в нём стойкое неприятие спиртных напитков, к пьющим он относился с нескрываемым презрением. Но тут вдруг выяснилось, что пагубное пристрастие их семьи не пощадило и его, просто было на время отложено.

Как-то он пришёл ко мне сильно выпившим. Сказал, что бросил институт. Его настроение резко менялось, от беспричинного веселья до какого-то бездонного отчаянья. «Ничего! — успокаивал он непонятно кого — меня или себя. — Прорвёмся! Верить?» «Пойдём, провожу», — предложил я. Мы молча шли по вечернему Иркутску. Как когда-то давно ходили с тренировок. Только тогда мы молчали, потому что понимали друг друга без слов, сейчас говорить было не о чем, слова только углубили бы непонимание.

Сразу после окончания института я женился и сменил постоянное место жительства, переехав из Иркутска в Москву. Все произошло как-то неожиданно. Неожиданно даже для меня. С Лёшкой попрощаться не успел. Потом все закрутилось — работа, рождение дочери, бытовое обустройство... В Иркутск приехать не получалось. А может, просто боялся. Разрыв с родным городом прошёл для меня слишком болезненно, до этого уезжать надолго не приходилось, я скучал по дому и боялся, что если туда приеду, то уехать ещё раз не смогу. Подсознательно я хотел избежать лишних душевных переживаний. Доходила какая-то обрывочная информация о Лёшке — менял места работы, предпочитая сезонную, выпивал. Мать умерла, а вскоре за ней и отец. Он написал мне несколько писем, в которых уверял, что у него всё хорошо, что поступил в техникум, учится на геодезиста, что у него большие жизненные планы, хочет жениться, нарожать детей. Дай бог, думал я.

Реализовать эти планы ему не удалось. Его посадили. За кражу. Обвинили в том, что он обокрал соседскую квартиру. Я отказывался верить в это. Лёшка отличался природной честностью и щепетильностью. Ничто не могло заставить поверить меня в его нечестность. Даже с учётом всех тех, не лучших, изменений в его жизни. Взять чужое он не мог, не способен был. Как выяснилось позже, я был прав. Лёшка впоследствии сам мне рассказал. Когда соседей обокрали, он спал дома, пьяный. Конечно, он стал идеальной кандидатурой на роль обвиняемого. Приехавшая милиция тут же, не разбираясь, погрузила его в воронок. И тут же заработала бездушная правоохранительная система. Следствие быстро отрапортовало о раскрытом по горячим следам преступлении. Государственный адвокат сдал его с потрохами. Лёшка получил три года. Три года! За какие-то паршивые шмотки. В Лёшкином покосившемся полуподвальном домишке не то что богатые, но даже худо-бедно обеспеченные не жили. У соседей драгоценностей и денежных накоплений быть не могло. А Лёшка получил реальный срок, с отбыванием в колонии. На Севере. Вместе с рецидивистами.

В моей жизни тоже произошли кардинальные изменения. Правда, совсем иного рода. После ряда публикаций в центральной прессе мне предложили должность редактора на Всесоюзном радио. Без особого сожаления я расстался с работой инженера в одном из НИИ.

Место моей новой работы располагалось в Останкино, в построенном к московской Олимпиаде телерадиокомплексе. В отличие от прежней моей деятельности тут была совсем иная атмосфера, иной ритм — выпуск радиопрограммы зависел полностью от меня, разрываясь на части, очумевший, я носился по коридорам, кабинетам и студиям, пытаюсь успеть к эфиру, приходилось общаться с кучей народа, телефон звонил не переставая...

Услышав очередной звонок, на бегу схватил трубку. «Узнал?» — услышал я в трубке. Я, конечно, узнал. Хотя голос изменился — стал немного хриплым и глухим. «Лёшка?! Ты где?» — «Здесь, у входа». — «Ты что, в Москве?» — «Ну а где ещё?» — «Ты как меня нашёл?» — «Нашёл. Тут мент, падла, меня не пускает». — «Стой там, сейчас выйду».

Лёшка стоял у бюро пропусков. Он сразу бросался в глаза: слишком уж непохож был на других посетителей нашей информационной обители. Всё выдавало в нём чужака. И поза, какая-то напряжённо-неестественная, и тяжёлый взгляд, и шрам через всё лицо. От мысли провести его в наше здание, которое относилось к режимным, особо охраняемым

объектам, и попить с ним в баре кофе, пришлось отказаться. Думаю, что если бы я даже и выписал ему пропуск, у милиционера на входе возникла бы масса вопросов.

Мы обнялись. «Ты как в Москве?» — «Приехал». — «Понятно».

В этот день меня пригласили на день рождения, отказываться не хотелось, объяснять Лёшке, что сегодня вечером занят, тоже было как-то неловко, решил взять его с собой. «Кто это?» — поинтересовалась, с опаской косясь на Лёшку, хозяйка. «Друг». — «Друг? Твой?!» — «Нет, премьер-министра Республики Джибути!» Лёшка ни с кем не общался, сидел весь вечер молча и выпивал, он был полной противоположностью себе прежнему — весельчаку и душе всех компаний. Взгляд у него становился всё тяжелей. Он подошёл ко мне, положил руку на плечо: «Скажи, тебя здесь кто-нибудь обижает?» — «Нет, всё нормально». — «Хочешь, я тут любого урою?» — «Не хочу. Давай пойдём домой, мне завтра на работу». Мы попрощались с хозяевами, уговаривать нас посидеть ещё они не стали.

На следующий день Лёшка пригласил меня к себе. Точнее, к тётке, у которой остановился. Я вспомнил, что в детстве он хвастался, что родная сестра его отца живёт в Москве, и он в любой момент может к ней поехать, но я относил это к области Лёшкиных фантазий: где Москва, а где он. Москва для меня, сибирского мальчишки, была из области нереального. Лёшкина тётка жила на Котельнической набережной. В знаменитой сталинской высотке. После смерти мужа она проживала в большой четырёхкомнатной квартире вдвоём со взрослой, Лёшкиной ровесницей, дочерью. «Знакомься, это моя родная тётка. Помнишь, я тебе рассказывал о ней? А это сестрёнка. А это — мой друг детства, он сейчас в Москве живёт», — представил он нас друг другу. Лёшины родственницы оказались особами весьма ненавязчивыми, накрыв на стол, они со словами «не будем вам мешать» скрылись в одной из комнат своей просторной квартиры и изредка выглядывали оттуда, только чтобы узнать, не нужно ли нам чего. Похоже, они немного побаивались неожиданно возникшего в их жизни отсидевшего в тюрьме родственника. Мы с Лёшкой сидели, вспоминали детство, наши игры, занятия спортом, школу... О своём пребывании в колонии он говорить не хотел. «А чего говорить, — отказывался он, — ничего хорошего там не было».

Увидев висевшую на стене гитару, я попросил Лёшку сыграть. Он наотрез отказался, объяснил, почему: «Отвык. Не играется что-то. Давай лучше Антонова послушаем». Наше общение проходило под проникновенные песни с недавно вышедшей пластинки Юрия Антонова. Мелодичная музыка о любви, доносившаяся из проигрывателя, оказалась именно тем, чего Лёшке не хватало последние годы.

Засиделись мы допоздна. Лёшкины родственницы уже давно попрощались с нами, поинтересовавшись напоследок, не нужно ли нам чего, и ушли спать, а мы сидели и слушали пластинку Юрия Антонова. Только заканчивалась одна сторона, тут же переворачивали на другую.

Когда Лёшка улетал, я приехал в аэропорт проводить его. «Ничего, Гена, прорвёмся, ты, главное, держись», — подбадривал он меня.

В Иркутск я приехал только года через два. Найти друга оказалось непросто. На месте его так хорошо знакомого мне с детства дома не было ничего, просто пустая площадка, неприкрытая городская проплешина. Смотрелось это ещё хуже, чем покосившееся разваливающееся жилище. Хотя дом давно уже нужно было снести, но сейчас мне вдруг стало его нестерпимо жалко. словно вырвали что-то из меня. Дом хотя бы выполнял какую-то функцию, в нём жили люди. Он был наполнен их теплом, их разговорами, переживаниями, скандалами, любовью... А тут была пустота. Лужи и той не было. Она ушла вместе с жильцами.

Лёшкин адрес мне удалось узнать только перед самым отъездом. Новое его местожительство мало чем отличалось от прежнего — разваливающееся строение с удобствами на улице. Я прошёл по длинному, общежитского типа, коридору, с вынесенными туда электроплитками, постучал в дверь с написанным мелом номером. После донёсшегося изнутри «Открыто!» вошёл в тёмную комнату. В ней были двое. Лёшка и какая-то женщина. Лёшка прищурился (у него с молодости были проблемы со зрением, но очки не

носил), чтобы лучше разглядеть вошедшего. «Приехал?» — Лёшка вёл себя так, словно мы только вчера расстались. «Ну, проходи», — пригласил он, хотя особо проходить было некуда — комнатка была совсем маленькой. К тому же часть её занимала клетка с курами. «Это наше подсобное хозяйство, — заметив моё удивление, объяснил Лёшка. — Нина решила разводить, а то в магазинах... сам знаешь». По стране шла тотальная перестройка, в магазинах было действительно не разгуляться, но с подобным решением продовольственной программы мне сталкиваться ещё не приходилось. «Знакомся, — представил он мне сидящую в углу и курившую папиросу женщину, — Нина, моя жена». Она, несмотря на летнее время, была одета в пальто, напомнив мне чем-то Лёшкину маму. Сходство усиливала одежда. Тётя Рая в любую погоду ходила в мешковатом, висящем на ней пальто. Возможно, в том, что и было сейчас на Нине. «Вот б...! — махнула рукой Нина. — Откуда эти мухи только берутся!» «Не матерись! — одёрнул её Лёшка. — При Гене». От самого Лёшки я мата никогда не слышал. Даже после его освобождения.

Мы немного посидели, поговорили о жизни: «Ты как?» — «Нормально. А ты?» — «Тоже нормально». — «Ничего, всё будет хорошо...»

Я встал, стал прощаться. «Ты когда уезжаешь?» — поинтересовался Лёшка. «Завтра». — «Жалко. А чего раньше не пришёл?» — «Не мог найти, твой дом-то снесли». — «Ну да, снесли. Пойдём, я тебя провожу...» Мы шли по родным улицам, пока не оказались на набережной Ангары. Я решил окунуться. Вода была холодной. Но мне сейчас это и нужно было. Лёшка, щурясь от солнца, сидел на берегу. Искупавшись, я сел рядом. «Как ты думаешь, — не глядя на меня, спросил он, — мы ещё увидимся?» — «Конечно, увидимся, — с показным оптимизмом уверил я. — Как-нибудь приеду. Да и ты можешь». Лёшка был настроен менее оптимистично: «Вряд ли...» Тут же на набережной мы попрощались. Как выяснилось, навсегда. Уже в Москве я узнал, что Лёшку убили. Убили в драке.

Часто вспоминаю его. Наше детство... Недавно почему-то всплыла в памяти его попытка когда-то при расставании в московском аэропорту поддержать меня: «Ничего, Гена, прорвёмся, ты главное держись». Я держусь. Обещал же.

Андрей

С Андреем мы дружили с первого класса. Жил он через дорогу от меня, в ведомственном, принадлежащем Иркутскому отделению Госбанка доме, мало чем отличающемся от соседних, — обычное серое мрачноватое здание. В советские времена банковские работники не были, как сегодня, какой-то особой финансово-привилегированной кастой, их весьма средние доходы не отличались от доходов остального населения страны. Не было тогда и нынешнего социального расслоения среди населения, так что руководящие работники жили в одном доме с рядовыми сотрудниками. Конечно, руководители финансового учреждения — тут уж ничего не поделаешь, чиновничьи привилегии никто не отменял — жили в отдельных квартирах, и надо сказать, по тем меркам вполне приличных. Мама же Андрея работала в Госбанке кассиром, должность, понятно, не самая высокая, к тому же была матерью-одиночкой, так что ей с сыном приходилось довольствоваться комнатухой в коммунальной квартире. На последнем, пятом, этаже. Комната была совсем крохотной, в неё с трудом вмещались две узенькие поставленные вдоль стены, вплитык друг к другу, кровати, небольшой столик, шкаф и пара стульев. И маленький радиоприёмник на стене. Всё. Больше в неё ничего поместиться не могло. При всём желании. Да и какое особое желание может возникнуть при мизерной зарплате кассира! Передвигаться по комнате при её размерах было весьма затруднительно, протиснуться между столом и кроватью мог только худенький человек. И только боком.

Лично мне и протискиваться не было необходимости. Зайдя за Андреем, я, чтобы не мешаться хозяевам, стоял на пороге и ждал, когда он соберётся. Любимым нашим местом, где мы проводили свободное время, была библиотека. Ведомственная банковская библиотека,

находившаяся в этом же доме. В соседнем с Андреем подъезде. Стандартную городскую библиотеку она не напоминала даже отдалённо. Никакой информации о нахождении здесь очага культуры не было. Кто знал, тот знал. Помимо информации, отсутствовало и освещение в подъезде, так что, пока не захлопнулась входная дверь и ещё проникал свет с улицы, нужно было успеть дойти до лестницы, ведущей в подвал. Затем, уже в полной темноте, придерживаясь стены и осторожно нащупывая ступеньки ногой, спуститься вниз. Там, сделав несколько шагов, ты наткнулся на дверь. Открыв которую, попадаешь в настоящий книжный рай. Три комнаты подвального помещения были плотно заставлены стеллажами с книгами.

Хозяйкой этого подвального интеллектуального оазиса была женщина средних лет, добрая и внимательная. С грустным, а может, просто уставшим от чтения, взглядом. Она сидела в дальней комнате за большим канцелярским столом, стоявшим когда-то в одном из чиновничьих кабинетов, а сейчас за дряхлостью спущенного доживать свой век сюда. Почти всегда мы заставляли её за чтением. А что ещё делать в библиотеке? При отсутствии посетителей. За всё время я видел лишь нескольких. Такое впечатление, что эта библиотека только для нас с Андреем и существовала.

Нас женщина-библиотекарь встречала как родных. Приветливо улыбалась и традиционно интересовалась нашими школьными делами. Если было настроение, то отвечали, но чаще отделивались дежурным «хорошо». Её это вполне устраивало. Она не была навязчивой, никогда не лезла со своими советами и рекомендациями. Если спрашивали, отвечала. А так предоставляла нам полную свободу.

Несмотря на обилие книг, атмосфера здесь была совсем не библиотечная. Было по-домашнему тихо и уютно. Пахло едой. Мы часами могли рыться на книжных полках, выискивая очередной шедевр. Наткнувшись на что-то на наш взгляд стоящее, мы тут же спешили похвастаться находкой.

Подборка книг была там самая разношёрстная и неожиданная, новинки стояли рядом с дореволюционными изданиями, классика была хаотично разбавлена беллетристикой. Вперемежку стояли приключенческие романы, детективы, русская и зарубежная классика. Это был самый настоящий литературный клондайк. Здесь мы чувствовали себя гораздо лучше, чем дома: не было повышенного родительского внимания, их расспросов и замечаний, мы были предоставлены сами себе.

Набрав приличную стопку книг, мы с Андреем устраивались поудобней на старом стоявшем в углу одной из комнат кожаном диване. Провалившись в его межпружинные вмятины, под шум закипающего чайника знакомились с отобранными книгами. Чаепитие было неизменным ритуалом наших сюда приходивших, у хозяйки книжного подвала всегда было приготовлено для нас что-нибудь вкусненькое. Иногда мы молча читали, иногда болтали, делились мнением о прочитанном, пересказывая в деталях содержание понравившейся книги. Темой наших разговоров непременно была книга. Всё остальное здесь отступало на второй и даже на третий план, даже школьные дела мы почти не обсуждали.

Круг наших литературных интересов был безграничен, само собой, зачитывались приключенческой литературой — Майн Рид, Жюль Верн, Джек Лондон, Дюма, Свифт, Штильмарк... Конечно, Фенимор Купер. Куда сибирским мальчишкам без Чингачгука? Мы с упоением и восторгом следили за приключениями Тома Сойера и Гекльберри Финна. Зарубежные авторы читались вперемежку с отечественными — Кассилем, Рыбаковым, Гайдаром... С детской литературы мы вдруг переключались на русскую и зарубежную классику — на Толстого и Достоевского, Тургенева и Чехова, Романа Роллана и Диккенса... Вместе с Николаем Островским заражались революционной романтикой. Попадали под обаяние идейного борца за денежные знаки Остапа Бендера. Потом увлекались рассказами знаменитых путешественников, глядя на мир их глазами. Вместе с ними мы пересекали моря и океаны, мучились от тропической лихорадки и таёжного гнуса, вместе с ними мы знакомились с бытом папуасов и традициями индейцев, разгадывали тайны египетских пирамид и фараонов...

В самой этой подвальной библиотеке была какая-то манящая нас, но не раскрывающаяся до конца тайна. Её книги были для нас первым окном в большой мир.

В школе мы с Андреем общались меньше. Там наши интересы не то чтоб расходились, но пересекались реже. Для Андрея школа была в основном местом для получения знаний, а для меня таким клубом по интересам, площадкой для игр и дружеских развлечений. Андрей к учёбе относился гораздо серьёзней меня. Учился он хорошо, хотя нельзя сказать, чтоб отлично. Твёрдый четверочник. Тому же Олегу Заковырину он уступал по многим предметам. Что совсем неудивительно: Олег относился к числу тех редких школьных гениев, которые схватывают всё на лету, без всяких, на мой взгляд, усилий. Никогда не видел, чтобы Олег когда-то что-то учил. Не видел его с раскрытым учебником или старательно записывающим за учителем. Знания он получал каким-то другим, непостижимым для меня способом. Математика, физика, химия, те предметы, которые лично мне давались с трудом, а Андрей осваивал благодаря своей усидчивости, Олегу давались играючи. Учителей он слушал вполуха, с показной доброжелательностью поправляя, если ошибались. Ладно ещё, если бы эти способности были даны ему свыше, взамен, скажем, на какую-нибудь физическую ущербность, но нет: Олег имел спортивное телосложение, посещал гимнастическую секцию, и там тоже достиг неплохих результатов. Правда, ради объективности надо сказать, что его лёгкость в освоении школьной программы исчезала на уроках литературы и русского языка, тут на первые позиции выходил Андрей, заставляя Олега отступать.

По моим личным наблюдениям благосклонность судьбы к юным гениям в большинстве случаев ограничивается школьными годами. Сразу же после окончания школы их превосходство над сверстниками заканчивается. Они по непонятным причинам становятся такими же, как и все. Это же произошло и с Олегом. Сначала вроде бы всё шло неплохо. Сразу же после школы он поступил в университет на физико-математический факультет, благополучно его окончил. Остался работать на кафедре. На этом и остановился. Защищать диссертацию и строить научную карьеру не решился. Став одним из многочисленных добросовестных научных чернорабочих.

Но это я немного отвлекся, сейчас всё же об Андрее. Среди одноклассников Андрей отличался хилым телосложением и несогласованностью движений. При ходьбе его тоненькие ручки и ноги-спички разлетались в разные стороны и, казалось, никак не были связаны друг с другом. А ещё у Андрея была вытянутая дынеобразная голова. С такими головами почему-то принято изображать инопланетян, наверное, чтобы таким образом подчеркнуть их высокий интеллектуальный уровень. Завершали этот его образ несуразные старушечьи очки.

По моим наблюдениям, у тех, у кого проблемы с физическим развитием, обязательно есть проблемы и со зрением. Это как бонус-минус от Всевышнего. Раз не можешь подтянуться десяток раз, не можешь постоять за себя в драке, получай близорукость.

Сегодня таких, как Андрей, называют ботанами. Во времена моего детства, насколько я помню, такого универсального оценочного определения не было. Андрей же каким-то непостижимым образом вообще оказался без прозвища. Хотя клички раздавались направо и налево при малейшем поводе. И даже без него. Стоило кому-то быть чуть выше или ниже большинства, чуть толще или худей, заикаться или носить очки... В общем, при малейшем отклонении от общепринятых школьным мнением стандартов тут же присваивалась кличка. И носить ее приходилось весь школьный срок. И даже многие годы спустя услышавший в самом неожиданном месте в свой адрес громкое «Привет, жирдяй!» радостно откликнулся на этот крик из детства.

Почему не было прозвища у Андрея, точно не знаю. На мой взгляд, он имел все основания, чтобы получить его. И не одно. Могу предположить, что физическую силу ему заменяла сила внутренняя. И чувство повышенного самоуважения, не допускающее излишней фамильярности. Но, несмотря на внутреннюю силу, на уроках физкультуры он смотрелся всё же довольно нелепо: то и дело поправляя сползавшие с его узких костлявых плеч лямки майки, которая с одинаковым успехом использовалась мальчишками в качестве как нижнего белья, так и спортивной формы. Широкие сагиновые шаровары, которые на уроках физкультуры носило большинство наших одноклассников, смотрелись на нём

этакими парусами на гнущейся, готовой вот-вот сломаться от ветра мачте. Даже худенькие нескладные девчонки выглядели рядом с ним вполне себе спортивно. Правда, бегал Андрей довольно быстро. Я это объяснял тем, что с его комплекцией он не испытывал сопротивления воздуха.

После уроков мы вместе, не сговариваясь, выходили из школы и спешили в наш подвальный книжный рай. Там нас ждал тёплый приём, печенье и новые литературные герои. Эти наши посещения пробудили во мне страсть к чтению, превратив меня в литературного пылесоса, впитывающего в себя любой художественный текст. В то время в советских домах стали появляться полные собрания сочинений. Там, где была возможность их достать. У моих родителей была такая возможность. У нас имелись собрания Достоевского, Гончарова, Герцена, Чернышевского, Золя, Бальзака, Голсуорси... Всех их я добросовестно и прочитал до последнего тома. И это ещё не считая отдельных книг, которые я тоже не обходил своим вниманием.

Я читал сидя, лежа, стоя, во время еды и при выполнении домашних заданий. И даже вместо сна.

С возрастом эта безудержная страсть к буквам прошла. Я стал читать реже. И выборочней.

В седьмом классе у Андрея умерла мама. Он остался совсем один. Никаких родственников, даже дальних, у него не было. Не знаю, было ли ему от этого легче, но в школе его окружили атмосферой, полной сочувствия и сострадания. Учителя старались создать ему на уроках наиболее щадящий учебный режим, они избегали спрашивать его по предметам и проверять домашние задания (что рождало во мне, и, думаю, не только во мне, тихую зависть), смотрели на него с максимальной жалостью и говорили приторно-ласковым тихим голосом. Мы, его одноклассники, тоже прониклись этой атмосферой сострадания, но поскольку у нас не было подобного опыта, то набор средств выражения был крайне скуден, мы не находили ничего лучше, как подойти, по-дружески похлопать его по плечу, пробормотав при этом что-то невнятное, наиболее по нашему представлению подходящее в данном случае, типа: «Ну, чо? Смотри, как я вчера обжёг себе руку. Ничо, да? Если тебе чего надо, то ты это...»

Попали в эту зону человеколюбия и сострадания, причём в активную её часть, и мои родители.

Вошли ко мне в комнату они вдвоём, плечо к плечу, что было странно, по одному они, конечно, только и делали, что входили-выходили, а вот так, чтобы вместе, такого не припомню. Своё дружное появление, выглядевшее в домашних условиях как-то слишком уж торжественно-комично, они объяснили тем, что хотят поговорить со мной о чём-то важном. Каких-то особых выходов и прегрешений я последнее время за собой не помнил, поэтому был немало озадачен этим их заявлением. Я смотрел на них с видом лёгкой досады человека, которого оторвали от важных, не терпящих отлагательства дел.

— Гена, ты же знаешь, у Андрюши мама умерла.

Я смотрел молча, не понимая, к чему это они. Она умерла почти неделю назад.

— Как теперь бедный ребёнок будет жить совсем один, не представляем.

Я молчал.

— Он же твой друг.

Я продолжал молчать, давая им возможность сформулировать наконец свою мысль.

— Как ты отнесёшься к тому, если он будет жить у нас?

На шутку, даже неудачную, это было похоже мало. Больше походило на то, что они совсем сдвинулись. Я, конечно, тоже жалел Андрея, но должна же быть мера.

— В смысле? — я всё же решил на всякий случай уточнить, что они имеют в виду под этим «будет жить у нас».

— Ну, будет жить у нас.

— Зачем?

— Ну, понимаешь, он остался один, ему тяжело, а он ведь совсем ещё маленький. Как он там будет совсем один, кто за ним будет следить, кто ему будет готовить есть.

— Он что, и есть у нас будет?

— Ну да, жить, есть. Он будет тебе как братик.

Это было уже чересчур. Видимо, они плохо представляли себе детский эгоизм. Бессмысленный и беспощадный.

— У меня уже есть один. Мне хватает. Он, кстати, вчера иглу на моем проигрывателе сломал.

На самом деле я отказывался понимать их уже тогда, когда они решили завести мне младшего брата. На мой трезвый взгляд, им вполне должно было хватать меня одного. Очевидно же, как хорошо, когда у родителей один сын. О чём они думали! Ну да ладно, чего уж теперь! Что сделано, то сделано. А теперь получается, они ещё похлеще фортель решили выкинуть.

Всем своим видом я демонстрировал им своё неодобрение.

— Ну, ты всё же подумай, — предложили мне родители и напомнили: — Андрюша же твой друг.

Я тяжело вздохнул и уткнулся в книгу, давая понять, что разговор окончен.

Как им объяснить, что друг это одно. С другом, хочешь — видишься, хочешь — не видишься, хочешь — общаешься, хочешь — нет. Брат же совсем другое. От брата просто так не избавишься. Он бесцеремонно, когда захочет, входит в твою комнату, считая её своей, самым наглым образом претендует на твои вещи, берёт без спроса альбомы с марками, садится, стоит тебе только встать, на твоё место... В общем, делает всё, что захочет. Всё это я, имея родного брата, испытал в полной мере на собственной шкуре. Признавать брата ещё и в Андрее я был точно не готов. Увольте, любезные родители.

Потом в отношении Андрея всё улеглось как-то само собой. По крайней мере, меня по этому поводу родители больше не беспокоили. Честно говоря, в том, что Андрей будет жить один, я даже видел для него массу преимуществ: когда ты живёшь один, никто тебя не заставляет ни делать уроки, ни мыть за собой посуду, да и вообще, никто не пристаёт со всякой ерундой, что хочешь, то и делаешь. Или не делаешь. Благодарь. О бытовых же проблемах я как-то не думал. Личного опыта тут у меня не было.

Родители время от времени просили меня быть повнимательней к Андрею, почаще приглашать его в гости и не забывать покормить. Я охотно обещал. Хотя, если честно, теперь мне больше нравилось бывать у него. В его маленькой комнатухе. Я с удовольствием ел пельмени из пачки, которые зимой, чтобы не растаяли, он вывешивал в авоське за окно, а летом пользовался соседским холодильником. Они мне нравились даже больше наших, которые родители лепили сами. Ещё Андрей научился очень вкусно жарить купленные в кулинарии котлеты. Ну, а пить чай мы шли в библиотеку.

В наших отношениях с Андреем внешне вроде бы ничего не изменилось, мы так же проводили после уроков много времени в библиотеке, обсуждали прочитанное. Разве что теперь мы с ним чаще стали гулять по городу. Иногда допоздна. Его контролировать было некому, а ко мне все претензии снимались, когда я родителям говорил, что был с Андреем. Чем я умело пользовался: где бы и с кем я ни был, что бы ни делал, всегда прикрывался его именем.

Внешне Андрей, казалось, остался таким же, как и раньше. Ну, разве что улыбаться стал чуть реже. Но в то же время ощущалась возникшая между нами пропасть. Он стал взрослым. И я это прекрасно чувствовал. Несмотря на мои старания выглядеть взрослей и самостоятельней, всё это было ненастоящим, за каждым моим «самостоятельным» поступком стояла тень родителей. И даже если я делал что-то против их воли, то всё равно с оглядкой на них. У Андрея всё было по-настоящему. Если он говорил, что ему нужно идти учить уроки, это было его решение. Если он говорил, что в выходные у него дела, значит, так и было.

В коридоре их коммунальной квартиры висел график дежурств по уборке мест общего пользования. Фамилия Андрея была там в числе прочих жильцов. Он был на равных со взрослыми. И, главное, в отличие от меня, кланчившего деньги у родителей, был материально независим. После смерти матери он получал пособие. Ему хватало. По крайней мере, он никогда не жаловался. Ни на нехватку денег, ни на что другое.

После окончания школы он поступил в университет. На филологический факультет. Я с завистью смотрел на стопки книг у него на столе. Он должен был их прочитать в рамках своей учебной программы. Андрей сетовал на короткие сроки, за которые должен был всё это осилить. Я же дико завидовал ему, мне, учившемуся в техническом вузе, приходилось знакомиться с куда менее интересной литературой. В студенческой среде новых товарищей у Андрея не появилось. Да и со школьными он общался всё меньше и меньше. Из старых друзей остался только я. Он стал избегать общения. Выбрал одиночество.

После того как в их коммуналке освободилась соседняя, бóльшая, чем у Андрея, комната, Андрей переехал в неё. Купил даже холодильник. А после окончания университета, когда устроился на работу, то и цветной телевизор. Работать он стал не по специальности, указанной в дипломе. Пошёл по пути своей мамы, устроился в банк. Кассиром. Я восхищённо смотрел на то, с какой ловкостью и быстротой он научился считать деньги. Литература осталась для него любимым увлечением. Иногда он писал какие-то критические материалы о книжных новинках и посылал их в местную газету. Их печатали. Андрей с гордостью показывал мне подшивку публикаций.

Видеться мы стали совсем редко. У меня была насыщенная, как и у большинства наших сверстников, жизнь, полная романтических приключений и юношеских влюблённостей, вечеринок, тусовок, кучей новых знакомств. Жизнь Андрея кардинальным образом отличалась от моей. Она проходила в треугольнике между домом, работой и магазином. А поскольку всё это находилось в одном дворе, то треугольник этот был крайне мал. Помимо ошутимого дефицита общения, он был лишён и таких «радостей» переходного возраста, как первый поцелуй, первая сигарета, первое опьянение. Такое впечатление, что после смерти мамы жизнь для него застыла. Он отгородился от суетливого и непредсказуемого мира. Самыми яркими событиями в его однообразных буднях были посещения кинотеатра, который тоже находился недалеко от его постоянного маршрута. Впрочем, какие-то изменения всё же происходили. Уже после окончания университета, когда я приходил к нему, Андрей, вызываясь глядя на меня, вынимал из шкафа бутылочку вина и движением профессионального бармена (насмотрелся, видимо, в кино) демонстративно лихо разливал его по гранёным стаканам. И также демонстративно и вызываясь затягивался за компанию со мной сигаретой. Но курил как-то неестественно. Было видно, что он по-настоящему и не умеет.

По этим моим отрывчатым и поверхностным воспоминаниям может сложиться впечатление, что я приходил к Андрею только по старой привычке. И наши разговоры ограничивались лишь литературой. На самом деле он мог говорить на любые темы. И всегда не банально. Он был замечательный собеседник. Остроумный, наблюдательный, вдумчивый, саркастичный и даже язвительный. С парадоксальным взглядом по многим вопросам и глубокими познаниями даже в далёких от его интересов областях. Общение с ним доставляло мне удовольствие. Я узнавал от него много нового. От меня взамен он узнавал, что происходит в Иркутске. Что с нашими одноклассниками. Он внимательно слушал, иногда задавая уточняющие вопросы. Особенно был внимательным, когда я в своих рассказах касался отношений с противоположным полом. Он старался как можно незаметней вывести меня на эту тему. Было видно, что книжной и киношной информации об этом ему не хватало. Так что ещё неизвестно, кому больше нужны были наши встречи. Думаю, что обоим.

А после того как я уехал из Иркутска в Москву, то встретились мы всего лишь раз. Да и то встреча эта была заочной. Мы встретились на страницах еженедельника «Литературная Россия». Раскрыв свежий номер газеты, где должен был быть напечатан мой рассказ, я к немалому моему удивлению увидел на соседней странице критическую статью о состоянии современной литературы, написанную Андреем. Эта наша встреча оказалась не только неожиданной, но и последней.

Когда я приехал в Иркутск, то случайно наткнулся на одноклассника. Естественно, стали обмениваться новостями, рассказывать о себе, выяснять, кто где из наших. Я поделился своими планами на время приезда, сообщил, что планирую на днях зайти к Андрею.

— Ты разве не знаешь? — вдруг погрузился товарищ.

— Не знаю что?

— Нет Андрея.

— Нет? А где он?

— Вообще нет.

Товарищ сообщил, что сначала спохватились на работе, куда Андрей не появлялся несколько дней, пришли к нему домой, соседи ничего не знали. Его комната была закрыта. Вызвали представителей из ЖЭКа. Взломали дверь. Нашли его висевшее тело.

Я, растерянный, шёл по нашей улице, по которой мы с Андреем гуляли. Шёл один. Мне казалось, что она как-то безвозвратно изменилась. Я не мог поверить, что уже никогда не пройду со своим другом. Не заскочу хотя бы на пару минут, когда буду проходить мимо его дома, чтобы перекинуться парой слов. Что мы не обсудим с ним очередную книжную новинку. Да и какой теперь в ней смысл.

...Поймал себя на том, что, мысленно возвращаясь в прошлое, почему-то в первую очередь вспоминаю тех, кого уже нет. Жизнь которых оборвалась. До отчаяния рано. Рано и трагично. Потом понял: а чего вспоминать тех, кто жив, здоров и успешен. Они же живы, здоровы и успешны. И слава Богу.

ПОЭЗИЯ



ИРИНА АПАРЧЕНКО



Зачем искать нездешние миры...

* * *

По осени соскучилась,
А всё же лета жаль...
Бежит волна блестящая
В неведомую даль.

Лодочкой правлю бережно,
Уключины поют.
Призывно оба берега
Сигнал «причалить» шлют.

Но, случаю покорная,
Без грусти и мольбы
Ищу я знаки створные
В фарватере судьбы,

Бросаю плоский камешек
К далёкому буйку...
Поймать бы лета краешек
В короткую строку.

АПАРЧЕНКО Ирина Аркадьевна, поэт, родилась в 1959 г. на севере Красноярского края. В 1982 г. закончила физико-технический факультет Новосибирского электротехнического института. Работала на Ангарском электролизном химическом комбинате, инженер-метролог. Стихи опубликованы в коллективных сборниках: «Встречи у фонтана», «Разрешите стать счастливой», «Городские сны», «Поэты тоже смеются», «Я говорю на русском языке». Автор книги *«Имя моё — Женщина»* (2013). Живёт в Ангарске.

* * *

Желтокрылой листвою от земли отрывается лето,
Словно хочет взлететь и за ветром твердить нараспев
Мириадами слов величавые строки сонетов,
И кружить, и грустить, до конца досказать не успеv...

В затихающий мир завтра холод придёт незнакомцем,
Только хочется мне — и об этом мечтать не впервой —
До последних лучей уходящего летнего солнца
Всё кружить и кружить желтокрылой осенней листвою.

* * *

Зачем искать нездешние миры И открывать неведомые земли? На берегу любимой Ангары Потоку разговорчивому внемлю...	Торжественно сомкнулась тишина, Где чайка белой молнией мелькала. Берёзовые полня паруса, Седые ветры силу набирают, И видеть могут только небеса Мой трепетный поклон родному краю.
Скругляет камни вечная волна, Бегущая от батюшки-Байкала,	

* * *

Быть может, нас считают чужаками И даже крутят пальцем у виска За то, что мы роднимся с облаками И верим обещаньям ручейка,	Купание не в долларах, а в росах Пронзительно сверкающих лугов. За то, что мы и схожи и не схожи, И небо видим в зазеркалье вод... Нелепые и странные. А может, В нас толика поэзии живёт?
За безмятежность в деловых вопросах, Признание несделанных долгов,	

* * *

Наивные мы с тобой.
Нам стать бы грубей и проще,
Под шёпот пьянящей рощи
Задуматься над судьбой...

А мы золотой закат
Пытались поймать губами,
И листья в костёр сгребали,
И спорили невпопад.

Грибной затевали пир
И с ветром тихонько пели,
И не было в списке целей
Мундиров, чинов, квартир...

Дороже мечты любой
Казался коралл рябины.
Нам знать бы тогда, любимый,
Счастливые мы с тобой!

Мираж

Не от себя ли я бегу? За гладью вод Мираж на дальнем берегу Зовёт, зовёт...	Иди сюда! Иди сюда! Душа — взамен. ...В песчаном городе с тобой Давно уже Живу совсем чужой судьбой, Как в мираже...
Сулит и многие года, И счастья плен...	

Одинокая

Не под сень куполов Прихожу, воздавая молитву — К сиротливой душе, Что живёт в безысходности стен... В одноликости дней Всё ведёт с одиночеством битву — Но оно побеждает... И сердце не ждёт перемен...	Подогреет чайку, И кофтенку накинёт на плечи... В потускневших глазах Затрепещется слабенький свет. Я смиренно приму Временами бессвязные речи О крупницах добра В нескончаемой тяжести лет.
Ей самой уж давно Ни восторгов не надо, ни денег, Размышляет в тиши, Что давно бы пора помереть... Но ступлю на порог — Всё же фартучек новый наденет И захочет от пыли Окошко во двор протереть...	Мне под сень куполов С запоздалым раскаяньем надо... Но в затерянный дом Неотступно ведёт колея — Вновь туда понесу Милосердного света лампаду... Для души одинокой Вершится молитва моя.

Душистый горошек

Мы слушали молча. Садились рядком
На тёплый порожек.
Под ветром летучим порхал мотыльком
Душистый горошек.

К могучему солнцу цветастый вьюнок
Тянулся по нитке,
А нам говорил бабы Клавы сынок
О ГЭС и Магнитке!

Мы тоже возьмём, нам бы чуть подрасти,
Любые вершины!
И верили мы, что поможет в пути
Союз нерушимый!

...Немало с тех пор довелось прошагать
Дорог и дорожек,
Как память о детстве, одно сберегать —
Душистый горошек...

* * *

Люд усталый лица прячет,
Жмётся в край дорожки —
В переходе тёмном плачет
Старая гармошка.

О хлебах поёт богатых
Да о сталеварах...
Кроме двух десятков мятых
Больше нет «навара»:

Кто рублишко даст «без сдачи»,
Кто копейку ржаву...

Дед в колхозе жил иначе —
Сам кормил державу...

Спину разогнуть охота
Да испить водицы.
«Дед, не пробовал работать?» —
Паренёк глумится...

Душу жмёт мешок бетонный,
Да слеза мешает...
Сердца старенького стоны
Песня заглушает.

Сосед

А он... забыл, что он — народ.
Забыл — и точка.
Копал нехитрый огород,
Сажал цветочки,

Ночами ладил сапоги
Жене и деткам,
Зимой молочные круги
Носил соседкам.

По совести старался жить,
А не по книжкам,
И думал долго, как сложить
Своим умишком:

«В Европу снова повели
Газопроводы!

Соседке дров бы привезли,
Хоть две подводы...

Замёрзнет баба ни за что,
Давно недужит.
Сынок незнамо где, зато
В контракте служит...

Сосед не хочет «мерседес»
И галстук в клетку,
Он не пойдёт искать собес —
Спасёт соседку.

Сельчан остатних соберёт,
Помыслит здраво
И... вспомнит вдруг, что он — народ!
Ты где, держава?»

Поговорить бы

Медленно, чуть сутулясь,
Нетороплив и сед,
Сквозь лабиринты улиц
К речке выходит дед.

Сидя на тёплом камне,
Долгий ведёт рассказ —
То шевелит руками,
То потирает глаз...

Наговорится вволю —
Давят силки забот,
Жжёт нестерпимой болью
Каждый ушедший год.

Слушать жена устала,
Ей бы варить обед...
Выдумки сериалов
Заполонили свет.

В гости заходят внуки
Стайкой проворных птах,
Им бы — гранит науки,
А не былого прах.

Катятся воды к устью,
Щурится пережат,
И с терпеливой грустью
Слушают старика.

* * *

Замерла берёзка, да притихла ива,
Зависает пчёлка в воздухе пугливо.
За рекой кукушка отмеряет вёсны,
Притулился домик на пригорке росном.

Справная старушка в тёпленькой жилетке
Сказывает байки внучке-семилетке:
«Было небо грозным — а поля тугими!
Только стали, внуча, времена другими...»

Нет войны, да только жить теперь непросто:
На полях — сосёнки по два метра ростом.
Вроде есть достаток, только хлеб пшеничный
Отчего-то пахнет духом заграничным...

Мне бы любоваться спелой рожью в поле,
О другой не стала горевать бы доле.
На родном пригорке проживу остаток.
Накукуй, кукушка, годиков с десятком...»

Вышивка

Время течёт сквозь пальцы, А я его не держу...	Розовых нет мечтаний, Нет безмятежных снов —
Годы, дорожкой в пальцах, Близятся к виражу.	Скрытая дрожь метаний, Явные игры слов.

Жизнь по канве прошита, Заданы цвет и тон —	Ткнётся игла стальная В ровные клетки дней —
Спелых колосьев жито, А не тугой бутон...	Снова, преград не зная, Ниткой скользну за ней.

* * *

Да, алло, это я...	Да, алло, это я...
И неважно, в котором часу Твой беспечный звонок	Мамин голос волнением дышит И не может понять,
Озарит телефонную трубку И я ринусь за ней...	Для чего я встречала зарю. Слышу-слышу...
С подоконника глянет голубка И на ласковый звук	И правда, по паузам слышит Главным образом то,
Повернёт любопытный глазок	Что старательно не говорю.

Да, алло, это я...	Да, алло, это я...
Через толщу глухих километров Пробивается звук, Интонации мамы неся...	Ускоряется время внезапно, Оборвался сигнал... Расстояние не изменить.
И неважно, зачем, И неважно, с попутным ли ветром, Вот он, голос родной, Что ни с чьим перепутать нельзя.	И хотя, торопясь, Мы сказали друг дружке «До завтра!», Остаётся в пространстве Любви серебристая нить.

Молчание

Благодарю, что ты не состоялось,
Моё шальное, нежное свидание!
Далёких звёзд светящаяся малость
Не даст тепла, которого я жду...
Казалось, что на мягких лапах кралось
Томительного счастья ожидание...
Осталось невесомое молчание
Да запах роз в придуманном саду.

* * *

А на шрамах кожа грубая...
Обрастаешь, как корой —
Даже ласковые губы
Не почувствуешь порой.

Души жизнью искалечены,
Изрубцованы давно,

А мужчина или женщина —
Ей, злодейке, всё равно.

Но не всё под силу случаю.
Мы судьбе найдём ответ:
Если есть душа могучая,
И сквозь шрамы льётся свет.



ВЛАДИМИР ПРОНСКИЙ



Вкус терентьевки

РАССКАЗ

Евгений Ремизов ехал из Москвы на встречу одноклассников с особым настроением: очень надеялся встретить Викторию, потому что тридцать лет не видел её и почти ничего не знал о ней. Изредка бывая в родном Пронске, он, конечно, встречал знакомых, иногда в разговорах с ними вскользь упоминалась Виктория Китаева, или Вика. Тогда всякий раз закипала мысль самому что-либо разведать, но сделать это было непросто — мешала старая обида, родившаяся, казалось, из ничего.

Они той весной неожиданно поссорились, когда она не пошла с ним в кино, а он, в отместку, отправился в Дом культуры с её подругой. Вот, собственно, и вся измена. Но в тот же вечер, узнав о предательстве, Вика устроила истерику, надув пухлые, красные от обиды губы, безутешно и беспричинно исходила слезами, нервно теребя льняную чёлку. Позже зачем-то нажаловалась матери, мол, Женя бросил, унизил, та, наверное, подумала бог знает что и, когда на следующий день Евгений пришёл мириться с Викторией, вытолкала его взашей, грубо сказав: «Чтобы вас, молодой человек, я более не видела в нашем доме!» Он по-настоящему обиделся, и больше даже не на её всегда сердитую мать, будто работавшую воспитателем не в детском садике, а в исправительной колонии строгого режима, а

ПРОНСКИЙ Владимир Дмитриевич, прозаик. Родился в 1949 г. в г. Пронске Рязанской области. Работал токарем, водителем, корреспондентом, редактором. Автор романов: *«Провинция слёз»*, *«Племя сирот»*, *«Три круга любви»*, *«Казачья Засека»*, *«Стяжатели»*, *«Герань в распахнутом окне»*, *«Апельсиновая девочка»*, книги избранных рассказов *«Лёгкая дорога»*. Публиковался в журналах: *«Наш современник»*, *«Молодая гвардия»*, *«Москва»*, *«Роман-журнал XXI век»*, *«Подъём»*, *«Север»*, в коллективных сборниках ближнего и дальнего зарубежья. Лауреат премии им. А.С. Пушкина, Международной литературной премии им. Андрея Платонова. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

на саму Вику. Ведь она ничего не сделала, чтобы уладить конфликт, а Ремизову даже показалось, что она сама прогнала его, не захотела до конца выслушать, вдруг превратившись в равнодушную и чужую, готовую в одно мгновение разрушить все чувства, собиравшиеся по капелькам. Сразу всё перевернулось. Будто они не гуляли ночными улицами несколько месяцев, боясь прикоснуться друг к другу, будто потом не целовались в палисаднике под старинной терентьевкой в пору её цветения, будто не хрустели румяными яблочками с фиолетовым отливом, подбирая их с земли и вытирая руками. Помнится, ранние яблоки удивительно и неповторимо пахли, на вкус казались немного пресноватыми, но сочными, — после них очень хотелось целоваться. И они целовались, чувствуя на губах этот вкус. Не смущало и то, что сидели под окнами, темневшими в ночи на фоне белёных стен, и Викина мать вполне могла наблюдать за ними, потому что на одном окне шторка всегда была сдвинута; Вика почему-то разрешала целовать себя только под окнами, словно выполняла чьё-то указание.

Став по-настоящему взрослым, Ремизов всё понял: и Викину мать, оберегавшую дочку, и саму Вику, не хотевшую расстраивать её. А тогда очень обиделся, но не сделал Вике ничего плохого, из гордости сам держался на расстоянии, надеясь, что вскоре всё у них наладится, и других парней не подпускал. Но она не знала этого.

Летом он подал документы в радиотехнический институт и успешно сдал вступительные экзамены. Годы учёбы проскочили быстро, хотя иногда казалось, что они бесконечны, особенно если в карманах не оставалось ни копейки. Но из любой ситуации находился выход: то сам подрабатывал, то перепадало от родителей. И всё это длилось до тех пор, пока Евгений не получил диплом и не был распределён в один из военных городков Мордовии как специалист по радиоэлектронике. Неожиданно хорошо начал получать (слово «зарабатывать» тогда почти не существовало). Пришёл достаток, а вместе с ним и желание устроить жизнь. Ремизов женился, вскоре одна за другой появились дочери, в воспитании которых он почти не участвовал, пропадая на работе. Его усердие было замечено, и через пять лет его перевели на головное предприятие, базировавшееся в Москве. Вскоре он купил трёхкомнатную кооперативную квартиру и стал полноправным москвичом. Только бы жить и жить, но тут началась перестройка, военно-промышленный комплекс начал разваливаться, и Ремизов остался не у дел. Но не без знаний и опыта. Пошёл работать в коммерцию. К тому же квартира досталась ему почти даром. Помнится, половинный остаток взносов однажды заплатил с одной полочки, потому что зарабатывал теперь по новым ценам, а выплачивал за квартиру по старым. В общем, грех было жаловаться.

Всё это происходило, казалось, недавно, но успело вырасти перестроечное поколение, для которого тогдашние события, что Октябрьская революция для Ремизова. Всё — история! В те годы, пока были живы родители, он раз в год заглядывал в Пронск, иногда проездом в Крым или из Крыма. Потом, после их смерти, продал с братом дом и приезжал на родину одним днём — наведёт порядок на могилках, заскочит на минутку к учителям — и назад. И в отпуск перестал навещаться, так как зачастил за границу. С той самой поры, когда жена вдруг вспомнила молодость и начала подзуживать:

— Дочек выдали замуж? Выдали! Теперь надо о себе подумать, — говорила она, и Евгений легко поддавался её капризам, потому что и самому хотелось побывать там, куда долгое время было запрещено выезжать из-за государственных секретов, которыми он когда-то владел.

Но теперь став далёк от того, что и секретами-то перестало быть, создавал программное обеспечение для фирм, и в отпуск был волен ехать, куда захочет, хотя в последние годы всё чаще вспоминался тихий Пронск. А когда месяц назад неожиданно позвонила одноклассница Зина Крупина, где-то раздобывшая его телефон, и пригласила на встречу выпускников, Ремизов тотчас согласился приехать, потому что сразу вспомнил Викторину и очень захотел увидеть её. Ведь это такой замечательный и естественный повод, что лучшего и не придумать! Поэтому не удержался, спросил:

— Китаева будет?

— Обещалась... — загадочно ответила Крупина, и её загадочность ещё более воодушевила.

Поэтому и ехал Евгений месяц спустя с особенным чувством, пообещав жене вернуться на следующий день. Ехал ровно настолько, чтобы встретиться с одноклассниками, погулять и, конечно же, поболтать с Викторией. Как же долго, представлялось ему, они будут говорить и вспоминать, чтобы хотя бы на несколько часов вернуться в удивительные и неповторимые дни, которые, казалось, закончились только вчера! Невольно спешил, словно скорость могла приблизить встречу. Обычно он замирал от вида, открывавшегося у поворота на древний Пронск, когда взгляд сперва охватывал привычные очертания высоченного Покровского холма, разукрашенного живописно прилепившимся строениями, а потом убегал, словно улетал, в неохватное пространство, в старину называемое Диким Полем, открывавшееся за широкой долиной Прони. Но сегодня не до красот, пусть и родных, сегодня в мыслях только она, Вика!

Ремизов оставил машину во дворе дома школьных учителей, а Валентина Ивановна, добрая душа, пригласила на ночлег, если вдруг появится такая необходимость. Ремизов знал, что дом Ананьевых всегда открыт для учеников, и многие из них, при необходимости, принимали такое гостеприимство. Принял и он.

— Мы-то с Виктором Аркадьевичем всё лето в доме по привычке ютимся, а тебе постелю в беседке... Как хорошо в саду, на свежем воздухе! — сказала Валентина Ивановна, потряхивая золотистой причёской.

— *Mersi beaucoup, mon professeur!* — ответил Ремизов по-французски, потому что когда-то она преподавала ему этот язык, и благодарно улыбнулся.

Учительница поняла его настроение и подыграла:

— *Pas de quoi!*

Пока они беседовали, показался Виктор Аркадьевич — чернобровый, строгий даже тогда, когда улыбался. Говорил с Ремизовым охотно, но от встречи с учениками уклонился, стеснённый радикулитом. Когда Валентина Ивановна собралась, он осторожно добрался до калитки и указал на мелькавших у школы нарядных людей:

— Ваши уж собираются...

До школы всего-то полсотни шагов. Обычно в последние годы говорили «до новой школы», потому что старой более не существовало. Лет уж десять прошло, когда тогдашний руководитель района переполошил Пронск, узаконив снос старинного здания, первоначально в котором когда-то размещалась женская прогимназия, и остатки школы бесцеремонно спустили под бугор, хотя были предложения использовать трёхэтажное массивное строение с цокольным этажом по другому назначению. Теперь время отдалило те баталии, и с каждым годом всё меньше вспоминали о старой школе, поставленной век назад фон Дервизом — выходцем из семьи обрусевших немцев, а все встречи выпускников начинались на ступеньках новой, построенной на месте крохотного городского парка.

Из трёх классов их выпуска собралось человек двадцать пять. Кого-то Ремизов узнавал сразу — это больше относилось к мужской половине, кого-то нет — особенно расплывшихся одноклассниц, но все, в конце концов, распознали друг друга.

К началу встречи в вестибюле были накрыты столы, и после вступительных слов Валентины Ивановны — казалось, она совсем не изменилась, — все чинно расселись и начались тосты: за учителей, за старую школу, за родной город.

В перерыве, когда Володя Агапов, блеснув матовой лысиной, взял баян, Ремизов отошел в сторонку Крулину, жившую в Пронске и всё обо всех знавшую, и тихо спросил:

— Зин, а что же Китаева не приехала?

Цветущая от хорошего настроения и внимания одноклассников, высокая, по-девичьи стройная Зина подозрительно улыбнулась, полюбопытствовала:

— Что, старая любовь не ржавеет?

— Да так просто спросил...

— Ладно уж, «так просто»... Приболела она. А зимой мать похоронила, никак в себя не придёт. Так что позвони, помоги отвлечься.

Зина достала из сумки записную книжку, авторучку, черкнула и оторвала листок с номером мобильного телефона Виктории:

— Прямо сейчас и звони в Рязань! Узнай, где она. Может, задерживается.

— На мужа нарвусь...

— Они развелись, она теперь одна, не считая сына... Спроси, почему не приехала. Да на чай напросись... Тебя учить, что ли, надо?

— Попозже позвоню, — отговорился Ремизов и понял, что смутился от подсказок суетливой Зинаиды.

Ему действительно захотелось тотчас позвонить Виктории, узнать, почему не приехала, и, быть может, умчаться к ней. И он поехал бы, но вспомнил, что пропустил несколько рюмок, и теперь машина недоступна до завтрашнего дня. «Это и к лучшему, — подумал Евгений, — нечего пороть горячку». И, чтобы забыть и более не угнетать себя печалью воспоминаний, ворвался в круг танцующих и крикнул баянисту:

— Цыганочку, маэстро!

— С выходцем! — поддержала его крепенькая, всегда улыбающаяся Татьяна Хоботкова.

И началось... Одноклассники плясали так, словно забыли о тридцати годах, прошедших после школы. И жара им нипочём. Когда утомились, вышли на воздух. Мужчины закурили, а Ремизов неожиданно разговорился с Валентиной Ивановной, беседовал с ней будто с родной матушкой. Вопросы самые обычные, какие задают все матери: о семье, детях, работе. И Ремизов с необыкновенной лёгкостью рассказывал о себе и находил в этом радость.

Потом они, выпускники тридцатилетней давности, не раз садились и выходили из-за столов, пели, танцевали. Только под вечер Валентина Ивановна оставила их, когда самые стойкие и общительные переместились во фруктовый бар, закрытый в тот день, но Зина Крупина у кого-то добыла ключи. Они устроили новую складчину: запаслись вином, фруктами, конфетами и продолжили гулянье дотемна.

В какой-то момент Ремизов решил прогуляться, ему захотелось побыть одному, чтобы остыть от впечатлений, да и просто передохнуть. Сперва он даже и не понял, почему пошёл к заводской окраине — получилось само собой. Но чем дальше уходил от светившегося огнями бара, тем сильнее хотелось посмотреть на дом Вики. Хотя бы издали. Редкие фонари освещали дорогу, и вскоре он остановился перед тёмными окнами, наполовину заслонёнными разросшимися мальвами, от которых веяло горьковатым холодным ароматом. За окнами угадывались занавески, но на одном окне, напротив сохранившейся скамьи, занавеска была сдвинута, как в прежние годы, словно в доме продолжал кто-то жить и теперь наблюдал за Евгением; даже показалось, что там кто-то мелькнул... Знобкую эту мысль он быстро отогнал, вспомнил, как когда-то здесь целовался с Викторией, вспомнил и скособочившуюся от старости терентьевку, и даже увидел зелено мелькнувшие в свете уличного фонаря яблоки. Надо же! Плодоносит! Сорвал одно, надкусил — она, терентьевка! Вкус ничуть не изменился, даже показался более терпким, чем прежде. Он с необыкновенной остротой всколыхнул воспоминания. Показалось, что Вика где-то совсем рядом, всё видит и слышит... И неудержимо захотелось поговорить с ней. Он достал листок с номером её телефона и, нисколько не колеблясь, набрал нужные цифры. После нескольких гудков услышал взволнованный голос, который — вот чудо! — совсем не изменился.

— Кто это? — осторожно спросила она.

Чтобы не спугнуть, Евгений сказал как можно спокойнее:

— Здравствуйте, Виктория! Вам звонят из Пронска. Моя фамилия Ремизов. Я вместе с вами учился. — И после паузы, в течение которой Виктория, видимо, что-то соображала, Евгений добавил мягче: — Вика, это я — Ремизов! Вспомнила?

— Ремизов... — повторила она его фамилию почти по слогам. — Вспомнила, Женя, вспомнила...

— Узнал сегодня твой телефон и решил позвонить. Не разбудил?

— Я пока не укладывалась...

— А мы гуляем... Тебя не хватает!

— Крупина звонила, но я не смогла приехать, очень занята...

— Жалко, так хотелось увидеться... Вот сейчас сижу на нашей лавочке, ем терентьевку и тебя вспоминаю... Помнишь терентьевку?

— Помню, всё прекрасно помню... Ты, слышала, в Москве живёшь? Женат?

— Да. Две дочери, обе замужем. Жду внучку.

— А у меня сын... Всё в холостяках ходит. Мужа, как ты, наверное, знаешь, нет, был да сплыл... Вот сейчас говорю с тобой, а совсем не представляю, каким ты стал — перед глазами прежний вихрастый, угловатый Женька.

— В чём же дело? Завтра буду возвращаться в Москву, можно увидеться, поговорить.

Она задумалась, а когда молчание затянулось, порывисто спросила:

— Ты действительно хочешь увидеть меня?

— Если бы не хотел, не звонил...

— Когда завтра приедешь?

— После обеда, надо сперва побывать у родителей на могилках.

— Как управишься и будешь выезжать, позвони.

— Договорились!

Он отключил телефон, какое-то время сидел на скамейке недвижно и вспоминал разговор, показавшийся сном, почему-то заставившим быть задумчивым, даже печальным. И всё вокруг показалось печальным, даже склонившиеся бледно-розовые цветущие мальвы и одиноко скрипевший в траве сверчок. Сорвав несколько яблок, Ремизов пошёл назад, но в баре огней уже не было, и он отправился к Ананьевым, зная, что Валентина Ивановна ждёт его.

— Bonsoir! — заглянув на веранду, шутливо сказал Ремизов, настраиваясь на иной лад.

Учительница улыбнулась:

— Нагулялись?

— Да, Валентина Ивановна!

— Под душ пойдёшь?

— Обязательно! — поспешно согласился упарившийся за день Ремизов.

— Тогда включу горячую воду.

— Спасибо, не надо, обольюсь холодной — это приятнее и полезнее!

Душ был летним, от дома к нему тянулись трубы от газовой колонки, и при желании можно было окатиться тёплой водой, но Ремизову захотелось по-настоящему остыть, привести мысли в порядок. Когда он облился и, не вытираясь, вышел в сад, где находился гостевой дом с беседкой, то сделалось так знобко и радостно, словно родился заново. И появилась необыкновенная ясность в мыслях. А в них только она, Вика. Даже дежурный звонок жене не отвлёк, пришлось позвонить, обещал...

* * *

Виктория же после разговора с Ремизовым тоже не могла уснуть. Ей вспоминалось, как по телу побежали мурашки, когда услышала голос Евгения, как чуть не задохнулась от нехватки воздуха... Сын в этот вечер отсутствовал, и она могла говорить спокойно, если можно говорить спокойно с человеком, который жил в душе с тех самых пор, когда они расстались и даже не виделись, хотя первые годы жизни в Рязани она знала, что он учится в радиотехническом. Сама она тогда пыталась поступить в медицинский, но не удалось. Устроилась санитаркой в больницу, надеясь, что характеристика с работы поможет. Но — тщетно. И она оставила мечту о медицине, отдала документы в техническое училище, а после училища попала на завод. Так с тех пор и работала в инструментальном цехе; сперва слесарем по ремонту приборов, а потом табельщицей. Там же познакомилась с будущим мужем. После свадьбы несколько лет снимали квартиру, а со временем им выделили комнату в семейном общежитии на Вокзальной улице. Радовались тогда своему углу, в котором, как оказалось, они застряли на долгие годы. И ничего не получалось с квартирой. Одно время почти дождались, но муж попал в вытрезвитель, и их отодвинули в конец

очереди. А потом и вовсе всё переменялось в стране, об улучшении жилищных условий забыли. Когда вспомнили, пришло новое поветрие: ипотека. Завод начал строить дом для работников, но к тому времени Виктория жила без мужа, уставшего «гнить», как он говорил, в общежитии, и стартовых денег на ипотеку не имелось. И от сына ждать помощи не приходилось, потому что тот с пятнадцати лет связался с какой-то компанией, и что бы ему ни говорила, как ни увещевала — ничего не помогало. Неделями где-то пропадал, а как появлялся — денег ему давай. Ну и какая после этого ипотека? А как бы хотелось пожить в отдельной квартирке. Э-х! Но в последние годы и вовсе не до неё стало. Другая мысль засела в голове — о собственной ноге, потому что с некоторых пор, походив по врачам, Вика узнала, что у неё артроз тазобедренного сустава. Болезнь прогрессировала, и всё шло к операции, хоть завтра могли послать. Правда, операция по замене сустава платная, стоит немалых денег. Виктория, конечно, понемногу копила, но в какой-то момент поняла, что её накопления отстают от инфляции. За несколько лет цена на эндопротез утроилась. На импортный же вообще не замахнёшься. В минуты отчаяния у неё возникала мысль всё бросить, уехать в Пронск и жить в родительском доме. На её век хватит. Но в мыслях возникал сын. Ведь без неё совсем пропадёт. А взять с собой — там работы нет. Да и не поедет он, разве расстанется с друзьями?

За мыслями и думами не заметила, как заснула, а проснулась — солнышко на деревьях играет. «Ну, девушка, и хватила!» — рассмеялась над собой.

Позавтракав, решила прибраться в комнате на тот случай, если вдруг придётся пригласить Евгения. Начала с пустых пивных бутылок, оставленных сыном под столом, которые намеренно не выносила несколько дней, ждала, когда он догадается выбросить. Но теперь пришлось это сделать самой. Ведь не будешь показывать nepотpeбствo пoстopoннeму, хотя и не чужому человеку, — может подумать, что она любительница пива. Потом заново застелила диван сына, аккуратно заправила свою кровать за тяжёлой тёмно-вишнёвой ширмой, украшенной несколькими рядами нежно целующихся голубей. Сделав влажную уборку, от которой линолеум заблестел как новый, решила пожарить курицу, чтобы угостить гостя. Пока курица жарилась, Виктория нарезала колбаску и сыр, помыла молодую картошку, чтобы отварить, когда приедет Женя... В общем, всё устраивала по уму, но в последний момент вдруг спохватилась: «А может, ему и не надо ничего, может, он бывает в таких престижных клубах и ресторанах, что на мою еду и не взглянет? Да и как проведёшь его мимо вахтёрши? Ведь со стыда сгоришь!» От внезапно кольнувшей мысли о вахте Викторию даже в жар бросило, она задохнулась от обиды на свою неустroенную жизнь, из-за которой не может по-человечески принять гостя. На какое-то время отчаялась, а потом, успокаиваясь и ища оправдание незавидной судьбе, заставила себя вспомнить давнюю размолвку и подумала: «Обойдётся без приглашения! Приглашение-то заслужить надо! А что он сделал особенного? Когда-то вильнул хвостом, и был таков! А теперь любовь вспомнил! Как мило!»

Она неожиданно быстро охладела к предстоящей встрече, а когда после полудня позвонил Ремизов, говорила без вчерашнего придыхания.

— Увидимся? — сразу спросил Евгений.

— Можно... — всё-таки согласилась она, но не особенно уверенно.

— Где?

— Например, на 1-й Рязани... У входа в вокзал... Когда тебя ждать?

— Буду через час, я на машине. Увидишь юношу в красной рубашке и синих джинсах, значит, это я... А тебя как узнать?

— Сама подойду... — не стала она ничего объяснять, решив, что дальше привокзальной площади и шага не ступит, и никаких ему приглашений не будет.

Обычно в город Виктория выбиралась с тросточкой, особенно зимой, когда скользко, но сегодня отказалась от неё. Зато зачем-то взяла хозяйственную сумку. Вышла пораньше, чтобы понаблюдать, как Ремизов подъедет. Любопытно посмотреть на него сперва издали, сравнить теперешнего с тем, которого знала когда-то, а потом подойти, улыбнуться и сказать: «Ну, здравствуй, Ремизов Женя! Вот ты каким стал!» Она остановилась во дворе

рядом с вокзалом, села на скамеечку. Со стороны и не догадаешься, что эта полноватая женщина в просторном сиреновом платье и неровно покрашенными обмякшими губами пришла на свидание. В какой-то момент она поняла, что со скамеечки может не увидеть Ремизова, и перебралась поближе к площади, присела на какие-то плиты, положив на них сумку.

Наблюдая за площадью, Виктория вскоре заметила высокого, с залысынами мужчину в красной тенниске и синих джинсах, выбравшегося из подъехавшей тёмно-зелёной иномарки, и поняла, что это и есть Ремизов. К тому же он был с цветами, что подтверждало догадку. Надо бы сразу подойти, но чувства в этот момент смешались, перескакивая от воспоминаний к сегодняшнему дню, к самому Ремизову, нетерпеливо прохаживавшемуся перед входом в вокзал... Вот он достал телефон и позвонил, пытаясь, видимо, узнать, где она, а Виктория, спохватившись, вспомнила, что свой мобильный забыла дома. Она тотчас поднялась, чтобы более не заставлять себя ждать, но через несколько шагов, показавшихся необычно неуклюжими, — именно из-за этого она не поехала на встречу с одноклассниками, — почувствовала, как от волнения заколотилось сердце... Нет, в таком состоянии она не могла идти, не могла говорить с Женей, не знала, о чём надо говорить. И почему-то сделалось нестерпимо стыдно за утиную походку, к которой сама привыкла, но которая сейчас ошарашит Ремизова. Ведь он ехал на встречу с юной и нежной Викой, помня её со школьных лет, а увидит перед собой расплывшуюся хромоногую тётку. И какое у него после этого будет настроение, какое потом впечатление увезёт с собой? Ведь будет ругать себя и проклинать её за то, что осмелилась показаться в таком убогом виде. Зачем всё это? Чтобы потом всю оставшуюся жизнь сниться ему в страшных снах?

Она пугливо отступила, опустила на плиты и, закрывшись сумкой, тихо заплакала. Рядом гудели электровозы, надоедливо зазывали пассажиров таксисты, шаркали прохожие; некоторые предлагали помощь, но она лишь вздыхала и, отказываясь, мотала головой. Сколько так томилась — не помнила. А когда немного успокоилась, то вытерла платочком слёзы, невольно посмотрела в сторону вокзала и... не увидела на ступеньках мужчину в красной рубашке. Как ни странно, ей стало легче, словно успела спастись от смерча. А обида? На кого теперь обижаться? На судьбу, что ли? Но её не переделаешь, не развернёшь вспять, как бы ни хотелось. Да и поздно поворачивать.

Виктория кое-как доплелась до общежития, молча прошла мимо вахтёрши, о чём-то спросившей её, — Виктория не поняла, о чём именно, — и, держась за перила, тяжело поднялась на второй этаж. А в комнате, откинув ширму с надоевшими голубями, упала на кровать. Здесь уж дала волю слезам.

Неоднократно металлически дребезжал на столе телефон, она знала, что это Ремизов, но трубку не брала — не было сил говорить с ним. Под вечер, когда он, видимо, вернулся к жене, сигналы прекратились. Правда, Евгений звонил и в другие дни, Виктория хватала трубку, думая, что это сын, но, услышав голос Ремизова, отключала телефон, даже не пытаясь хоть что-то объяснить.

* * *

И он всё понял и не стал более навязываться, печалась от несостоявшейся встречи и сожалел о том, что и Вику напрасно взбаламутил, и сам обжётся, желая вернуть то, что, наверное, вернуть невозможно. Да, похоже, и нечего было возвращать, если школьная неумелая привязанность окончательно зарубцевалась, не успев перерасти в нестерпимое обоюдное чувство, способное заслонить все препятствия.

Какое-то время о поездке в Пронск ему напоминали лишь яблоки, которые он возил с собой. Но вскоре они сморщились, усохли, как мало-помалу усохли и его воспоминания, оставив на прощанье лишь вкус давних терентьевок, сохранившийся со времён романтической юности...

ПОЭЗИЯ



ТАРАС МАНДАНОВ



Землица благодарная крепчает...

Свадебный обряд

Настанут минуты прозренья,
Нетленных событий черёд,
Пригрезится шлейф поколений,
Живучий, удачливый род.

Скуластый, обветренный предок
Прищурит с достоинством взгляд,
Впряжёт вороного в карету,
Встряхнёт триумфальный наряд.

Натянет традиции вожжи,
Направит их в светлую даль.
Засунет в неброские ножны
Заветную, верную сталь.

За спинами — шорох скитаний,
Размеренность гулких копыт,
Фантом вековых испытаний,
Осколки разбитых корыт.

Смятения красные блики
На смуглой поверхности век.
Общениа мир многоликий,
Сличение линий и вех.

Грядущего хрупкие звенья,
Тепло и улыбок, и рук,
Немеркнущих знаков сближений
Нанижет на целостный круг.

МАНДАНОВ Тарас Тагнатович, поэт, родился в 1950 г. в с. Хандагай Баяндаевского района Иркутской области. В 1966 г. окончил Хоготовскую среднюю школу. Лауреат областной конференции «Молодость. Творчество. Современность». Печатался в газетах «Советская молодёжь», «Заря», «Панорама округа», в журнале «Сибирь», в коллективных сборниках: «Молодость. Творчество. Современность» (1988), «Жизнь — дорога, ведущая к храму» (2011), «Иркутск. Бег времени» (2011). Член Союза писателей России. Живёт в с. Хандагай.

Прости, солдат

Есть много дат, отмеченных особо,
Разлившихся весеннею рекой...
Есть праздник, водружённый над Европой
Мозолистой солдатскою рукой.

Не ведая усталости и срока,
Не забывая доли фронтовой,
Несёт по миру мудрости уроки
Простой солдат последней мировой.

Ещё летят, взрываются снаряды,
Скулит в ночной тиши воскресший дзот.
Посудины, напичканные адом,
Неверия расталкивают лёд.

Прости, солдат... за куцые просторы!
С поверженных высот берлинских стен
Куда ни глянь — высокие заборы —
Заслуги пожирающих систем.

Землица благодарная крепчает,
Забвения травною заросла.
И ничего кругом не замечает
Любовь и мир творящая весна!

Налейте же полнее боевые!
Ровесников далёкий слышен глас.
Живите же, родимые, родные!
Праправнуки о том же просят вас.

Неотвязное

Помня негласный отцовский завет,
Нянчиться с внуками вызвался дед.

Плотно закрылась парадная дверь.
Скопом, решительно, с места в карьер:

— Дедочка! Деда... — свалили меня.
Тут же втроём оседлали коня.

Конь заартачился: — Ну и дела!
Вздыбился, дёргался, грыз удила.

Не помешали ни пряник, ни кнут
Дружно на клячу напялить хомут.

Дрыгаю задней, неистово ржу.
Тот ещё мерин, но марку держу.

Напрочь забыт пресловутый артрит —
Машет нагайкой горячий джигит.

Чудятся лики далёких времён,
Топот и крики с обеих сторон.

...Груда навстречу пронёсшихся тел —
Помнить об этом потомков удел.

Так же во имя высоких идей
Предки ввели под уздцы лошадей.

Бог его ведаёт, и на Луне
Вряд ли откажемся быть на коне!

Двери открылись... И как от огня
Дети втроём заслонили коня.

Родителям вдогонку

Всплывают над дымкой стандартные юрты
Без острых углов, без стрехи.
Ни окон, ни комнат... Сундук, а валюта:
Бабу, старичью, «женихи».

Отцовский картуз с деловым козырёчком
Как символ безбедной поры
Прикрыл безотцовщины горький комочек...
В задорных глазах детворы.

Зловещая память берёт ниоткуда:
С рассвета до самой зари
За теми, за этим, отсюда, досюда
Следи, понукай, присмотри...

Не дремлет с растущим в семье поголовьем
И спрос на ответственный труд:
Плетённый увесистый кнут для подворья,
Для детской строптивости — прут.

Подросток, впряжённый со взрослыми в дело,
От счастья, что всё позади,
Забыл, что нельзя разомлевшее тело
С крутого разбега студить.

А тут ещё надо выкраивать время
Прощупывать берег реки,
Откуда за год повзрослевшее племя
Идёт собирать колоски.

Бредя в темноте по местам бездорожным,
Едва ли вы знали тогда,
Что где-то поблизости, милостью Божьей,
Летят золотые года.

Неотправленное письмо

Как же мы далеки друг от друга, усталый ровесник,
Разбрелись кто куда за романтикой светлых дорог.
Кто с детьми в городах, кто хранит благодатные веси...
Кто для старых граблей втихаря мастерит черенок.

Если б кто-то когда-то хотя бы толкнул в подреберье,
Что мы будем страдать и от скуки беспомощных дней,
От глухой тишины над устойчивой пыткой безделья...
Не от тона речей, от засилья на лицах — теней.

Среди важных забот и волнений, в семействе нетленных,
Всё настойчивей, злей о себе горлопанит нужда
В собеседнике зримом, не самом, пускай, откровенном...
С передёрнутым прошлым моим был бы в ясных ладах.

Исключительный шик — не пытаться выигрывать в споре,
За базаром своим без особой нужды не следовать.
В казуистике вспльчивых фактов, мотивов партнёра
Молодого себя в изобилии сил находить.

Ведь когда-то и нам, молодым, оттого и горячим,
Было так нелегко достучаться до битых сердец.
Только собственный опыт, скорее всего — неудачный,
И в стороннюю душу подчас открывает ларец.

* * *

Глухомань, безмолвие просторов.
Пересохшей речки жалкий вид.
Возле полинялого забора
Приютился дюжий инвалид.

По ухабам пыльным скачет лошадь.
За холмами дел невпроворот.
Всё, что сердцу ближе и дороже,
Город удушающий берёт.

Магазины пенятся от пива.
Виновато в трубку дышит внук.
Отпрыски разросшейся крапивы
Радостно опутывают луг.

...Было — приезжали к нам с Европы,
Сравнивали город и село.
К ним и мы прокладывали тропы,
Вскидывали брови: повезло!

Сжиженные страсти стынут в жилах,
Съела моль всю близкую родню.
Выжившие чудом старожилы
Одиноко сохнут на корню.

В конуре обжитой пели зычно.
День и ночь вопили петухи.
Сердце, душу, мир такой привычный
Чистили от пятен и трухи.

Светлые воспоминания

Постарели, помудрели наши бабушки,
И ровесницы, и вдовы, и соседushки.
Не летят в их огороды чудо-камушки
Из-за прытких, неуёмных нравов дедушек.

Незабвенной, неразлучной сладкой парочкой
Коротают, наполняют ночи длинные.
Подрумьянились похлеще юных правнучек,
Вспоминая годы древние, былинные.

...Жизнь кипела и бурлила горной речкою,
Чистотою покоряла перевозданною.
Повстречался им в рубахе канареечной,
В шароварах Петька-ухарь, да с гитарою.

То ли песни, то ли звёзды ночью лунною,
То ли взгляды на подружек окаянные...
Загорелись, запылали щёки юные,
Заметались, словно в клетке, думы странные.

Планы девичьи поникли деликатные,
Раскидало двух соперниц, ровно уголья.
Беспристрастно, беспощадно поле ратное
Погловило тайну сердца Петьки-ухаря...

За Победу, за просторы необъятные!
И за то, что вдруг ожили ноги ватные,
За улыбки, ахи, охи, сны сердечные
Нашим славным ухажёрам — память Вечная!

Писательский дневник



СВЕТЛАНА КОППЕЛ-КОВТУН

Поэт, прозаик, публицист, Украина



Соль жизни

ЭССЕ

— Иногда я подслушиваю разговоры... И знаете что?

— Что?

— Люди ни о чём не говорят.

Р. Брэдбери

Миром правит молния

Встреча на территории смысла похожа на вспышку молнии, внутри которой встречаются люди, независимо от времени и места своего существования. Они — путники, идущие одной и той же внутренней дорогой. Так встречались Данте и Вергилий, так встречаемся мы всякий раз с авторами книг, которые потрясают нас до глубин, до самых оснований — смыслами. Мы можем даже не повстречаться эмпирически, в реальном опыте, с книгой, которая соответствует нашему духовному опыту и словно написана специально для нас, но она всё равно окажет на нас воздействие.

«Как все здесь знают, не дальний, а ближний — тема христианства, — пишет О. Седакова в эссе «Искусство как диалог с дальним». — Одна из двух великих тем: Бог — и ближний. Христианство никогда не говорит о человеке дальнем. Мы постоянно в самых разных контекстах слышим о ближнем, вся наша жизнь описывается в этом отношении — к ближнему. Но искусство занято дальним. Оно говорит с дальним, и даже в ближнем оно ищет дальнего...» Следуя дальше путём мысли, нетрудно сделать вывод, что для человека искусства ближним является не физически ближний, а духовно, который искал или ищет в себе того же высокого, «дальнего» — принадлежащего будущему веку. Это тот же ближний, только на другом уровне. Вергилий оказался ближним для Данте, хотя

и жил за тысячу лет до него, или, точнее, Данте оказался ближним для Вергилия, ибо нуждался в нём.

Истина всегда открывается через потрясение, через восторг и восхищение. Проблески истины, пойманные воображением, соединяют теснее, ближе, чем родственная кровь, соединяют сквозь время и пространство, вопреки времени и пространству — в искре смысла, в искре подлинного бытия. «Миром правит молния», — говорил Гераклит.

Мёртвые и живые слова

Ложное и истинное внешне — не различимо, отличие лжи от истины происходит внутри субъекта — это внутренний акт. Мёртвые и живые слова — это одни и те же слова, живыми или мёртвыми их делают люди. Слова — это только знаки, символы. Слово — лишь палец, указывающий на предмет, но не сам предмет. Разные люди пользуются одними и теми же словами, но только живые люди производят живые слова. И «самые великие слова опошляются теми, кто их произносит» (*В. Вулф*), если они не были оживлены в личном опыте.

Нам только кажется, что мы их понимаем. Это иллюзия, обман. Иначе сказанного за всю историю человечества хватило бы для торжества добра в мире людей.

Увы, палец, который показывает на предмет, мы принимаем за сам предмет. Знакомые красивые слова кружат нам голову. Нам кажется, что мы знаем всё о мире, особенно подкованному в вере религиозному человеку грезится, что мир у него на ладони, что все ответы — у него, в виде библейских цитат и высказываний великих. Однако наш плоский ум понимает всё на свой манер, он не обладает достаточной глубиной для понимания подлинных смыслов, пока не столкнулся нос к носу с реальностью, пока лично не обжётся об её пламень.

«В коллекции наших идей нет ни одной, которая отвечала бы индивидуальному впечатлению» (*М. Пруст*). Мы не понимаем, что чужие слова нам не принадлежат до тех пор, пока мы не отыскали дырку в стене, увешанной чужими словами, пока мы не открыли для себя заново открытые другими смыслы, пока реальность не потрясла нас до самых глубин — молнией.

Буква убивает, а дух животворит

«Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа; потому что буква убивает, а дух животворит» (2 Кор. 3:6).

«Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3:17).

Есть у свт. Николая Сербского «Беседы под горой», где можно прочесть такие слова: «Христос говорил с авторитетом, а я говорю без авторитета. Весь мой авторитет во мне, его нет вне меня. Мой авторитет не в моем происхождении, не в моем звании и не в моей миссии, но в моей вере, которой я живу, и в моей любви, с которой я предлагаю свою веру братьям моим. Я лишь предлагаю свою веру, я ее никому не навязываю. Примет ли кто мою веру?»

А. Хомяков на первый взгляд говорит иное: «Нет, Церковь не авторитет, как не авторитет Бог, не авторитет Христос; ибо авторитет есть нечто для нас внешнее. Не авторитет, говорю я, а истина и, в то же время — жизнь христианина, внутренняя жизнь его, ибо Бог, Христос, Церковь живут в нем жизнью более действительной, чем сердце, бьющееся в груди его, или кровь, текущая в его жилах».

К. Аксаков в одном из писем продолжает мысль А. Хомякова: «В деле веры нет авторитета, его нет для свободы духа. Сам Христос для меня не авторитет, потому что Он для меня Истина». «Так же объясняю я знаменательное искушение Исаакия Печерского. К нему приходит Христос в славе с ангелами и говорит: «Исаакий, пляши». Как же не послушать Христа? Исаакий стал плясать и поражен был немотою и ослеплением. Это было искушение. В чем же вина Исаакия? Он... (ведь) послушался Христа. Но в том-то и

вина, что он на Христа взглянул как на Начальника, как на авторитет, а не как на Истину. Отнесся по-здешнему, земному, обычно, как к командиру, послушался, не рассуждая, отказался от свободы. А если бы он рассудил, если бы на Христа смотрел как на Истину, то он бы в ошибку не впал и увидел бы сейчас, что это не Христос, что это образом Его как Повелителя, как Царя искушает дух лжи, что искушает он слепой преданностью своему начальнику, не рассуждающей готовностью исполнить его приказания... Вот где грех, вот где ложь».

Если читать свт. Николая не духом, а только буквально, по буквам, получится, что Христос — авторитет в том смысле, в котором его отвергают славянофилы Хомяков и Аксаков. В то время как свт. Николай говорит об авторитете в своём понимании этого слова: Христос — единственный авторитет для верующего сердца, выбранный подобно тому, как юноша сердцем выбирает любимую, независимо от того, какие авторитеты и как о ней отзываются. Ведь Христос действительно пришёл не царем, не знатным гражданином, а простолюдином, которого всякий может обидеть. Он не вооружился титулами-ярлыками, не спрятался за них, ибо принять Истину как авторитет — бесполезно для души. Христос обращён непосредственно к сердцу человека, которое должно выбрать Его Царём только из любви.

Не в рамках догм и закона осуществляется встреча человека с Богом, но на территории свободы и благодати. И богоподобие человек реализует в себе не тогда, когда становится моралистом, а когда уподобляется художнику. Бог — Творец и Художник. Он — Поэт, а не догматик.

Но как же тяжела для человека дарованная Христом творческая свобода! Он бежит от неё в букву закона, бежит от любви в мораль, потому что так ему проще и понятнее, бежит в рабство авторитетов и ярлыков. Хорошо об этом говорит Ф. Достоевский в «Легенде о Великом Инквизиторе». Помните, Инквизитор ставит в вину Христу освобождение человечества. Жестокий дар свободы, по мнению Инквизитора, не под силу людям. «Мы исправили подвиг Твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо и что с сердец их снят наконец столь страшный дар, принесший им столько муки, — говорит он Христу. — К чему же ты теперь пришел нам мешать?..» «Пятнадцать веков мучились мы с этою свободой, но теперь это кончено, и кончено крепко. ...Теперь и именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим».

Ярлык — это суд

Жизнь — это постоянное движение, становление. Живая картинка, которая всё время изменяется, а не что-то статичное. Человек, вооруженный мёртвыми словами, умертвляет жизнь. Он подменяет её ярлыками, этикетками... Во-первых, он слеп и заблуждается относительно того, что видит: принимает свои «ярлыки» за реальность, за истину, за то, что есть на самом деле. Во-вторых, он не способен к общению, ибо замкнут на своей иллюзии, находится в плену у своего мёртвого знания. В-третьих, он грешит тем, что судит, приговаривает живым становящееся бытие, навешивает ярлыки на всё вокруг. Он лишает живое свободы, навязывает становлению свою картинку, пытаясь «зацементировать» его в своём воображении — «пришить ярлык». Для примера можно вспомнить замечательный датский фильм «Охота» (2012 г.). Главный герой его, Лукас, оказывается жертвой наговора, сплетни. Режиссёр Т. Винтерберг снимал психологическую драму, его интересовал феномен вытеснения реального события воображаемым; на руках у него были описания настоящих клинических случаев. Но нам сейчас важно, как по-разному относятся друзья к оболганному Лукасу. Одни — помогают ему оправдаться, веря, зная, что он не виновен — не может быть виновен в таком преступлении. Другие (друзья!), наоборот, легко верят в то, что непристойность могла иметь место и отворачиваются от него, несмотря на многолетнюю дружбу. Секрет в том, что последние не были по-настоящему близки с Лукасом, они не знали его. Ярлык с надписью «друг» случайно был заменён на другой ярлык — с надписью «извращенец». Этого оказалось достаточно, чтобы отношения расстроились —

мнимые отношения, на самом-то деле. А ведь люди часто ограничиваются мнимым существованием на уровне ярлыков, считая его единственно возможным.

Мир вообще живёт по ярлыкам. Хотите изменить мир, подмените ярлычки! Об этом много у Оруэлла в романе «1984». Помните его знаменитые: «война — это мир», «свобода — это рабство», «незнание — сила»?

Кстати, выходки Femex страшны именно тем, что выбивают «землю» из-под ног обывателя, выхватывают из его рук знакомый набор фантиков и ярлычков. Обыватель теряет «почву под ногами», и мир колеблется, теряет стабильность. В это время манипулятор старательно меняет картинку мира в сознании обывателя, подменяя привычные ярлыки — новыми, более агрессивными и нестабильными. История, как известно, учит только тому, что ничему не учит (*Бернард Шоу*). Ведь всё зло в истории было не с нами, а с «ними». Обыватель мыслит себя хорошим человеком. В его сознании нет агрессивных моделей, которые так нужны нынешним кукловодам. И пока мир негодует по «старым фантикам», он меняется, уходит в сторону от стабильности и приближается к новым, более агрессивным моделям поведения в обществе.

Хотите, чтобы люди вас заметили и считали важной персоной? Кричите погромче о своей важности, обклейте себя всякого рода важными ярлыками! То, что есть на самом деле, видят очень немногие. Потому важно не то, что есть, а что напишут об этом газеты. И потому газеты «вредны для пищеварения» (*М. Булгаков*) не только телесного, но и душевного, духовного. Слепота делает человека фанатиком. Она вооружает его категоричностью суждений и ригоризмом, ведь человек уверен, что видит всё как есть, что знает, как устроен этот мир, что всегда правильно понимает происходящее. Он не знает, что ничего не знает. Слепой погружён в своё мнение о реальности, которое застилает ему реальность. И только знающий, что «стена с наклеенными на ней ярлыками» — это не реальность, а плоскость, в которой надо найти дырку, понимает, что ничего по-настоящему не знает.

Реально мир погружён в тайны, в том числе в тайну становления. В нём нет линейности, которая присуща проекциям на плоскость воображения.

Не суди — это значит не умертвляй живое, не приписывай становлению случайных качеств, которые, даже присутствуя в нём, могут быть незначимыми. Общение со слепым — это постоянный суд: ко всем явлениям жизни у него найдётся ярлычок, ибо он всё знает и всё понимает лучше других. «Воистину, онемевшему от чуда мучительно говорить с оглохшими от шума» (*свт. Николай Сербский*).

По большому счёту, душевный человек и есть этот слепой, ибо только духом познается реальность, только в духе можно отличить доброе и злое. Духовный человек — это тот, кто нашёл дырку в стене, увешанной множеством правильных и красивых смыслов, найденных кем-то другим. Духовный человек ищет сам, и находит, ибо ищет правильно. «Всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворяют» (*Мтф. 7:7*). Он использует слова как указатели, но насыщается лишь Реальностью.

Стена

Стена... Я всё время вижу её, ощущаю. Сколько ни пыталась пройти мимо неё, уйти от неё или, наконец, пролезть сквозь неё — ничего не получалось. Стену можно только преодолеть, но как? Сквозь стены живые люди не ходят, а призраки — это слишком безрадостно. Мне казалось, что стену можно просто отодвинуть — когда-то мне удалось это. Наткнувшись на стену, я просто толкнула её и куда-то вытолкнула. Наружу, наверное. Правда, позже эта же стена рухнула где-то позади и, кажется, внутри.

На самом деле она — не одна: таких стен много, у каждого есть своя. Из множества внутренних стен состоит одна общая — Великая. Огромная и непреодолимая.

Великая стена — это множество наглухо закрытых дверей, словно веками никто не входил в эти двери, забыв об их существовании. А может, наоборот, эти двери изначально не забыты, а забиты — специально! Чтобы никто туда не вломился. И всё же, они существуют! Стена — это дверь, а дверь — это стена. Вот какая бессмыслица получается!

Никогда я не умела выражать свои ощущения как следует: они у меня какие-то невыразимые. И даже если я умудряюсь подобрать правильные слова, то люди всё равно слы-

шат не мои, а свои слова. Никому нельзя передать свои слова — их никто не услышит. И всё потому, что стена каждого, а тем более общая — Великая стена — обклеена словами, как объявлениями. Это такой ужас! Вся стена — сплошные наклейки! Немудрено потерять под ними дверь. Все двери! Хотя... Я знаю одного странного мальчишку, который тратит своё время на обдираание стены, на срывание с неё этих глупых бумажек. Он, конечно, слышит дурачком, но мне — нравится. Как-то я спросила у него:

— Зачем ты это делаешь?

— Не знаю, — ответил он. — Просто интересно наблюдать, как из-под пыльных бумажек и клея проявляется что-нибудь свеженькое и новое.

— Новое, которое забытое старое, — пошутила я, но он не понял шутки.

Этот мальчишка стал мне другом. Очень-очень близким другом: его, как и меня, совершенно не интересовали наклейки. Он искал под ними, искал чего-то иного, хотя и не отдавал себе в том отчёта. Его внутренняя стена рухнула или просто никогда не существовала — я не знаю. Он чувствовал, понимал, что стена с наклейками — не важна, что за ней есть что-то более важное, более значимое и значительное. Иначе бы не было дверей. Только он ничего не знал про двери, а я не говорила ему. Зачем?

С какого-то времени я вообще перестала видеть стену, даже пыльные бумажки на ней. Стена стала для меня лишь возможностью чего-то нового, непредсказуемого: я обнаружила в ней щели, сквозь которые струился свет. Я видела только эти светящиеся щёлочки. Они всецело поглощали моё внимание — только они! Стена словно исчезла. Даже мальчишка на какое-то время выпал из поля зрения, хотя я чувствовала, что он рядом. Я была человеком без стены, и он был человеком без стены — мы это слышали друг в друге. Быть может, наше восприятие было более непосредственным, чем у других — мы общались не через стену, а напрямую, и потому не было рикошета. Обычно люди как бы выглядывают из-за угла, косят взглядом, умом и чувствами. Стена всегда мешает общению. Она нужна только, чтобы прятаться.

Я не знаю, почему рухнула моя стена. Случится ли то же самое с Великой стеной? И что будет с нами, если она рухнет? Быть может, эти щёлочки, сквозь которые я вижу странный свет, это признаки её разрушения? А если она всё-таки рухнет, что окажется — за ней новая стена? Или Великая стена — это последняя стена? Тогда стоит ли её рушить? Не опасно ли это?

Размышляя таким образом, я тихонечко ковыряю стену пальцем. После — оказавшись в руке карандашом. Затем беру в руки какой-то предмет, который уже не могу рассмотреть, — свет из щели бьёт в глаза и мешает видеть. Я всецело увлечена светом и ковырянием. Я тону в этом процессе ковыряния в стене навстречу свету. Так, почти незаметно, появляется небольшое отверстие — провал в стене, дырка. Я могу видеть всё, что находится с той стороны — за стеной. Но не вижу ничего. Инстинктивно пытаюсь пролезть сквозь выковырянное мной окно и проваливаюсь в свет. Куда-то падаю и лечу. Прихожу в себя и вновь вижу стену. Всё та же огромная стена, снизу доверху обклеенная пыльными бумажками... И всё тот же мальчишка копошится поодаль. Мимо проносится девушка на велосипеде. Лёгким и привычным движением она заклеивает щёлочки в стене свежими объявлениями-заплатами. Мальчишка восторженно смотрит ей вслед, свежеприклеенная бумажка воздействует на него магически — он заморожен ею. Я же срываю наклейки, чтобы снова видеть свет, бьющий из щёлочек.

Чувствую себя иголкой, протыкающей ткань то с одной, то с другой стороны и оставляющей за собой пунктирный нитяной след — путь.

Опять стена. Или — дверь? От неё нельзя сбежать, её нельзя потерять, но можно пробить в ней брешь. И я становлюсь рядом с замершим в изумлении мальчишкой и царапаю ногтем щель, из которой брызжет на меня яркий свет.

Соль жизни, или Что мы знаем о милосердии?

Столько в мире горя, что жизнь была бы невыносима, если бы не милостивые люди. На милосердии стоит лежащий во зле мир, потому Господь особо ценит эту сердечную добродетель.

В житии Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, жившего в 6-м веке, повествуется о том, как ему, пятнадцатилетнему, явилась добродетель милосердия в образе девицы с масличным венком на голове и сказала: «Если сделаешь меня своей подругой, то я исходатайствую тебе у Царя великую благодать и приведу тебя к Нему, ибо никто не имеет у Него такой силы и дерзновения, как я. Я свела Его с неба и облекла в плоть человеческую».

Всякий, кто надеется на милосердие Божие, должен и сам быть милостивым. «Кто сеет скупое, тот скупое и пожнёт; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт», — говорит о милостыне апостол Павел (2 Кор. 9:6). Свт. Иоанн за то и прозван Милостивым, что сеял щедро. В начале своего архипастырского служения он призвал церковных экономов и дал им поручение:

— Обойдите весь город и перепишите всех господ моих.

Экономы спросили, кто это такие, и патриарх ответил:

— Те, которых вы называете нищими и убогими; они мои господа, ибо они воистину могут способствовать в достижении спасения и ввести меня в вечные обители.

Экономы переписали всех убогих, найденных на улицах, в больницах и на гноищах. Их было 7500 человек, и всем им свт. Иоанн повелел выдавать ежедневное пропитание.

Сам Господь, обличая книжников и фарисеев, советовал: «Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто» (Лк. 11:41). То есть милостыня — кратчайший путь к чистоте, обретаемой в Боге.

Мы думаем о себе, что в меру добры: нам жаль страдающих людей и, кажется, мы хотели бы им помочь — если бы могли. Опять же, в свою меру. Хотя по-настоящему никто из нас не знает, какова эта мера. Мы больше теоретизируем, чем практикуем, а узнать свою меру можно только действуя.

Вот о. Иоанн Кронштадтский в своё время, очень похожее на наше, решил действовать, но его поначалу приняли за юродивого. Поздно вечером, около 23 часов, он появлялся на улицах Кронштадта со скрещёнными на груди руками и молился, приглядываясь к бедным домам, нередко заходил «на огонёк», помогал по хозяйству, нянчил детей. «Приходит отец Иоанн в бедную семью, — рассказывал очевидец, — видит, что некому сходить даже за съестными припасами, потому что из одного угла доносятся болезненные стоны хворой матери семейства, из другого — несмолкаемый плач полуголодных, иззябших, больных ребятишек. Отец Иоанн сам отправляется в лавочку, чтобы купить провизию, в аптеку за лекарством или приводит доктора, словом, окружает несчастную семью чисто родственными попечениями, никогда, разумеется, не забывая и о материальной помощи, оставляя там последние свои копейки, которых слишком мало в то время имел ещё сам». Нередко он возвращался домой босым, наполовину раздетым, совсем без денег.

Отец Иоанн создал в Кронштадте известный Дом трудолюбия, спасающий от голодной смерти тысячи людей, но 90% всех доходов этого заведения, задуманного как «общее дело», составляли его личные пожертвования. Вот пример из финансового отчёта Дома трудолюбия за год, где, кроме прочего, значится:

Субсидия, отпускаемая по Высочайшему повелению, — 1 000 руб.

От Её Императорского Высочества великой княгини Александры Иосифовны — 200 руб.

От Его Императорского Высочества великого князя Александра Михайловича — 100 руб.

Пожертвования протоиерея И.И. Сергиева — 43 963 руб.

По изданию бесед протоиерея И.И. Сергиева — 2 338 руб. 40 коп.

Очевидно, милосердие о. Иоанна к страдающему бедному человеку несравнимо превосходило милосердие богатых и знатных людей. В своей автобиографии о. Иоанн как бы объясняет причину этого: «С первых же дней своего высокого служения Церкви я поставил себе за правило: сколь возможно искренне относиться к своему делу, пастырству и священнослужению». Он всерьёз отнёсся к своему христианству, и обласканные, пасомые им люди, естественно, возлюбили его.

Добрый, единственный в своём роде пастырь не мог спокойно ни войти, ни выйти из храма — его привозили и увозили на извозчике, потому что люди буквально набрасывались на святого, как голодные птицы бросаются на крошки или зёрна, брошенные для них милостивой рукой. Как-то раз толпа буквально сбила его с ног и разорвала на клочки его рясу, так что о. Иоанн едва остался жив. Это свидетельство того, что подлинное, широкое милосердие имеет дело со стихией, которая не так проста, как нам представляется. Когда милосердствующий вторгается на территорию, где царит горе, где торжествует зло, он

должен быть облачён в благодать, ибо ему предстоит сражаться за каждую «пядь земли», приобретаемой для Господа.

«Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиися» (2 Тим. 3:5) такой подвиг не понесут. То есть быть настоящим христианином и, тем более, пастырем овец Христовых — это значит быть воином, который должен обладать не номинальным, а реальным достоинством, а оно определяется силой горения сердца. Трудно представить, как изменился бы мир, если бы все мы относились друг к другу с такой же участливой любовью, как о. Иоанн.

Подобной любовью к ближним горел и юный Ван Гог, ещё не художник, а проповедник. Винсент был сыном протестантского пастора, наследовал имя деда, который всю свою жизнь посвятил протестантской церкви. Неудивительно, что юного отпрыска влекло то же поприще — он стал проповедником в бедном шахтёрском районе на юге Бельгии. Жизнь паствы Ван Гога была невыносимо тяжёлой. «В те годы в Боринаже проживало 30 тыс. шахтёров и несколько тысяч рабочих по металлу и стеклу. В шахтах наравне с мужчинами трудилось 3 тыс. женщин, а также дети: 2 тыс. девочек и 2,5 тыс. мальчиков моложе 14 лет, и тысяча девочек и 2 тыс. мальчиков между 14 и 16 годами, — пишет писатель Луи Пирарад. — Все работали примерно по двенадцать часов в сутки. Гигиена и условия безопасности были в таком плачевном состоянии, что и представить себе трудно». Познакомившись ближе с рабочими семьями, увидев, в какой неслыханной бедности они живут, Ван Гог действовал подобно о. Иоанну Кронштадтскому: он ходил по бедным домам, раздавал свои деньги, одежду, обувь, покупал продукты, ухаживал за больными, стирал бельё, нянчил детей. И его также называли сумасшедшим. «Я друг бедняков, каковым был и Иисус Христос», — отвечал он на замечание пожилой женщины о неразумности его действий. За горячее, искреннее, пренебрегающее иерархическими различиями поведение Ван Гог подвергся прещениям со стороны протестантских чиновников и был отстранён от должности, о чём сильно скорбел. Душа его, возможно, надорвалась именно по причине беспросветности увиденного человеческого горя, которое он не имел сил преодолеть.

Эти два человеколюбца: великий подвижник благочестия, всероссийский пастырь о. Иоанн Кронштадтский и странный, немного помешанный голландский художник Винсент Ван Гог в моей памяти всегда стоят рядом, прорисовывая друг в друге определённые качества характеров, обнаруживаемые вполне только при совместном их рассмотрении. Сближает их не только сострадание к униженным и оскорблённым, но и реактивность поведения, основанная на личном подвиге жертвенного служения ближним и полной самоотдаче. Они были отзывчивыми людьми, т. е. не придумывали, не выдумывали себя милосердными, а просто отзывались на нужду окружающих людей, чувствовали их нужду как свою.

Русский философ и поэт Владимир Соловьёв также был милосердным человеком. Когда у него просили денег, «он вынимал бумажник и давал, не глядя, сколько захватит рука, и это — с одинаковым доверием ко всякому просившему. А когда у него не было денег, он снимал с себя верхнее платье, — писал Е. Трубецкой. — Помню, как однажды глубокой осенью в Москве я застал его страдающим от холода: весь гардероб его в то время состоял из лёгкой пиджачной пары... и из ещё более лёгкой серой крылатки: только что перед тем, не имея денег, он отдал какому-то приятелю все суконное и вообще тёплое, что у него было: он рассчитывал, что к зиме успеет заработать себе на шубу».

Он платил извозчикам по три рубля, хотя в то время, как пишет В. Розанов, за среднее расстояние извозчики брали 20–30 копеек. Он регулярно оказывал внимание какой-то бедной старушке, посылая коробку любимых ею фиников. Он по-братски относился даже к слугам, чем несколько раздражал родственников. Вообще безалаберность, странничество, щедрость и ровное отношение ко всем людям, независимо от их социального положения, состояния, национальности и профессии — типичные черты В. Соловьёва. В 1897–1898 годах в Петербурге он снял какую-то комнатку под крышей, где жил совершенно один несколько месяцев: сам приносил дрова, топил печь, а в комнате у него были только кухонный стол, две дырявые табуретки и складная кровать. Иной раз он спал не то на ящиках, не то на досках, а пить чай ездил на Николаевский вокзал. Таковы свидетельства близкого друга В. Соловьёва В. Кузьмина-Караваева.

А вот что вспоминает сестра философа М.С. Безобразова: «Между тем в другую Пасху мне довелось быть очевидицей следующего: мы жили тогда в одном из переулков Арбата,

и окна нижнего этажа квартиры приходились совсем низко над землей; Пасха была поздняя, окна выставлены; вхожу в столовую и вижу: окно настежь, брат сидит на нем спиной к комнате, спустил ноги за окно на тротуар, и христосуется с очень непривлекательным на вид, грязным, пьяным нищим. А кругом собралось свои и не свои извозчики и с большим утешением смотрят на эту сцену. Смеялись громко и восклицали умиленно: «Ну, что ж это за барин такой задушевный! Что это за Владимир Сергеевич!»

Ещё пример милосердного благородства — уже из жизни российского историографа Н.М. Карамзина. Когда его друзья Плещеевы запутались в долгах, Николай Михайлович продал братьям свою часть имения (всё своё состояние) за 16 000 рублей и тут же отдал все деньги Плещеевым — дал как бы в долг, но никогда о нём не вспоминал. Этот благородный поступок автора «Истории государства Российского» мало кому известен, ещё меньшее число людей способны такое повторить.

Для нынешнего мировосприятия свойственны совсем другие модели поведения. Нам гораздо ближе персонаж из нижеследующего церковного анекдота:

Умер мужик и, представ перед Богом, спрашивает: «Господи, я так и не понял, в чём был смысл моей жизни? Зачем Ты мне дал прожить эти 70 лет?» Бог ему отвечает: «Ну хорошо, а помнишь 30 лет назад ты ехал в поезде «Москва — Челябинск?»» — «Что-то такое вспоминаю». — «Помнишь, ты вечером пошёл в вагон-ресторан?» — «Ну, наверное, пошёл». — «Помнишь, там за столиком напротив сидела женщина с маленьким ребёнком?» — «Кажется, сидела». — «Помнишь, она тебя попросила дать ей соль?» — «Ну, да. И что?» — «И ты передал». — «И что?» — «В этом и был смысл твоей жизни».

Анекдот показателен, ибо смысл нашей жизни в том, что мы дали другим. Это история про то, что мог бы человек почаще отзываться на просьбу или нужду другого человека. Смысл только в том и состоит, чтобы отзываться на нужду ближнего. А когда мы живём глухими и слепыми, когда знаем только себя и своё, тогда смысл может оказаться лишь в переданной соли, а то и вовсе ничего не найдёт Господь для себя в нашей жизни.

Люди, птицы и ангелы

Птицами — рождаются, ангелами — становятся. Некоторые птицы дорастают до ангелов, как и некоторые люди. Поэты могут видеть затейливые стайки птиц и ангелов, летящих куда-то вместе. Птицы — это такие люди, которые не совсем люди, потому что у них — крылья. Если птицу принуждать к человеческой жизни, лишая её права на полёт, птица погибнет. Люди мечтают о крыльях, а птицы — летают. Они — словно переходный вид от людей к ангелам. Животное начало в птицах столь слабо, что их нельзя приручить с помощью корма. Животное дорожит больше всего кормом, птица же больше дорожит крыльями. Полёт роднит птиц и ангелов, но птица больше зависит от полёта. Птица — пленница своих крыльев.

Птица не может дружить с тем, кто стремится подрезать крылья. Заземлять птицу — всё равно что убивать её. Птица может двигаться только вверх, ввысь — к ангелам, любое другое движение для неё губительно. Птицей жить на свете очень больно. Обыкновенные птички намного счастливее людей-птиц. Лучшее, что может сделать птица для своих крыльев, — стать ангелом. Некоторые ангелы носят небо на спине, как улитки — свой домик, и в том небесном домике живут многие птички и люди. Ангелы — служаки и трудаги, у них и небо больше для других, чем для себя.

Люди и камни

Мы злее, чем кажемся, гораздо злее. И порой наша злость здоровее нашей доброты. Не зря сердце и сердиться — однокоренные слова. Сердце начинает сердиться, когда утрачивает своё срединное положение, когда под воздействием тех или иных сил происходит смещение, искривление в какую-то сторону. И это — хорошая злость, полезная, потому что перекося — это нездоровье, искажение, промах, неправда, несчастье. Перекос должен быть обнаружен.

Когда мы хотим быть добрыми (казаться, выглядеть, иметь бонусы доброго), мы лишь имитируем, и оттого вскоре можем явить себя во всей «красе» утратившего равновесие человека.

От чего зависит равновесие? От нас? От внешних обстоятельств? Есть такие обстоятельства, в которых любой рискует стать не тем, кем есть.

Баланс сил — это и есть устойчивость. Если на момент вхождения в полосу травмирующих внешних обстоятельств человек не успел выровняться и сбалансировать себя внутреннего, он неизбежно ощутит перекося — перекосятся. Главное в таком состоянии не забыть о главном — о Царе Сил и Спасителе.

*О душе моя, о душе,
Не забудь Христа.
Не страшись упасть в будущем,
А страшись не встать.
Ну, а если, бесов радуя,
Попадёшь в беду,
Поревнуй упасть, падая,
Головой к Христу.*

Иеромонах Роман (Матюшин)

Наверное, для большинства из нас, перекошенных по умолчанию, как говорится, это единственно достижимая цель — падать головой к Христу. В таком падении не меркнет свет надежды на покаяние и исцеление, ибо своих сил удержать равновесие, находясь в пробуждённом состоянии, никто из нас не имеет. А спящий — не живёт, он спит. Ему, разумеется, проще переживать травмирующие обстоятельства: они до него как бы не вполне доходят. И пьяный меньше повреждается при падении, чем трезвый; и живой душой человек скорее будет изранен, чем неживой. Так ведь и смерть как бы не страшна мёртвым — они уже мертвы. Или ещё мертвы.

Искусство падать головой к Христу — это христианский способ выжить для живых, хитрость, если хотите, лазейка в жизнь из мрака почтинебытия, когда на борьбу с тьмою не хватает сил.

Важно следить за собой, чтобы не перегорить никому дороги, чтобы не стать причиной чужого падения. Надо стараться не изображать несуществующую добродетель (не лгать), а просто убежать от зла, ибо скорее оно нас победит и переформирует, чем мы его. «Уклонися от зла и сотвори благо» — это гораздо более глубокие слова, чем нам кажется. Уклонение от зла и есть наше благо — на другое мы не способны. А опыт свидетельствует, что даже уклониться от зла вполне нам не дано, пока не восторжествует в нас Христос, пока не станем божьими — святыми.

В теории, мечтательно, мы видим себя праведниками, хотя и пугаемся этого слова как бы из смирения. Но мы хороши лишь потому, что ничего по-настоящему неприятного миру не совершаем. Мы вписываемся в шаблоны мира, ему удобно с нами, и потому мы кажемся себе хорошими. До первой реальной встречи со злом мира, восстающим против нас. Иногда до второй или третьей — определённая устойчивость у каждого из нас имеется, если мы не по-скотски живём. Но устойчивость эта весьма ограничена.

Встречаются люди, которые видят себя камнем, способным перегорить реку. И самое странное, они сознательно выбирают себя таким камнем. Как Шайтаныч из фильма Петра Точилина «Хоттабыч». Помните этого всеобщего «обломщика», умевшего читать чужие мечты и заклинавшего «Никогда, никогда ты не будешь...». Шайтанычи видят себя пупами земли и царями вселенной, а потому действуют исключительно в личных, корыстных интересах. Чужие мечты для них — лишь повод посмеяться над более слабыми. К сожалению, их проклятия могут осуществляться. Убить всегда проще, чем родить и взрастить. Убивать, если ты шайтаныч, легко и приятно. Даже о вере такие шайтанычи мыслят по-своему: мол, давным-давно такие же, как они сами, богатые и преуспевающие люди, сумели обмануть глупый плебс, навязав ему религию. Мол, это форма порабощения трудовых масс — и только.

Самосвал камней в русле каждой реки, три самосвала, сто три... — только бы перегорить реки, которые текут самочинно, без их, шайтанычей, «благословений» и не приносят никакой прибыли делу шайтанычей. Поглядишь на усердие этих «камней» на до-

роге человечества и понимаешь: рано или поздно все реки исчезнут. Лишь одну реку им никогда не удастся завалить своей жадностью — реку любви Христовой. И пока эта река будет течь в наших сердцах, никакие шайтанычи не страшны. Беда в том, что мы и сердца свои подчиняем им. Мы соглашаемся преградить путь и реке Христовой, без которой ничто на земле не устоит. Эта благодатная река милости Господней — единственно ценное что есть. Её воды способны облагородить немощное человеческое естество, которое даже удержаться от зла вполне не в силах, если не поможет Господь. Посюсторонние шайтанычи не имеют доступа к этой святыне души человеческой, потому их мёртвые души не верят в неё. И даже допуская возможность её существования, их усилия направлены только в одну сторону — положить камень в русло, не допустить свободного истечения в мир какой бы то ни было формы жизни. Они хотят себе её присвоить, чтобы наделять или не наделять жизнью по своему усмотрению. Не будучи в состоянии пить сами, они всецело желают запретить это другим. Или же... хотят всё оставить только для себя.

Пути ангельские

Бывают жизненные обстоятельства, из которых нет выхода иного, кроме как путями небесными, ангельскими. Пути небесные — чудо, тайна и обыденность живущих во Христе. Ходить путями ангельскими — всё равно, что путешествовать по солнечным лучам.

Вы только представьте эту картину. Перед человеком разверзлась пропасть — бездна, жаждущая поглотить все его земные пути и надежды, стремящаяся умертвить в нём жизнь холодом безысходности. А человек просто шагнул не на твердь земную, а на твердь небесную, воистину твердь, — и спасся, и пошёл во свете и тепле, согретый милостью Господа и ангелов Его.

Пути небесные — дар Всевышнего, каждый может найти в себе дверь, выводящую на светлую дорогу, которая удержит лишь ангела. Да, надо стать ангелом для того, чтобы суметь пройти по ней земным ангелом. Ангел в словаре Ожегова определяется как служитель Бога, исполнитель Его воли и Его посланец к людям — самое подходящее для нас определение. Потенциальная возможность стать таким ангелом сокрыта в каждом человеке. Надо только подняться над земными своими интересами, над житейскими суетными потребностями, надо обратиться к лучшему себе, к высшему в себе — ко Христу в нас, ибо Христос и есть та Дверь во святилище души, куда мы должны принять Его — «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется» (*Ин. 10:9*); «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через меня» (*Ин. 14:6*).

Человек похож на многоэтажный дом. В нём есть и подвальное помещение — ад, преисподняя, открыв которую в себе, человек уподобляется бесам. В нём много комнат и на этаже человеческого бытия, в котором мы обретаем себя как человека, собираем по крупичкам свою человечность. Есть и высший уровень бытия — ангельский. О нём апостол Павел сказал: «Уже не я живу, но живёт во мне Христос» (*Гал. 2:20*). На этом этаже человек обретает истину и свободу — «Люби Бога и делай, что хочешь» (*Блж. Августин*).

Каждый из нас постоянно носит в себе возможность ада и рая, и порой мы перемещаемся с высшего этажа на самый нижний, подвальный. Мы — нестабильны в своих состояниях и потому святой может пасть, утратить ангельские приобретения, и даже может обратиться в земного беса: чем выше был этаж, с которого падает подвижник, тем ниже он рискует оказаться. Непадательность — свойство, не присущее земным ангелам.

Любовь к Богу рождает в нас свет, любящий Христа всем сердцем уподобляется Солнцу Правды — Христу, и становится как бы Его лучом. Солнце-Христос освещает мрак жизни, и Его лучи, вырывающиеся наружу из любящего человеческого (ангельского по сути) сердца, становятся путями небесными, сияющими для всех ищущих и жаждущих. Пути небесные так и проходят — лучами, от сердца к сердцу. Этот живой свет любви и есть путь. Каждый, вместивший его, становится как бы Атлантом, держащим общее для всех небо.

Небо — это Христос в нас. Пока горит в нас Солнце Правды, пока тянутся из нашего сердца лучики Божиего света навстречу ближним. Лучи, как руки, тянутся к людям, ибо

Христос есть в каждом, и Он жаждет быть. Видевший в другом свет Христов и возжелавший его, начинает искать его, и так открывает в себе чудо жизни во Христе. Пути небесные — это призвание. Жаждающие Истины рано или поздно откроют в себе дверь и впустят в дом своего сердца рай. Блажен принявший Христа как Царя — из его сердца идут тысячи лучей, по которым могут пройти во спасение многие.

Но как только человек отягчает свою душу чем-то низменным, не достойным путей небесных, его сердце отяжелевает, окаменевает и падает вниз подобно камню, разрывая пути небесные, словно паутину. Но путь не рушится, не падает, потому что удерживается многими верными, в том числе почившими в Боге и уже достигшими непадетельного состояния. Путь зависит одновременно от всех, кто с Богом и в Боге. Тяжелый камень летит вниз, а лёгкий воздушный путь затягивает свои раны, заштопывается другими лучиками света и далее живёт высокой любовью верных. Путь необходим верным, и только верные спасаются, шествуя по жизни путями небесными.

*Чем ночь темней, тем ярче звезды,
Чем глубже скорь, тем ближе Бог...*

А. Майков

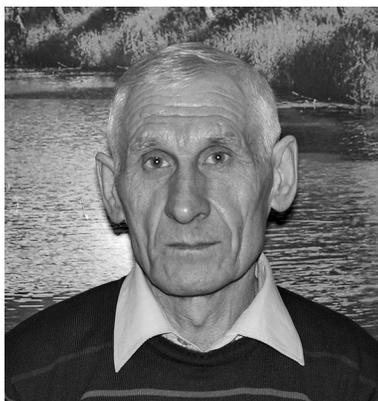
Да, чем глубже скорь, тем меньше шансов выжить на обычном человеческом уровне. Порой такие испытания приходят, что без возвышения их невозможно перенести. Чем невыносимей существование на уровне обыденном, тем активнее люди ищут чего-то иного, спасительного. В лихолетье одни уходят от мучающей совести и человечности в подвал своей личности, чтобы не страдать: жить низменным, ненавидеть и злиться им проще, чем любить и сострадать. Другие, наоборот, в трудных жизненных обстоятельствах поднимаются на самые высокие этажи, ища защиты и спасения в Боге. Мученики за Христа, оказавшиеся в вечности на пике своего восхождения сродни крепким гвоздям, которые навсегда пригвоздили небесные пути к земным человеческим. Они, обретшие уже непадетельное состояние, крепко держат небесные пути для тех, кто ещё недостаточно совершен. Сила их любви, жаждущая служения, хранит небесные пути для нас во имя Христово.

Лучший способ удержаться на путях небесных, ангельских — хранить чужое небо. В Патерике есть такой рассказ: «Спросил некто старца: почему имеющиеся ныне между монахами подвижники не получают благодатных даров подобно древним? Старец отвечал: потому что тогда была любовь и каждый подымал ближнего своего вверх; ныне любовь охладела и каждый влечет ближнего своего вниз. По этой причине мы не устаиваемся получить благодати...»

ПОЭЗИЯ



МИХАИЛ КРИВОШЕИН



Душой написанные строчки...

Наверно спился б я давно
Иль сгинул где-нибудь на БАМе,
Когда б не маленькое «но»
С прохладно сладкими губами...

Николай Зиновьев

Душой написанные строчки
В тетрадь большую перенёс.
Погладил мятые сорочки,
Слегка подправил прядь волос,
Затем налил на кухне чаю,
Взглянул в раскрытое окно.
Так и живу, не замечая
Своё не маленькое «но».

КРИВОШЕИН Михаил Николаевич, поэт, родился в 1952 г. в г. Чите. Окончил школу-интернат № 5 на ст. Карымская. Учился в Читинском ГПИТУ № 7, продолжил учёбу в Улан-Удэнском индустриально-педагогическом техникуме. Преподаватель Балаганского профессионально-технического училища. Печатался в журналах «Сибирь», «Северо-Муйские огни», в «Иркутском альманахе», в альманахе «Белая радуга». Автор четырёх книг: «Играй, мой баян», «Есть такое село», «Песня утренней зари», «Переправа». Живёт в Балаганске. Член Союза писателей России.

* * *

Как ягоды спелой брусники	Смыкается в сладостной боли
Сбираю в пригоршни года.	Осмысленной зрелости круг.
И взбалмошной юности клики	И пусть моя старость поспешно
Всё дальше уносит вода.	Взяла ей положенный старт —
Личинки прожорливой моли	Я с юностью спорю успешно,
Во тьме всполошились вдруг.	В глазах сохраняя азарт.

* * *

Околица да пряный запах мёда	Широкой лентой пчёлы тянут в поле.
От полновесных выбеленных сот.	Наперекор капризам ветерка
Ухоженные грядки огорода,	Их с капелькой нектара встретит вскоре
В колочках острых розовый осот.	Открытый рот беззубого летка.

* * *

Подбитые камусом лыжи,	Скрывают распадков страницы
Ружьё да рюкзак за спиной.	Следами исчерченный снег.
И нет мне роднее и ближе	Семейка косуль вереницей
Простецкой избушки лесной.	Подлеском прошла на ночлег.
Две нитки лыжни в косогоре —	Избушка под крышей тесовой,
Песчинки морозного дня.	Крадущихся сумерек хмарь.
Ворона на ветхом заборе	Испуганно с ветки сосновой
С опаской глядит на меня.	Слетел краснобровый глухарь.

* * *

Внукам Мише и Артёму

Разрезая стекло водоёма,
Катер гонит волну в берега,
Где с причаленных сходней парома
Удит рыбу с утра мелюзга.
Утомлённые долгой дорогой,
Задремали мои сорванцы.
На виду деревушки убогой
Двух сетёшек бросаем концы.
Стайки рыб суетятся игриво
И снуют меж подводных камней.
И степенно по глади залива
Проплывают горбы окуней.
Торопливо настроили снасти —
Удилище, катушка, блесна.
От прилива волнующей страсти
Внуки враз отошли ото сна.
В них застенчивой робости нету,
Лишь в глазах озорных огоньки.
И пронзённые гибельным светом,
В пасть ведёрка летят окуньки.

* * *

Уже слезам берёзовым не течь, Весны моей прочитана страница. Стараюсь в зыбкой памяти сберечь Былых друзей улыбчивые лица. Скворцы вот прилетевшие кричат, Родным скворешням радуясь, как дети.	А что друзья... Друзья давно молчат, У них, видать, там игрища в запрете. Я поскользнусь на праведном пути — Кто из друзей плечо своё подставит?! До встречи с вами долго мне идти, Случись беда — надежда не оставит.
--	---

* * *

Уложили мы бережно вещи, Загрузили наш катер сполна. Взяв судёнышко в зыбкие клещи, Бьёт по левому борту волна. След бурунный — последняя точка Хрупкой связи с причалом родным. И пусть краткая с домом отсрочка Будет радостью внукам моим. Деревушка на рыжем пригорке Прикорнула в полуденный час.	Стрекотанье рыбацкой моторки Этот сон потревожит подчас. Голубых облаков занавески Выткал к вечеру день про запас. И жирующей молодежи всплески Ещё долго преследуют нас. До потёмок ершистые сосны Держат в лапах-ветвях небосвод. И слезинками падают блёсны В сиротливую матовость вод.
---	---

* * *

И однажды, прижатый к стене
Безобразьем, идущим по следу...

Н. Рубцов

Волчью сущность вовек не проймёшь Уговорами, ласковой речью — С нескрываемой злостью пальнёшь Из двустоволки трёхрядной картечью.	В иступлённом бессилье начнёт Грызть железные прутья решётки. И забывшись в томительном сне, В забытии сбросит шкуру овечью. Безобразьем прижатый к стене, Пусть почувствует боль человечесю!
--	--

* * *

К 80-летию школы-интернат № 5 ст. Карымская

Уютный двор и тополя, Крыльца широкие ступени. По ним носились мы, шая, Во власти новых впечатлений. Но не всегда был полон двор, Пустел, бывало, ну хоть тресни. На перемене сводный хор На школьный смотр готовил песни. И шёл в ту пору разговор, Что в моду входит мирный атом, А мы на сцене жаркий спор Вели с соседним интернатом.	Наш духовой оркестр блистал Игрой «Прощание славянки». И замирал просторный зал Внимая ритмам «Варшавянки». Трава от инея бела, Сентябрь в права входил натужно. Оставив школьные дела, Копали все картошку дружно. И до Кадахты шли пешком, И в том не ведали печали. И с каждым маленьким шажком Нас к взрослой жизни приучали.
--	--

Работать было нам не лень, Мы слова этого не знали. По два рядка пройти за день С трудом, но все же успевали. Была теория права — Труд в школе должен быть основой. И каждый класс пилил дрова Для интернатовской столовой.	Потом сучили дратву-нить — Сапожник школьный дядя Костя Худые валенки чинить Учил нас буднично и просто. Уютный двор и тополя, Крыльца широкие ступени. Носились, помню, мы шаяля, Во власти новых впечатлений.
--	--

* * *

...Да жердина упавшего прясла

В. Козлов

Жердина упавшего прясла
Напомнит о жизни былой.
Бурлила, горела, угасла —
Тщета, запустенье, покой...

Державную святость полыни
Затмили снега лебеды.
Немое свидетельство ныне —
Слепой отголосок беды.

* * *

Пожухла рыжая осока, Осенний пруд сковало льдом. Вставай, несчастный лежебока, Трещит сорока за окном!	На пруд весёлою гурьбою Спешит с коньками ребятня. Витиеватою резьбою Украсить пруд не хватит дня.
Полениц строй измерь шагами И подсчитай в кубах дрова. Уже хрустит под сапогами В стеклянном инее трава.	Глядит с восторгом сумрак алый, Присев на темечко пенька, Как крошит лёд металл стоялый И режет лезвием конька.



АЛЕКСАНДР ДОНСКИХ



Широка страна моя родная...

РАССКАЗ

1

Ярко, но и тяжело помнился и умом и сердцем Афанасия Ветрова один жуткий день, поворотивший его жизнь.

Однажды, в мае 53-го, в том чудесном солнцегревном мае, когда яростно набирались цвета черёмухи, а подснежники и багульники уже рассыпались своим скромным и ласковым первоцветом по земле сибирской, Афанасия, в те поры секретаря райкома комсомола Иркутска, на несколько дней направили с комсомольским студенческим десантом на стройку, развернувшуюся тотчас после окончания войны у реки Китой невдалеке от её впадения в Ангару. Нужно было «аврально-ударно», «с огоньком», так понапутствовали их в райкоме партии, подсобить на вспомогательных работах — заливке бетона, перетаскивании бруса и досок, «ну, и всего такого прочего».

Сама строительная площадка — соцгородок (социалистический городок) и промзона (промышленная зона), которые несколько позднее стали повсеместно известны, соответственно, как город Ангарск и АНХК — Ангарский нефтехимический комбинат, была огромна, что там — грандиозна, с размахом на другой десяток километров. Афанасий и его парни комсомольцы впервые здесь оказались — сидя на занозистых лавках в открытом кузове грузовика, лихо подпрыгивавшего на кочках разбитой гусеничной техникой дороги, ошалело озирались от самой Суховской. Охали и ахали:

— Фу ты, чёрт, во наворотили!

— Ну, братцы, страна даёт!..

ДОНСКИХ Александр Сергеевич, прозаик. Родился в 1959 г. в с. Малая Хета полуострова Таймыр. По образованию филолог. Автор романа *«Родовая земля»*, повести *«Солнце всегда взойдёт»* и др. произведений. Живёт в селе Пивовариха Иркутской области.

Куда ни глянут — нескончаемо возводятся объекты: дома и цеха, мосты и виадуки, водонапорные башни и многометровые дымовыводящие трубы, тянущиеся выше и выше. Бульдозерами пробиваются в лесных чащобах и следом обустроиваются дороги, вбиваются железобетонные сваи, устанавливаются столбы, поднимаются растяжками мачты высоковольтных линий, монтируются провода и трансформаторные будки, и невесть что ещё творится вокруг и всюду. Грохочет, дымит, рычит, скрипит, семафорит всяческая техника, только что, можно, наверное, было подумать, самолётов нет. Снуют туда-сюда, как муравьи, люди, облачённые в робы и кирзачи. Кумачовым ором отовсюду, чуть ли не с самого неба, величают и зывают плакаты и транспаранты:

*Партия и народ — едины!
Да здоровствует великий Сталин!
Рабочий, тобою гордится страна Советов!
Даёшь 6-й пятилетний план в три года!*

А из репродукторов рвёт кондово-смолистый, густо-прелый воздух недавно оттаявшей тайги:

*Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек...*

И дым, и пар, и свист, и крик, и лязг, а кругом в необозримости вселенской — тайга, великая, безбрежная тайга, она горами-волнами накатывается и откатывается, будто ещё может пребывать в сомнениях: отдать ли людям свои приволья и леса?

Вдали, словно бы отстранена от всего мира и суетности людской, кажется Афанасию, что россыпью зеленцеватых драгоценных камней лучится в небеса Ангара, будто и не река она, а наряженная царевна, владычица этих просторов и богатств. Афанасию представляется, что у реки его любимой какая-то другая жизнь: сковываемая растущей дамбой (перемычкой) в Иркутске, подчиняемая там человеку, здесь она — всецело вольна, величава, привередлива, поворачивает свои воды как ей хочется, по какому-то своему умыслу тысячелетиями торя русло в неведомые далёкие земли Севера. «К Переяславке бежит, — ласково подумалось парню о своём родном селе. — А потом — к Енисею, своему жениху, и вместе попрут к океану. Природа!»

Заметили сразу, потому что и невозможно было не заметить, очень высокие, безобразно вычерненные и покоробленные солнцем и непогодами заборы, увенчанные накрутками колючей проволоки, с торчащими смотровыми вышками, на которых бдят солдаты с автоматами. За заборами, с высоты кузова, проглядываются седо-серые шеренги неказистых бараков, однако встречаются и необычные строения — юрты, но нелепо огромные, щелисто дощатые. Ясно, зоны. Зона на зоне. Слышал Афанасий, что помимо вольнонаёмных работников на стройке трудятся и заключённые, однако никак не ожидал, что лагерей столько много. Понятно, что здесь десятки тысяч невольников.

У одного из строений, какого-то склада, машина затормозила. Спрыгнули на землю. Размяться бы, стряхнуть пыль с себя, повынимать занозы, да из-за заборов тотчас обвалились звуки, перебивая желания и недомогания: озлобленный лай собак, рубленные командные окрики, вязкий и тяжкий топот сотен ног.

— Смотрите, смотрите, ребята, заключённых ведут!

— Где, где?!

— Тихо вы, горлопаны! — с начальственной строгостью прищекнул Афанасий.

Но сам, однако, весь вытянулся, даже, будучи изрядно рослее своих подопечных, на цыпочки привстал, чтобы получше рассмотреть, как по длинному коридору из колючей проволоки конвойные с раззадоренными, науськанными собаками гнали чёрными пыльными шеренгами заключённых из жилой зоны в промышленную — на строящиеся многоэтажные дома, по периметру целого квартала обтянутые колючей проволокой. Афанасий жадно всматривался в лица заключённых, впервые в жизни им увиденных, — сплошь безобразно серые, мертвенные, задеревенелые.

Эти люди, представилось ему, точно какая-то однообразная жидко-грязная масса, и

она словно перетекала из одного места в другое. И воли у этой живой консистенции нет как нет: куда подтолкнут, накренят чашу жизни — туда и течёт, переваливается всей своей тяжкой грузностью.

Афанасий заметил: какой-то горбоватый, безобразно отошальный, с неестественно маленьким, как будто засохшим, личиком старик-арестант перед тем как со всей колонной унырнуть внутрь подвала строящегося здания замедлился на пару-другую мгновений, поднял голову и посмотрел, точно в последний раз, на небо.

Небо жило в нежной юношеской недоразбуженности этого раннего тёплого утра. Его искрасна подкрашенный восходящим солнцем лазоревый купол уже поднялся неведомыми, но могучими силами довольно высоко и будет раздвигаться ободом окоёма всё шире, подниматься куполом всё выше, в какую-то беспредельность свободы и величия.

Неожиданно к этому жалкому, возможно, доживающему свои последние дни старику подскочил сопровождающий окриками и тычками колонну заключённый, видимо, бригадир, хотя и упитанный, но такой же серый, и — пинком его. Старик, с внешне шутовской подскочкой лёгкого предмета, подпрыгнул и выстелился на строительном мусоре.казалось, что не встать ему уже, не жить, не видеть более этого чудесного, вечного неба. Однако он, как нередко случается с затравленными зверьками, переполошно подскочил на ноги и что было сил метнулся к чёрному зеву подвала. Бригадир успел ещё разок подцепить свою жертву сапогом и даже хватить кулаком по спине. Всё это он проделал в какой-то мрачной весёлости, очевидно, на усладу себе и на потеху конвоирам, которые, ласково потрёпывая скулящих собак, благодушно посмеивались.

У Афанасия невольно сжались кулаки.

К нему и его комсомольцам подошёл бойким шагом бравый мужчина в спецодежде, в заливчатски заломленной, захватанной кепке, с погасшей и обмусоленной на мундштуке «беломориной» в углу рта:

— Здорово, что ли, комсомол! Молодцы, что приехали! Нам помощники до зарезу нужны. Три дня ударно поработаете — каждому по грамоте выпишу. Ударно! Уговор? Кто у вас старшой?

— Ну... я, — мрачно отозвался Афанасий.

— Я тебе не лошадь — не нукай. Чего такой кислый, командир?

— За что того старика?

— А-а, брось, не бери в голову! У эка свои законы. Потому их с собаками и под прицелом водят, что они и сами уже зверьё лютное.

— Зверьё? — как судорогой, повело щёку Афанасия.

— А что, не зверьё, думаешь? Зверьё, зверьё, говорю тебе. Я тут с ними уже пятый годок маюсь — только из-под палки и способны работать. У нас, вольнонаёмных, жёсткий план, а они, сволочи, раз за разом срывают его. Им что, хоть работай, хоть не работай — срок один хрен отмачивается назад. А у нас — государственный план. Государственный! Понимать надо, братишка. Ну, хорош кукситься, всякую кислую достоевичину с тухлой поповщиной мне тут разводить! Давайте-ка знакомиться, что ли, — прораб Захарьин Иван Степанович. Под моим чутким руководством три этих денька-денёчка и поработаете. Пойдёмте, покажу вам бытовку, где будете отдыхать и поночёвничать. Покормим вас и-и — на стройучасток шагом арш! Ну-кась, ладошки покажите, хлопцы! Ай, розовенькие какие! Маменькины сыночки, видать, все вы. Загнать бы вас на зону на недельку-другую — людьми бы, глядишь, вышли оттуда. Испужались? Шучу, шучу! Я и сам боюсь туда угодить. Порой план трещит по швам — вот и ночами маешься, да так, что и про жёнку забываешь, а она, родная душа, под боком сопит, посапывает. Мыслишка так и свербит мозгу мою: вот-вот постучат посерёд ночи, загребут, скрутят, печёнку да почки отшибут и — хана мне. Папиросу за папиросой смолишь, всю подушку затрухаешь — жёнка утром свирепеет. Поэтому план — и наш бог, и чёрт в одном лице. Молимся, выходит, и Богу, и чёрту. Ну, хорош лясы точить. Айда в бытовку, племя младое, незнакомое! Шагом арш! Эй, конвойные, собак сюда! Шучу, шучу, хлопцы! Ать-два, левой, ать-два, левой!..

«Тоже мне, массовик-затейник, — притворялся сердитым Афанасий, но Иван Степанович ему явно глянулся. — Сейчас, чего доброго, на кладбище приведёт нас и пляски устроит. Н-да, кому горе, кому потеха. Эх! Пойми нас, человек...»

Проходили дорогой по вдоль забора жилой зоны. Обочина и кювет, как припорошенные снегом, в каких-то клочках бумаги.

— Записочки... с того света, — охотно пояснил Захарьин, зачем-то расшвыривая сапогом бумажные навалы.

— Что? — не понял Афанасий.

— Мимо этого забора вольный народ на работу и с работы ходит, а зэка денно и ночью записочки подбрасывает: жалобятся, сердешные, на своё житьё-бытьё, просят переслать письмо их родственникам, денегат да харча выканючивают: перебросьте мол, сердобольные граждана, через забор. Находятся жалостливые — чего-нибудь бросают им... как собакам. Но узрит постовой — может и пальнуть. И не в воздух, а сразу по цели. Тут у нас порядки ещё те!

Афанасий, как и ещё несколько парней, подмахнул рукой одну из бумажек, пожухлую, как палый лист, видимо, уже давно здесь лежит. Развернул: «Здравствуй, добрый Человек! Я, Ильенко Александр Петрович, ни за что ни про что десять годов мыкаюсь по лагерям. На тюрьме гнобили меня два с лихвой годка. Выколачивали, чтоб братовьёв своих сдал с потрохами. Что-де они колхозные вредители и ненавистники колхозного строя. Не сдал. А братовья после ушли на фронт. Сложили головы за Вождя и Отечество. А меня кинули в Тайшетлаг. Гнил в болотах на торфяниках, лес валил и корчевал. Обморозился, нутря застудил смертно. Потом лазарет. А там благота заправляет. Бугаи месяцами отлёживаются, спирт хлещут, медсестрёнок насилуют. Однажды ночью они нас, доходяг, подвели к раскопчегаренной печке. Накалили тавро в виде звезды. Сказали, если дёрнитесь — пёрышком брюхо вспорем. И — калёным железом всем нам, доходягам, на ж... по звезде выжгли. Сказали, от коммунистов вам по звезде героя Советского Союза. Я чуть не помер, а они ржут. Потом — Китойский ИТЛ, вот эта промзона. Вроде ничё, кормёжка — не баланда, да норма выработки мне уже не по силам, кровью я харкаю, спину едва-едва разгибаю. Товарищи! Невмочь уже измывательства и пытки терпеть. Особенно люгуют чечены и ингуши. Все хлебные должности скупили, собаки, нам, русским людям и другим нациям, никакого продыху не дают. Товарищи, пожалуйста, напишите нашему дорогомому Вождю и Учителю товарищу Сталину! Сообщите ему о невмочной доле честного зэка...»

Афанасий смял бумажку, но не выбросил — в кулаке держал. «Помер вождь!» — подумал, зачем-то взглянув в сторону промзоны, где трудились заключённые.

— Чего, паря, там нацарапано? — поинтересовался Захарьин. — Плачутся, поди? Эт-т они мастера ещё те, а чтоб поработать на славу — дудки вам! А ты чего с лица-то спал? У-у, не с привычки, молод ещё! Ну, ну... А я уж, брат, тут, кажись, зачерствел в корень. Из меня жалость не вышибешь даже, пожалуй, кувалдой... А вот она и ваша бытовка. Располагайтесь, переодевайтесь в робу, потом — шагом арш в столовку и — на участок. Во-он к тому домику подойдете. Я вам наряд на работы выпишу. Ну, бывайте. Да выше нос — коммунизм как-никак строим! А то записочку прочитал — и скуксился.

— Да я не... я ничего... я так... — бормотал смешавшийся и густо покрасневший Афанасий.

— Ну, ну, рассказывай мне, стреляному воробью, — хитро подмигнул Захарьин. Но неожиданно склонившись к самому уху парня, жарко выдохнул: — Да у меня, братишка, у самого нутро переворачивается, когда я читаю их чёртовые писульки. Что ж мы творим, что ж мы творим, ироды рода человеческого! — И снова, неожиданно и бодро: — Выше, выше, ещё выше нос! Не сегодня-завтра — коммунизм, а вы тут развели, понимаешь ли, поповщину с достоевщиной!

Допоздна Афанасий со своими комсомольцами на лесопильном заводе подкатывал и затягивал на транспортёрную ленту брёвна. Звенели и трубили пилорамы, раскраивая туши брёвен. Весёлым роем вылетали из станков и пуржили опилки. На выходе, на погрузочном пятачке, — солнечно-жёлтые новорожденные крепьши-бруски. В воздухе бродил молодой, терпкий дух смолы и корья. Работалось бодро, радостно, спору, с доброжелательны-

ми подначками друг другу, однако мысли Афанасия переваливались в голове тяжёлыми жерновами, словно бы перетирая его ставшими нелёгкими по приезду сюда чувства. Хотелось с кем-нибудь поговорить, да с кем?

Усталые, разгорячённые, пропотелые и пропечённые щедрым солнцем, поужинали, помылись. Многие тотчас завалились в бытовке на нары и лавки. Некоторые поперебрашивались шуточками, поперекидывались «в дурака», пощёлкали по столу домино, однако вскоре отовсюду послышался сонный посвист и храп. «Умаялась моя кабинетная комсомолия», — последним расположился ко сну Афанасий. Тоже утомился, тоже гудели у него кости и мышцы с непривычки к физическому труду. Когда ездил к родственникам в Переяславку помочь по хозяйству, забыл уже, заверченный в своей, понимал с горечью, «бумажной» и «речистой» райкомовской жизни. Уснуть бы, но решительно не спалось. Ворочался, про себя считал, а то и притворно зевал — не помогало.

Наконец, встал, слегка облачился, вышел на воздух. Ночь приветно приласкалась бархатистой прохладой, словно бы поджидала его, не давала сна, как всем. Млечный Путь вольным разбросом звёзд пытливо заглянул в глаза. Стоял под этим прекрасным небом, дышал воздухом тайги. Вроде бы для того и вышел. Но неожиданно, по какому-то внутреннему толчку, как рывку сердца, пошёл. Казалось, не по воле своей шёл, а ноги сами несли его.

Записки, как и Млечный Путь, светятся здесь, на земле, дорожкой. Где-то скулят и подвывают овчарки, где-то уставные выклики и команды: «Рядовой Иванников пост сдал!», «Рядовой Подлузский пост принял!», «Шагом марш!» Афанасий воровато огляделся, сгрёб ворох бумажек, закинул в карман брюк. Ещё подцепил, в другой карман втиснул, чуть не разорвал его.

В бытовке не стал включать свет — в аварийном ящичке свечка нашлась. Вынимал из кармана по одной — читал, темнея или зажигаясь душой.

«Нет тебя, Бог! Нет тебя, Бог! Нет тебя, Бог! Пусть будут прокляты все люди, вся Земля! Мои страдания пусть лягут неподъёмным бременем на всё человечество! Проклятая, проклятая, проклятая жизнь! За что, за что? Я завтра удавлюсь, а вы живите, радуйтесь — жрите, пейте, сношайтесь и испражняйтесь в удовольствие, но вы прокляты мною! Прокляты, прокляты, прокляты! Вы все там, на свободе, вы поганые трусы, приспособленцы, холуи! Вы создали для себя угодливого Бога, чтобы он вас ублажал. Ладно, ублажайтесь! Но вы прокляты, прокляты, прокляты! И Бога настоящего, природного у вас нет и никогда не было и не будет! Потому что вы черви, а не люди! Ублажайтесь, скотьи племена, а я ухожу! Ша!»

«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! Аминь. Люди хорошие, пожалуйста, сообщите моим родным в город Белозерье Архангельской области, на улицу Партизанскую, 45, Душновой Марии Сергеевне, моей благоверной, что я жив и здоров, что верую во встречу с ней если не на этом свете, так непременно на том. А я, кажется, уж скоро сгину. Сообщите ей, где я сижу, чтобы она потом приехала на мою могилку и чтоб мы с ней поговорили. А куда нас, эзков, свозят потом, вы, люди хорошие, знаете. И хотя без крестов и табличек нас хоронят, как собак или скот, да земля-то едина. А если она, голубка моя, окажется рядом где, так я её учую и подманю к моим косточкам. Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! Аминь. Душнов Сергей Павлович я. Не забудьте про меня, люди! И про Бога не забывают!»

«Эй, вы, сучары! Чё тама бродите, зенки пучите на честного эзка? Я, гвардии сержант 8-го полка Краснознаменной Ровненской дивизии, прошёл с кровопролитными боями от Суглинья до Вены, а таперя вы на меня как на зверюгу зырите гляделками своими погаными? Да я вас, вшивогонцы, засранцы, передавлю как курят, только бы выйти мне! Ждите гвардии сержанта, орденосца! Он фашистское гадьё бил, и до вас доберётся, шкуры!»

«Товарищи, умоляю, отправьте весточку моим родным. Напишите: жив-де Иван Прозоров, подал на пересмотр, ждёт благополучных вестей. Адресок: Павлоградская область,

Усть-Каменский район, улица Октябрьской Революции, 128 — 47, Прозоровой Марии Мартемьяновне. Это мама моя. Не забудьте, товарищи, умоляю. Мама у меня сердечница, ей непременно надо знать про меня. Я один у неё. Понимаете, один как перст. Прямо вот сейчас и напишите. Ноги ваши буду целовать. Маму спасите. Одна она у меня, и я у неё один. Напишите, письмо в почтовый ящик спустите. Вам же не трудно! Она у меня сердечница, мама моя. Не забудьте!»

Вырезанные из газеты буквы наклеены на бумагу:

«Я бандеривец. Я в котлах варив ваше росийске мясько живцем в лисах Прикарпаття. Ми не здалися. Ми ще нагадаемо вам про себе. Ми перейдемо Днипро и вашу ё... Москву зитримо з лица земли. Великому визволителю народив Гитлеру помешали морози, а нам помешает тильки наша смертынька. Никто не забыт, ничто не забыто, — ваши слова? Ну, ми у вас их займемо на час. Ждите нас, ё... москали».

«Братушки, людиё, от сердца лекарства какого-нить не забросите? Маюсь сердцем. В лазарете фельдшар баит: дуру, мол, гоню я. Ишак он, коновалом работал на воле. 18 апреля буду стоять, как пёс, у забора с 18.00 до 19.30. Пожалуйста, перебросьте хоть чего-нить! Подыхаю».

«Товарищи, пропишите в Политбюро, и куда ещё надумаете, што неможно ужо терпеть изымательства чеченов и ингушей. Ента проклятая нерусь купила на зоне все хлебные должности, и теперя гнобит и давит нас, быдта тараканов. Пайки урезают, в лазарет не попадеш, пока не отстегнеш им. Сами, сволочи, не работают, а нам наряды выписывают неподъёмные. А не исполнишь — карцер получи, сука. Избивают и унижают нашего русского брата за малейшую провинность. Да и хохлов гнобят с братьями нашими грузинами. С лагерным начальством живут вась-вась, магарычом их, сучар, задобряют. Жалуйся не жалуйся один х... выходит. Пособите, товарищи! Мы ведь с вами советские люди, а тут какой-то рабовладельческий каземат, а не строй наш советский, самый гуманный и справедливый в мире. Верю, Советская власть наведёт порядок!»

«Бей жидов, спасай Расею!»

«Господи Иисусе Христе, помоги мне, грешному рабу, справиться с жизнью тяжёлой, душа моя стонет, душа моя грешная помощи просит. Помогите мне, Отец мой Небесный, дай силы мне, душу очисти от скверны мирской. Пусть мысли мои к Тебе обратятся. Погибаю, спаси меня, грешного, в мире тяжёлом, где много насилия, разрухи, войн. Спаси мою душу от дьявольской силы. Не дай ей погибнуть от насилия чужого, ненавистного моей православной душе. Господи, прости мне грехи. Господи, помилуй мя, грешнаго. Помогите мне справиться с дьяволом во мне. Хочу я молиться, хочу быть ближе к Тебе, хочу быть рядом с Тобой, молитвы читать Тебе о спасении души моей грешной. Прими молитву мою, грешного раба Твоего. Прости меня, грешного, прости мою душу раба недостойного. Хочу я молиться всё чаще и чаще, молиться Тебе, Отец мой Небесный. Не отвергни молитв заблудшего в вечных страданиях грешника. Спаси меня, Боже, душу очисти от силы жестокой, от дьявольских козней. Погибну я, грешный, без Тебя, Иисусе Христе. Помогите, умоляю, дай силы мне справиться с силой чужой — силой зла и жестокости. Молюсь я Тебе, прощения прошу и помощи душе моей грешной. Славлю Тебя, молюсь, помогите. Слава Тебе, Боже мой, слава Тебе.

Граждане, братья и сестры, занесите мою записочку в храм, передайте батюшке. Да свечечку поставьте, ради Христа».

«Чеченов буду резать, а кровь их поганую спаивать собакам!»

«От Солоницына Ивана послание. Передайте родным моим, что я ни в чём не виноват. Что не шпион я, а был и остаюсь простым русским слесарем с трубного завода в Николаевске. Сюда напишите: гор. Николаевск-Слободской, ул. Яловицкая, 17, кв. 5, Солоницыной Марии. И ещё сообщите, что люблю я её крепче жизни. Вот всё. Эх, ещё охота сказать! Ещё много чего охота передать зазнобе моей. Да как сердце вынуть перед чужими людьми? Уж простите. Отпишитесь. Молю вас».

«Люди, я люблю вас! Вы — счастливые. И долго вам в счастье жить-поживать желаю! Пётр я из 3-его отряда. Крановщик я с Победовской промзоны. Подходите, помашите рукой, а я — вам. Може, улыбнёмся друг другу. Ничё, граждане дорогие, живы будем — не помрём».

К напечатанному на машинке двухстраничному блеклому, замусленному до крайности тексту неразборчиво, кажется, левой рукой, было приписано:

«Мы тут тоже просвещаемся, мы тут тоже готовимся. Читайте, товарищи, и думайте! Думають-то головой, а не ж...! Забыли или не знали, что ли?»

Затем следовал отрывок, видимо, из повести:

«...Дальше кулак встречался гуще. Уже через три двора медведь зарычал снова, обозначая присутствие здесь своего классового врага. Чиклин отдал Настю молотобойцу и вошел в избу один.

— Ты чего, милый, явился? — спросил ласковый, спокойный мужик.

— Уходи прочь! — ответил Чиклин.

— А что, ай я чем не угодил?

— Нам колхоз нужен, не разлагай его!

Мужик не спеша подумал, словно находился в душевной беседе.

— Колхоз вам не годится...

— Прочь, гада!

— Ну что ж, вы сделаете изо всей республики колхоз, а вся республика-то будет еди-ноличным хозяйством!

У Чиклина захватило дыхание, он бросился к двери и открыл ее, чтоб видна была свобода, он также когда-то ударился в замкнувшуюся дверь тюрьмы, не понимая плена, и закричал от скрежещущей силы сердца. Он отвернулся от рассудительного мужика, чтобы тот не участвовал в его преходящей скорби, которая касается лишь одного рабочего класса.

— Не твоё дело, стервец! Мы можем царя назначить, когда нам полезно будет, и можем сшибить его одним вздохом... А ты — исчезни!

Здесь Чиклин перехватил мужика поперек и вынес его наружу, где бросил в снег, мужик от жадности не был женатым, расходуя всю свою плоть в скоплениях имущества, в счастье надежности существования, и теперь не знал, что ему чувствовать.

— Ликвидировали?! — сказал он из снега. — Глядите, нынче меня нету, а завтра вас не будет. Так и выйдет, что в социализм придет один ваш главный человек!

...Ликвидировав кулаков вдаль, Жачев не успокоился, ему стало даже труднее, хотя неизвестно отчего. Он долго наблюдал, как систематически уплывал плот по снежной текущей реке, как вечерний ветер шевелил темную мертвую воду, льющуюся среди охладельных угодий в свою отдаленную пропасть, и ему делалось скучно, печально в груди. Ведь слой грустных уродов не нужен социализму, и его вскоре также ликвидируют в далекую тишину.

Кулачество глядело с плота в одну сторону на Жачева; люди хотели навсегда заметить свою родину и последнего счастливого человека на ней.

Вот уже кулацкий речной эшелон начал заходить на повороте за береговой кустарник, и Жачев начал терять видимость классового врага.

— Эй, паразиты, прощай! — закричал Жачев по реке.

— Про-щай-ай! — отозвались уплывающие в море кулаки.

С Ордвора заиграла призывающая вперед музыка; Жачев поспешно полез по глинистой круче на торжество колхоза, хотя и знал, что там ликують одни бывшие участники империализма, не считая Насти и прочего детства...»

«Ура, граждане, Первомай! Курицу имай! Бабу хочю, ух, как бабу хочччу!

Чё, курочки, отираетесь возле забора? Погодите, перемахну к вам, ух, пёрышки ваши полетят! Я трудяга ещё тот, без отдыха всю ноченьку могу! Федя Протасов я. Поспрошайте про меня возле шестой промзоны. У нас там закуточки имеются, с матрасами, с подушками. А простынки накрахмаленные! Приходите, не стесняйтесь!»

«Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему. Ей Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь».

«Народ вольный, хочу я вам рассказать о жизни моей.

В НКВД я служил, на северах, в Бодайбо родимом. Тихо, мирно служил, не рвал постромки, в младших милиционерах ходил, народ знал, а народ меня как облупленного, и знал, и уважал. Народ-то на северах простой, работающий, без дури, ни воров, ни убийцев, ни сумасбродов, ни психов разных что-то не замечалось раньше. Жили себе поживали мы, исправно золотишко для Родины добывали. Да однажды, в 37-м, прислали к нам из Иркутска старлея ГБ Кульвеца. Вот уж Кульвец, всем Кульвецам Кульвец! Хотя и расейского происхождения, родом, кажется, из Казахстана, да латыш. А прибалты-то они по крови своей ух злючие и злопамятные! И в революцию на них насмотрелся, и на зонах. Ну так вот, этот Кульвиц (мы, бодайбинцы, его Курвицей и Курвой прозвали), помню, впервой когда зашёл к нам в управление — зенками жух-жух по головам, как будто бритвой полоснул каждого. Аж в наши глаза крови нахлынуло. Ощущалось, что взаправду порезал.

Ну, что дальше? А дальше вот оно что: этот самый Курвиц начал ворошить нашу тихую трудовую жизнь. Нежданно-негаданно откуда-то откопал полтора десятка японских шпионов, целый троцкистский параллельный центр (что за бяка?! — по сей день не раскумекаю), вскрыл панмонгольскую диверсионно-разведывательную повстанческую организацию. Эта тарабарщина к бурятам, как понимаю я, относилась, однако ж арестовывали и русских, и русских немцев, и какого-то поляка подцепили, инженером он работал на прииске «Солнечногорском», и скотника эвенка Трифона, и якута какого-то командированного, но больше русских загребали. А бурята, кажись, ни одного не сыскали: их в наших краях раз-два и обчёлся. Так, что ещё он вскрыл, этот Курва? Да много чего ещё. В основном шпионов всяческих наций, особенно китайских и английских. Тысячами со своими подручными выцеплял.

Однажды наш местный телеграфист показал мне писульку, которую этот Курвиц направил в УГБ НКВД в Иркутск, какому-то Троицкому. Запомнил я писульку ту дословно, потому что жуть, братцы, жуть она сушая! Сообщает: «Явился для переговоров. Закуплено 900 голов скота. Забито на мясо 280 дел. Скот продолжает с мест прибывать. Очевидно, ближайшие 3-4 дня будет тысяча с лишним голов. Следовательно, до 10 марта произвести забой закупленного мною скота не успею. Как быть?»

Скотом он называл людей, которых незаконно арестовал. А «забой» — это повальные, и днём и ночью, убийства, которые он сам же и осуществлял.

Помню и ответ из Иркутска: «Вам послали приговор по тройке на 326 человек по первой категории, приводите их в жизнь — вот вам некоторая разгрузка». «Приводить в жизнь», значит, убивать. То есть забивать и забивать скот, чего там раздумывать! «Приводить в жизнь» — во измыслили!

Но убить-то ладно, убил — и человек отмучился. Правильно? А то, что творили эти курвы-курвицы с человеком перед его «забоем», — вот ужас, вот изуверство, вот непостижимость, если думаешь и знаешь, что такие же, как ты, двуногие существа сие совершали.

Я присутствовал на допросах, большей частью вёл протоколы, иногда заводил и уводил жертв. Курва этот, если жертва упорствовала, отказывалась подписать протокол, как поступал: склонится к человеку, улыбнётся ему, что-то этак ласково да вкрадчиво скажет как бы на ушко и внезапно стрелой-острогой воткнёт ему в глаза два вилкой растопыренных пальца. Взрёт, стоны, обмороки, припадки, рвота, кровяца, мочой и калом разило. А то и — вытекший глаз. А то и — оба вытекут, искровенятся на пол, с пылью смешаются. Мне становилось муторно и мерзко, меня, как двумя руками, душили и страх, и ненависть. Потом человека волокли во двор в сарай, бросали на земляной пол, а март на северах ещё зима, морозюки зачастую сорокаградусные жали. Если один глаз вытек — перевязывали чем попадя. Если оба вытекли — пристреливали жертву и протокол оформляли: мол, «при попытке к бегству».

Снова, ясное дело, живого, волокли на допрос, снова Курва улыбался, снова — вилок. И человек, если не сходил с ума или, понятно, не умирал, подписывал всё, что ни подсунут. Да, люди сходили с ума, вешались на шнурках или разорванных кальсонах, гвоздём рвали себе грудную клетку, чтобы сердце убить. А один, на моих глазах, с разбегу головой в торчащий в стене костыль впоролся. Только бы не к Курве!

После десятого, или какого, допроса мне уже невмочь было, край моей душе пришёл. Что там! — свет не мил стал, жить не хотелось. Попросил начальство: освобоните, товарищ командир. «Цыц, гнида!» Вечером забрался я на чердак моего дома, намотал на стропилу веревку, оттолкнул носочком сапога табуретку, ан веревка, сука, оказалась гнилой! Провалился я до утра на чердаке. Уж не помню, как выполз наружу, как явился в управу, как сел за стол с писчими принадлежностями, как и когда ввели новую жертву, как и когда появился Курва, но ясно помню, как Курва с ласковой улыбочкой склоняется над жертвой, а жертва-то — кто? А жертва — Машка Степнова. Пацанкой знал её: по соседству мы жили. Шустрой выросла девахой, языкастой, комсомолией на прииске Горбатым заправляла, недавно замуж вышла, счастливая ходила, чуть не вприпрыжку, живот уж обозначился. Видать, где-то чего-то брякнула, глупенькая, ну, вот и сцапали её.

Понял я, и ей — вилок в глаза. И только Курва приподнял свою руку, и только за своей спиной стал растопыривать и напрягать пальцы, и только чего-то стал нашептывать Машке на ушко, как я — уж и не помню как — схватил его за руку:

— Товарищ старший лейтенант, брюхатая она. Помилосердствуйте!

— Помилосердствуйте? — с протяжкой и ухмылкой переспросил он и ласково улыбнулся мне в глаза. — Какие мы тут все старорежимно культурные... затаились. Уведите Степнову! — скомандовал он своему подручному. — Ну, а ты, милосердная душа, садись на её место, — с притворным лакейским поклоном указал он мне на табуретку широким жестом руки. — Милости прошу, господин... Как вас?

Опустился я на табуретку, понял: хотел смерти — получишь.

— На какую разведку работаешь, гнида? — спросил Курва.

— На английскую, — с ходу ответил я.

У Курвы аж пасть раззявилась. Оторопел, лупит на меня буркалами. Очухался — улыбочкой одарил. Подошёл ко мне, склонился к уху, шепнул:

— А на японскую не работаешь, падаль?

И — вилок в глаза саданул. Со всех сил, наверное, на какие способен был.

Вы, дорогие соотечественники мои, конечно же, знаете, что такое боль. Но как, как мне описать, что я испытал, не знаю. Невозможно, думаю, обрисовать то, что за пределами человеческих ощущений. Наверное, нет таких слов ни в русском языке, ни у человечества всего. А может, и есть, но, однако, подыскивать и напрягаться не буду, чтобы вы не подумали, что жалоблюсь я перед вами. Мне, поймите, не пожалобиться надо, а чтоб правду вы знали, чтоб ясными глазами смотрели в жизнь.

У Курвы, похоже, были заостренные пилкой толстые ногти (а может, и когти), натеревые, крепкие пальцы, он мне в ключья разорвал веки. Но сквозь кровь я чего-то разглядел, значит, глаза ещё целы: наверно, я изловчился их закрыть.

— На японскую не успел, — смог ответить я.

А может, и не ответил вовсе ничего, не смог ворочать ни языком, ни мозгами, а только мне померещилось, что я могу. Могу! Что я могу оставаться человеком. Что я могу сопротивляться и этому эсэсовскому подонку, и самой Судьбе со всеми её и чертами, и богами. Кто знает!

Снова — вилка.

Я упал. Ни сознания, ни жизни, ничего не чувал, не видел, не слышал. Предел всему во мне и всему существу. Если бы осознавал что-либо, то порадовался бы, сдох, наконец-то, сдох, и, как говорится, слава Тебе Господи, что и про меня, грешного, не забыл.

Но я не сдох, как вы понимаете. Очнулся. В тепле нахожусь. Чую, рядом шевелится что-то живое, человечье. На лицо моё намотана повязка, трогаю — она кроваво жухлая, как запеченная буханка хлеба. Я ее мало-помалу, полегонечку отлепил, отодрал. Понял,

один глаз вытек, другой малехо зрит. Вокруг в плотном месиве тел шевелятся, стонут, вскрикивают, тяжко дышат и вздыхают. Народ вповалку лежит на полу и по нарам.

После, уже у другого следователя (Курва отбыл в Иркутск, и я слышал, что его повысили в звании), я подписал протокол, что я шпион, что нечаянно напоролся глазами на гвозди, торчащие в стене. И даже покаянное письмо подписал: что прости меня, великий вождь и учитель товарищ Сталин, прости меня, народ советский, самый гуманный на свете, простите меня, родные и близкие, ну и так далее. Направили меня в тюремную больницу на излечение, и вскоре пихнули мне по полной — вышку. Да потом, по моей апелляции, пересмотрели дело. Следователь порядочный попался — старый большевик. Да и надо по справедливости сказать, что не мало в моем родном НКВД было людей, именно людей. Суд учел мои заслуги по обезвреживанию в своё время опасных преступников, а также мою безупречную и многолетнюю службу в дорогой моему сердцу милиции.

Хотя без глаза я остался, и второй не полностью восстановился, но я зрячий теперь настолько, что вижу сердцем жизнь человеческую далеко-далеко наперёд. И вижу я там впереди разумное, благородное человечество при человеколюбивом строе всемирном. Верьте, человек победит в себе зверя.

Ну, что вам еще сообщить? Вот мотаюсь вторую десятку годов по зонам. Привык, притёрся к неволе. Слухом благодатным пробежало по земле русской после смерти главного нашего Изувера — можно подать на пересмотр. Но я уже больной неизлечимо: дотяну, не дотяну до воли? Да и зачем она мне, воля-то? Детей у меня не было, жёнка где-то затерялась, мать и отец померли от тоски по мне, а потому расклад таков: смерть — вот моя воля.

Я вам и фамилию мою сообщаю — Рукавишников я Иван Сильч. Хотите заложить меня — сделайте одолжение. Я ничего не боюсь, я уже весь избоялся, исстрашился. Да мне уже и жить-то неохота.

Ну вот, вольный советский народ, вы прочитали мой рассказ. Поступайте с ним как хотите.

И напоследок вот чего охота сказать: будьте людьми, просто людьми. Прозрейте, наконец-то.

На том позвольте откланяться. Не поминайте лихом Ивана Рукавишникова».

3

Ещё были записки, и маленькие, и в несколько листов, однако Афанасий не смог читать — какая-то сила перехватывала горло, ломала грудь. Выходил на улицу, рывками втягивал ноздрями холодного росного воздуха раннего таёжного утра. Не помогало. Спать ложился — и сон не шёл, какой-то замутью крутился образами в голове, взъерошивая мысли, чувства, кровь.

Задремал. Вскоре, однако, очнулся в каком-то детском, но жутком испуге, что ни света белого больше не увидит, ни воздуха в себя не вберёт.

Работал точно слепой, оглоушенный: то пойдёт не туда, то не за ту доску схватится, то на кого-нибудь наткнётся, то ответит невпопад, и всё ему мерещилось, что глаза у него болят, что вилка стрелой-острогой несётся из какого-то пространства-времени и вот-вот вонзится в его глаза.

— Ты чего, Афоня, пьяный, что ли? — с похотцей спросил прораб Захарьин. — Выходил я ночью до ветру, вижу, в вашей бытовке огонёк теплится. Не спали, шурумурчики, видать, устроили с местными девчатами или водку хлебали, черти?

Афанасий мрачно промолчал. Низово смотрел тёмным взглядом вдаль.

— Будя, супиться, паря, шуткую я, — задумчиво, с приглядкой в чистое, лазорево распахнутое небо, помолчав, подмигнул Афанасию, но сказал серьёзно, на протяжных, каких-то бабьих подвздохах: — Знаю, за писульками ты ходил потемну и читал их всю ночь. Что ж, дело, думаю, нужное... для души твоей да памяти нашей общей. Человек ты, Афанасий Ильич, ещё молодой, вижу, что впечатлительный, совестливый, хотя и чинов-

ный. Может, с такими мы и выбредем когда-нибудь на правильные пути-дороги. А пока у нас задача предельно чёткая и, главное, благородная — строить города, поднимать страну, растить детей. И думать: только б не было войны. Выше нос, младое поколение! Вперёд к высотам коммунизма! — в натуженном смехе, но в ласковом добросердечии подтолкнул он в плечо Афанасия.

— А вы их знаете, как сказали, правильные пути-дороги? — прямо, но тёмно посмотрел в глаза прораба Афанасий.

Захарьин с шутовской опасливостью огляделся по сторонам и в ёрнической шепотливости произнёс театрально-торжественно:

— Знаю! Прямо, прямо топай, а потом — хоп, налево. В малинник к б... как раз и угодишь. Смотри только, чтоб жёнка твоя не усекла.

И тут же — с деловитой озабоченностью, без малейшего актёрства:

— Мне сейчас нужно забросить в грузовик десятков пять-шесть брусьев и увезти их на промзону комбината. Поедешь со мной? Ну и добро. Ещё одного хлопца захвати с собой. Вот это на сегодня будет самый правильный путь, потому как строители этого самого будущего ждут строительные материалы. А если серьёзно, каждый день, Афанасий, иди и иди, но не теряй из вида людей, и — выйдешь куда надо. Понял, унылая твоя морда?

Афанасий по-мальчишески смущённо и благодарно ответил:

— Понял, Иван Степанович.

— Ты меня, Афанасий, конечно, извини за резкость: не до философствований мне и обхождений. Я ведь прораб! Про-раб! Чуешь слово «раб»? То-то же! Как в древней Греции или Риме. Там на рабах столетиями жизнь стояла и процветала. А теперь так же в России нашей матушке: прорабы — главные люди, хотя и начальников над ними, всяких патрициев, как собак нерезаных. Знаешь, верю, что потихоньку, полегоньку и отыщем путь. Главное, понял я, идти надо. Идти и идти. Не топтаться на месте, не распускать слюни. А ещё — строить и строить. Строить, строить и строить, мать вашу! Города, заводы, мосты, корабли... что угодно! Да хотя бы заборы и уборные, если в какой-то момент окажется казна небогатой! Так-то, брат Афанасий! — и громко, командно: — Ну, слушай приказание от раба Советского Союза Ивана Захарьина: вон те бруски забросить вон в тот грузовик, вдвоём — в кузов, я — в кабину, и дует на комбинат. Там шустро сгружаем. Потом ещё две-три ходки. Стройка ждёт, великая стройка коммунизма. Действуй!

— Есть! — ответил по-военному Афанасий, силой воли сламывая своё уныние, отодвигая жуть из души и мыслей.

Такие люди, как Захарьин, Афанасию любы, потому что и сам он — деятельный и напористый строитель новой жизни, комсомольский вожак. За колючей проволокой горе и страдание, но здесь жизнь как жизнь, здесь народ строит коммунизм — самое светлое будущее не только для советского народа, но и для всего человечества планеты Земля. Разве не так? Так, только так!

Лихо загрузили бруски, запрыгнули в кузов. Захарьин, когда залезал в кабину, с подножки подманил пальцем Афанасия, тихонько сказал:

— Один знакомый лейтенант мне вчера шепнул: не сегодня-завтра могут случиться волнения среди зэка. Тут, знаешь ли, каких только загогулин не приключается, как только они не убивают и не калечат друг дружку! А нынче что, заключённые крепко недовольны чеченцами и ингушами. Впрочем, ты уже понаслышан... Так что, ребяташки, на промзоне будьте осмотрительнее, никуда не суйтесь без спроса. Там сплошь всякие урки и паханы, и чёрт его знает чего ещё... Ну, водила, погнали!

После тщательного досмотра въехали на территорию будущего комбината. И та же грандиозность и дерзновенность, что и в соцгородке: хитросплетения трубопроводов и эстакад, витьё и ощеренность зарослей арматурных, рыки и чихи упирающихся на каменистом грунте бульдозеров и трель звонков с небес крутящихся стрелами подъёмных кранов, повсеместные, как в новогоднюю ночь, фейерверки огней и искр сварок и газорезок, трубные зовы и свисты паровозов. И куда ни посмотри — то же половодье и мельтешение людское. Видно по одежде, робе — и заключённые, и вольные работники: заключённые

в однообразных чёрно-синих спецовках с табличками на куртках, у вольных наряд хотя и разнообразный, но изрядно замызганный, изгрязнённый, а потому отличить вольного и заключённого друг от друга порой довольно сложно. И Афанасию отчего-то радостно думается: все, несмотря ни на что, одинаковые, все — «люди-человеки». Стройка коммунизма кипит, и ты в ней кипишь: вот узловое и значимое, вот что соединит, наконец-то, людей, людей всего человечества, каких бы наций и мироощущений они ни были, соединит в товариществе и взаимоуважении. В душе Афанасия играл и переливался свет, как и в этом утреннем большом небе всё ярче, напористее раскрывался перед людьми новый день — новый день жизни и, конечно же, свершений, а возможно, и подвигов.

Вдоль нескольких веток железной дороги — ворохи, а то и груды, горы сгруженного с платформ промышленного оборудования. Афанасий слышал, что все эти богатства немецкие — вывезенный из поверженной Германии завод по производству искусственного жидкого топлива. Приглядывался прищуркой — не мелькнёт ли где свастика? — ведь фашисты создавали. Не мелькнула, но надписей на немецком языке в изобилии. Часто и крупно, а то и красно, броско — «Achtung!», Афанасий знает — «Внимание!» На советском оборудовании нечасто встречаются такие надписи. «Заботливые, сволочи!» — подумал без злобы, по своей давней, юношеской, с военных пор, привычке — немцев нельзя любить: сколько горя из-за них, проклятых. Но немцы, однако, теперь разные, знает Афанасий из газет, лекций и политинформаций, еженедельно проводимых у него в райкоме комсомола или в горкомах или обкомах комсомола и партии. Одни — в ГДР, другие — в ФРГ, а потому, помнил он бойкую, но простоватую фразу из одной лекции: «восточные немцы — наши братья по гроб жизни, а западным совместно с американским империализмом — тамбовский волк сват и брат».

4

Когда разгружали бруски, неожиданно прогрохотало, стрекотом, раскатами. Насторожились, но сначала подумали, не гроза ли подкралась из-за ангарских холмов? Споро подхватили следующий брус, чтобы успеть до дождя, однако мимо полусогнуто отмахали сапогами двое или трое вспаренных, одичало вертевших глазами солдат с офицером, у которого в руке на изготовке аспидно-ярко горел «макаров». Потом, в каких-то секундных промежутках, ещё и ещё вооружённые военные, но уже, как в атаке, в бою, перебежками с глубокой присядкой.

Захарьин зацепил одного капитана:

— Фёдор Иванович, чего стряслось?

— Жуть, что творится! Заключённые по всей промплощадке арматуринами и заточками убивают чеченцев и ингушей, бросают их в опалубку и заливают бетоном. У них и оружие... пригибайтесь! А лучше, Ваня, сматывайся-ка со своими пацанами отсюда, как уже многие поступили — шальная, а то и прицельная пуля может поцеловать в лобешник.

Следом грохот автоматной стрельбы. От бетонной стены отскочил осколок и рассёк Захарьину щёку. Афанасия осыпало, лишь скребнув по лицу и шее, бетонными зернинками с цементной пылью.

— Перебежками, за мной! Лечь! Встать! Бегом! Лечь!.. — заправски подавал команды Захарьин Афанасию и его напарнику.

Наконец, в километре, а может и в двух-трёх, — перевороченным умом было нелегко понять — распластались под первой встречной кучей гравия. Сердце гудом — бух-бу-бух, бух-бу-бух, едучий пот застилал и грыз глаза. Воды бы! Афанасий мельком взглянул на небо — чистое, ясное, высокое, чудесное небо! Дождя бы, ливнем чтобы!

Автоматные залпы в ошалелом метании отстукивали где-то справа вдалеке. «Бой идёт, что ли? — дивился Афанасий. — Может быть, война вырвалась наружу? Но кто с кем воюет?»

Здесь, в плетении металлоконструкций, труб, арматуры, возле вырытых под фундаменты котлованов, безлюдно, безмолвно. Видимо, народ разбежался, попрятался.

«Однако, что там за копошение возле опалубки строящегося цеха?» — приподнял Афанасий голову, смахнул с глаз влагу, взгляделся. Захарьин, приметивший пораньше, напрыгается, тянёт шею, но с опаской великой. И видят оба, и напарник тоже: за руки, за ноги, с раскачкой, двое заключённых сбрасывают в траншею тела. Одно, два, три... Других два заключённых из бетономешалки опрокидывают туда серую массу замеса.

Вдруг из траншеи — взмах руки. А может, не руки, но чего-то, несомненно, живого, человеческого. Следом — голова, а может, не голова. Неужели, голова? Неужели человек живой, недобитый, недоубитый, встал, залитый, отяжелённый бетоном?

И — голос, его голос: «Аллах акбар!»

Один из заключённых другому:

— Притворялся, сучара, мертвяком, пока тащили! Эй, Петруха, наверни его по башке кирпичом! Успокой.

А голова, забитая бетоном, как ожившая глыба камня, в страшном нечеловеческом надрыве:

— Смерть неверным! Аллах акбар!

— Мочи его! Ну, Петруха! А то в тебя шмальну, падла буду!

Взмах — Афанасий рванулся. Захарьин вцепился в него, навалился сверху:

— Лежать, пацан! Их четверо, а то и больше, они и тебя, и нас порешат, как курят. А горцу, пойми, отчаянная голова, уже не жить.

— Человека убивают! Пустите!

— Тихо ты! Лежать, сказано! Убили уже... твоего человека.

Афанасий — сильный, Афанасий — богатырь, однако шупловатый, но жилистый Захарьин оказался хваток и ловок.

Над головой со спины просквозили пули. Там, возле опалубки-могилы — брань, вскрики. Ещё пули. И — тишина.

Тишина, казалось, обвалилась на землю. Густая, непроницаемая тишина, будто вечно и была она тут, царила в этом прекрасном мире тайги и Ангары, а люди на какие-то мгновения своей жизни посмели обеспокоить, встревожить её.

Захарьин сторожко высунул голову из-за насыпи.

— Хана, и зэка прикончили, — хрипнул он нутрянно, глоткой, задавленной сухотой, песком, цементной пылью, и бессильно откатился от Афанасия, разбросался по земле. Смотрел в небо взглядчиво, пристально до ненасытности, будто только небо и нужно ему было сейчас, будто вбирал в себя его высоту всеблагую, животворную его синь.

Солдаты с офицером — мимо к опалубке полусогнуто перебежками, с автоматами на изготовку. Чуть погодя Захарьин и Афанасий с напарником подошли. Заключённые — вповалку, скрюченные, изрешечённые; у одного зубы оскалены. «Как у пса», — подумал Афанасий, отворачиваясь, ища глазами реку, даль, простор, небо, что-нибудь. В недозалитой опалубке из бетона торчат руки, ноги.

Втянули всех, почистили. «Привели в божеский вид», — сказал Захарьин, пытаясь прикурить, да спичка отчего-то чиркала по ребру коробка, не зажигалась. Так и не высек огня...

Жертвы и их убийцы вместе лежат под этим прекрасным и вечным небом.

Люди, хотя головные уборы — прочь, как и принято у людей, не хотят смотреть вниз. Лицом, глазами, сердцем выше хочется.

Под вечер Афанасий после торопливого и, видимо, необязательного, формального опроса у дознавателя, раньше срока уезжал со своими в Иркутск. Заключённых согнали в бараки и юрты, посты устроили, вольным велено было сидеть по домам, на улице — ни шагу, а прикомандированных в спешке развозили кого куда. Стройка обезлюдела, обмерла, соцгородок, — в необоримой тоскливости ощутил Афанасий, — как брошенное навеки, а то и разорённое, разгромленное обиталище человеческое. Ни техника не движется, ни люди, даже собаки куда-то пропали с улиц, только по зонам рычаг и взлаивают науськиваемые немецкие овчарки. Да ещё солдаты с офицерами в патрулях хмуро, но с цепкостью в глазах бродят туда-сюда, покрепче держась за ремни «калашниковых», закинутых на плечо.

Провожал Захарьин. Комсомольцы перепуганным гуртом уже в кузове сидели, невольной притискиваясь друг к другу. Прораб отозвав Афанасия в сторонку, тихонько говорил:

— Душ, шепчется народ, под сто пятьдесят полегло сегодня. Двоих солдатиков уложили, офицера навывлет прошили, едва живой. Десятка два-три зэка улизнули, почему и автоматами запаслись, учинили стрельбу. Может, им и резня нужна была, чтобы под шумок ноги сделать. Зэка — они ещё те стратеги. А нам с тобой, паря, можно сказать, выше крыши повезло: не дай боже, приметили бы нас там, за кучей. У-у, кердык бы нам был полный и окончательный. Да и военный какой мог бы сдуру пальнуть по нам, когда бежали мы: попробуй-ка издали распознай, заключённые мы или вольные.

Помолчал, вздохнул. Сказал по-особенному, очень тихо, но не без приподнятости, столь трогательно свойственной ему, человеку по натуре весёлому, балагурчивому:

— Жить, Афанасий Батькович, нам судьбой назначено, выходит. Да-а, не веришь, не веришь, а Боженку часом и вспомянешь.

Привычно пожевал, уже измочаливая вконец мундштук докуренной до предельного края и давно погасшей «беломорины». Прищуркой поглядывал на Афанасия. Тот понуро стоял перед ним, чувствуя, как неотвязная тяжесть тянула его душу вниз, казалось, надрывающая, кровеня и её, и жилы. Захарьин потрепал его за плечо:

— Понимаю, ошарашен ты. Ясное дело, молодой ещё, душой и умом жидковат. А я-то уже ломаный да тёртый, как старый пятак. Но тоже, паря, стою перед тобой и чую, не могу совладать с сердцем моим. Да и умом ещё пока что не по силам мне охватить содеявшееся нынче. Знаешь, о чём думку думаю? Фашистов понимаю, почему они уничтожали и мучили нас: я войну от звонка до звонка пропехотил в миномётном взводе, выжженные этими ублюдками деревни Белоруссии и Украины видел, штабеля скелетов замученных людей. Да-а, кое-что знаю. Но как понять, как! — почему мы друг друга уничтожаем и мучаем?! Не надо, не надо, Афанасий, не торопись с ответом. Я так спросил. Как говорится, риторически. Пар надо выпустить из груди, кипит она, бурлит, саму себя обжигает. А то, что ты узнал здесь, ну, вот и знай. Но для себя знай... до поры до времени. Крепко знай. На всю жизнь знай, — помолчав, зачем-то подмигнул и усмехнулся: — Завтра придёшь в свой райком комсомола, начнёшь какое-нибудь совещание и — чего скажешь людям?

— Ничего не скажу, — неожиданно сорвался природно-крепкий голос Афанасия на свистящее сипение. Смutilся, кашлянул в кулак, с предельной отчётливостью произнёс, будто продиктовал: — О текущем моменте поговорим — Америка Корею терзает, не даёт нашим братьям корейцам социализм построить на всём полуострове.

— Вот-вот! — неясно отозвался, зачем-то держа на губах усмешку, Захарьин. — Пусть люди живут мечтами о справедливости, о гуманности и обо всём таком прочем, красивом и высоком. Без мечты человек, кто-то умный сказал, как птица без крыльев. Во как!

Шофёр нервными рывками посигналил:

— Эй, начальники, поехали, что ли! Мне ещё машину надо в гараж загнать, а потом в потёмках пешедралом три кэмэ переться до дому. Совесть-то имейте, ядрёна вошь!

— Правильно насчёт совести говоришь, друг водила!.. Ну что ж, прощай, брат Афанасий.

— Прощайте, Иван Степанович. Так, говорите, жить нам судьбой назначено?

— Назначено. «Не сумливайся», как говорила моя бабуся, а прожила она за девяносто годочков. И коли жить нам дозволено, так давай жить... давай жить... знаешь как? Ну, не на собрании же мы с тобой, а потому скажу по-простому: по-человечески чтоб было у нас. Понимаешь, по-человечески. Везде и всюду и на все времена по-человечески. Не скоты же мы безмозглые, наконец-то. Ведь люди мы, соображаешь? Эх, мать вашу!..

И они неожиданно и враз распахнули друг перед другом руки и обнялись, хотя с полсекунды назад и не думали о таком поступке. Афанасий успел заметить какую-то блёстку в морщинках около глаз Захарьина. «Неужели, слеза?» Но взглянуть открыто в лицо не посмел — не обидеть бы человека своим досужим любопытством.

Запрыгнул в кузов, хотя, как начальственное лицо, мог ехать в кабине. Он и сюда приехал в кузове, отказавшись от шутивно-дружеского предложения шофёра занять «тёплое руководящее местечко» в кабине. Он всегда хотел быть среди людей, в милой его сердцу толчее дел и событий, а сейчас, после пережитого, после писем «с того света» и чудовищной расправы над горцами, после того как он по-братски обнялся с Захарьиным и увидел его слезу, он уже не мог находиться в стороне от людей и минуты, каким бы то ни было образом и предлогом отъединиться от них.

— Афанасий Ильич, садитесь сюда, — спешно и суетливо уступили ему лучшее место на лавке — в серёдке у переднего кабинного борта, где, известно, и трясёт поменьше, и, прижатого с обеих сторон плечами, не мотаает из стороны в сторону, и от ветра и дорожной пыли более-менее надёжно защищён кабиной.

Но Афанасий помотал головой и уселся, где было посвободнее, — у заднего борта, на самом углу его. И здесь, как на корабле в шторм, все качки и болтанки твои, трясёт и подбрасывает на кочках и колдобинах так, что порой — душа вон. И выхлопными газами и пылью зачастую щедро опахнёт, а то и камень или шматок грязи прилетит «по траектории подлости» из-под колеса или от встречной машины.

— Живые? — спросил он, обернувшись ко всем, и, не дожидаясь ответа, отмахнул рукой: — Что ж, поехали!.. — И тихонько присказал, всё же заглянув — сызбока, мимолётно — в глаза Захарьина: — ...Жить.

И действительно, Захарьин, «ломаный да тёртый», «пропехотивший» всю войну мужик, плакал. Он прикрывался ладонью, притворяясь, что почёсывает висок и лоб. Афанасий деликатно отвернул голову в сторону и посмотрел вдаль. Ему хотелось сказать громко, как на митинге, как любил и умел он выступать перед людьми: «Нас убивали и убивают, но, смотрите, наше сердце живёт!»

Оба молчали, не находили последних слов прощания. Но что ещё они могли друг другу сказать в эти минуты расставания, если уже по-братски обнялись?

«С того света уезжаем... — подумал Афанасий, глянув на заборы, вышки и колючку ближайшей зоны. Но тут же сказал себе, как одёрнул: — Дурак! Здесь рождается свет и энергия будущего — коммунизма. Долой уныние!»

За соцгородком, когда на задорном, лихом разгоне машина вымахнула в просторы полей и лугов, от распахнувшейся Ангары густо, но приветно дохнуло её снежистой свежестью — запахом талых снегов и ледников Саянских гор, хребта Хамар-Дабана. И сама она, по бурятским легендам, молоденькая, страстная дева, послушавшаяся отца своего Байкала-батюшку и устремившаяся к суженому своему богатырю Енисею, с зеленоглазой искристостью приманчивостью взглянула на молодёжь. Над её холмами блеснула молния, другая. Кто-то, встав во весь рост и с трудом удерживаясь на ногах, продекламировал:

*Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом...*

По небу, ещё просторному, высокому, раскатился мелкой трескучей позвонью гром, будто там, в высях, испугавшись молний, рассыпали шкатулку с украшениями. Кучеряво и игриво взметнулась пыль, но едва не тотчас же пала под крупными, ядрёными каплями шлёпающего дождя.

Вскоре машину и всю округу накрыло ливнем — буйным, обвальным, но весёлым, фривольно щекочущим. Парни суматошливо попрятались под широким, от борта до борта, полотном брезента, припасённым шофёром.

Афанасий отказался лезть ко всем: и места было маловато, и хотелось дождя. Хотелось утоления жажды, хотелось с тех невозможных, нестерпимых минут, когда на его глазах убивали человека. Часа два назад у дознавателя он из мутного графина жадно выпил два или даже три стакана воды. Вздохнулось тогда наконец свободнее. И вот, чудо не чудо, неважно, но получил, щедро, в великом избытке, как дар исцеления и обещания, дождь!

В каких-то закоулках сознания стала роиться и зреть, облекаясь нестойкой плёночкой-плотью слов, мысль: а может быть, и душу дождь омоет, стерев из неё память обо всех этих страшных деяниях людских?

Дождь выполнял свою извечную работу — очищал и напитывал землю, чтобы жизнь никогда не кончалась на ней. Афанасий всматривался вдаль, и ему казалось, что он видит сейчас и больше и дальше, чем позволял этот густой ливень. «Вижу сердцем, что ли...» — вспомнились ему чьи-то хорошие слова.



ИГОРЬ ИЗБОРЦЕВ

Прозаик, г. Псков

Моя Сибирь, моя Россия

История одного путешествия

Узнать Россию, сколько сие возможно,
и дать себя видеть будущим подданным...

*Из инструкции императора Николая I
наследнику престола перед его путешествием по России*

Весной 1837 года, когда на оттаявшей и всё ещё свежей могиле Александра Сергеевича Пушкина зазеленела трава и оживший после зимы птичий гомон огласил просторы над Синичьей горой, Царское Село погрузилось в хлопоты и суету: сновали туда и сюда флигель-адъютанты, лейб-медики, гвардейцы, форейторы, лакеи и прочий дворцовый люд. Готовились экипажи, выводились кони — это собирался в путь конный поезд, на котором наследнику престола, девятнадцатилетнему великому князю Александру Николаевичу, предстояло отправиться в дальний путь по нелёгким дорогам Российской Империи. Маршрут поездки был намечен воистину грандиозный, он включал едва ли не пол-России, в частности, такие города, как Новгород Великий, Ярославль, Кострому, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Курган, Оренбург, Уральск, Казань, Симбирск, Саратов, Пензу и т. д. Проехать предстояло ни много ни мало — двенадцать тысяч верст. Государь император собственноручно составил для венценосного сына обстоятельную инструкцию: что и как смотреть, где бывать, когда ложиться спать, когда вставать и пр. И определил ему в наставники поэта Жуковского. Василий Андреевич, и без того полный дум и забот о наследии недавно ушедшего в путь поэта всея земли Пушкина, едва не опоздал к отъезду и лишь в последние минуты занял место в определённом ему экипаже вместе с молодым подпоручиком Виельгорским.

Поэт, со свойственным ему чувством романтизма, назвал эту поездку «всенародным венчанием с Россией». Назвал пророчески, ибо, если бы не осуществилось это деяние, стал бы Император Всероссийский Александр II носителем особенного высокого звания — Освободитель? «Венчание» состоялось, и будущий император воочию увидел свой народ, распознал его мудрость, ощутил простор его души, прикоснулся к его сердечным глубинам и отозвался на всё это любовью и верностью, которые хранил до своей мученической кончины в 1881 году¹.

Но всему этому ещё предстояло свершиться. Пока же экипажи конного поезда, пронзая шумные облака восторгов подданных, прорываясь сквозь скреб перьев просителей и стоны жалобщиков², стучали колёсами по суровым дорогам империи. Жуковский по

¹1 марта 1881 г. Александр II был убит народовольцами, в день, когда он должен был подписать проект широкой программы административных и экономических реформ.

²Во время путешествия великого князя по 30 губерниям России на его имя было подано до 16 тыс. прошений.

обыкновенно вёл дорожный дневник. Так, например, по прибытии в Тобольск он записал: «2 июня. Пребывание в Тобольске. Широков. Евгений Милькеев. Ершов. Осмотр училища и выставки. Прием чиновников. Архиерей Афанасий. Губернатор Повало-Швейковский. Голофеев. Комендант Жерве. Мурзы Киргизские. Иван Семенович Пестов. Чтение бумаг князя Горчакова. О соединении Сибири. О ссыльных. — После обеда у Горчакова с Арсеньевым. В 9 часов бал. Вечер после бала дома. Простуда»³. Этакая краткость, скоропись, просто фиксирующая событие и называющая имена, но за каждым именем — историческая эпоха, пласт деяний и свершений — и все тянутся к нам и с нами связаны. Поэт Евгений Лукич Милькеев (о нём ещё будет речь впереди); Пётр Павлович Ершов — поэт, драматург, автор сказки в стихах «Конёк-Горбунок»; Пётр Дмитриевич Горчаков — генерал-губернатор Сибири, герой русско-турецкой войны, при нём началось пароходное движение на Иртыше, он активно способствовал расширению российских границ на юге казахских степей; Иван Семёнович Пестов — председатель Енисейской казённой палаты, издатель российских законов; архиепископ Тобольский и Сибирский Афанасий (в миру Александр Фёдорович Протопопов) — известный миссионер, под его руководством тобольские и пермские миссионеры обратили в православие несколько тысяч человек... И всё это вместились в краткую запись одного дня, завершившегося, увы, простудой самого автора дневника. Бедный Василий Андреевич, ведь его ожидала ещё такая долгая дорога! Путешествие продолжалось.

* * *

Путешествие... Какое отрадное для слуха слово. С детских лет мы грезим ими. Уносимся мыслью вслед за казаками Ермака Тимофеевича и Юрия Москвитина, фрегатами Семёна Дежнёва и Харитона Лаптева, кораблями Дмитрия Овцына и Ивана Крузенштерна. Как же мы им завидуем и как счастливы бываем, когда удаётся вдруг, собрав рюкзак или дорожную сумку, отправиться куда-нибудь к Балтийскому или Чёрному морю, в Кисловодск, Ивано-Франковск или Самарканд... В мои школьные и студенческие годы всё это было возможно, легкодоступно, билеты стоили дёшево, а принимали везде гостеприимно и радушно.

Теперь многое изменилось — границы, цены, отношения между народами, людьми. Изменения эти зачастую выливаются в военные и межнациональные конфликты, делающие невозможной саму идею путешествий. Многое стало выглядеть иначе, но, как бы там ни было, манящее чувство дороги осталось, как и предвкушение встреч, новых знакомств, открытий. Да и поехать ещё есть куда. И гостеприимство, слава Богу, по-прежнему живо. Так зимой 2015 года я получил весточку из Сибири с приглашением посетить Ханты-Мансийск и Тобольск. Ну, как же не поехать в никогда ещё мной не виданную Сибирь! Тут же дал согласие и начал недолгие сборы.

19 февраля. Москва. На улице плюс один, слякоть, лужи. Пока добирался до аэропорта Внуково, ботинки набухли от влаги, потяжелели, так что и по лёгким мраморным полам терминала «А» ноги едва передвигались... Аэропорты современного мегаполиса — это витрины цивилизации, воплощение передовых технологий, реализация чуда технической мысли с движущимися тротуарами, стеклянными лифтами, эскалаторами, подземными железными дорогами, бутиками, кафе и ресторанами. И всё это горящее, сверкающее, сияющее, переливающееся разными цветами и красками пространство заполнено многоликою толпой с полным смешением национальностей, рас и языков. Если потребуется представить современный образ Вавилона, то лучшего сравнения не найдёшь. И это совсем не в уничижительном смысле. Ведь ещё в древности отец истории Геродот признавался, что лучшего города не знал. «Вавилон, — писал он, — был не только очень большим городом, но и самым красивым из всех городов»⁴. Но как же здесь — от этого никогда не перестающего шума-гама, мелькания лиц — устаёшь! Слава богу, скоро на посадку. И — в путь-дорогу!

³ Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. Языки славянской культуры. М., 2004. Т. 14. Дневники 1837 года. С. 55.

⁴ Геродот. История. Памятники исторической мысли. М., 1972. Кн. I. Кlio. Гл. 178.

Здравствуй, Ханты-Мансийск!

Сибирь обильна и полна
Сокровищ редких, благородных,
И дань богатую она
Выносит из широт холодных...

Евгений Милькеев

Из московской, совсем не февральской промозглости, тротуарной слякоти, отравленного бензиновыми выхлопами воздуха, из вавилонских столпотворений, минуя время и долгие российские вёрсты, замечательно вдруг перенестись в сибирскую зимнюю тишину, едва не утонув в бесконечных заснеженных просторах.

Утро 20 февраля. Ханты-Мансийск. На улице минус двадцать, но холод не чувствуется. Впрочем, что такое минус двадцать для юного сибиряка Ханты-Мансийска! Пустяк! Конечно, молодость Ханты-Мансийска относительна. Это по сравнению с Владимиром, Великим Новгородом, Псковом он юн, а, к примеру, Братску, Ангарску — он старший брат. Как поселение возник в конце семнадцатого века, но настоящее своё имя обрёл лишь к середине двадцатого. За три года до этого события в Ханты-Мансийске было построено первое здание из кирпича. С тех пор жизнь налаживалась и даже, наверное, кипела. Потому что летом 2008 года город Ханты-Мансийск уже был центром саммита между Россией и Евросоюзом.

Сегодня он выглядит как благоустроенный европейский город — этакая сибирская Швейцария на семи холмах. Интересная архитектура новых зданий, множество парков с великолепными ландшафтами. Но и прошлое покуда живо в нём, бревенчатые поселковые дома ещё сохраняются в старом центре. Заваленные высокими, в человеческий рост, сугробами, они, не то испуганно, не то просто удивлённо, смотрят на взметнувшиеся к небу по соседству от них дворцы, стадионы, офисы банков и многоэтажные дома и ещё более жмутся к земле. А присмотришься, понимаешь, что и они ещё хранят в себе былую красоту и стать — ажурные наличники, например, резьбу на фасадах и прочее. Но всё равно их время уходит, они как те самые мамонты из знаменитого Ханты-Мансийского «Археопарка», в котором мы фотографировались на фоне этих вымерших гигантов — самых в минувшие времена видных представителей сибирской фауны.

Ханты-Мансийск раскрашен снегом и морозом, свежестью и простором, вознесён в ледяных ладонях Иртыша и Оби, застывших сейчас в зимней спячке. И эти данные свыше красота и величие исполняют сердце трепетом. Свыше — это, значит, от Бога. Но и от человека привнесено в эту землю немало. Здесь имеется единственный в России и мире Парк славянской письменности и культуры, Парк Победы с Аллеей Героев, Парк Бориса Лосева, природный парк «Самаровский Чугас», библиотеки, музеи (среди них старейший музей округа — Музей Природы и Человека, музей под открытым небом «Торум Маа»), картинная галерея Фонда поколений, концертно-театральный центр, центр культуры и народных ремёсел и множество всего другого.

Мы, члены делегации лауреатов Международной литературной премии «Югра», фотографируемся на фоне сибирских берёз, бронзовых зайцев, лосей, медведей, льнущих к нашим протянутым рукам выстуженными морозом мордами и будто бы просящих: «Тепла, дайте тепла...» Мы же полны ожиданий, приятных предчувствий, поэтому не замечаем мороза и улыбаемся. Для нас всё только начинается. Тонет в пышных усах улыбка статного чеха Ярослава Голоубека, светится радостью, словно вписанное в овальную рамку из отороченного мехом капюшона лицо Владимира Скифа, движутся вверх, растягиваясь в улыбке, губы Игоря Шумейко, зажглись весёлые светлячки в глазах Юры Перминова. Последние трое — мои завтрашние спутники в новом путешествии. Юру я знаю давно, а вот со Скифом и Игорем Шумейко встречаюсь впервые, поэтому присматриваюсь к ним, обмениваюсь короткими фразами, в общем, не торопясь, не спеша знакомлюсь.

Чуть позже мы оказываемся в Государственной библиотеке Югры, где вот-вот начнётся церемония награждения лауреатов Международной литературной премии «Югра». Здание библиотеки выстроено недавно и стилизовано под старинный особняк с колоннадой у входа. Хантымансийцы зачастую называют его «библиодворцом». В центре вместительного фойе — огромная пишущая машинка «Royal». Нет, сегодня уж нет таких «больших» писателей, которым было бы в пору на ней работать. Подле неё для группового фото умещается вся наша делегация.

Лауреатов много, среди них — Виктор Буланичев, главный редактор альманаха «Бийский вестник», который поощрён за литературно-художественное просветительство. Вячеслав Ар-Серги (Удмуртия) получает премию за пропаганду и переводы финно-угорской литературы. Чешские писатели Ярослав Голоубек и Карел Сыс награждены за переводы русской поэзии и прозы и за талант, конечно же. Узнаю, что Игоря Шумейко жюри отметило за книги последних лет — «Ближний Дальний Восток. Предчувствие судьбы», «10 мифов об Украине», «Вторая мировая. Перегрузка», «Апокалипсис в мировой истории. Календарь мая и судьба России». А Владимира Скифа — за поэтическое переложение «Слова о полку Игореве», которое, по мнению членов жюри, уникально по близости к оригиналу, по стилистике, передающей душевное напряжение и авторскую боль за землю Русскую.

* * *

Владимир Скиф, сибиряк, иркутянин, отец троих детей и автор двух десятков книг, лауреат премий имени Ершова, Эдуарда Володина, Николая Клюева и др. — в общем, человек известный. Владимир Бондаренко почему-то предположил, что Скиф — истинный поэт эпохи Водолея. «И не только потому, — пишет Бондаренко, — что родился 17 февраля 1945 года, под знаком Водолея; всем творчеством своим он как бы предвещает наступающую эпоху Водолея, эпоху России»⁵. Не могу с этим согласиться, ведь эпоха Водолея — это концепция (согласно определению Википедии), лежащая в основе представлений культуры Нью-Эйдж о том, что на смену эры Рыб (ассоциируемой с христианством) приходит новая эпоха, в которой будут господствовать учения, представляющие синтез различных вероучений и современных научных достижений. То есть, по сути, это антихристианство — то, что разрушает Россию, весь мир. Я бы не стал отлучать поэта Скифа от русской христианской культуры, записывая его в приверженцы религии «нового века». Нет, он вырос на русской почве, крона его таланта шумит в нашем, русском лесу. Таким я его и увидел — стройным, с выбеленными сибирскими морозами волосами, седобородым, но моложавым, поэтом с искренней, звонкой, но глубокой, как Байкал, поэзией.

«Смирнов, который изменил фамилию» — так иронично объясняет Скиф происхождение своего псевдонима. Скиф улыбается, я улыбаюсь в ответ, его слова тоже отзываются во мне шуткой, но какой-то грустной: «Главное, Родине не изменил. Главное — Родине верен остался». И останется! Последнее — совсем уже без иронии. Словно бы сам А. Блок его благословил из далёкого далёка. И, возможно, сама Поэзия поставила его в первые ряды тех «с раскосыми и жадными очами», которых «тьмы, и тьмы, и тьмы». Кому-то ведь надо возвещать миру, что «так любить, как любит наша кровь, / Никто из вас давно не любит! / Забыли вы, что в мире есть любовь, / Которая и жжёт, и губит!»⁶ И не Блок напорочил, что «Россия — Сфинкс», вечная древняя загадка.

*Архангелом набросана вчерне
Судьба России, дрящейся веками.
Она — то в небе, то на самом дне,
То скипетром сверкает, то курками⁷.*

⁵См. статью Владимира Бондаренко «Поэт эпохи Водолея» // http://symill.ucoz.ru/news/stikhi_vladimira_skifa/2010-03-04-30

⁶А. Блок. Скифы // Избранное. М., 1969.

⁷Владимир Скиф // Сайт — <http://www.rospisatel.ru/skif-stihi.htm>

Так судил Бог: коль хотите нести правду, быть совестью народов, помните — *в мире будете иметь скорбь* (Ин. 16: 33). Из столетия в столетие мы протягивали руки и взывали:

*Придите к нам! От ужасов войны
Придите в мирные объятия!*⁸

А они в ответ:

*...думаясь, считали только срок,
Когда наставить пушек жерла!*⁹

И приходил роковой срок (и приходят новые сроки), и пушки стреляли (и опять будут стрелять), стонала земля, плавилась, рассыпались в прах горы, но стоял человек, русский человек. «Мильоны» их? А нас?

*...Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,
С раскосыми и жадными очами!*¹⁰

В глазах Владимира Скифа плещется Байкал, и в поэзии его, морозной, свежей и по-сибирски крепкой, играет волнами «Славное море — священный Байкал»:

*И мой Байкал. И этот чистый свет,
Мои глаза и душу напоивший.
Я не загинул. Я ещё поэт,
Не зря, быть может, на земле светивший!*¹¹

Воистину, выплеснувшееся на землю и ставшее Байкалом небо, сибирская ширь заживляют все раны души и изгоняют из неё сумрак. Что перед этой красотой, необъятно-стью вся наша боль, все наши слёзы, невзгоды, разлуки! Лишь штрихи лёгкого дождя, лишь ветерок, опавший на лицо. Не потому ли так свежо лицо Владимира Скифа, так неуловимо легка его улыбка? И так точно, так проникновенно его слово? Пусть болью проникнута его мысль о родной земле. Но и надежда живёт в его слове, и благодарность Богу за всё. А в этом и есть полнота, в этом и есть сила:

*И увижу: в тёмном небе
Так и кружит вороньё.
То кровавый снег, то пепел
Век мой сыпал на неё.
У деревни сто отметин,
Сто зарубок, сто могил:
Кто любил её на свете,
Кто мечами порубил.
Слава Богу, что живая,
Что не мёртвая она.
В небе рана заживает,
Красным полымем полна!*¹²

* * *

Игорь Шумейко — лёгок, изящен, импозантен, чисто европеец с шевелюрой Пьера Ришара. При этом умён, часто задумчив, углублён в себя, но всегда внимателен. Он всё замечает, фиксирует, его будущие книги рождаются в каждое мгновение бытия, где-то в глубине его, не умолкая, стучат клавиши невидимой пишущей машинки, подобно той,

⁸А. Блок. Скифы.

⁹Там же.

¹⁰Там же.

¹¹Владимир Скиф // Сайт.

¹²Там же.

«Royal», что украшает собой вестибюль государственной библиотеки Югры. Только у Шумейко это не экспонат, а живой, деятельный инструмент.

Игорь Шумейко прост, немногословен. Во время нашей будущей совместной поездки в Якутию кто-то пошутит: «Шумейко как обычно молчит, а Молчанов¹³ как всегда шумит».

Он действительно тих, он спокоен, он невозмутим. Мне он видится таким и поэтому слова о нём литературного критика Льва Аннинского кажутся адресованными какому-то другому человеку: «Он ярок, хлёсток, находчив. Талант полемиста здесь настолько очевиден (и настолько соблазнителен), что автор иногда явно предаётся соблазну, и тогда, втягиваясь в обмен уколами, успевает шепнуть серьёзным читателям, что это, конечно, памфлет, и он, Шумейко, это понимает»¹⁴.

Но, как видно, такова данность таланта — быть многогранным, по-разному звучать, светиться, видеться в различных ракурсах, разнородных ситуациях. Поэтому Шумейко желанный гость в самых известных СМИ, литературных журналах, редакциях телевизионных программ. Скиф и Перминов сибиряки, а Игорь Шумейко в рождении своём перешагнул Сибирь, вобрав в себя её смыслы и идеи, и появился на свет на самом Дальнем Востоке, в городе Находка в 1957 году. В 1983-м с отличием окончил факультет кибернетики Московского института управления имени Серго Орджоникидзе. Работал в Министерстве внешней торговли СССР. В общем, набирал опыт для будущей литературной деятельности, к которой приступил в начале 90-х. С тех пор он стал автором многих книг, среди которых — «Большой подлог, или Краткий курс фальсификации истории», «Вторая мировая. Перезагрузка». Касательно последней Лев Анненский отмечает: «...Исследование молодого историка Игоря Шумейко поражает доскональным, скрупулёзным знанием фактов войны, которой он не застал. И вообще фактов Истории. Фигурально говоря, от Горация до Гроция — если о толще времён. А если об истории недавней — то во всю ширь непроходимых завалов...»¹⁵

Шумейко неприхотлив, воздержан. На каком-нибудь правительственном банкете может просидеть с одной рюмкой, едва её пригубив. И, тем не менее, он один из самых известных знатоков русской водки. В 1994–2004 годах он участвовал в борьбе за возвращение незаконно уведённых советских водочных брендов, опубликовал более 150 статей по алкогольной тематике. Его книга «Русская водка. 500 лет неразбавленной истории» стала бестселлером. Его любят читатели, ценят и уважают коллеги-писатели, не упускают из поля зрения литературные критики. Всё это делает его большим, заметным, значимым, а он (вспоминаю я давешние экскурсии), грустно улыбаясь, смотрит в объектив моего фотоаппарата, ёжится от ханты-мансийского мороза и стучит, стучит клавишами невидимой пишущей машинки. Таков Шумейко, призванный в мир, чтобы тихо его удивлять.

* * *

21 февраля, ранее утро, режущая глаз белизна сибирского тракта. Мороз не велик, но, как говорят в народе, стоять не велит. Мы едем в Тобольск. Дорога иногда изгибается, как тетива лука, но, по большей части, она пряма, как стрела воина хана Кучума. И мы — наконечник этой стрелы. Убегающие назад ряды сосен и кедрочей успевают лишь удивлённо качнуть головами-вершинами. Мы едем в Тобольск.

Память моя хранит его историю, как и имя боярского сына Данилы Чулкова, прибывшего в Сибирь в 1587 году и при слиянии Иртыша с Тоболом заложившего городок Тобольск. Как сообщает об этом Кунгурская летопись, «...по промыслу Божию, доплыв воевода Данило Чулков, и против устья Тоболу поставил град, именем Тоболеск, на горе, первый стольный во всех городех, и церковь первую воздвиже, во имя Святыя Троицы,

¹³Молчанов Владимир Ефимович. Поэт. Член Союза писателей СССР с 1990 года, член Союза журналистов России с 1983 года, председатель Белгородского регионального отделения Союза писателей России.

¹⁴Аннинский Л. Дождались младенца, черти? // Информпространство — http://www.informprostranstvo.ru/N3_2007/Воуна_N3_2007.html.

¹⁵Там же.

и другую Всемилоостивого Спаса на взвозе...» Итак, Тобольск начался с церкви во имя Святой Троицы. И это роднит меня с Тобольской землёй, поскольку я, как пскович, сын Дома Пресвятой Троицы, воздвигнутого при слиянии рек Великой и Псковы ещё равноапостольной княгиней Ольгой. Тобольск молод, но также укоренён в русскую историю, такой же равночестный её сын, как и всякий другой, пусть и более древний, город России.

Рядом со мной в машине мои друзья — омич Юрий Перминов, талантливый русский поэт, умница и труженик, и Аркадий Елфимов, наш путеводитель и патрон этого путешествия, человек удивительной судьбы, у которого можно учиться, кажется, всему. В другом автомобиле, вслед за нами, движется поэт Владимир Скиф и публицист Игорь Шумейко. Как настоящие сибиряки, мои спутники молчаливы, сосредоточены, погружены в себя. Им есть о чём думать, поскольку мысли их выливаются в дела. Я же размышляю о Тобольске, о его славной истории, о коварном Кучуме и отважном Ермаке. В знаменитой битве у Чуваашского мыса на реке Иртыш 540 казаков, возглавляемые Ермаком Тимофеевичем, наголову разгромили 15-тысячное полчище сибирского хана Кучума. Как такое могло произойти? Этот вопрос до сих пор не даёт покоя историкам. Впрочем, историкам всегда что-то не даёт покоя. Мне же здесь всё ясно, потому что если Бог с нами, то кто против нас?

Останавливаемся. Выходим из машин. Над головой хрустальное морозное небо и бледное солнце. Высокий снежный вал отделяет дорогу от тёмного строя сосен, которые смотрят на меня, как мнится мне, молча и хмуро. Хотя нет, я слышу их шёпот, переходящий порой в тихий гул. Они словно обращаются ко мне. О чём хотят сказать?

*Начните знакомую речь вы со мной,
Припомните быль старины золотой!..
Быть может, ваш древний, приветливый шум
С отрадою слушал суровый Кучум...*

Это Евгений Милькеев. Его поэтические строки, ещё не читанные мною, наплывают на меня из будущего, из ближайших его часов, когда мой друг Аркадий Елфимов подарит мне книгу, изданную к 195-летию со дня рождения поэта¹⁶.

Аркадий Елфимов... Как-то удивительно легко, гармонично вписывается он в эту сибирскую явь, в суровый мороз, хрустящий наст над высоким сугробом, заснеженный, скованный холодом Иртыш, царапающие небо, похожие на глыбы льда облака — во всю эту суровую северную красоту; вписывается легко, гармонично, но и твёрдо, непоколебимо, как и положено настоящему потомку Ермака Тимофеевича. Он и внешне похож на дружинника храброго казачьего атамана — невысокий, крепкий, невозмутимый духом, исполненный внутренней силы.

Говорят, что еще за 30 лет до прихода Ермака в небе над горой татарам стал являться небесный град. Кунгурская летопись сообщает: «При сих во вся лета видеша царь и князи, агуны, муллы и абазы и прочие бусурманы на том месте, идеже ныне град Тоболеск и соборна церковь до колокольни, видишася христианский со светом град в воздухе, и церкви и звон великий, яко ими дивися и ужасно недоумевая. Что будет се. Сие им видение начаться видетись, яко примером бусурманских историк, с 1060 (1552) году во вся зори и праздники и им до прихода Ермакова». Небесный град... Как это возвышенно, поэтично. Сколь об этом пропето, сколько написано! Так жив в русском народе красивый сказ, легкосветлый, как восходящее солнце, и задумчиво-печальный, как солнце заходящее, — сказ о чудесном Китеж-граде, что отстроил князь Юрий Всеволодович, третий сын великого князя Владимирского Всеволода Юрьевича Большое Гнездо. «Китежский летописец» по этому поводу сообщает, что «князь <...> приехал к озеру, именем Светлояру. И увидел место то, необычайно прекрасное и многолюдное. И по умолению его жителей повелел благоверный князь Георгий Всеволодович строить на берегу озера того Светлояра город, именем Большой Китеж, ибо место то было необычайно прекрасно, а на другом бере-

¹⁶Речь идет о книге Е.Л. Милькеева «Стихотворения. Поэмы. Письма» / Общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска». 2010.

гу озера того была дубовая роща»¹⁷. О таинственной судьбе сего светлого града, связанной с нашествием на Русь Батыева, узнаём из рассказа Мельникова-Печерского: «Преданья о Батыевом разгроме там свежи. Укажут и «тропу Батыеву», и место невидимого града Китежа на озере Светлом Яре. Цел тот город до сих пор — с белокаменными стенами, златоверхими церквами, с честными монастырями, с княженецкими узорчатыми теремами, с боярскими каменными палатами, с рубленными из кондового, негниющего леса домами. Цел град, но невидим. Не видать грешным людям славного Китежа. Скрылся он чудесно, Божьим повеленьем, когда безбожный царь Батый, разорив Русь Суздальскую, пошел воевать Русь Китежскую. Подошел татарский царь ко граду Великому Китежу, восхотел дома огнем спалить, мужей избить либо в полон угнать, жен и девиц в наложницы взять. Не допустил Господь басурманского поруганья над святыней христианскою. Десять дней, десять ночей Батыевы полчища искали града Китежа и не могли сыскать, ослепленные. И досель тот град невидим стоит, — откроется перед страшным Христовым судилищем. А на озере Светлом Яре, тихим летним вечером, виднеются отраженные в воде стены, церкви, монастыри, терема княженецкие, хоромы боярские, дворы посадских людей. И слышится по ночам глухой, заунывный звон колоколов китежских»¹⁸.

Чудесная мечта о Китеж-граде есть неотъемлемая часть русской души, отыми эту мечту — и душа тут же закаменеет; такая душа уж навсегда будет отлучена от России, она «не поймет и не заметит... что сквозит и тайно светит / в наготы твоей смиренной...» Родина... как дорога нам её «смиренная нагота», как важна для нас «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». И из этой наготы, из пепелища рождается великая русская тайна, возрастает неборимая мощь России, ни с чем несравнимая её красота.

В благодатном плену таких идей и живёт Аркадий Елфимов. Я смотрю на моего друга, как всегда молчаливого, задумчивого. И вижу, как в глазах его, словно в зеркальной глади озера Светлояра, отражаются «церкви, монастыри, терема княженецкие, хоромы боярские...». В нем живёт Китеж-град, но живёт деятельно, мечты преобразуются в дела, они взлетают в небо, вознося за собою год от года всё более и более обретающие плоть и крепь идеи возрождения Тобольска и всея Сибири.

Книгоиздатель, историк, коллекционер, меценат. Его замечательными книгами будут гордиться — и уже гордятся! — и нынешние, и будущие поколения сибиряков. Да что там сибиряков — всей России, ведь Сибирь лучшая её часть! Двадцать пять уже вышедших в свет альманахов «Тобольск и вся Сибирь» — двадцать пять ярчайших звёзд на российском литературном небосклоне. «Тобольск», «Сургут», «Томск», «Тюмень», «Лукоморье», «Югра», «Омск», «Красноярск» и т. д., — это как азбука таланта, красоты, мужества, достоинства, преданности, любви... уникальности русской истории... драгоценный дар потомкам. И всё это — плод неугомонного труда талантливого, бескорыстного, всесторонне одарённого человека. Елфимовым изданы творения тобольского картографа и зодчего XVII века Семёна Ремезова. Большая красочная «Чертежная книга Сибири» также заняла почётное место во многих библиотеках области. Он передал Тобольскому государственному музею-заповеднику собранную им большую коллекцию произведений искусства. Впрочем, что говорить о добрых делах! Пусть их собирает Бог в Свою небесную копилку. А Тобольск, он просто становится краше, уютнее, любимей — город талантливых, умных, добрых людей, город друзей.

Теперь здесь далеко не глушь, здесь место мудрых бесед и неожиданных встреч, скрещения судеб и исторических путей. В серьёзности последних слов мне вскоре предстоит убедиться.

21 февраля 2015 года. Полдень. Тобольск. Мороз уменьшается градусов до пятнадцати, и уже совсем не холодно. Мы у губернаторского дома, где с августа 1917-го по апрель 1918 года проживала царская семья. Романовы занимали восемь комнат из восемнадцати. На первом этаже находились слуги. Охрана царской семьи проживала в доме Корниловых.

¹⁷Книга, глаголемая летописец... / пер. Н.В. Понырко // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 5. СПб. : Наука, 1997.

¹⁸Мельников П.И. (Андрей Печерский). В лесах. М., 1993. Т. 1. С. 6.

Непосредственной охраной царской семьи занимался отряд особого назначения под началом полковника Кобылинского, составленный из отборных солдат трёх гвардейских стрелковых полков. На втором этаже слева два окна — там был кабинет государя. Отсюда, из «города не убившего царя», начался его путь, путь всей России на Голгофу. Вот оно — скрещения судеб и исторических путей.

Чуть позже мы на историческом Завальном кладбище. Основано оно во времена Петра I по правую сторону от дороги, выходящей на Иркутский тракт, «близ прежде стоящего убогова дому». В 1776 году преосвященным Варлаамом (Петровым) на кладбище был освящён храм семи Ефесских отроков. На северо-западе кладбищенского храма находится братская могила. По свидетельству местных жителей, «когда Тобольск взяли войска Колчака, то порубили красных и свалили их в общую могилу. Потом пришли красные и порубили белых и положили их на красных». На Завальном кладбище в частности погребены:

Словцов Пётр Андреевич (+ 1843), историк
Брятинский Александр Петрович (+ 1844), декабрист
Кюхельбекер Вильгельм Карлович (+ 1846), декабрист
Муравьёв Александр Михайлович (+ 1853), декабрист
Ершов Пётр Павлович (+ 1869), писатель
Знаменский Михаил Степанович (+ 1892), историк

И опять скрещения судеб и исторических путей. Думаю об этом, стоя у гранитной плиты на могиле Вильгельма Кюхельбекера. Думаю долго, наверное, всю дорогу до дома Аркадия Елфимова. Там, под тёплым кровом, нас ждёт горячий ужин и чарка доброго вина. Но прежде нам, гостям — мне и Владимиру Скифу — предстоит выполнить важное действие, ритуал, который до нас выполняли десятки гостей Тобольска, гостей Аркадия Елфимова — писателей, деятелей культуры, политиков и т. д. Какой? Подбираю слова, чтобы ясно и внятно объяснить. Помните стихотворение Алексея Плещеева «Легенда»?

*Был у Христа-Младенца сад,
И много роз взрастил Он в нем;
Он трижды в день их поливал,
Чтоб сплесть венок Себе потом...*

Так вот, у Аркадия Елфимова тоже есть сад, только он из лип, пока ещё не вековых, подрастающих. Им, этим липам, ещё предстоит развесить свою благодатную сень на Тобольской земле. Первая липа посажена тринадцать лет назад, в 2002 году, Валентином Григорьевичем Распутиным. Потом были Лощиц, Небольсин, Анненский, Курбатов, Поляков и многие другие. И вот наш черёд. У студёных квадратных ям стоят озябшие саженцы, с закованными в мёрзлую землю корнями. Они как бы неживые, не верится, что они смогут когда-нибудь зазеленеть. Но оживут и зазеленеют. Я опускаю саженец в землю и почему-то вспоминаю евангельские слова: *Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода (Ин. 12: 24)*. Это словно заклинание. Нет, это молитва, это благословение, напутствие на долгую жизнь в этой священной роще.

А ведь в Европе липу и правда считали священной. Её сажали во дворах замков, на городских площадях. Под нею проходили общие собрания, решались важные дела. Священным считалось это дерево и на Кавказе. Срубить или сжечь липу запрещалось, это был большой проступок, её сажали вокруг церкви, и до сих пор некоторые старые храмы окружены развесистыми липами.

Таков был этот замечательный день просвещения и созидания, радости бытия и веры в благоую будущность. А на следующий в своём замечательном кабинете, словно перенесённом со страниц произведений Жюль Верна, Аркадий Елфимов подарил мне книгу Евгения Милькеева «Стихотворения. Поэмы, Письма», изданную к 195-летию со дня рождения поэта. Книгу, которую я и сейчас держу в руках, перелистываю, перечитываю. Например, о том, как любивший Милькеева Хомяков, по прибытии первого в Москву, обратился к нему с поэтическим приветствием, завершающимся такими словами:

*Ты наши, ты наши! По сердцу братья
Тебе нашлись. Тебя зовут
И дружбы теплые объятья,
И музам сладостный приют¹⁹.*

Удивительно, но мне слышались те же слова под сводами приветливых кровов Аркадия Елфимова. До сих пор в ушах моих звучит его обстоятельная, неторопливая речь, видится добрая улыбка Владимира Скифа, чувствуется крепкое сибирское рукопожатие Юры Перминова, помнится мудрое молчание Игоря Шумейко. Незабываемые «дружбы теплые объятья».

Что же касается липовой рощи, то, без сомнения, зашелестит она однажды листвою, зашепчет, заголосит. О чём? Быть может, о том, что в каждом русском сердце живёт свой Китеж-град.

* * *

Дорога от Тобольска до Тюмени развернулась 250-километровым белым рукавом с высокими снежными обочинами. Мы оставляем за собой редкие сибирские деревни и посёлки, среди них Покровское — родина таинственного, неразгаданного доселе старца Григория Ефимовича Распутина. Минуем поворот на Вагийский тракт. Перелетаем засыпанные снежной ватой реки с характерными сибирскими именами — Бергилька, Заимка, Аталык, Тобол... Всё это моя Россия, мой народ, который сам себе напоминает, что «терпенье и труд всё перетрут», что «без муки нет и науки», что «добрые умирают, да дела их живут». Красив русский народ, трудолюбив и мудр. Чтобы сохранить мудрость, опять же напутствует себя: «век живи, век учись». Хороший совет. Я тоже пытаюсь ему следовать, получается, правда, не всегда. Вот, например, у моего друга Юрия Перминова, с которым мы только что простились в Тобольске, я учусь трудолюбию, умению делать много, но при этом хорошо, талантливо. Как редактор альманаха «Тобольск и вся Сибирь», он подготовил и выпустил в свет много замечательных изданий. Я звоню ему по скайпу в любое время суток и практически всегда застаю за работой. И всякий раз он говорит, что готовит очередную книгу. А где же, когда рождаются его стихи? Ласковые, как весеннее солнце, свежие, как утренний ветер, прозрачные, как байкальские льды, колючие, как сибирские морозы, в общем, такие разные, но все по-своему красивые и талантливые? За этим же письменным столом? Или там, в заметённом снегом поле, которое я вижу сейчас из окна автомобиля? Как это у него?

*А снегу сегодня напало столько,
что хватит его для зимы...
В небесах загадочно светится лунная долька —
улыбкой погожей в Господних устах.
Я чувствую — знаю! — догадку помножив
на свет, заполняющий ночь: никогда
Господь не оставит Россию — поможет,
как было не раз, пережить холода²⁰.*

Мы с Юрой одногодки, но мне зачастую кажется, что он старше, мудрее, обстоятельнее. Он живёт по принципу «больше дела — меньше слов», он бережёт слова как драгоценный бисер — для стихов, для публицистики, прозы. Настоящий писатель!

Родился Юрий в Омске. Окончил Омский педагогический институт. Работал на заводе, корреспондентом газеты «Омское время», затем её главным редактором. Автор поэтических сборников: «Первые дороги» (1990), «Потому и живу» (1997), «Пусть город знает» (2007), «Как всякий смертный» (2008), «Свет из маминого окна» (2008) и других. Лауреат Международной литературной премии «Югра», Международного поэтического конкурса

¹⁹Отечественные записки. 1839. № 5. С. 134.

²⁰Перминов Ю. По крупницам любви // Сайт — http://www.kovcheg-kavkaz.ru/issue_45_440.html.

«Золотое перо», Всероссийской премии им. Лескова, премии им. Расула Гамзатова и др. Живёт в Омске. Или, точнее, в России, потому что настоящей поэзии тесно среди сутолоки домов, толчеи улиц и проспектов, ей, поэзии, нужны пространства от горизонта до горизонта, поля и леса, реки со всеми их берегами. И даже само время охватывает поэзия, держит в чутких руках, потому-то всякому времени, всякой эпохе поэт всё равно что родня.

*Спросило бы время: «Ты здесьний?», — ответил бы: «Свой».
Такой, что другого рассвета — ни капли не надо...²¹*

* * *

Мы всё ближе к Тюмени. Ветер задувает в стёкла снежную пыль, он наметал повсюду снежные сувои, завалил снежными раскатами русло величественной Туры, которая давно уже вьётся гигантской белой змеей по левую от нас руку. За леском открывается очередной посёлок с серебристой свечой храма, неведомо кем и когда зажжённой, но молитвенным своим горением поддерживающей стояние России. Мне вспоминается наша вчерашняя поездка в Знаменский Абалакский монастырь — духовную святыню всей Сибири... С этой обителью связаны чудесные события, относящиеся к первой половине XVII века. Как рассказывают, в 1636 году жительнице села Абалак, вдовице Марии, четыре раза являлся Свяtitель Николай Чудотворец, передавая повеление Божией Матери построить на Абалакском погосте деревянный храм в честь Её образа «Знамение». Не сразу, но через некоторое время, по благословению местного владыки, храм построили. Для него была написана икона в честь Божией Матери «Знамение». После чего болящий крестьянин Евфимий, который по обету и заказал этот образ, полностью выздоровел. Это стало первым чудом. Весть о чудесах от иконы Богородицы распространилась не только по Сибири, но и по всей России. Только в XVII веке было записано более 130 случаев благодатной от неё помощи. Эти многочисленные чудеса и послужили причиной того, что в 1783 году по высочайшему повелению императрицы Екатерины II на месте Абалакского прихода был учреждён Знаменский Абалакский мужской монастырь. После революции, как водится, он был закрыт, и лишь в начале 90-х начал свой путь к возрождению.

Мне, выросшему среди живых древних псковских церквей, блистательная красота свежесбеленных абалакских храмов — Знаменского собора, храма во имя Николая Чудотворца и храма Марии Египетской — показалась несколько искусственной и холодной. Холод этот оттеняли и усиливали расстеленные повсюду сугробы и высокая снежная гряда над Иртышом. Внутри храмы светились золотом роскошных иконостасов, богатыми ризами икон, но прихожан не было вовсе. Лишь пустота, гулкая и зябкая. Не потому ли теперь на эти воспоминания так хорошо ложатся поэтические строки из поэмы Евгения Милькеева «Абалак»:

*Стоит пустынный Абалак
На крутизне горы высокой:
В ненарушимости глубокой
Пред ним лесов раскинут мрак...
Вдали громады их одело
Небес туманной синевою;
Внизу шумит осиротело
Иртыш. Он пенится волной...²²*

Пустота, одиночество среди огромного мира. Это словно сюжетная нить судьбы самого Евгения Лукича Милькеева. Он родился в 1815 году в Тобольске в бедной семье. Лет в шестнадцать им овладело, как позднее он признался сам, «решительное желание сделаться стихотворцем»²³. И это желание помогало ему самостоятельно познавать правила

²¹Перминов Ю. // Сайт — <http://www.rospisatel.ru/perminov.htm>.

²²Милькеев Е.Л. Стихотворения. Поэмы. Письма. С. 85.

²³Милькеев Е.Л. Стихотворения. М., 1843. С. XV.

стихосложения. После окончания уездного училища он работал писцом в одной из тобольских канцелярий, помощником столоначальника Главного управления Западной Сибири. Поворотным моментом стала встреча в 1837 году с Жуковским, который сопровождал наследника престола в его поездке по России. Милькеев, человек чрезвычайно застенчивый, никому ранее не показывавший своих сочинений, всё-таки решается и показывает знаменитому поэту свои стихи. Жуковский высоко оценивает его дарование и принимает живейшее участие в дальнейшей его судьбе: содействует переезду в Петербург, знакомит с известными российскими литераторами С.П. Шевыревым, А.С. Хомяковым, К.К. и Н.Ф. Павловыми и др. Вскоре Милькеев поселился в Москве и поступил на службу к московскому губернатору И.Г. Сенявину. Он активно посещает литературные салоны. Славянофилы считают его, по свидетельству И.И. Панаева, «одною из самых блестящих надежд русской литературы»²⁴. Хомяков пишет о нем: «Милькеев... растёт не по дням, а по часам, и пишет славные вещи»²⁵. В 1843 году выходит в свет его первая (и единственная) книга «Стихотворения». Но в жизни у него наступает полный разлад, он теряет работу, живёт в нужде, хотя всё ещё надеется на признание и славу. Литераторы, дружелюбно расположенные к Милькееву (Шевырев в «Москвитянине», Плетнёв в «Современнике»), откликнулись на выход книги хвалебными отзывами. Рецензии Белинского (в «Отечественных записках») и Сенковского (в «Библиотеке для чтения») были убийственно отрицательными. «...Не к таким поэтам принадлежит самородный поэт г. Милькеев, — пишет, в частности, Белинский, — если только принадлежит он к каким-нибудь поэтам. Не только самобытности и оригинальности, — в его стихах нет даже того, что прежде всего составляет достоинство всяких порядочных стихов: нет таланта поэтического»²⁶. Воистину, слово животворит, утешает, лечит, но и убивает не хуже пистолета. Каждая строка Неистового Виссариона — словно пуля — и в творчество поэта, и в самую его жизнь. Увы, естество глубокого провинциала Евгения Лукича Милькеева не было защищено столичной броней цинизма, бесчувственности и равнодушия, он был беззащитен и перед ложью, и перед злобой, и перед предательством. Когда его обвинили в бесталанности и литературном самозванстве, а друзья охладели к нему и быстро его забыли, он разорвал последние нити, связующие его с этой жизнью. Утратив веру в себя и людей, преследуемый нищетою, он покончил с собой в 1845 году. Звезда Милькеева была яркой, стремительно взошедшей, она могла кого-то увлечь, и наверняка увлекла, но путь её был недолог.

Да, участь его печальна и лишь милосердие Божие может распорядиться к лучшему его загробной будущностью. Слова же его, плывущие где-то между бытием и небытием, ещё слышны, и вся мощь мироздания не способна заглушить их: «Я любил смиряться и дивиться Богу, любил смотреть на звезды и открытое небо и хотел одевать чувствования звуком, хотел говорить о небе и Творце...»²⁷

* * *

Тюмень. Сибирский тракт остался на той стороне Туры. А мне все ещё слышится тихая исповедь поэта, который «любил смотреть на звезды и открытое небо».

За окном парки с толпою сбежавшихся к обочине дороги высоких берёз в белых тулупчиках с тёмными заплатами. Они заглядываются на машины и робко машут ветвями им вслед. Старые застройки сменяются современными многоэтажными домами. Остаются позади театры, стадионы, дворцы культуры — всё, как везде, как во всяком большом городе нашей необъятной России. Говорят, что Тюмень — самый первый русский город в Сибири, что основан он значительно раньше Петербурга. Причём закладывали его в 1586 году люди с суровыми русскими фамилиями — казаки Василий Сукин и Иван Мясной. Долгое время Тюмень была малоизвестным городком, пока в здешних недрах не нашли огромные запасы

²⁴Панаев И.И. *Литературные воспоминания*. М., 1950. С. 162.

²⁵Русский архив. 1884. Кн. 3. С. 206.

²⁶Милькеев Е.Л. *Стихотворения. Поэмы. Письма*. С. 223.

²⁷Из письма В.А. Жуковскому // Милькеев Е.Л. *Стихотворения. Поэмы. Письма*. С. 27.

нефти и газа. С тех пор Тюмень — «нефтегазовая столица России», осваивающая поступающие в неё нефтедоллары. Наверное, всё так и есть. У меня ещё будет время об этом подумать, ну а нынешнее моё пребывание на сибирской земле подходит к концу. Вижу указатель: «Аэропорт Рошино — воздушные ворота Сибири». Это и мои ворота в Москву.

В самолёте я читал стихи Евгения Милькеева, и память то и дело возвращала меня к ставшим мне в минувшие дни друзьями Тобольскому кремлю и Софийско-Успенскому собору, Чукманскому мысу и памятнику Ермаку Тимофеевичу, Абалаку и Иртышу...

*Сжат холодом зимним в доспехах кристальных,
Гуляка степей беспредельных, Иртыш,
Еще ты не скинул пелен своих спальных,
Еще в неподвижном покое молчишь!
Желал бы я видеть твое ликование,
Побег твой весенний, свободу от сна,
Желал бы я видеть, как в шумном восстании
Помчится со льдами живая вода...²⁸*

И я, как Евгений Милькеев, искренне желал бы всё это увидеть — шумное пробуждение от зимнего сна, отступление снегов, мазки зелёной краски от горизонта до горизонта... но, увы, не сегодня, не сейчас, в следующее, дай Бог, путешествие на эту благословенную землю.

Медленно переворачивались страницы книги, сменяли друг друга портреты Погодина, Шевырева, Галахова, Сенковского, Жуковского... Я чувствовал, что глаза мои закрываются, я засыпаю... Жуковского... Жуковский...

Сон Василия Андреевича

И гении иногда могут кое в чём ошибаться...

...Перед сном Василий Андреевич мучился простудой, кашлял, утирал лоб платком. Он вспоминал минувший день, думал о составе сибирского общества и отличии оногo от столичного, потом перекинулся мыслью на давешний разговор с генерал-губернатором Сибири Горчаковым, как тот осмелился просить наследника престола ходатайствовать перед государем за испрошение прощения некоторым несчастным и назвал имя Николая Алексеевича Чижова²⁹. «Накликает на себя беду, — пожалел Василий Андреевич Горчакова, — однако, милости к падшим просить — Божье дело, быть может, и примет государь прошение? А я ведь решил, было, что человек этот большого дерзновения не имеет и действовать без оглядки на начальство в столице решительно не способен. Ан нет...» Внезапно он почувствовал сильную усталость, мысли его тут же сгустились, замедлились, замерли, очи смежились, и он мгновенно уснул.

Проснулся он глубокой ночью, сел в постели. Утёр со лба холодный пот и попытался привести на ум нелепый и жуткий сон, столь напугавший его только что. Что там было? Что за жуть? Василий Андреевич ловил ускользающие осколки сонного видения, но те, как это часто бывает, ловко прятались в сумраке сознания. Ему всё-таки удалось ухватиться за два четверостишия и вытащить их на свет Божий. Да, в этом жутком видении кто-то читал стихи... женщина, глухим, чуть надтреснутым голосом... незнакомым ему голосом...

*Стоял той порой он в своем чердаке, —
Души разбивалась сила, —
Стоял он, безумный, с веревкой в руке...
В тот вечер спросить о больном бедняке
Нам некогда было.*

²⁸Милькеев Е.Л. Стихотворения. Поэмы. Письма. С. 155.

²⁹Чижов Николай Алексеевич (1803–1848) — поэт-декабрист.

*Стон тяжкий пронесся во мраке ночном.
Есть грешная где-то могила,
Вдали от кладбища, — на месте каком,
Не знаю доселе; проведать о том
Нам некогда было³⁰.*

— Господи, ужас-то какой! — Василий Андреевич перекрестился. — Огради меня от всякого зла! Привидится же такое...

Он начал было размышлять, чьи же это могли быть стихи. Но бросил, не вспомнив, да и голоса не узнал. Ему вдруг на ум пришли строки из его «Светланы»:

*Смолкло все опять кругом...
Вот Светлане мнится,
Что под белым полотном
Мертвѣй шевелится...
Сорвался покров; мертвец
(Лик мрачнее ночи)
Виден весь — на лбу венец,
Затворены очи...³¹*

Мертвец... К чему вспомнился? Не о грехах ли напоминает Господь? Не о смерти ли? «Достойное по делам моим приемлю, — мысль его опять встрепенулась, почти уж успокоившееся сердце застучало, — помяни мя, Господи, во царствие Твоем!» Но нет, не сейчас, не сегодня. Господи, столько надо сделать! Вот и наследнику престола он нужен. Нужен! И России. Он вспомнил свои юношеские наивные вирши:

*На троне светлом, лучезарном,
Что полселенной на столпах
Взнесен, незыблемо поставлен,
Россия в славе восседит —
Златой шелом, огнепернатый
Блестает на главе ее;
Венец лавровый осеняет
Ее высокое чело;
Лежит на шуйце щит алмазный;
Расширивши крыла свои,
У ног ее орел полночный
Почует — гром его молчит³².*

— Видишь, Господи, — прошептал он, — уж сколько лет минуло, а ведь и тогда я пёкся о матушке нашей России. И ещё попекусь. Услышь, Господи, и помилуй!

Господь, как видно, услышал и вернул Василию Андреевичу успокоение. Мысли у того выправились и опять потекли в государственном русле — широком, могучем, державном, как Иртыш или Обь. И как же приятно опять ему думалось! Прекрасна наша Россия, и будущность её великолепна! Какой же человек явится в ней миру через двести лет! Куда там немецкой философии, да и всей европейской мысли! Силища у нас будет! Да, Пушкин ушёл, но другие придут. Вот юноша тобольский, здешний пиит Евгений Милькеев, самородок! Быть может, будущий Пушкин? И себя прославит, и Россию. Душевное благорасположение окончательно возвращалось к Василию Андреевичу, члены исполнялись сонной истомой. Он опять засыпал. Но тихо-тихо, отдалённо и жутко все ещё звучал откуда-то незнакомый женский голос:

*Стоял той порой он в своем чердаке, —
Души разбивалася сила, —
Стоял он, безумный, с веревкой в руке...*

³⁰Павлова К. Памяти Е. Милькеева // Стихотворения. М., 1985.

³¹Жуковский В.А. Светлана // Собрание сочинений : в 4 т. — М., 1959. Т. 2.

³²Могущество, слава и благоденствие России («На троне светлом, лучезарном...») 1799 // Жуковский В.А. Собрание сочинений : в 4 т. М., 1959. Т. 1.

*В тот вечер спросить о больном бедняке
Нам некогда было.*

«Дай, Бог, чтобы нам было когда», — успел прошептать Василий Андреевич, прежде чем окончательно заснуть.

* * *

Русь необъятна, Русь велика!
Бог предназначил ей греметь!

Евгений Милькеев

Василий Андреевич ещё нежился на перинах моего сна, а я уж вернулся в явь, в салон самолёта, оставив Василия Андреевича в неведомом далёко. Мы подлетали к Москве. Я смотрел в иллюминатор, в серую забортную муть — гудящую, колючую, холодную — и думал о том, что внизу, не подозревая о моём существовании, занимаются чем-то своим — нужным им и ненужным — незнакомые мне люди. Я никогда не встречусь с ними, не узнаю их имён, не порадуюсь их радостям и не поплачу над их несчастиями, но нечто незримое, вышнее, могучее связывает нас неразрывными узами. И не только нас, сегодняшних, но и тех, бывших прежде нас — всех!

Самолёт снижался, и виделась мне на открывшейся вдруг глазам земле, расчерченной линиями дорог, границами полей, тёмными, словно пробитыми копытами конька-горбунка, оврагами, зигзагами рек, овалами озёр, знакомые и родные лица: хозяина Китеж-града Аркадия Григорьевича, великого сказочника Петра Павловича и, конечно же, милого сердцу Василия Андреевича, с его тихим и напевным «Раз в крещенский вечерок девушки гадали...». Господи, как же мы нужны друг другу! Нужны, потому что мы, — каждый из нас! — часть единого народа, которому Господь вверил попечение о самой прекрасной, самой удивительной, самой великой стране — России! Сам Господь вручил её нам, — не власть предержащим, не политикам и нуворишам, а всем нам, каждому человеку, живущему на западном ли рубеже или на Дальнем Востоке, на севере ли у Ледовитого океана или на юге у берегов Каспия, на Урале или просторах Сибири, чтобы мы берегли её, нашу Россию, заботились о ней, возделывали её, украшали и, главное, любили. А с любовью в сердце жить так легко и отрадно!

Почему-то мне нестерпимо захотелось узнать, возымело ли силу то прошение о милости к падшим, с которым обратился к наследнику престола князь Пётр Дмитриевич Горчаков. Увы, тогда это не представлялось возможным! Позже, дома я открыл дневники Василия Андреевича Жуковского и, недолго поискав, в разделе за 1837 год, нашёл нужное место:

«Июня 23, вторник. Переезд из Казани в Симбирск... Великолепная равнина. Свияга. Поля, рощи. Въезд на гору с поля. Чернозем. Дуб. От Сибири лошади несли великого князя под гору. Тут мы под липками остановились и поздравили друг друга с благостием государя...»³³

«Поздравили друг друга с благостием государя...» Что бы это значило? Обратился к комментариям и прочёл: «Между Буинском и Симбирском наследник получил через фельдъегеря письмо государя, в котором говорилось о «милости к несчастным», в том числе к сосланным декабристам, в ответ на письма к нему наследника, Жуковского и Кавелина. «Посреди дороги, под открытым небом, мы трое, великий князь, Александр Александрович [Кавелин] и я обнялись во имя царя, возвестившего нам милость к несчастным», — писал Жуковский императрице...»³⁴

Я шёл сквозь толпу по сверкающему мраморному полу аэропорта Внуково — этой витрины цивилизации, и думал: «Вот бы и нам, таким разноликим, разноязыким, обняться сейчас во имя милости к несчастным, уважения друг к другу, во имя любви к нашей великой стране!»

³³Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем в 20 томах. Языки славянской культуры. М., 2004. Т. 14. Дневники 1837 года. С. 61.

³⁴Там же. С. 451.

ВЛАДИМИР МАКСИМОВ

Парижские встречи

Владимир Емельянович Максимов, русский советский писатель. «Диссидент», выдворенный из Советского Союза в 70-х годах прошлого века. Больше тридцати лет прожил во Франции. Хотя, по его собственным словам, «хотел бы жить в России». Долгое время был главным редактором журнала «Континент», издающегося на русском языке в Париже. Умер во Франции, так и не успев перебраться в Россию. Похоронили его в Сен-Женевьев де Буа, на знаменитом русском кладбище под Парижем, положив рядом с прахом Ивана Бунина и Алексея Ремизова, Дмитрия Мережковского и Бориса Зайцева. И было ему тогда столько же лет, сколько мне сейчас, почти шестьдесят пять. Может быть, ещё и это подтолкнуло меня вспомнить о моём двойном знаменитом тёзке, увы, не родственнике, даже дальнем, в отличие от Сергея Васильевича Максимова. Ещё одного писателя.

Я встречался с Владимиром Емельяновичем в Париже. В октябре 1993 года.

Некоторые фрагменты из наших долгих бесед, записанных на диктофон и расшифрованных позже, и которых бы, наверное, хватило на солидную брошюру, я и предоставляю вниманию читателей.

Более того, я уверен, что многое из сказанного писателем тогда, более двадцати лет назад, остаётся актуальным, увы, и по нынешний день.

И ещё одно небольшое добавление. Многие цитаты, использованные в этой статье, я почерпнул из произведения «Правда голая», другого Максимова, уже упомянутого мной вначале — Сергея Васильевича, этнографа и писателя девятнадцатого — начала двадцатого века.

Так что у меня получается Максимов в кубе. Но, смею надеяться, что ничего страшного в этом нет, поскольку двое из трёх Максимовых уже наверняка достойные люди.

* * *

Сергей Васильевич Максимов в своей «Правде голой» приводит слова Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде». У Александра Вампилова о правде сказано уже применительно к нашему времени: «Говорите правду — и вы прослывете оригиналом». В романе Владимира Емельяновича Максимова «Карантин» (эту книгу он мне в Париже подарил с лестным для меня автографом) есть парадоксальное, на первый взгляд, изречение Тертуллиана, касающееся воскресения Христа: «И был распят, и на третий день воскрес, и это была правда, поскольку это невозможно».

Минуя всевозможные софистические ухищрения теолога и писателя Квинта Септимия Флоренса Тертуллиана, жившего во втором веке нашей эры и утверждавшего веру именно в её несоизмеримости с разумом, я расшифровываю это его изречение по-своему. Говорить и делать правду, при любых обстоятельствах, часто вопреки собственной выгоде, очень непросто, порою невыносимо, почти так же, как воскресать.

Владимир Емельянович Максимов всегда старался говорить и делать правду. Это видно и по его произведениям, и по его публицистическим статьям, и по его действиям. Из-за чего он был неудобен сначала коммунистам в Советском Союзе. Ибо не подпевал в общем хоре: «Хороша отчизна наша! Вся цветёт, как маков цвет! Окромя проблемов счастья, никаких проблемов нет!» А позже стал неудобен так называемым демократам. Поскольку правдивая оценка событий и действий политических лидеров — вещь, как известно, неудобоваримая. Ведь, «правда глаза колет». Она, практически для любых правящих кругов, или, скорее, полагающих, что они правят народом, — как шило, которое, как известно, в мешке не утаишь. Недаром же в народе говорят: «И Мамай правды не съел». Наверное, поэтому время от времени и появляются такие люди, как Владимир Емельянович Максимов, которые эту горькую, голую — то есть не прикрытую одеждами лжи — правду-матку и говорят любым политическим деятелям, в каком бы высоком ранге те ни пребывали.

«Однако, по всеобщему убеждению, правду говорят только дети, дураки да пьяные».

Владимир Емельянович Максимов ни под одно из этих определений Сергея Васильевича Максимова не подходит. Он далеко не ребёнок, и даже не ребячлив; алкоголь, как я заметил при наших встречах, не употреблял вообще, даже в малых дозах, и уж конечно он далеко не дурак.

После известных событий 3–4 октября 1993 года в Москве, когда на глазах у всего мира (я, например, увидел эту бойню на парижской улице, где телевизоры, выстроенные в ряд в витрине магазина, продававшего их, демонстрировали прохожим, чуть ли не в прямом эфире, как из танков расстреливали парламент страны), опьянённая своими успехами, безумствовала «демократия». Владимиру Максимову, по-своему оценившему эти события, причём никогда не состоящему ни в каких партиях, «жёлтой прессой» были тут же навешаны ярлыки ярого антидемократа, коммуниста и фашиста, одновременно.

Одним словом, врезали на полную катушку. И за что же?

Да за то же самое. За его правдивые выступления в печати и правдивую оценку событий. За то, что мерзость — а как иначе было назвать то, что творилось в том же 93-м году и у Останкинской телебашни, когда стреляли в народ, который возмутился только тем, что растлевающее воздействие телевидения, с его перенятыми так называемыми западными ценностями, расплзается, как раковая опухоль, по всей стране. И расстрел Белого дома — российского парламента — Максимов тоже назвал мерзостью, а своих бывших диссидентствующих и недиссидентствующих друзей, поддержавших эту подлую акцию, «негодяями, которым он теперь руки не подаст». (Читайте статью Владимира Максимова «Прошу человеческого убежища!»)

И снова он оказался один. И снова путь на Родину — теперь уже он негоден был нынешним властям — закрыт. И снова он в смятении: «Ну, где же Россия?..», «Где те русские мужики, способные защитить себя и свои права, и свободу?..», «Что, собственно, происходит на родине?..»

Именно таким — растерянным, усталым, поникшим — я и застал Владимира Емельяновича в его квартире на улице Лорисьён, что недалеко от Триумфальной арки, в центре Парижа.

По-видимому, надо быть большим идеалистом, чтобы пытаться согласовать свою жизнь со своими принципами. Но именно таким показался мне Владимир Емельянович Максимов. Честный, иногда до грубости, человек, не желающий поступаться своими принципами.

— Я уверен, что сценарий того, что сейчас происходит в России, написан на Западе, — как-то устало, даже, казалось, неохотно говорил о происходящем в Москве Владимир Максимов, согласившись дать мне интервью. — Если бы это было не так, разве поддержали бы с такой лёгкостью главы почти всех европейских, да и не только европейских, государств всю эту бойню!.. Только вот не знают эти сценаристы, что большой зверь, такой как Россия, в одиночку не умирает. Он и их, исполнителей и сценаристов, за собой потянет... Одна надежда, что у вас на окраинах, в Сибири, народ, может быть, поумнее и потому очередная гражданская война не польхнёт... Москва-то, что о ней говорить! — это уже давно клоака. Я недавно был там. Зашёл как-то вечером на Павелецкий вокзал. Что делается?! Это же не вокзал, а все девять кругов ада. Нищие, бродяги, бандоганы, мафиози, проститутки — кого там только нет!.. Ну, да ладно, пусть радуются нынешние победители. Власть-то ведь брать — дело не хитрое. Для этого надо только наглость иметь и напор. Но экономику-то!.. Экономику-то, как власть, за горло не возьмёшь. Экономика этих победителей и взорвёт изнутри. И сотрёт в порошок. Они что же, не понимают, что ли, что шок полезен только в медицине, да и то лишь очень кратковременный. А шок, растянувшийся на годы, когда люди вынуждены не жить, а выживать, каждый день бороться за своё существование — это уже не шок. Это убийство собственного народа при помощи шока...

Впрочем, чему же тут удивляться! Это же в интересах Запада, в интересах сценаристов. Это ведь и есть их исконная мечта, чтобы России не было вовсе. Ведь они и Гитлера в своё время только потому поддержали, что он в простых формулировках изложил мечту Запада об огромных восточных территориях. Более того, все эти хвалёные демократии Запада, когда тот же Гитлер предложил им обменять шесть миллионов евреев на военные автомобили, отказали ему! Судьба обречённых на гибель людей их не интересовала, потому что сделка, видите ли, была не выгодна... Кстати, а вы знаете, что в 1939 году популярнейший уже тогда американский журнал «Тайм» назвал Гитлера, правда, уже после Чан

Кайши, человеком года и, соответственно, вынес его фотографию на обложку журнала... И вот, когда внимательно сопоставляешь все эти детали, они становятся звеньями одной цепи. Причём, заметьте, я не говорю ни о каком жидомасонском заговоре ни в отношении России, ни в отношении к другим странам. Я думаю, что в жизни всё значительно примитивней и потому проще и наглядней. Я говорю о реально существующем Тройственном союзе: Англия, Америка, Западная Европа, который открыто, на глазах у всего остального мира, постоянно изобретает глобальную политику со всякими своими «рекомендациями» другим странам. И, по мнению этих «аналитиков», любое действие, направленное в России, в Югославии ли к примирению, к объединению, сразу же высмеивается всеми средствами массовой информации. Любое же действие, направленное к сепаратизму, к разрушению, и особенно в России, поощряется...

Поэтому меня просто тошнит, когда говорят о так называемых «цивилизованных странах». Это что, «колыбель демократии» Великобритания, что ли, которая уже десятки лет ведёт войну с ирландцами, — цивилизованная страна?! Или эта их «железная леди» — Тетчер, которая уморила в тюрьме голодом одного за другим, кажется, восьмерых ирландцев, некоторые из которых были, кстати, избраны в парламент, — великая демократка?! Уж хоть бы помалкивали! А они ещё учат других, как жить. Или Америка, которая искренне считает, что при их-то демократии 200 миллионов американцев просто обязаны жить хорошо, правда, за счёт ресурсов всего остального мира. Это некий большевизм наоборот, потому что они искренне думают, что если раздели кого-то догола, но бросили ему потом пояс, — это и есть гуманизм, или гуманитарная помощь. И эту свою схему они накладывают на весь мир. И если вы с этой схемой не согласны, вы, по их мнению, просто больной человек... Я сейчас роман пишу. Он такой антиамериканский получается... И все эти демократии — это просто миф. На самом же деле это такая очень жёсткая и очень жестокая, абсолютно безжалостная, по отношению к простому человеку, система...

Он замолчал. И какое-то время сидел так, будто обо всём забыв.

— Владимир Емельянович, — прервал я задумчивость писателя, — почему же всё-таки так не любят Россию на Западе?

— Нет, теперь уже начинают любить, — снова продолжил он. — Это раньше, когда она сама по себе жила, силушку имела, в рот никому не заглядывала — не любили. А сейчас Россия исправляется. Что Запад скажет, то она и сделает. (Как хорошо, что слова Владимира Максимова всё-таки не оказались до конца пророческими. — *Авт.*) Покладистая (или подкладистая, как подумалось мне. — *Авт.*) стала теперь девица Россия. Вон, например, Димитри Саймс, из Фонда Карнеги, уже открыто в интервью Си-Эн-Эн хвалит нынешних руководителей за государственный переворот. А газеты ваши эту похвалу перепечатывают...

Чтобы слова Максимова не прозвучали голословными, я привожу цитату из выступления высокопоставленного американца по газете «Мегаполис-экспресс»: «Прежде всего надо чётко уяснить, что произошло. Это был государственный переворот... Но мы можем сказать, что *это был хороший государственный переворот*, что Ельцин был вынужден его совершить, что это было в интересах США...» (выделено мной. — *Авт.*)

— ...Да, о Россию, как о половичок, теперь каждый, кому не лень, норовит вытереть ноги, любой карлик. А нелюбовь к России у Запада очень давняя. Но не только громадная территория и мощь России всегда раздражали, не устраивали и пугали Запад. Например, в понимании всего католического мира — мы всё ещё язычники. Православие не в счёт! И вы посмотрите, что делается-то сейчас во всех концах России! Кругом какие-то новые секты образуются. То кришнаиты, то «Белое братство», то ещё какая-нибудь хрень! И у всех у них достаточное финансовое обеспечение. Откуда, спрашивается, деньги? Что они им с неба, что ли, свалились? А власти на это червоточение православия — хребет России, спокойно взирают. Да ещё предоставляют целые стадионы для проповедей всяким миссионерам, будь то баптисты или ещё кто-нибудь. А вот в том же Израиле, например, миссионерская деятельность чуждых религий законом запрещена. Хотя израильтян ох как не просто от своей исконной религии в сторону увести. Но бережёного, как говорится, и Бог бережёт.

— А вы, Владимир Емельянович, человек православный?

— А как же! И я, и жена моя Татьяна Викторовна, и обе дочери. Все крещёные... Здесь недалеко, на улице Рю де Рю, очень кстати, хороший православный храм есть. Там много русских собирается. Приходите в воскресенье — сами увидите. Есть и православные французы...

И я ходил перед отъездом из Парижа в этот храм, где в дар перед многими иконами на специальных бархатных алых подушечках лежали георгиевские кресты и золотом шитые погоны. И где я встретил, наконец-то, очень красивых «французенок», коих почти не встречал на улицах Парижа. И благообразный батюшка, говорящий по-русски, увы, с акцентом, благословил меня после службы на обратную дорогу в неведомую мне тогда новую Россию. В которую Владимир Емельянович не советовал мне возвращаться, сказав: «Я слышал ваше десятиминутное интервью на радио «Свобода», записанное в Мюнхене дней пятнадцать назад, к которому потом было сорок пять минут комментариев разных аналитиков, доказывающих, как вы не правы в оценке нынешних событий, происходящих в России. Я думаю, что этого интервью нынешние власти вам не простят. Впрочем, это только когда у тебя есть деньги, тебе хорошо и в Париже. Мы ведь все здесь, кстати, очень неплохо кормились за счёт своего диссидентства. Но зато в России бывает хорошо и без денег. Езжайте домой, не слушайте меня, старого дурака...»

Я так и сделал, и никогда не пожалел об этом. Денег у меня действительно нет, особенно, когда стал пенсионером. Или, как говорил солдат из сказки «Огниво»: «Мелких нет, а крупных никогда не было...» Но ведь как-то я живу. Видно, просто Господь ко мне грешному милостив.

P.S. Статья эта была написана почти два года назад. И даже опубликована в одной, довольно многотиражной газете. И имела успех. А на перепечатывание её в журнале «Сибирь», с некоторыми существенными добавлениями (газетные площади этого не позволяли сделать), меня сподобили два обстоятельства. Во-первых, нынешние события на Украине с их безумством и полным подчинением Западу, в основном Америке. Когда правители так называемой «незалежной» не только пукнуть тихонечко, но и чихнуть — тоже негромко — без разрешения своих заокеанских хозяев не смеют. И, во-вторых, мысли, высказанные Владимиром Емельяновичем Максимовым более двадцати лет назад, по-моему, актуальны и теперь, потому что это вечные мысли: о борьбе добра и зла, правды и лжи... А значит, чем большее количество людей о них узнает, тем будет лучше, прежде всего, для самих этих людей, которые смогут отличить кукол на ниточках (все эти «майданы») от реальных кукловодов.

И очень хочется верить, что и братский украинский народ справится с этой проказой, пришедшей к нему с Запада, как в своё время справилась с подобной напастью Россия.

ЮЛИЯ ФЕДОРИЩЕВА

Поэт, г. Новосибирск

Писатели Сибири, объединяйтесь!

Нынешнее лето стало особенным для сибирской литературной жизни: редакция журнала «Сибирские огни» совместно с Новосибирским отделением Союза писателей России при поддержке министерства культуры Новосибирской области, администрации Ордынского района и бизнес-группы «NORDАЗИЯ» организовала масштабное мероприятие — Региональное совещание сибирских авторов, проходившее с 22 по 25 августа на базе «Сундучок» близ села Новопичугово Ордынского района. Совещание это возродило старую традицию выездных семинаров писателей Сибири, что не может не воодушевлять — приехало более 30 литераторов из Абакана, Новосибирска, Иркутска, Кемерово, Красноярска, Барнаула, Братска, Ленинска-Кузнецкого, Северска, Тары, Бердска, Искитима, Томска, Ангарска, Тары, пгт. Ордынское (НСО), пос. Агролес (НСО), с. Евгашино (Омская обл.), пос. Береговое (НСО).

Работу с авторами проводили на семинарах поэзии и прозы, возглавили которые заслуженные и уважаемые лица: поэтической секцией занимались Сергей Донбай (член высшего творческого Совета и приёмной Коллегии Союза писателей России, главный редактор журнала «Огни Кузбасса»), Василий Дворцов (секретарь правления Союза писателей России, член высшего творческого Совета СП СГ Россия–Беларусь) и Владимир Берязев (поэт, лауреат премии «Литературной газеты» им. А. Дельвига), а прозаиков приняли в свои объятия Анатолий Кирилин (секретарь правления Союза писателей России, руководитель Общественной Алтайской краевой писательской организации), Анатолий Шалин (секретарь правления Союза писателей России, председатель правления Новосибирского отделения Союза писателей России, главный редактор журнала «Новосибирск»), Анатолий Байбородин (прозаик, лауреат «Большой литературной премии России» и премии «Литературной газеты» им. А. Дельвига) и Михаил Щукин (секретарь правления Союза писателей России, главный редактор журнала «Сибирские огни»).

...Всё началось в редакции журнала «Сибирские огни» на ул. Коммунистической, куда с утра подходили и подъезжали участники. Примечательно (но не удивительно), что последними к месту встречи прибыли коренные новосибирцы.

На двух автобусах (из которых наибольшее число фанатов обрёл жёлтый автобус с надписью «Дети») вся компания благополучно добралась до Ордынского района, где в первую очередь посетила место битвы отряда воеводы Андрея Воейкова с ханом Кучумом в августе 1598 года и выслушала захватывающий рассказ о разгроме ханского войска. Попутно писателям была рассказана легенда о таинственном синем коне, являющемся в окрестностях вместе с густым туманом и отдалённым шумом битвы. Михаил Щукин тут же предложил поэтам написать стихотворение о синем коне, и ещё до окончания семинара от участников и организаторов стали поступать произведения на заданную тему.

На базе «Сундучок» семинаристов встретили добрая собака Альфа (к концу семинара стараниями хлебосольных гостей окончательно раздобревшая), пирс с лодками и катамараном, колоритные деревянные корпуса и аккуратные белые домики. Было прохладно и лишь временами солнечно, поэтому купаться никто поначалу не решился. Зато приятно было постоять на пирсе, созерцая доступный взору кусочек Обского моря. Пока большая часть семинаристов отдыхала и наслаждалась видами, поэт Сергей Логинов усердно фотографировал их, обещая выложить снимки в самом скором времени, — и сдержал слово.

Насыщенный первый день ознаменовался торжественным открытием совещания и приветственным словом министра культуры Новосибирской области Игоря Решетникова в Доме культуры Новопичугово.

А неофициальным продолжением вечера стал согревающий поэтический слэм среди кромешной августовской темноты, но зато на освещённой веранде, к тому же под предводительством зажигательных ведущих Елены Берсенёвой и Павла Куравского. Наиболее стойкие не разошлись и после слэма, ведя задушевные беседы в общей кухне и исполняя лирические песни под гитару бердского поэта и прозаика Алексея Ерошина.

Во второй день, подкрепившись плотным завтраком в школьной столовой Новопичугово, семинаристы взялись за работу.

Надо сказать, что участники весьма добросовестно отнеслись к прочтению текстов коллег, разосланных заранее, и принимали активное участие в обсуждении. Несмотря на изобилие шуток про опасные последствия критики в условиях проживания на закрытой территории, обошлось без взаимных обид и выяснения отношений. Занятия обеих секций проходили, по отзывам, в дружеской и доверительной обстановке. Никто не остался без подробного критического анализа, но никто и не упал духом — напротив, все ощущали душевный подъём и, не успев отойти от разбора, рвались перечитывать свои тексты, править ошибки и творить дальше. День стоял тёплый, так что в промежутке между работой гости успели позагорать и искупаться.

А вечером второй поэтический слэм познакомил аудиторию с новыми смельчаками и ужесточил правила борьбы: на этот раз участники не просто читали стихи по кругу, а соревновались по парам, и в ходе зрительского голосования один из них выбывал. Обаятельные ведущие соревновались наравне с другими, народ голосовал за всех подряд и за собственных слэмовских оппонентов в том числе, словом, царила нормальная спортивная атмосфера. Выявить победителя, несмотря на всё это, удалось — если в первый вечер на вершине мастерства оказалась Кристина Кармалита, во второй день она уступила пальму первенства Марии Дубиковской.

Третий день оказался, пожалуй, самым насыщенным из всех. После обеда завершилась работа секций, и у семинаристов появилось свободное время для чтения, философских разговоров, доедания привезённой еды, солнечных ванн и прогулок на катамаранах, а вечером им удалось немного побродить по сельским улицам, фотографируя живописных коров и гусей. После живой прогулки поэты и прозаики вернулись в ДК Новопичугово для встречи с Владимиром Шамовым и его увлекательной лекцией «Некоторые аспекты из истории Новосибирска».

Вечером были подведены итоги совещания и для вступления в Союз писателей России рекомендованы Агата Рыжова, Виктор Бровиков (Кемерово), Павел Пономарёв (Барнаул), Елена Берсенёва (Искитим), Мария Дубиковская, Лариса Подистова (Новосибирск), Евгений Бабилов (пгт. Ордынское, НСО), Пётр Матюков (Бердск), Игорь Кожухов (пос. Береговое, НСО), Алексей Ерошин (пос. Агролес, НСО), Александр Тихонов (Тара).

Также Региональное совещание сибирских писателей рекомендовало Томскому отделению СП России, Красноярскому отделению СП России, Омскому отделению СП России, Иркутскому отделению СП России и Союзу писателей Хакасии рассмотреть вопрос о вступлении в члены Союза писателей России Ларисы Мареевой (г. Северск Томской области), Оксаны Горошкиной, Елены Жариковой (Красноярск), Любви Новгородцевой (с. Евгачино Омской области), Игоря Корниенко (Ангарск), Марии Окуновой (Абакан).

Решено было также продолжить работу сибирских отделений СП России по организации литературной учебы талантливой молодёжи, созданию творческих объединений, студий и мастерских при писательских сообществах, а также укреплять связь сибирских литературных журналов с писательскими организациями и молодыми перспективными авторами.

В дальнейшем планируется проведение таких совещаний ежегодно — это очень важно для общения и творческого роста сибирских литераторов, ведь на таких мероприятиях завязываются знакомства, появляются новые впечатления и общие воспоминания, звучат новые имена — а главное, люди слышат отзывы о своём творчестве и получают стимул к дальнейшему развитию.

ЭДУАРД АНАШКИН

КРИТИК, ПРОЗАИК, Г. САМАРА

Правое дело Владимира Крупина

У некоторых русских прозаиков есть произведения, написанные в жанре лаконичной прозы. У Виктора Астафьева — «Затеси». У Владимира Солоухина — «Камешки на ладони». А у Владимира Крупина, конечно же, его «Крупинки» — их так и хочется сравнить с песчинками, в которых сосредоточено мироздание. Есть раздел «Крупинок» и в новой книге Владимира Николаевича «Море житейское». Читаешь их и поневоле восхищаешься талантом и мастерством увидеть житейное в житейском, небесное в земном. Каждая «крупинка» по составу своему и по литературной огранке поистине бриллиант чистой живой воды русской словесности. Поневоле приходят на ум слова Валентина Григорьевича Распутина о Владимире Николаевиче Крупине: «... в письме его ни с кем не перепутать. Это какая-то особая манера повествования — живая, даже бойкая, яркая, воодушевленная, образная, в которой русский язык «играет», как порою весело и азартно «играет» преломляющееся в облаках солнце...»

Рассказывая вроде бы о делах сердечных в миниатюре про «правых» и «левых» женихов Мурманска «бойкий» на байки писатель говорит читателю о двух совершенно различных отношениях к жизни. В Мурманске мужчины почти поголовно моряки. Приметливые девушки-мурманчанки подразделяют всех мурманских женихов на две категории. Левые женихи — матросы, что идут в плавание налево, в буквальном географическом смысле слова — в сторону теплого Гольфстрима и Европы. Туда, как правило, курсируют торговые и туристические суда. «Правые» моряки уходят в плавание вправо, в не очень уютную и очень опасную Арктику — по делам, с коммерцией не связанным, часто военным. Между «правыми» и «левыми» женихами-моряками мурманские невесты метко определили большую разницу. «Левые» женихи более разговорчивы и более озабочены материальным. Знают, чего и где в какой стране почём, какой язык лучше учить, чтобы было удобно, сходя на берег, делать покупки. Мысли «правых» женихов заняты не столько материальными проблемами, сколько трудной, а часто и рискованной романтикой Севера. «Правые» моряки никогда не уходят налево, не в смысле измены жене, а в смысле, что арктические моряки практически никогда не переквалифицируются на морские походы в сторону благополучной Европы. Не меняют неуютные русские севера на теплые гольфстримы! И наоборот, привыкшие к европейской цивилизации «левые» моряки не жалуют суровую Арктику.

К чему я это говорю, спросите. А к тому, что, если провести аналогию, то получается, что литературное дело Владимира Крупина — правое дело. Уроженец вятский, на слово хваткий, принимающий своё писательство не как «левый» поход за материальным, а как правое упорное и несуетное служение избранному делу, длящееся десятки лет, начавшись с первой книги «Зерна» (1974 г.). По ней молодой на тот момент прозаик Крупин был принят в Союз писателей. И вот уже, хотя и рано, но можно подводить некоторые итоги: зерна стали крупой, крупинками...

Благодаря целому ряду прекрасных прозаических произведений — «Великорецкая купель», «Живая вода», «Во всю Ивановскую», «Ямщицкая повесть», «Слава Богу за всё», «На днях или раньше» и многих других, не говоря уже про его «Православную Азбуку», Владимир Крупин признан живым классиком. Многие коллеги считают его феноменом того, как можно быть в жизни радушно улыбчивым, но при этом твёрдо стоять на своих убеждениях неприятия нынешнего порядка, когда Россию уничтожают по американскому распорядку. Никому Крупин своих убеждений не навязывает, он вообще, по моим наблюдениям, человек не категоричный. Но неуклонно этим убеждениям следует. В лихие де-

вяностые, когда массово шло разграбление страны, прозаик Крупин сделал свой выбор, отказываясь при скудных писательских достоинствах от литературных премий, которые периодически хотели вручить ему. Не считал Крупин возможным брать что-то в то время, когда разграблялась его родина.

Правильно сказал о нём, своем друге и единомышленнике, Валентин Распутин, что был Крупин самым твёрдым и убеждённым противником тех, кто пытался уничтожить страну. Конечно, писать о Владимире Крупине после тех слов, что сказал о нём Валентин Распутин, — дело даже не смелое, но неэтичное. И лишь юбилей Владимира Крупина да недавняя смерть Валентина Распутина являются моими оправданиями. Позволю себе процитировать то, что сказал о Крупине Распутин: «Проза Владимира Крупина — это нечто особое в нашей литературе, нечто выдающееся и на удивление простое... в его прозе очень сильный рассказывательский элемент. Впечатление такое, что письмо ему дается легко: сел за стол и, рассказывая предполагаемым слушателям о том, как он ездил на свою родину или на родину друга, сам за собой записывает и едва успевает записывать события в той последовательности и подробностях, как они происходили. Но рассказывает и записывает сосредоточенно, живописно и эмоционально, не теряя за живостью и непосредственностью строгости, и художественности. А это значит, что кажущаяся лёгкость слова на самом деле достигается непросто, в тех же мучительных поисках, как и для всякого писателя, относящегося к слову с уважением...»

Уникальность Крупина в том, что он пишет о своём народе и для своего народа. Скажете, ну какая в том уникальность? А вот много ли наберётся сегодня писателей, чьи произведения понятны и любимы народом? Проза Крупина воистину народная проза, в не самое благополучное для народа время Крупин остаётся с народом и повествует народу о нём самом, не лстя и не лукавя, но и не позволяя себе унывать самому и вгонять в уныние свой народ. Выходец из крестьянской семьи, сын лесничего, Владимир Крупин порой напоминает мне такого доброго лесовика, знающего такие тайны творчества и мироустройства, что сразу становится спокойнее за Россию.

От жизни Владимир Николаевич не бегал. По окончании сельской школы работал слесарем, грузчиком, сельским корреспондентом районной газеты, был даже членом бюро райкома комсомола с перспективой выдвижения на должность секретаря райкома комсомола. Не косил от армии, честно прослужил родине три года, как тогда полагалось... Юношеская страсть к литературному творчеству привела его в Литературный институт, но — удивительно! — по конкурсу не прошёл и поступил на филологический факультет Московского областного педагогического института. Большое имя в литературе Крупину сделала повесть «Живая вода», позднее переведённая на несколько иностранных языков. Уже тогда Крупин явил читателям уникальную манеру говорить о высоком просто и без пафоса, который так часто отпугивает нашего усмешливого русского человека. Наш народ твёрдо усвоил: где пафос — там ложь. А потому герои Владимира Крупина часто по-доброму усмешливы — деревенские мужики, в каждом из которых живёт философ, порой они косноязычны, но правду жизни видят насквозь. Ту правду, которую так ценит наш народ. Думается, что уже в «Живой воде» был предreshён приход Владимира Николаевича к теме православия.

...Познакомился я с Владимиром Николаевичем давно, благодаря самарскому писателю-фронтовику Валентину Николаевичу Мясникову. Узнав, что я еду в Москву и какое-то время буду жить в Переделкино, самарский прозаик Мясников, на то время редактор областной «Книги Памяти», сказал: «Эдуард, просьба к тебе. Вот небольшая бандероль, а вот на листочке номер московского телефона. Позвони, пожалуйста, это телефон Владимира Крупина, известного прозаика. Передашь ему бандероль, да и лично познакомиться будет повод...» Так с лёгкой руки земляка моя библиотека пополнилась первой дарственной книгой Владимира Крупина «Православная Азбука». Книга была новенькая, но сейчас вид у неё совсем другой — думаю, ни один из писателей не был бы против, чтоб его книги так зачитывали. С «Православной Азбукой» познакомилась сначала моя внучка, особенно полюбила книгу моя внучка Татьяна, затем дети и внуки соседей... Сей-

час на полках моей библиотеки много книг Крупина с дарственными надписями. Мы не раз встречались с Владимиром Николаевичем в Правлении Союза писателей России, на Всемирном Русском народном Соборе в храме Христа Спасителя. И всегда с ним было интересно, всегда находилось, о чём перемолвиться словом. Познакомил меня Владимир Николаевич и со своей женой, главным редактором журнала «Преподавание литературы в школе» Надеждой Леонидовной...

Как-то в письме от 26 июня 2003 года Валентин Григорьевич Распутин написал мне о Крупине: «Его нужно внимательно и вдумчиво прочитать. Десять лет он не издавался (книгами), а сейчас книги опять пошли. Я дружу с Крупиным около тридцати лет и не однажды писал о нём. А какие замечательные «Рассказы последнего времени»! Кто ещё может так написать? Я, к сожалению, не вижу...» Коснулся Валентин Григорьевич в этом письме и нашумевшей в своё время истории с публикацией в «Нашем современнике» повести «Сорокового дня». Вот что написал: «В чём тут может быть вина Крупина, я не пойму. Он написал повесть и принёс её в журнал Ю. Селезневу, заму Викулова, повесть понравилась, однако Викулов побаивался её. Обратились за отзывом к членам редколлегии В. Белову и В. Распутину. Они поддержали повесть. Скрепя сердце, редактор соглашается на публикацию. А затем, когда разразилась гроза, сваливает, и по-своему справедливо, ответственность за публикацию на Селезнёва. А никакого участия Крупина в том, публиковать или нет повесть, не могло быть, он, как всякий автор, ждал лишь ответа. В сущности, Сергей Васильевич Викулов должен больше обижаться на Белова и меня за наш вкус, а не на автора, безропотно ждавшего решения... Знаете, Эдуард Константинович, Вам необходимо ближе подружиться с Крупиным. Владимир Николаевич великолепный прозаик, и у него есть чему поучиться. Если возникнет необходимость — звоните мне, сюда, в Иркутск, и вопрос будет решён. Удачи Вам и терпения! Искренне В. Распутин».

...Я не только подружился, но и стал однажды свидетелем творческого триумфа Владимира Крупина. Увидев его в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в день оглашения лауреатов Большой Патриаршей премии, вдруг почему-то подумал — да вот же он, лауреат! И ещё до оглашения списка подошёл к Крупину и поздравил его с лауреатством. Хотя в коротком списке возможных лауреатов были весьма уважаемые писатели, но что-то говорило мне, что лауреатом станет именно Крупин. В общем, я его поздравил, а он изумился — что, разве решение жюри уже огласили? Отвечаю, нет, не огласили, просто моя сельская интуиция подсказала мне имя лауреата. Когда огласили имена и Крупин действительно оказался лауреатом, видимо, подумал — вот какой хитрый Анашкин, поди, разведал дотопле тайную информацию — лауреатский именинник. А мне просто подумалось тогда, что даже странно, что Крупин до сих пор не патриарший лауреат! Видимо, так думалось не мне одному, но и членам комиссии по присуждению премии.

Уж кто-кто, а такой служитель русского правого литературного дела как Владимир Крупин служит русскому наречию так, что любо-дорого почитать его в наше время — нашествия на Русь иноплеменных, а часто и вовсе безродных слов. Его Емеля, хотя и не полезет в карман за иностранным «олрайтом», да русский язык знает так, что любо-дорого, потому что он и есть народ-словотворец. Эта русская природная хваткость на слово часто ставит в тупик иностранцев. Послушаем строки из его рассказа:

«— Вот у вас такая фраза, — спрашивала меня немка-переводчик. — «Этот Витя из всех Витей Витя». Как это понять? — Ну да, из всех Витей Витя. — Это у нас не поймут. Надо как-то иначе. — Ну-у... — думал я. — Давайте: этот Витя еще тот Витя. Да, пожалуй, так даже лучше: еще тот Витя. — Это тем более не поймут. Подумают, что этот Витя похож на того Витю. То есть их два: этот и тот. — Вот то-то и оно-то, — говорил я, — что он не тот, хотя он еще тот. Он еще тот Витя.

Мы начинали искать общеупотребительное слово, синоним выражения, перебирали слова: шаромыжник, прохиндей, мошенник... Нет, Витя под эти мерки не подходил, это был еще тот Витя, переводу не поддавался и уходил за границу сильно упрощенным.

— Вот я назову повесть, — сказал я переводчице, — и тебе снова не сумеешь ее перевести. Вот переведи: «Как только, так сразу». Переводчица тяжело вздыхала, а я ее до-

колачивал: — И в эту повесть включу фразу: «Шлялась баба по базару распьяным-пьяна-пьянехонька», — как переведешь? Да никак. Ни по какому базару у вас не шляются, да и базара нет. И она, заметь, не ходит, не слоняется, не шлендает, она именно шляется. И хотя распьяным-пьяна-пьянехонька, но какую-то цель обязательно имеет. Иначе зачем бы шлялась. — Может быть, — вспомнила переводчица выражение, — она погоду пинает? — Это для нее пройденный этап. Вчера пинала, сегодня шляется. Да, товарищи немцы, были мы для вас непонятны, такими и остаемся. Но в утешение тебе скажу, что для англичан мы еще более непонятны...»

Как говорится, чем смог, тем утешил русский писатель немецкую свою переводчицу! А мы с вами, дорогие мои, для кого русский язык родной от рождения, можем не утешаться, а радоваться, что есть у нас такое глубоко национальное явление, как проза Владимира Николаевича Крупина, которого я от всей нашей широкой и непонятной иностранцам русской души поздравляю со славным юбилеем!

*От всей души поздравляем
дорогого для сибиряков
Владимира Николаевича КРУПИНА
с его 75-летием и желаем ему
крепкого здоровья, долгих лет
в творчестве и любви!*

Редакция журнала «Сибирь»
Иркутское региональное отделение Союза писателей России
ОГАУ «Иркутский Дом литераторов»



АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВ

КРИТИК, Г. МОСКВА

В ожидании мудрости

О Захаре Прилепине можно писать по-разному. Можно анализировать идейно-смысловую уровень его произведений, и тогда говорить о политической позиции, об отношении к советскому прошлому, к власти, и т. д., но всё это вещи, в общем-то, известные и понятные, и в таком ключе о Прилепине написано достаточно. Можно посмотреть на его творчество с точки зрения динамики внешнего литературного процесса, и тогда нельзя не упомянуть о «новом реализме» и о том, как в начале 2000-х молодые амбициозные ребята пытались отвоювать (и отвоевали, в конце концов) своё право не «копашиться» в постмодернистских смыслах, а писать о реальности и вместе с тем не лежать на обочине литпроцесса. Но, во-первых, рассматривать сравнительно молодого писателя в контексте истории литературы как-то неловко, а во-вторых, подобный внешний литературоведческий подход имеет слабое отношение к самой литературе и её подлинной сути.

Именно поэтому мы попытаемся взглянуть на творчество Захара Прилепина как на вещь в себе и своём внутреннем художественном развитии. Нам кажется, такой подход объективнее и больше откроет нам в творчестве автора.

Роман «Санька»

Знакомясь с произведением начинающего прозаика, мы зачастую не спешим наброситься на него с критикой, не стремимся акцентировать внимание на слабостях, исправлять недостатки и т. д. — нам важнее найти в нём то драгоценное внутреннее содержание, которое в перспективе может развиваться, обрести силу и дать литературе настоящего писателя. И потому мы с радостью встречаем произведения, в которых чувствуем признаки созревающего таланта. Именно такую радостную надежду подарил нам в середине «нулевых» роман Захара Прилепина «Санька».

«Санька» привлёк вдумчивых читателей и серьёзных критиков, прежде всего, целостностью личности автора и главного героя (эти образы по мироощущению очень близки). И пусть в этой личности было много молодости и максимализма, но максимализм был искренний, очевидно владеющий душой целиком и потому подчиняющий себе весь текст. Он далёк был от прямолинейности рассудочных убеждений, которая у «ангажированных» авторов выражается обычно в наборе лозунгов и штампов, — максимализм Прилепина шёл из глубины характера, вырываясь наружу замечательными по своей наивности всплесками: *«Ни почва, ни честь, ни победа, ни справедливость — не нуждаются в идеологии. Любовь не нуждается в идеологии. Всё, что есть в мире насущного, — всё это не требует доказательств... Это не анархизм. Это — предельная ясность».*

«Предельная ясность» была, по большому счёту, следствием горячей молодости и заражения автора «суровой мистикой сапога», свойственного двадцати–тридцатилетним людям вообще и тогдашнему «липкинскому» молодняку в частности, но она была настоящей и живой. И мы с надеждой ждали развития талантливого автора, не обращая особенного внимания на его недостатки.

Однако среди этих недостатков (о которых мы ещё поговорим подробнее) был один серьёзный, следующий как раз из той самой целостности образов автора и героя. Дело в том, что молодой прозаик так и не поднялся над своим героем, не посмотрел на него внимательным мудрым взглядом. Жестокая максималистская правда Саши Тишина — всё, что он мог предложить нам. Как будто на свете существовало лишь две альтернативы: бунт против власти, организованный «Союзом созидателей», или признание гибели всего русского и необходимости «просто доживать» (выраженное в откровенно слабых рассуждениях Безлетова, не прочувствованных самим автором и не претендующих на полноценную «другую правду»).

А между тем настоящий русский писатель никогда не призывает к насилию, но всегда — к милосердию. Он может показать насилие, пусть даже в самой жестокой его форме, но всегда верит, что над злобой и жестокостью есть идеал кротости и смирения. В этом милосердии его внутренняя сила, не для трусливого признания поражения (как ошибочно предполагает Саша Тишин, а вслед за ним и сам Прилепин), а для борьбы, но борьбы иного рода. Впрочем, нельзя было слишком многого требовать от молодого прозаика, и мы надеялись, что обретение мудрости у него ещё впереди.

В ожидании языковой силы

Мы ждали от Захара Прилепина и той крепкой языковой силы, которую первый раз могли наблюдать в «деревенской» главе романа «Санька»: *«Деревня исчезала и отмирала — это чувствовалось во всём. Она отчалила изрытой, чёрствой, тёмной льдиной и тихо плыла. Заброшенные, вросшие в землю сараи, стоявшие вдоль дороги, чернели отсыревшими боками, прогнившими досками. На крышах сараев росла трава и даже кривились хилые деревца, прижившиеся, но не нашедшие, куда пустить корни — под их слабыми корешками располагались холодные, опустевшие помещения, куда, к разбитым крышкам и продырявленным бочкам, заползли ужи, которых никто уже не тревожил. Кусты разрослись и ползли на дорогу...»*

По большому счёту вся эта глава — пример настоящего художественного текста. Мы запоминали и описание мухи, попавшей в суп, и тяжёлое дыхание радио, и рассказы деда о том, как он выжил в немецком плену, видели его теперешнее отрешённое состояние перед лицом скорой смерти — и всё это сквозь призму горьких мыслей самого Саши о том, что только он и останется хранителем малого знания о жизни их семьи, когда бабушки и дедушки не станут. Остальные главы написаны были хуже и представляли собой, по сути, горы языковой руды (справедливости ради отметим, что этому способствовал и содержательный материал этих глав).

Теперь, по прошествии нескольких лет, к сожалению, нельзя объявить, что наша надежда на языковую силу Прилепина-прозаика оправдалась. Конечно, за это время мы встречали в его произведениях эпизоды вполне достойной описательности, однако это случалось, в основном, в коротких «атмосферных» рассказах. В рассказе «Лес», например (пожалуй, одном из лучших у Прилепина): *«Вокруг стоял просторный и приветливый в солнечном свете сосновый лес. Высокими острями он стремился в небо. Если лечь на спину и смотреть вверх — промеж крон, — начинает казаться, что сосны вот-вот взлетят, вырвавшись из земли, и унесут в своих огромных корнях, как в когтях, целый материк. И меня на нём».* И не случайно именно с лесом связано и описание отца, любовью к которому пронизан весь рассказ: *«Отец подергивал плечами, словно по нему ползла большая грязная муха. Вид отца не располагал даже к тому, чтобы немного повыситься на него голос. Он был выше всех мужчин, которых я успел к тому времени увидеть. Плечи у него были круглые и пахли, как если бы с дерева, быть может сосны, ободрать кору и прижаться щекой...»*

В рассказе «Бабушка, осы, арбуз» (удачном, хотя и с несколько «истерической» концовкой) мы запоминали «вкусные» описания сбора картошки: *«Я до сих пор помню этот*

весёлый звук — удар картофелин о дно ведра. Вёдра были дырявые, негодные для похода на колодец, им оставалось исполнить последнее и главное предназначение — донести картофельные плоды до пузатых мешков, стоявших у самой кромки огорода... Мешки тоже были рваные, но не сильно; иногда из тонко порванной боковины вылуплялась маленькая легкомысленная картофелинка. Когда мешок поднимали, она выпрыгивала на землю, сразу же зарываясь в мягком чернозёме, и больше никто её не вспоминал...» Особенная, нарочито-физиологическая описательность свойственна была рассказу «Грех», где автор пытался эстетически связать зарождающееся плотское чувство героя с натуралистически-ми описаниями крысы и зарезанной свиньи.

Мы с удовольствием и радостью отмечали у Прилепина эти драгоценные места, дорожили ими. Но, к сожалению, большинство его последующих текстов оказались написаны неожиданным резким и штампованным языком (например, «Восьмёрка», «Допрос»), даже не претендующим на художественность.

Особенно явным это стало в романе «Чёрная обезьяна». Не буду сыпать цитатами, читателю достаточно открыть роман на любой странице, чтобы в этом убедиться. Приведу лишь один пример описания детей героя, в котором Прилепин ещё пытается оставаться в рамках художественной образности: *«Она ростом с цветочный горшок с лобастым цветком на нём... Он с велосипедное колесо, только без обода и шины — весь на тонких золотых спицах: пальчики, плечики, ножки — всё струится и улыбается, как будто велосипед в солнечный день пролетел мимо...»* В смысле описательности это, пожалуй, один из лучших моментов романа, но посмотрите, как психологически неубедительно выглядит даже он, как натужно-рассудочно это сравнение девочки с цветочным горшком, а мальчика с велосипедом.

Попытка возвращения к подлинной языковой ткани представляется необходимым условием дальнейшего развития Прилепина-прозаика — не в нарочитой «метафористичности» или игровой «сконструированности», а в органичной образности, идущей из глубины характера, заключена возможность этого возвращения. Как мы видим, способности к образности у автора есть, так что дело, скорее, в осознанности, в понимании, что хорошо, а что плохо.

В ожидании психологизма

Вместе с языковой силой мы ждали от Захара Прилепина того крепкого психологизма, который может возникнуть только при внимательном взгляде цельной личности на цельные личности своих героев, предчувствие которого можно было найти в той же «деревенской» главе романа «Санька»: *«Бабушка сразу, по хорошей деревенской привычке, начала готовить — без расспросов, которым свой черёд»; «Бабушка говорила спокойно, и за словами её стоял чёрный ужас, то самое, почти невысказанное одиночество, о котором совсем недавно думал Саша, одиночество, открывшееся иной своей стороной — огромное, но лишённое эха, — оно не отзывалось никак, ни на какие голоса»* (недавно бабушка потеряла трёх своих сыновей); *«Саша был для бабушки невнятным воспоминанием о том времени, когда семья была полна и сыны жили. Но она не в силах была наделить Сашу чертами его отца, почувствовать в нём свою — отданную сыну и проросшую во внуке — кровь. Саша был отдельным человеком, почти уже отчуждённым... Саша это понимал и принял тихую, почти не осязаемую, тоньше волоса, отчуждённость бабушки спокойно. Когда у каждого в сердце своя беда, касаться этим сердцам, может быть, и незачем...»*

Впоследствии у Прилепина крепкими выходили именно «деревенские» образы: бабушки и деда в рассказе «Грех», отца в рассказе «Лес». Отдельно стоит отметить образ религиозной бабушки в рассказе «Витёк»: *«Для бабушки любое человеческое несчастье было равносильно совершённом хорошему делу. Мужик запил — значит, у него жизнь внутри болит, а раз болит — он добрый человек. Баба гуляет — значит, и её жизнь болит в груди, и гуляет она от щедрости своего горя»*. Впрочем, по большому счёту, образы эти намечены были лишь пунктиром, не претендуя на полноту раскрытия.

Прощали мы автору несколько сгущенную брутальность рассказа «Шесть сигарет и так далее», потому что ощущали в нём обещание всё того же крепкого целостного характера. Впрочем, постепенно лирический герой (а вместе с ним и образ автора) Прилепина начинал «мельчать», и, соответственно, мелел сам текстовый поток. Это выражалось в нарочитой психологической «спрямлённости» повести «Восьмёрка» (в которой от крепкого характера осталась одна только брутальность) и в неожиданных немотивированных всплесках агрессии («Какой случится день недели», «Витёк»). Но сильнее всего поражала нас «интеллигентская» рефлексийность, неизвестно откуда взявшаяся у героев Прилепина, не теряющих при этом своей обычной брутальности.

Кульминацией этого явления в частности и психологического бессилия автора вообще явился всё тот же роман «Чёрная обезьяна». Чего стоил один эпизод, в котором проститутка ворует у героя деньги, которые потом тот «выбивает» из её сутенёров-кавказцев с помощью военных, чтобы через несколько минут опять пойти с проституткой на квартиру, в которой его и ловят те самые сутенёры-кавказцы (хотя герой вполне предвидел такой поворот событий). Вопрос «зачем?» в данном случае, кажется, не ставился только героем да автором, продолжающим бодрым голосом плести свою безумную историю.

Неоправданность поведения персонажей романа впечатляла: жена разбивает герою мобильник, увидев там сообщения от любовницы; герой переезжает к любовнице, но потом всё равно говорит ей «ночевать я буду дома», хотя совершенно не планирует возвращаться к жене, — в таком сжатом пересказе эти события сохраняют хотя бы какую-то надежду на адекватность (мы ещё можем что-то додумать, как-то объяснить для себя всё это) — в самом же романе оснований для такой надежды нет вообще. Автор, кажется, даже не догадывался, что самое уродливое и чудовищное в его романе вовсе не недоростки, зверски убивающие людей, и даже не профессор, занимающийся изучением этих недоростков, — а сам герой. Круг замкнулся, и если в начале творческого пути Захар Прилепин покорила нас искренностью цельного характера, то в романе «Чёрная обезьяна» удивил обратным явлением.

В разговоре о психологизме Прилепина хотелось бы ещё коротко остановиться на развитии любовных линий. Вообще, героини Прилепина удивительно однообразны: начиная с образа Даши из «Патологий» (Марыси из «Какой случился день недели», Гланьки из «Восьмёрки») и заканчивая образом Альки из «Чёрной обезьяны» — все они скорее куклы, чем настоящие девушки. Описание героинь всегда физиологическое; отношения почти полностью сводятся к физической близости; а чувства героя предельно сосредоточены на объекте вожделения. Но, к счастью, и здесь мы находили отдельные удачи, которые позволяли нам не терять надежду. Таким радостным исключением стал, например, рассказ «Жилка».

По ходу рассказа лирический герой несколько раз вспоминает, как в молодости они с будущей женой жили *«смешавшись, как весенние ветви, листья, стебли»*, а спали *«лицом к лицу, переплетённые руками и ногами, щека ко лбу, живот к животу, лодыжка за ляжечку, рука на затылке, другая на позвонке, сердце в сердце»*. И как постепенно им становилось *«тесно, душно, дурно»* вдвоём. Физиологические подробности в рассказе выражают охлаждение отношений между героями ясно и явно: *«Я обнимал её — но она отстранялась во сне, уставшая, почти неживая. Я помню это ночное чувство: когда себя не помнящий человек чуждается тебя, оставляя только ощущение отстранённого тепла...»*

Впрочем, это всё было бы вполне типичным психологическим приёмом, если бы не короткий, но в то же время чрезвычайно насыщенный в смысле внутреннего чувства абзац (давший название всему рассказу): *«...ещё годы спустя мы совсем перестали прикасаться друг к другу: спали рядом, тихие, как монахи. Но, не в силах выносить эту отдалённость, я всегда, едва она засыпала, еле слышно касался её ножки своей ногой — знаете, там, у пятки, на щиколотке есть синяя жилка? Этой жилкой я цеплялся за неё, единственной и слабой. На этой жилке всё держалось, на одной...»* Посмотрите, сколько теплоты в одной этой детали, сколько в ней художественной свежести, а вместе с тем проникновенного мучительного чувства!

К сожалению, даже в рамках одного короткого рассказа эта «тёплая» черта не стала системообразующей: рассказ распался на размышления о друге, о революции, слабые зарисовки в троллейбусе. Автор будто бы не понимал, что же у него хорошо, а что плохо — не отличал драгоценное от руды, перемешивая одно с другим, но не мастерски (как делают зачастую, чтобы серостью обстановки оттенить главное), а сумбурно и безвкусно.

О мудрости. Роман «Обитель»

У каждого талантливого молодого писателя в жизни наступает момент, когда он перестаёт довольствоваться одной лишь натуралистической описательностью, отдельными психологическими находками, удачными бытовыми подробностями, раскрывающими характер или образ жизни своих персонажей. Когда осознаёт, что есть что-то более важное, а именно — то концентрированное внутреннее содержание, которое он накопил за свою жизнь и которое ему непременно нужно выразить в слове. Это осознание и определяет переход молодого писателя, подающего надежды в отдельных компонентах художественного творчества, в писателя состоявшегося.

Захар Прилепин, кажется, всеми силами пытался отдалить этот «момент истины», сначала подменяя внутреннее содержание творческим экспериментом в романе «Чёрная обезьяна», а потом обращаясь к исторической тематике в романе «Обитель». Однако из последнего произведения вышло гораздо большее, чем просто историческое исследование, и потому мы можем и должны считать «Обитель» произведением зрелого автора и относиться к нему со всей серьёзностью и требовательностью.

«Обитель» — характерный пример того, как удачная тема позволяет скрыть типичные недостатки автора и в полной мере раскрыть его достоинства: отдельные особенности творческого метода вдруг удачно складываются, как пазлы, в единую картину, и появляется произведение намного сильнее, чем обычно свойственно данному автору. Мы по-прежнему встречаем в романе Прилепина немотивированные вспышки агрессии (по отношению к Ксиве в сцене перед дракой с Бурцевым из-за подброшенных карт; по отношению к Жабре в тюремной больнице; по отношению к Осипу Троянскому), но в тюремной жизни они выглядят, по крайней мере, органично. Чувство к женщине опять практически полностью сводится к физиологическому влечению, но это вполне можно объяснить условиями, в которых находятся герои романа («чтобы узнать друг друга, пришлось раздеться донага»). Резкость языка также оказывается естественной для данной среды. Кроме того, Захар Прилепин прекрасно проявил себя в работе с материалом — конкретные подробности лагерного быта воспроизведены с предельной достоверностью. Есть целый ряд психологических удач — образы Василия Петровича, владычки Иоанна, отца Зиновия, Афанасьева и других. Всё это в совокупности даёт нам широкое полотно жизни Соловков 20-х годов — целый срез русского общества того времени.

Но, к сожалению, широта охвата вовсе не означает глубину проникновения в суть явлений (всегда свойственного лучшим образцам русской классики). По большому счёту, на протяжении всего романа автор погружён не в бытийные, а в политические вопросы: роль Эйхманиса в создании Соловецкого лагеря, сущность советской власти и т. д. А ведь лагерная жизнь даёт бесчисленные возможности для проникновения в душу человеческую! Однако автор почему-то не захотел или не смог пойти по этому пути.

Впрочем, задача исследовать нравственное состояние Артёма Горяинова в романе заявлена (в рассуждениях о владычке Иоанне, разговорах с Василием Петровичем), хотя и не решена: главный герой остаётся одинаковым на протяжении всего текста: *«руки его были сухи, сильны и злы, сердце упрямо, помыслы пусты»* как в начале пребывания в лагере, так и после перенесения испытаний, выпавших на его долю (и потому психологически не оправданным кажется последний эпизод, где Артём, как некий умудрённый опытом старичок, подаёт Ногтеву ягоду). Движения героя в нравственной плоскости не происходит, во-первых, потому что у автора, по-видимому, нет соответствующего внутреннего

опыта, а во-вторых, потому, что Прилепин всеми силами старается сохранить бесстрастность во время того, как его герой пытается разрешить «проклятые» вопросы, как будто выдерживая некую «политкорректность» в этой области.

Характерна в этом смысле одна из лучших сцен романа — причастие на Секирке. *«В простую воду кто-то из священников бросил сушёную ягоду клюквы — нарочно ли была припасена она в мешочке на груди или вдруг прикатилась сама? — но стала ягода кровью Христовой. Плотью стал скудный, соломенный соловецкий хлеб...»* — эти потрясающие по силе и простоте слова отражают самую суть того, что происходит в этом страшном месте во время последнего для многих заключённых причастия.

Но в то же время здесь же в описании общей исповеди автор позволяет себе откровенные хохмы:

«Владычка и батюшка стояли посреди людей как посреди пожара — ноги горели и глаза изнывали над огненной ярью.

— Согрешил жестокостью к животным, — зажмурившись, сквозь жар, прокричал владычка.

— Было, батюшка!

Один сознался, что убил на Соловках щенка, чтобы сожрать. Другой — что разорвал по перу живую чайку. Третий открылся в мерзостном непотребстве с котом, засунутым в сапог, мордой к носку...» — этот сарказм, разумеется, неуместен здесь.

Автор, кажется, и не догадывается, что в сложнейших бытийных вопросах, таких как вера и неверие, нельзя быть отстранённо-объективным, осторожно дозируя то одну, то другую точку зрения. Здесь нужна нравственная опора и сила собственного выстраданного убеждения. Конечно, сцену причастия на Секирке невозможно было писать слащаво-благообразно, но объективность в художественном произведении это не тенденциозность и не подчёркнутая благообразность — а целостный взгляд, за которым ощущается собственная сильная позиция (или жесточайшая внутренняя борьба этих позиций, как у Достоевского). И именно поэтому «бытийная» сторона романа существенно проигрывает «политической».

Что же мы можем сказать в итоге о творчестве Захара Прилепина? Мы видим в нём много противоречий: замечательная описательность сменяется безъязыкостью, проблески психологизма неадекватными, необоснованными вспышками эмоций или жестокости, попытки прорваться к бытийности «ввязнут» в конкретном материале.

Захар Прилепин много времени уделяет политике, публицистике, политической борьбе. Однако настоящий писатель — это не просто идейная позиция и крепость характера. Это ещё и мудрость. И чтобы состояться как настоящему русскому писателю, Захару Прилепину необходимо обрести эту мудрость, сформировать целостный образ автора не только в смысле человеческого характера и политической позиции, но и в смысле внутреннего нравственного содержания.

ГРИГОРИЙ БЛЕХМАН

Поэт, критик, г. Москва

Как хорошо идти по свету...

О книге избранных стихотворений Владимира Скифа
«Где русские смыслы сошлись» (СПб., 2016. 304 с.)

Разговор об этом сборнике начну со стихотворения, которое, на мой взгляд, рассказывает о человеческой сути поэта и гражданина Владимира Скифа:

*Как хорошо идти по свету,
По краю звёздного пути
И славу русского поэта
Державной поступью нести!*

*Как хорошо служить России
И знамя чести поднимать,
Как горестно своё бессилье
В служенье этом понимать...*

Привёл это стихотворение первым потому, что для меня суть одного из ярчайших современных поэтов состоит в его постоянной потребности сделать максимум для страны, где родился, вырос и живёт. Поэтому позволю себе не согласиться с двумя заключительными строчками восьмистишия. Скорее всего, они продиктованы тем, что Владимир Скиф всегда ставит перед собой самую высокую планку гражданина. Ведь всё, о чём он пишет, — это служение России своим словом. Разве может человек, не впитавший «с молоком матери» любовь к России, написать:

*Столбы гудят и мчатся вдаль,
На горизонте пропадая.
Жнёт перезревшую печаль
В полях бескрайних Русь святая.*

*Берёза плачет над крестом,
Ей ветер косы расплетает.
И в поле чёрном и пустом
Ворона мёртвая летает.*

*Здесь дом стоял. И от плетня
Меня влекли — судьба и воля.
Теперь в разверстой пасти дня
Калитка хлыбает средь поля.*

*В ночную копоть скрылся лес.
Господь с России мглу сметает.
Звезда срывается с небес —
И до земли не долетает.*

А ведь этим стихотворением поэт открывает книгу. Значит, оно для него программное, центральное. И задаёт интонацию сборнику. Причём, сборнику избранных стихов, т. е. тех, которые он считает для себя главными. И здесь, действительно, «русские смыслы сошлись», потому что только русский может в такой степени почувствовать, как «Берёза плачет над крестом, / Ей ветер косы расплетает...» или как «В ночную копоть скрылся лес. / Господь с России мглу сметает. / Звезда срывается с небес — / И до земли не долетает». Это ведь именно русские образы, и заполнить «до дрожи» они могут только русскую душу, которая в этом родилась и продолжает жить в веках.

Конечно, созвучие такие строки вызовут не только у русского, но и у любого, кто наделён способностью ощутить магию поэзии. Но «до оснований, до корней, до сердцевины» их может чувствовать только человек с русской душой.

И эта задумчивая печаль «среди осенней немоты» — тоже исконно русская:

*Свет родины, хлеба созревшие
Простёрлись вдоль моей души.
Осенние, остекленевшие
Молчат болота, камыши.*

*Топчу былинки жухлых крошево,
Деревьев волглые листья.
Ищу себя, своё ли прошлое
Среди осенней немоты.*

*Берёзы голые, опавшие,
Среди сырых, пустынных дней,
Как девы, замерли над пашнями
В немой стыдливости своей.*

*А за ручьём, за тихой рощицей,
Где я влюблялся молодым,
Ещё не выгорел, пощощется
Моих печалей горький дым.*

И так страдать от того, что происходит в России уже почти десятилетия, может лишь русская душа:

*Милая Русь, ты была оживлённую,
Пела, крестила детей,
Тицилась остаться живой, обновлённую
В мире жестоких идей.*

*Сердце народа напалмом оплавил,
Кол принесли для страны.*

*Русских людей без идей не оставили
И без кровавой войны.*

*Где наши песни, надежды вчерашние?
В душах — сомненье, раскол.
В тело России вошёл телебашнею
Страшный Останкинский кол.*

Конечно, любой крупный поэт, оставаясь художником национальным, невольно выходит из этих пределов и становится интернациональным, потому что есть нечто, объединяющее людей всех национальностей и вероисповеданий. Например, неподдающееся никакому рациональному определению возвышенное состояние, именуемое вдохновением:

*Оно явилось, распростёрло
Свои крыла — издалека,
Перехватив от счастья горло,
Мир поднимая в облака.*

*Оно свалилось, как безумство,
Как полдень, рухнувший в осот.*

*Оно несло мне вольнодумство,
Глубин достигло и высот.*

*В нём были сила и движенье,
И лёгкость чудной высоты.
И бездна слёз, и утешенье,
И рядом — ты и только ты!*

Причины этого возвышенного состояния для каждого из нас в разные моменты могут быть разными, но само состояние, дающее «душе полёт и озаренье», у всех одинаково.

Именно поэтому, когда крупный поэт пишет о чём-то личном, в конечном счёте оказывается, что он написал о нашем общем. Казалось бы, каждому знакомо состояние тоски. Но когда оно выливается в строках мастера, то его личное сразу становится и твоим — будто тобою поведанным, но сказано так, как ты этого не умеешь:

*Журавли поплыли в просини
Над осеннею рекой.
Что мне делать этой осенью
С этой жадною тоской?*

*Тучи тёмные стараются
Над землёй слезами стать.
Мои годы собираются
Журавлями улетать.*

*С жизнью, в крошево порубленной
Мной самим среди потерь.
И с тобою, мной погубленной,
Что же делать мне теперь?*

*Вот и сны меня забросили...
Не хочу я в поздний час
Остаться в этой осени
Без твоих бездонных глаз.*

Но, конечно, поэт испытывает и такое состояние, какое природой дано испытывать лишь художнику в самом ёмком понятии этого слова. Эти мгновения называются муками творчества, которые, нередко, вызывают внутренние страдания, вплоть до отчаяния:

*Ах, Боже мой! Исчезло лето.
Я просыпаюсь в темноте.
Лицу застывшие предметы,
Шепчу себе: — Не то, не те,*

*С которыми так просто было
Творить и приникать к листу,
Их что-то ночью изменило,
Они впитали темноту.*

*Тьма съела дом, калитку, роуцу,
А в доме — книги и цветы.
Пытаюсь их найти на ощупь,
Извлечь из плотной темноты.*

*Но мне предметы не даются:
Ни карандаш, ни плоть листа.
Никак стихи не удаются —
Их поглотила темнота.*

Недаром поэтов издавна называют людьми «без кожи». Именно это и обрекает их на обострённое восприятие всего, что происходит вокруг. У поэта оно постоянно просится на бумагу. А когда порой «никак стихи не удаются — их поглотила темнота», переживает он это болезненно. И потому хочу пожелать моему товарищу, чтобы такие периоды в его жизни были как можно реже, и состояние «творить и приникать к листу» возвращалось всегда.

В замечательной поэме «Месяцеслов», вошедшей в эту книгу, Владимир Скиф написал:

*...Как хочется парить, воскрыльями сверкая,
И сеять зёрна слов в родную почву, май!*

Хочу добавить, пусть это происходит и во все остальные месяцы года, поскольку в одухотворённых великой любовью и высокой печалью строках замечательного русского поэта Владимира Скифа действительно «русские смыслы сошлись».

Уверен, многочисленные поклонники дарования этого мастера найдут в его новой — разнообразной по тематике, но очень цельной духовно — книге немало близких собственному мироощущению поэтических открытий, присоединятся к моей благодарности, а все вместе пожелаем нашему глубинному поэту и дальше «сеять зёрна слов в родную почву», потому что всходы от таких «посевов» самого высокого качества.

МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ

ПРОЗАИК, Г. КРАСНОЯРСК

Озёрное чудо

Огромная земля Русская требует летописи, свидетельства, а главное, любви, выраженной в сокровенном слове, где драгоценность — не тот или иной факт бытия, а вклад человеческой души, её раскрытие в жертвенной тяге к родному. Велико и недостигаемо святоотеческое наследие, но сейчас поведём речь о литературе земной, светской, тихим подмастерьем глядящей на заоблачные белки духовного слова.

Тёплая и благодатная Среднерусская равнина многоголосно и соборно выговорила голосами девятнадцатого века. Орловские, Тульские, Воронежские земли так напитали даль голосами Лескова, Толстого, Бунина, такой густоты настоль оставили в осенней воде дворянской литературы, что, когда приезжаешь, сквозь буднично-пропылённый облик с трудом узнаёшь черты, выведенные когда-то по юной душе алмазным будто резцом. Станным островом проплыл Санкт-Петербург, явив непостижимые образы Гоголя и Достоевского, сколь призрачные, столь зримые и великие. А Волга... Дон... Да каждая водная жила, каждая губерния Средней России так выражена в исповедном слове, что, кажется, ни к чему и братья за перо — всё уже сказано... А главное, задана планка. Но как разговорилась в двадцатом веке Вологодчина! С какой силой крестьянское слово прямой речью земли влилось в реку литературы и стало её фарватером, стрежью, быстерью.

К востоку слабеют наслоения слова, и не столь тощеватей литературные грунты, сколь меньше городов и гуще леса. Просторней дышится сочинителю, уже не толкающему локтем собрата, не чующего под боком ревнивого дыхания. Щедро дарит Россия-матушка ношу отвечать за край или область, как Аксаков и Даль за Оренбуржье, как Бажов за Урал.

А дальше за Камень?

Чем реже человечья скопления, чем безмерней, болотистой и солоней вёрсты, тем дороже тепло очага, человечья близость. Пласты земной плоти отмежёваны речными телами будто в послабление душе, в пощаду, чтоб удалось хоть как-то уложить-оприходовать простор... Иртыш с Тоболом, Обь с Катунью и Бией... Солончаки, степи, тайги... А к востоку за Батькой-Енисеем и вовсе мерзлотный камень, скупой и суровый кряж востает в щетине тайги, и так и тянется волнистым громом до края света.

И огромными материками простираются духовные миры, *Ухожья*, как зовут ангарцы охотугодя. У каждого свой хранитель, своё отражение, своя пресветлая тень на литературном небосводе. Купол Шукшинской души, как незримый оберег над Алтаем. А за ним сердце России, невообразимый пласт Енисейской земли, почти четыре тысячи дымных горных вёрст от монгольской границы до Диксона. И её то светлая, то горестная сень в причудливом дышащем слове — Виктор Петрович Астафьев. И наконец Байкал с бирюзовой Ангарой — *ухожья* того, чей промысел только высвободился от земных путей и путиков, оставил незатянутый шов, то и дело стреляющий в сиротеющих душах.

Велика Сибирь, а берёзовые околки рассказов, кедрачи повестей всё как-то по югу лепятся. Где пообжитей. Север с жемчужными Путоранами В. Астафьевым обжился вскользь, но зато бригадно и честно осваивался норильскими писателями. И Эвенкия не смолчала, выплатила литературный ясак народным словом тунгуса Алитета Немтушкина.

Но это Север... А великая почвенная литература всё-таки вызрела на более южных трактовых землях, где за четырёхста лет укоренилось русское крестьянство, протянулось жилами поморской речи, казачьих песен, сказов. Крепко отстроилось стайками, заплотами, избами с наличниками, среди которых есть домищи, рубленные с кедрин, распущенных повдоль. Глядишь на них, и кажется, торцы углов набраны из полумесяцев, лунных доль. Так, бревно к бревну устайвался вековечный уклад, боль за который и стала темой нашей почвенной литературы.

В подтверждение обратим взор на восточные рубежи, на берег Тихого океана. Здесь не так долго живут русичи, как в коренной Сибири, поэтому не нажила ещё Россия крестьянского назёмного слоя, пойменного, парного, где взрос бы в один Богу известный день ли, век чуткий к книжной мудрости мальчишка. Поэтому классики тут отметились по большей части экспедиционно: Пришвин, Чехов, Павел Васильев, или революционно, как Фадеев. Да Рытхэу, уехавший с Чукотки в Ленинград, и геолог Куваев. И наш современник Кузнецов-Тулянин, забивший пограничный столб, геополитический репер в скалистый Кунашир. И только верный месту, как пристойный зверь, неповторимый Владимир Клавдиевич в своей первопроходческой литературе так и остался бессменным символом-хранителем Приморья.

Читатель, пытку следящий над нашим подоблачным лётном, уже спохватился:

— Ясно, Хабаровский край, Приморье, Сахалин... Но, други, а где же Забайкалье и Амурская область?! Где пролёты «Верхнеудинск — Чита — Хабаровск»? Как пропустили мы две тысячи семьсот шестьдесят три родных километра, самых немислимых по красоте, суровости, завораживающей силе? Миновали заезжие дворы, не утолили дорожный глад в позных харчевнях, не оглядели долину Селенги с Омулёвой горы?

И впрямь кажется, будто перо наших классиков, омакнувшись в байкальской священной синеве, настолько напиталось силою и увеличивало нарыск и размах строки, что чудно отброшенное к Тихому океану застыло в недоумении: отчего для стольких пропущенных непостижимых территорий не хватило чернил?

Забайкалье, самая малоизвестная и малонаселенная окраина России, и в слове меньше всего представлено в литературной карте. Конечно, навсегда остались и Черкасов, и Вишняков, и другие замечательные писатели, подвижники и хранители родного края, но, как ни крути, такой плотности великих имён, как в более западных улусах, здесь не найти... А напрасно, потому что слишком уж мало знает читающий люд густонаселенного запада России о забайкальских краях. И многие москвичи или воронежцы слабо себе представляют не только Хилок, Чикой, Могочу и Магдачи, а и не всегда знают, что лежит восточнее: Улан-Удэ или Чита, и что до революции Улан-Удэ звался Верхнеудинском, будучи городищем русских порубежных казаков.

А полюбить бы русским всей православной душой труднейшие эти вёрсты, лишь недавно сшитые друг с другом асфальтом, эти сопки, поросшие чахлым и неожиданным для Восточной Сибири соснячком, степи, и в марте ярко желтеющие сквозь скудный снежок, приземистые избы, отвесные струйки дыма, меловые увалы в рельефных рёбрах... Если бы вы знали, что это за земля и какие люди здесь живут! Что такое семейские староверы, попавшие сюда аж при Екатерине! Что такое степь с бурятскими чабанами, рыжие лохматые коровёнки, возлежащие на федеральной трассе М-58, меж которыми пробираются со стороны восхода пыльные праворучицы с загорелыми *перегонами* за баранками. И встают в Тарбагатае в заезжем дворе «У семейских», где хозяйка всё никак не утихомирит гавкого кобелька Мишку, и под утро не дающего спать путникам.

*«Где ж та деревня?» — Далёко,
Имя ей «Тарбагатай»,
Страшная глушь, за Байкалом...
Так-то, голубчик ты мой...*

Так заглазно воспел этот посёлок Некрасов в поэме «Дедушка».

*...Так постепенно в полвека
Вырос огромный посад —
Воля и труд человека
Дивные дивы творят!..*

Воистину дивные... Земля, завораживающая путника, очарованно пропускающего сквозь душу гривы сопки с соснячком и листовячком, борг склона, что скально ощерился на трассу, разлом реки с шиверами и порогами, степи, утягивающие взгляд нераскрывной своею тайной, озёра, стеклянно замирающие в морозную ночь. Гулко, раскатно и стонко гукающие свежим льдом, пронзаясь стрелами серебряных трещин. Трудная земля, требующая служения. Трудные жизни, воистину — судьбы, проколевшие, выбывавшие на морозе, выдутые ветрами, выжженные солнцем, правые трудовой правотой, многовековой крепостью... Как они требуют любви! Да вот кто бы выразил! Кто бы возлюбил эту землю в слове, как Астафьев Енисей!?

Уже разорили хозяйство, позакрывали заводы, посокращали армию, оголя границу... Только Транссиб ниткой связывает и держит посёлки, и вечный гуд поездов мешается с летним шумом ветра в листве. Не то поезд шумит, не то деревья мнутя, мятутся о тайне этой земли и трудовом её человеке...

Плохо спится на многоснежном Енисее, когда знаешь, как зябко забайкальской земле под тонким снежком, как зыбко ей под губительским нерадением... Да и самому Батюшке-Анисею не заспать заботу: то Ангара нашепчет, принесёт последний сказ с Байкала, где вода упала, да так, как и старики не упоминают, то селенгинская водица выплетется из многоструйного речного тулова, расскажет, как по берегам восточного братца Амазара китайцы лес пластают... Ау, даль! Слышишь, как ворочается Батюшка-Анисей? Как стрелил двухметровым льдом, катанул морозное эхо к Тихому океану? Вот и мой крик прибился к нему. Уцепился за зудкий полоз... Отзовись! Есть кто дозор-

ный по Забайкалью?! Есть кому укрыть берегом тёплого слова степь, дрожащую от стужи, озёра с тихим зелёным льдом и сонными чебачками? Не молчи, а то не заснуть на Енисее, так базлает постылый Мишка в Тарбагатае (даром, что тёзка, от язвы его!), что рвётся душа за недогретую и не опетую забайкальскую землю! Отзовись, смелый человек с болюющей и чуткой душой!

Слышу сквозь ночь, сквозь свист ветра, сквозь хлёт снега о «салафановое» окно зимовья: «Не волнуйся, Анисей-Батюшко! Не бойся, брат, Михайло! Есть кому отстоять Забайкалье, обогреть степную еле припорошенную твердь, спасти чудо озёр от лютого проколаения! Уберечь русскую душу от вражьей осады. Сохранить заповедный русский язык, его дальний сквозьековой строй, сказовый дых».

Анатолий Байбородин... Вот ведь к каким ухищрениям пришлось прибегнуть, чтобы утаить его, давно известного, замаскировать до поры и открыть в долгожданную и тёплую минуту! Всё громче его далёкий голос, и уже крепко на душе, ближе Забайкалье и сильно на сердце, которое знает, что не урвётся от расстояний... И тем веселей загудит топор и пешня в руках, чем твёрже приляжется к ним книга «Озёрное чудо».

Открывает книгу особенно дорогая не только читателю, но и самому автору повесть «Утоли мои печали». Она, как и многие произведения Байбородина, строится на личном, на истории детства, которое сколь и единственно, столь и бесконечно; и, расплетаясь на жилы, подробно и многоствольно прорастает через всю толщу творчества. Истинный писатель всегда пишет одну книгу, одну судьбу, как бы ни рядил её для отвода глаз в одёжи разных сюжетов, различных героев. И всегда корень, ключ — чуткий человек с огромным, разверстым и потому навеки раненым сердцем. И очаг, родник боли в детстве, голодном до душевного тепла не менее чем до хлебной корки, трудном, трудовом, но чистым духом. «Керосинка с протёртой до незримости стеклоккой» — образ точнейший, и очень хорошо отражающий суть того, о чём пишет писатель. Да и вообще сибирской жизни, в которой богоданная и бьющая в очи красота природы вопиюще несовершенством человеческого существования. И противоречье это падуном-водопадом режет израненную душу мальчонки с такой знакомой силой, что уже перекликается с житием маленького Витьки из книги Астафьева «Последний поклон», и с той же знаковой для русской литературы исповедальностью, горечью, благодарностью освещает пронзительный финал этого откровения.

В повести «Утоли мои печали» Байбородин не снисходит до времени и его явных примет, услужливых и навязчивых, как у верхоплавных литераторов, заострённых на заигрыш с читателем. Нет... Конечно, вехи стоят на этой продутой позёмками степной дороге, но только самые важные, без которых не понять героев. Которые — как обвал, разлом. Как те «кровавые антихристовые времена», свалившиеся на «русские головы», когда «фармазоны порушили волостной храм, а заодно и сельские церквушки». Но главное дальше — главное в том, что мать вопреки всему сохранила: «ночные и зоревые молитвы да образы от тятеньки и маменьки» и самую заветную «в позеленевшем медном окладе» — икону Божьей Матери «Утоли моя печали».

И всё как всегда на Руси: конь, земля, отец, мать, молитва, земля... Монолитное русское время, сплетённое из накрепко сплавленных проводов. Вот отец-фронтовик, едва не утонув во вздувшейся от дождей реке и отмечая возвращение домой из затянувшегося похода в село, открывает гуд с непотребным сродником Гошкой и заводит боевую песню под «мясное хлёбово», дымящееся на костре. А мать, прождавшая, казалось, вечность, только задумчиво произносит: «Вот и прошло Вербное Воскресение»... Две жизни, две дороги... Так текут в сизом небе прозрачные облачные гряды, проходя друг в друга, скользя бок о бок, не разделяясь и не сливаясь воедино.

Повесть написана как житие, как попытка осознания судьбы главного героя Ивана, простёртой на три поколения. И требующая выявления главных смыслов, путеводных створов, ведущих героя. В повести несколько главных героев, они, как созвездия, как духовные сущности, проходя через которые с великими потерями, Иван напитывается невыносимой тягой понять: а зачем в этой вьюжной жизни угружает его Господь Бог такой неподъёмной поклажей. Вот они все: мать, брат Илья, отец, дочка и сам герой, который в последней части повествования крепче берёт поводья и правит *сам в себя*, в свою память, и, уже не различая границ между близкими, насыщаясь их смыслами, становится через это человеком.

Мать, самая пресветлая, пресвятая ипостась, самая сокровенная составляющая духовного мира Ивана. Плоть от плоти русская женщина — страдалница и хранительница. Её и обсуждать-то грешно, неловко. Только в ноженьки поклониться.

Старший брат Илья. Пахарь, загульщик, песельник. Живое без прикрас человеческое существо. «Уродившись характером широким, как Сибирь», сильный и бедовый, не умеющий жалеть себя и живущий безо всякого расчёта, оглядки. И, как многие сибиряки, подвластный тяге простора, дороги, той самой магии пространства, чуждальной стороны, которая и вовлекала русских первопроходцев в годы походов. «Гонял скот то в Читу за триста вёрст, то из Монголии, так что Фая вдовела при живом муже». И требующий от жены такой же душевной шири. И не пожелавший перебираться в

город, куда жена стремится в поисках комфорта и «порядка». И потерявший жену, а потом и пожалевший, и запоздало согласный, что надо было держать удаль, не давать размаху, потому что так всё и разлетится-развеется бравою песней по степи... И будешь потом с покаянной виной и тщетным поклоном жалеть: «не зла желала, к порядку приваживала»...

И вроде сошёлся после с другой женщиной, да так... уже без особой надежды на крепкое и дружное житьё. А душа требует шири, объёма, и неспроста песня так много значит для Ильи, ведь сердце, чуткое к песне, и о земле ведаёт главное. И ведение это так обнажает душу, так отнимает у материального, что навсегда лишает чувства опасности, пощады к себе, и эта рвущаяся вовне душа в какой-то момент не в силах уберечь защитную свою кожанку... Таким и полётней, и провальней, и труднее всех. Вспомним певца из Турочака Василия Вялкова, погибшего в вертолётной аварии.

А Илью сбросил необъезженный конь.

Рассказ о брате вроде бы вступительный, и думаешь, что Илья просто первый из череды героев, а потом оказывается, что его история и есть одна из главных: потеря Ваней старшего брата. Илья был мальчику ближе ближнего: родители жили на отшибе, отец служил лесником на удинском кордоне. И их с сестрёнкой отдали в семью Ильи, в село, где школа. Отец такой же и трудовой, и трудный. То упрямый, то чёрствый, то загульный. Неизбывный узел боли для матери. И маленький Ваня как на юру меж ними. У матери забота ближняя: от надсады, простуды защитить, накормить-обогреть, от стыди жизненной оберечь. А у бати — втянуть в мужицкое, трудовое, помощническое... И мальчонка в вечном разлёте меж матерью и отцом. А так охота с батей за жердями для заплота поехать. А мама не пускает... А тут как раз сретенская оттепель долгожданная, первая.

«Среди череды морозных, метельных дней, когда небо было занавешено серым, брюхато провисшим к земле, тоскливым рядом мглы, когда визжала ставнями и, обламывая ледяные когти, скребла снежный куржак на окошала одичалая, косматая пурга, а потом, бесприютная нежить, обратившись в малого ребёнишка, сиротливо гнусавила в печной трубе, из жалости просилась в избяное тепло, когда деревня устала от ветров и морозов, — милостью Божией тихо опустилась с небес на исхлётанную, настрадавшуюся землю первая оттепель после крещенской стужи; опустилась, приластилась к земле влажно-тёплыми, пахнущими хвойной прелью и парным молоком, мягкими ладошками».

Как знакома это брюхатость туч, похожих на косяк рыхлых каких-то рыбин! И то, что в оттепель размораживаются запахи, будто копясь, чтоб обрушиться на чуткую душу.

Мать сдаётся, и мальчишка отправляется. В пимах, напяленных на валенки — можно представить, насколько ему неуклюже! (Пимами в Восточной Сибири называют камусную обувь, навроде сапожек с матерчатыми голяшками. По сути, это обрезанные бокаря или торбоса. Их не надо путать с валенками-пимами, описанными Шукшиным, там другая история.)

Трясется лошаде́нка, свистит ветерок в сбруе, свистит полоз по насту... Талый снег уже подстыл на ветру — зима-то не отпускает... И вот, то степь, то околки леса... Березнячок, «там и сям желтеющий соснами и копотно чернеющий кряжистыми лиственницами»... «Копотно» — очень по-байбородински сказано, да и листьяги у него всегда чёрные, контрастные, силуэтные, подчёркивающие голыми ветвями предвечный небесный свет.

И ещё герои Байбородина поют. Поют песни, которые надо знать и любить. Тогда они сработают на обоюдную радость писателя и читателя. Тут как на неводе: писатель замётывает, а читатель до поры на берегу стоит с бережником, а как тот заметался, ткнулся в берег — тащить уже вдвоём надо. Русская проза тем сильна, что требует участия, читательской подмоги, совместного созидания, которое и тяжело поначалу, но зато так тебя переделает, что к концу в ноги поклониться за трудовое это перерождение. Это та же стройка. Тот же сруб. Художнику «в одново», без подмоги, и не закатить бревно на самую высь — только вдвоём. Потому и славно, когда читатель участвует встречно, как и сейчас, и с той же любовью, что и автор, пропевает частушки, протягивает, прошёптывает, прогоняет через себя жилы песен, как нити санного следа, как струи поэмки... А без читательского участия они так и останутся отпечатанными куплетами.

Песня — она как живая вода, все заскорузлые части жизни омывает и воедино собирает. Или сказать наоборот: как связывающее раствор вещество, как гранитный отсев, самый лучший для связки бетона. А стройка не кончается. И дорога тоже. Если она к свету.

Вот так и отец пел по дороге. Несмотря на все заскорузлости в отношениях с сыном. «Вытягивал песню по всему санному пути», и в этой песне среди степной дороги столько дорогого открывалось! Столько погруженного бессловно в самую глубь, в кости, в кровь, льющуюся то в эту землю, то в жилы потомков... Так тщится душа выразить невыразимое, невозможное, и так передаётся эта тщета песней — старинной ямщицкой, пушкинской дорожной, казачьей прощальной — песней, как знаком сокровенного, пожизненного, родного.

Сколько таких Вань, Ген, Стёп, пробираясь по сибирским дорогам на коне ли, на тракторе, КамАЗе, снегоходе, выискивая долгожданный огонёк, напевали час за часом знакомый напев! В

душе ли, в голос... И песня, даже будучи для кого-то отвлечённо-музыкальной и картинной, наполняя жизненным, личным, открывалась в главной уже полноте, сливаясь с душой навеки.

Ванюшке чудилось, что песня сама «наветается из степи», что напевает её «тихий ветер». Он видел «замёрзшее отцовское лицо», «слёзы, поблёскивающие в глазницах, — вышибленные встречным ветром», и понимал, что поёт её всё же отец». И вдруг «так ему стало жалко отца», что «проступили слёзы». Но «жалость не мучила», и внутри Ванюшки «что-то легчало, будто распаивался тугой ворот...» И «ветерок, казалось, протекал и сквозь него».

Так же пела мать, когда собирали голубицу.

На сбор голубицы особое внимание обрати, чуткий читатель! Она и вправду хороша, эта ягода редколесий, осенняя надежда соболя. «На загляденье крепкая, хрушкая, с нежно-сизоватым налётом на бочках, сквозь который до самой глубины призрачно высвечивает голубизна». И сопки в синем мареве... И усталость уже морит ребятишек. И «говорок материн иссякает, тает голубоватым дымком, а уж вместо говорка берёзовой листвой шелестит песня...» А вот и ночь скоро опустится.

И вот она опустилась. Эта сибирская ночь, полная могучего дыхания пространства, и тайны людей, близких и далёких. «Печально шумели в ночном ясном небе вершины древних сосен и лиственней; изредка в хребте лаяли полуночные гураны, стыло и отчуждённо Млечный Путь — гусиная тропа, по которой уплывали ребячьи ангельские души». Так чувствовала это небо мама.

Поход за жердями чуть не обернулся гибелью для отца и сына, оттепель отыгралась пургой, и путники сбились с дороги, совсем как в той песне.

Многое пережил Иван. Глядел, сдерживая ком, на мать, доживающую последние дни у сестры, вернувшись в село детства, стоял напротив своего дома, давно заселённого другими людьми. И вот уже и нет родителей, и дочка подросла, и, общаясь с ней, приближаясь к ней и открывая её взрослеющую душу, он вдруг начинает переживать, что в детстве не было у него близости с отцом... И как задумавшись в степи ветер, как завязывается у горизонта млечный морочек позёмки, так и начинает проглядываться в душе сквозная родовая дорога, полная горечи, вопросов, надежды. И его собственная душа всё больше кажется ему слабой, чересчур отворённой для чужих воль, заезжим двором, куда заходят-заглядывают разные люди, и где добро силится одолеть зло, да силёнок не достаёт. И хотя в этой гостевой избе чужая душа не находит себе «улёжистого места», но зато какое «крылистое чувство лёгкости» он испытывает, примерив это чужое, привнесённое, то, за что можно не отвечать. А дальше встаёт вопрос: а какая она вообще, его душа, какой была изначально, и какой стала, чем заполнилась? И кажется Ивану, что больше в ней всё-таки жалостливого, материнского, смиренного, чем жёсткого, силового, нравного отцова.

«Когда была уже докурена и погашена папироска, когда страдальчески осветлённый взглядом уже невидяще смотрел сквозь клубящийся сырой морок, Иван вдруг, поразившись, испугавшись, ощутил себя своим отцом». А потом, оставив Ивана отходить от потрясения, автор медленно переводит камеру на новый ракурс, приближая к предфиналу, в котором «плетутся на сморенной кобылёнке сквозь снежный буран два одиноких человека, отец и сын, а степная метель, охлёстывая ковыль на буераках и кочках, протяжно, с подвистом и подвывом, поёт».

И снова выплывают из снежного морока отношения с дочерью Оксаной, которая то раздаст добро, то щенчишку бездомного в избу пустит. И с другого борта сквозистой души обида на отца восстаёт. Почему «пил да нас гонял?» И почему не разговаривал со мной так, как я сейчас говорю с дочей? И сам себе тут же отвечает Иван: да ведь нет, был отец и другим, и крепким, и хозяйственным. Нас же поднял ведь... Да и вообще, может, дело не в отце, и не в дочери? А во мне самом?

Так копает и копает герой своё прошлое, свою душу, и штык за штыком уходит всё глубже и глубже в проколовшую твердь вековых вопросов, где сквозь всю их неподъёмность сверкнёт вдруг самородная надежда, что мамина душа всё-таки победит, осилит, одолеет закопчённое стекло, протрёт до кристальной чистоты уже близкое к итогу жизненное небо. Расчистит дорогу свету, что сеется нетленно и предвечно с ненаглядного сибирского небосклона. Этот Христовый свет и освещает финал, пронзительный и абсолютно классический. Вот он «опять высветлил степную околицу, извилистый санный путь, через который струилась и струилась вечная позёмка, завораживающая глаза, как речная течь». И вот — и русская дорога, и родовая повязь, трактовая связка: отец—сын—дочь, и песня ямщика. И близкие перевиваются настолько нераздельно, что уже не различить, где ушедший брат, где отец, а где дочь, «не отводящая глаз от шуршащей и вечно текущей позёмки». А степь не кончается, загибается плавно к небу, и чернеют на едва приметном изгибе меркнущие силуэты ездовых... Вот в общем-то и всё.

Остаётся только назвать песню. «Степь да степь кругом».

Как вообще сейчас пишет народ? Вроде в среднем неплохо, много хватких авторов. Хотя общий уровень, как замечает в интервью Анатолий Байборodin, — журналистский, очень много похожих по интонации, по манере книг. Оно так и есть. Основная часть современной литературы обезличена журналистским говорком-наречием, будто узаконенным и делающим авторов похожими друг на друга.

Забыт русский язык, не только во всём многообразии цвета, звука, сравнений и эпитетов, суффиксов, приставок и прочих возможностей. Забыт и всячески вытравливается язык как носитель национального духа, когда каждое слово, подобно сакральным буквам древнерусской азбуки, хранит миры, настолько дорогие русскому сердцу, что многие книги и не возьмёшь за один присест — слишком силён взвар смыслов. Такова проза Лескова, Шмелёва, Платонова, такова поэзия Клюева.

Я спросил Анатолия Григорьевича, как он относится к поэзии Николая Клюева. Вот что он ответил: «Клюев в слове слил воедино древнерусское языческое слово, северное сказовое, былинное и церковнославянское, слив в образах и эти миры; и по мудрости горней, по русскому образному слову превзошёл всех поэтов, допрежь прославленных, и при жизни его, и по нынешнее время, да и грядущему не осилить. Он — воистину гений; но он уже закодированный, он как исследователь русского мира; а Есенин, скажем, превзошёл его по ясней, истовой любви к Руси, к русскому простолудию. Я, кстати, писал тебе раньше: Астафьев далеко обошёл Шукшина по слову, но до его совести, до его сострадательной и восхитительной любви к русскому народу не взошёл. Лишь Шукшина, в некоей мере и Белова, можно повелить совестью народной. Так я думаю».

Подобную заповедную территорию и созидает православный писатель Анатолий Байбородин, сливая в своей прозе все ипостаси русского мира. Созидает вопреки всему и уже не обращая внимания на упреки в «орнаментализме» и прочих «великих преступлениях». Безусловно, проза Байбородина и трудна своей завершенностью, той самой закодированностью, не зря автор всю жизнь дорабатывает свои книги. А как по-другому, если оставляешь завещание, свой образ того, каким должен быть русский мир в прозе? И каково созидать этот мир, не отступая, выдерживая по всем осям, вертикалям и горизонтам, включая все соединения, пазы и шипы огромного этого дома? Ведь что есть изба без порога, матицы, печки? Что-то одно убери — и всё рухнет... или просто не переживешь.

Языковое богатство Сибири Байбородин не только сохранил, но и приумножил, вплетая в плотно повествований язык пословиц и побасок, сказок и сказов. «Большую часть творческой жизни посвятил я очеркам и статьям, а также составительским проектам, среди них «Русский месяцеслов. Народные обычаи, обряды, поверия, приметы, жития святых», который был издан изрядным для провинции и для времени тиражом...» — пишет Анатолий Григорьевич. Да, конечно, чувствуется и эта пропитка: «На Благовещенье весна — молодница-медведица — переборолла зиму-каргу; та весну стьлым ветродуем, утренними заморозками пугает, а сама тает, капелями плачет»... Или: «На вербе пушок — весна на шесток, — улыбалась мать ребятишкам. — Зимушку пережили, слава Те Господи» (повесть «Утоли мои печали»). Он и само словопроизводство обновил, протер от наносника заброшенные покосы, омолодил словострой, пройдя по старицам, взявшимся ряской и не соединённых протоками-висками с основным руслом, уже сильно поуродованным и замусоренным. Так, соединяя воедино протоки и идя единым пластом, работает большая вода, неся ярко-белые лебедя-льдины, мокрые искрящие на солнце выворотни, промытые до блеска морёные корни... Действительно важно вернуть корневой основе слова полное сияние... Ведь иной раз смотришь, а осталось-то где по два-три лучика, где по одному. А где и вовсе померкло слово, угасло, как сосновый ствол на закате.

Взять словечко «копотно»: читатель привык «копчёный», «копчёно», а автор взял и изменил слову хвостовое оперенье, пустил в ту же сторонку, что и «хлопотно», и вот уже новое дыханье, новое оконце отворилось в привычной словесной основе.

Жаль горожан, и особенно зауральцев, обделённых возможностью оценить изнутри сибирскую, а то и просто деревенскую жизнь. Слово проходит через их души, не раскрывшись, потому что ни с чем не связано. Например, слово «урос», «уросить», которое в Сибири значит «капризничать», «шалить» (на Русском Севере, скорее, «упрямиться», «упираться»). Пока не пообщаешься с этим словом в жизни, пока не обрატёт оно воспоминаниями, не перевяжется с судьбами, так и останется оно «чем-то там сибирским» или хуже того — книжным. Но и это не беда: даже в незнании пытливое сердце найдёт и прок, и урок: на свой лад допроявит картину, образ ли, слово.

«Как-то он умеет выстроить текст так, что у него каждое предложение заключено само в себе и словно бы одето в скорлупку, это, может быть, похоже на кедровый орешек», — пишет о Байбородине Татьяна Соколова скорее с упреком, чем в похвалу, несмотря на сравнение с кедровым орешком.

Байбородин пишет, как считает нужным, а не «как выходит». Законченность и густота его глубоко осознанные. Как может понять читатель из его статей и интервью, он — мастер, а значит, может работать по-разному, может даже «если чо» завернуть и диалог на британском (рассказ «Дворник»). Манера выбрана сознательно, выстрадана, и следует не её осуждать, а думать о том, почему он избрал именно такой путь. И что защищает и оберегает он своими книгами.

А так... Набрал бы пару конъюнктурных романов про шаманов, наплёл какую-нибудь псевдоэтническую бодягу про древних бурятских богатырей, оживших на мостах Верхнеудинска, на которые так падки целлулоидные читатели, не ведущие жизни Родины, — и давно бы красовался на полках книжных «маркетов».

Вычитал в критике, что Байбородин, дескать, «переперчивает свои произведения сибирскими выражениями». Будто язык не содержание, не смысл, не мера объёма для хранения дорогого, а приправа. Притом, что большая часть нашей страны — Сибирь, пусть менее населённая, чем Зауралье, но зато с особой значимостью, выпуклостью каждого поселения, будь то зимовьё или региональный центр. И именно Сибирь нынче заповедник русского, именно сюда, следуя выражению моего знакомого старообрядца, не добралась ещё мировая «скверна». И сибирское слово — это сегодня самое незамутнённое русское слово, и сказать, что им «переперчили», всё равно что сказать: переперчили родным, спасительным, русским. «Уподобляемся иностранцам» — сказал бы Шукшин с интонацией Егора Прокудина: «Опускаюсь всё ниже и ниже».

А ведь такая возможность окунуться в стихию языковых образов, тем более человеку городскому, книжному, которому многое знакомо хотя бы по Далю!

Сталкивался порой с отношением жителя Средней России к Сибири как к чему-то далёкому и отдельному. Все мы понимаем, насколько это опасно и чем грозит. Примечательно, что для сибиряка Россия — это единая земля, нужная и родная. И выходит, что с востока, с хребта видать всё до Балтики, а отсюда сюда — будто залом какой. Что заломило-то? Какой такой тальник? Каким льдом пропахало?

Вот и пример: тальник в Средней России называют ивняком. И при этом сибиряк знает и ивняк, и тальник, а москвич только ивняк. Трудность и в том, что многие, хорошо известные среднерусичу слова, в Сибири имеют несколько другой смысл. Например, в выражении «рыбы добыл дивно» — «дивно» имеет смысл «много». Или часто встречающееся у Байбородина словечко «браво». Бравый — не в привычном смысле молодцеватости, а в значении «хороший, путный, добрый, качественный»; «бравенькие огурцы» — значит, крепкие, хорошие. «Ты моя бравенькая» — скажет забайкалец про жену. Если этого не знать, то можно обвинить автора в неуместном каком-то словопотреблении, в отсутствии вкуса или меры. А дело-то, оказывается, в читателе. Поэтому к такому чтению и надо относиться как к обогащающему, хотя конечно... оно для тех, кто любит. Дорожит. Кого каждое словечко обрадует. Анатолий для таких и пишет.

Очень важна древняя, идущая от язычества народная привычка одухотворять природу, древнерусский и бурятский замес этого одухотворения, который в жизни вовсе и не вступает в рознь с православным. Это одухотворение слитно с сыновним доверием к великому распорядку, с ежечасным послушанием, когда от человека не требуется ничего нового — только быть достойным этого Божьего мироустройства и своей, завещанной предками земли. И когда Димитрий-рекостава скуёт озеро, чудо рекостава особенно потрясёт незакопчённые детские души — будь-то волшебство скольжения по льду на коньках или сама таинственная жизнь озера (рассказ «Озёрное чудо»).

С ещё недавними волнами, вдруг замершими на «измождённом взлёте», когда после студёной ветреной ночи на тихой заре оно вдруг откроется взору — запредельно недвижимое, замершее. И поражающее отвыкший взгляд, нашедший опору столь внезапно, что от этого будто на миг пошатнётся-вздрагнет забывшийся мир. И в этой ледовой статике ещё больше непрекращающегося движения к смыслу, чем во вчерашней суетливой, неряшливой ряби. И только инеем светится «увядший приозёрный ковыль», да седина укрывает «белёсую щетину построжавшей земли».

Тончайше и глубинно в рассказе «Озёрное чудо» открывает писатель свой дар «пронзительно переживать времена года». Особенно осень, когда душа «сквозна и проглядна, и готова, кажется, повеяться к небу», и долгая зима, когда «озеро родниково» выстаивается, так же как и души зимующих со всеми своими бедами и потерями. И недолюбленные детские души, и взор ребёнка сквозь лёд, в бесконечную неземную глубину, где он замороженно пытается найти нездешний покой, чарующую печаль, силится избыть ею горечь недетского своего бытия, уйти от родимого дома, хмельного и безрадостного. И «жгучие дымные холода», и ожидание весны, и озеро как центр непреходящего чуда, пульсации непостижимого, как подтверждение Божьего существования и надежды на спасение.

На то оно и слово. На то и душа читательская, чтобы каждый раз по-своему — пусть и в свободе неведения открыть-представить себе суровую и далёкую эту жизнь, сделать её на несколько сотен страниц ближе. Вижу — тысячу читателей, и тысячу таких представлений, и тысячу Озёр... Будет у каждого своё озеро, и свой отвоеванный у суеты покой, в котором выстоится душа в размышлении о сокровенном. И читатель, проколев и угревшись, пережив озёрное чудо, найдёт и в себе древнюю тягу к строгости и сам построжает за эту ночь преобразования. И почувствует подлёдной глубиной души, что лишь в православной строгости и труде устоит русский дух, в сохранной собранности и отторжении наносного, привнесённого, преходящего. Так веками выстаивается в спасительной стуже и русское слово — то кристально прозрачное, то густое от смыслов, что медленно ходит подводными травами, глубинными нитями древней памяти. Под озёрным стеклом. Рядом. Почти под ногами.

АНДРЕЙ МИРОШНИКОВ

Поэт, г. Иркутск

Я музыку слушать училась у озера, сосен и скал...

Любой незнакомый город, даже с самой прекрасной архитектурой и славой — чужд, когда нет в нём знакомых, друзей или родных. Город — это люди. Есть кому позвонить, кого спросить, к кому зайти, поприветствовать, поздравить — город твой. Уже не боишься заблудиться, потеряться, попасть в плохую компанию — маячки душевных связей спасут, предупредят, вернут, направят...

Новая писательская среда, как новый город. Но на улицах его вместо урбанонимов — имена писательские. Маститые, известные, популярные, но чужие, пока не найдёшь сопереживаемое, — вроде бы как на чужой планете, где непонятен уклад, язык и логика жизни. Но едва открываешь созвучное — строки, главы, события жизненные, отклик, ответ — и теплее становится окружение. И не окружение, а круг, и не просто круг, а дружеский. Ещё немного мыслей в унисон, в резонанс — и ты свой, ты дома.

В декабре 2012-го, в один из первых визитов в Дом литераторов на улице Степана Разина, 40, Василий Константинович Забелло, в то время председатель Иркутского отделения Союза писателей России, заочно знакомил с местными собратьями по перу, рассказывал о судьбе и творчестве ещё незнакомых мне людей, читал, цитировал.

Тогда-то я впервые услышал это имя: Татьяна Суровцева. Какое сочетание! Имя-фамилия: звучно, крепко, ладно, устойчиво — Татьяна Суровцева... И как-то восторженно ощутилось родство носительницы их с суровым читинским краем, с Сибирью. Просто на зависть! Даже на слух — наследница, часть этого сильного края, плоть от плоти, корень, суть...

*Гаданье старое: кольцо на дне стакана,
Свеча и зеркало — и тени на стене...
Мне имя русское, крестьянское: Татьяна —
Простая вышивка на грубом полотне.*

Суровцева... Что-то от первопроходцев ли, крепкое, жилистое, немногословное и основательно-массивное. И её я тоже представил под стать родовой семантике: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт». А как же иначе? Строки-то сами говорят:

<i>«По диким стенам Забайкалья, Где золото роют в горах...»</i>	<i>А праздники круто справлялись!</i>
<i>По праздникам песня такая</i>	<i>Я помню, за нашим столом</i>
<i>Звучала в рудничных дворах.</i>	<i>Тоска и веселье казались</i>
	<i>Затянутым насмерть узлом.</i>

А при первой встрече удивлённо смотрел вовсе и не на глыбу, не на крепкую станом сибирскую тётушку, а на миниатюрную, изящную женщину, с удивительно милым и несуровым открытым лицом и непередаваемо внимательными, даже вопрошающими глазами. Они смотрят на мир от имени большого сердца, и видят всё, переживая и страдая от неизбежности происходящего. Такими глазами смотрят иконы.

*Как ночь бездонна над моей страной,
И как мрачна ночная тишина.
Над этой — воровскою — тишиной
Висит, как Ужас, бледная Луна.*

*...В заброшенных портах моих морей
Недвижны заржавелые суда.
Там дышит в окна яростный Борей —
Под страхом смерти стыннут города.*

*...А там, где торг свивается, как Змей,
Кусая хвост, корыстью небо застит,
Идёт народ — не раб и не злодей, —
Стоит Христос, незримый меж людей,
И нищий духом всё вопит о счастье.*

Поэтов в России много. И каждый — конечно же, больше, чем поэт. И каждый ощущает свою некую важную миссию, исполняя её по мере сил, таланта, дара. Можно ли сравнивать поэтов? По каким критериям оценивать и давать баллы или звёзды? Один — грубоват и резок, второй — тонок и изыскан, третий — начитан, заумен и элитарен. Но каждый — особен, неповторим, отдельно дан. Главное — наличие не столько технического мастерства, сколько душевности, своего лица, голоса, почерка. И узнаваемости.

*Я музыку слушать училась
У озера, сосен и скал.
Над сопками солнце катилось
И луч облака прожигал.
И ветер, по-мартовски грубый,
Все струны в сосновом бору
Затрагивал... Светлые трубы
Звенели во мне поутру.*

Суровцева — узнаваема. Как природа Родины — открытая, не запутаешься. У родных мест она черпала силу и дар. Потому её лира — тихая, чистая, экологичная. Такой не размахивают, не оглушают. В строках, словно в дневнике, — пережитое, прошедшее по чувствам, по нервам. «Трещина мира проходит через сердце поэта» — ключевая фраза её творчества. Читаешь — и вот тебе и ранимость, и лиричность, и тайные исповедальные строки — шёпот без высокопарной трескотни. Ответ на всё, что в жизни есть и будет:

<i>Зачем Вам знать, как я жила в те дни, Как было в доме холодно и пусто, Как посреди весильной толкотни, Не умирая, теплилось искусство?</i>	<i>Раскачивали колокол метели, И леденели ветки тополей. К шести часам сгущалась темнота, И бледным льдом надолго оплывало Моё окно. Я напрочь забывала, Что в мире есть любовь и доброта.</i>
<i>Оно горело свечкой на столе, А не торшером около постели.</i>	

Биография автора смотрит сквозь строки, впечатанная в образы и ритм. И отзывается в читательском восприятии, вызывая ответное откровение. Оттого и важна поэзия, которую рано списывать в архаику. Рано и глупо. Она нужна людям. Ибо когда не хватает собственных слов или собственной мотивации, человек думающий будет искать нужные слова или советы у близких по духу книг. И учиться отвечать на жизненные проверки на слабость высоким и искренним смыслом, впитанным из сильных и праведных стихов. Вот таких:

*Прощаю всех, кто был со мною груб:
Обида в сердце — не рубец на коже.
Вот день прошёл.
Он выстрадан и прожит,
А новый день как будто новый друг.*

*Прощу того, кто мне солгал не раз.
Желанье лгать — особый род болезни.
Здесь недостойна месть. Куда полезней
Лжеца дарить насмешливостью глаз.*

*Прощаю тех, кто около меня
Весь век живёт, меня не замечая.
Я тоже, право, в них души не чаю,
За семь печатей душу хороня.*

Её поэзия — и её жизнь, и служение, и миссия на Земле. Читаешь — вслушиваешься в себя, что-то определяя заново. Попадает. Но вдруг, в некоторых строках, открывается: автор размышляет, с отчаяньем определяет, что многое не получилось, осталось в мечтах, и тревожит неведомое, грядущий ответ за дело всей жизни. И рождаются в сомнениях строки:

*На последней подножке за поручень я ухватилась.
И вагон покачнуло, и, в каждом окне отражён,
Белый свет закружился — и линия жизни сместилась.
Но погасло мгновенье — и пропасть... И холод. И страх.
И тоннель бесконечен, и луч впереди умирает.
— Расплатись-ка, подруга, за этот доверчивый шаг!
Догорает тайга... Вместе с нею душа догорает.*

Вот так честно и открыто, до дна обнажая душу. И эта тревога понятна: каждый, кто выходит к людям в творчестве, с разной периодичностью испытывает сомнения в пригодности своих произведений, даже при всей благосклонности критиков и коллег. Не зря ли жизнь разменяна на слова, строки? Ведь сказано Тютчевым пророчески и на века: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». Не напрасно ли всё?

*Я голос сорвала на этом сквозняке...
Не отмахнуть от глаз сухой завесы пыльной.
Я зачерпнула жизнь, взглянула — а в руке
Пучок сухой травы да тень сгоревших крыльев.*

Но, говоря о Суровцевой, зная по разговорам с читателями — высшими нашими судьями: в строках своих, в книгах Татьяна Николаевна состоялась. У неё много известных и неизвестных друзей, ценителей, её крылья по-прежнему крепки, в руках — верное и точное стило, и её произведения — и для детей, и для более зрелых людей, — нашли своё место, точные координаты и значение в море современной русской литературы.

Вот такой я увидел Татьяну Суровцеву: эта миниатюрная женщина с большим и искренним сердцем и глазами иконы — настоящий большой сибирский поэт.

*Ты, душа моя — вольная птица!
Над тобою и грохот, и звон.
Пой и плачь: нам придётся гнездиться
На пределе и стыке времён.*

Этот юбилей Татьяны Николаевны — прекрасный повод высказать несколько слов искреннего уважения. Наверняка они недостаточно красиво и даже куце изложены по причине весьма и досадно кратких встреч и малого общения.

Но именно поэтому в них только главное: Иркутск для меня и ближе, и роднее, потому что найдено созвучие с Вами, Татьяна Николаевна. Многие Вам лета жизни и творчества! С Богом!

ЛЮДМИЛА СОБОЛЕВСКАЯ

Поэт, журналист, г. Ангарск

Увидеть бы грядущего юнца, склонённого и над моей судьбою...

Так уж случилось, что волей родителей-фронтовиков стала я сибирячкой, навсегда связанной с Ангарском. И все его события — от теплушек до «кукушек», от новостроек до дворцов, до расцвета культуры — происходили на моих глазах. Отъезды ничуть не лишали меня связи с ним. И в конце концов, «...теперь ничем не оторвать, он весь во мне, мой город юности. Себя я буду узнавать в прямых проспектах, тихих улицах. И видно, где бы мне ни жить, порой от бед спасаясь бегством, душе потворствуя, мне плыть в родной Ангарск, как в сказку детства».

И никто не сможет меня разубедить, что город в тайге возведён кровью и потом целого многострадального сословия, появившегося в эпоху «шагов саженьных» — «врагов строителей коммунизма»... В этом сословии побывал и ангарчанин Валерий Анатольевич Алексеев — член Союза писателей России, поэт.

Он родился в Уфе 21 января 1923 года. Война, ранение, увольнение из армии по состоянию здоровья, институт, МГИМО. И 1948 год — осуждён по статье 58-10 на десять лет. Воркута. А в 1953 году — по этапу строить Ангарск. И только в 1992 году — полная реабилитация, а в 2003-м — уход из этой жизни...

Ныне он почётный гражданин города, библиотека № 1 Ангарска носит имя поэта. А в январские дни в библиотеках ежегодно проходят «Алексеевские чтения».

Не вместить в одну строчку человеческую судьбу! Не разложить на плюсы и минусы дни, когда и жить не хотелось.

Семь книг у поэта — такова цена выживания, точнее сказать, — мера жизни, силы духа и воли, мудрости и терпения. Попытаюсь лишь слегка прикоснуться к его биографии в том объёме, который доступен в рамках общения в литературном объединении Ангарска.

<i>Люблю я книжные базары, где, не ругаясь, не бузя, стоят Онегин и Базаров, как закадычные друзья,</i>	<i>хватают Даля и Стендаля, а я, молчание храня, стою в сторонке, наблюдая: возьмёт ли кто-нибудь меня?</i>
---	---

Эти простые строки ангарского поэта В.А. Алексеева зацепили меня своей непосредственностью. Ну о чём бы пометать ещё, когда твои книги лицом к лицу с читателем!

Передо мной лежит замечательный подарок от Валерия Анатольевича — сборник стихов «Соловецкий камень». Он его подготовил к своему 75-летию, а через пять лет покинул этот суетный и несовершенный мир.

*В бреду, в наркозной круговерти,
Когда бессильны то и сё,
Я твёрдо верил, что от смерти
Меня поэзия спасёт!*

Родившись через пять лет после великой революции, Алексеев на собственной судьбе почувствовал все потрясения нашей страны, выворачивавшие наизнанку душу каждого мыслящего человека.

*Сулил воскресный вечер танцы,
смолил смычки концертный зал,
но шли в колоннах новобранцы
не на концерт, а на вокзал.*

*За то, что Сталин промахнулся
и в отчий дом пришла беда...
Состав ушёл и не вернулся,
и не вернётся никогда.*

Надо было родиться поэтом, чтобы пропустить через своё сердце всю боль народную ушедшей эпохи. Дать такое определение Валерию Анатольевичу — не сказать и малого.

С раннего детства у него книги в руках, на столе, на полках. Чтение вслух, обсуждение, поиски истины, без чего не может состояться настоящий стихотворец. А ещё аксаковские места, где довелось расти будущему поэту. Именно здесь проснулась неутомимая жажда к чтению. Фет, Тютчев, Никитин... Формировался хороший вкус, а значит, и желание попробовать выразить свои чувства. Мальчишеская лирика окрыляла! И уже в 16 лет появилась первая публикация в газете «Орский рабочий».

*Шумел весенний тротуар,
и жизнь казалась мне чудесной,
когда свой первый гонорар
я получил в газете местной.*

*Взяв деньги за свои стихи,
я их истратил бесшабашно,
но матери купил духи
в коробочке с кремлёвской башней.*

В то время, да и после, газетчики были честны: каждая, даже небольшая публикация оплачивалась. Я помню, как за одно стихотворение в городской газете получила гонорар, эквивалентный стоимости торта и бутылки шампанского...

Вдохновлённый удачей, Валерий Алексеев стал публиковаться в газетах регулярно, хорошо понимая, что «печатным рупорам» нужны, как сам выражался, «барабанные» стихи, а лирические вирши следует оставить для себя и любимой. Так раздваивалась душа у многих стихотворцев, пытавшихся быть угодными властям, которые учили писателей, поощряли среди поэтов тех, кто декларировал терпеть и надеяться...

Никита Хрущёв по-хамски обругал Роберта Рождественского за лирику, но потом... его и в партию приняли, и Государственную премию дали. Стихи у поэта правильные, призывал он нас: «*Не надо печалиться — вся жизнь впереди. Вся жизнь впереди — надейся и жди!*» Вот такое было время. А оно, как известно, в истории ассенизатором работает...

В больших раздумьях взялась я за «Воспоминания». Личность Алексеева очень противоречива, но поскольку общались мы с ним достаточно много, на свои встречи с читателем Валерий Анатольевич приглашал и меня. Зимой, например, приглашал на турбазу. Вот уж где была возможность наговориться! За нами приезжала машина, вечером развозила по домам. Нас отменно кормили, и, самое главное, был полный зал благодарной публики. Было чему поучиться. И в то же время его расхожая фраза «Выжигать лирику калёным железом» приводила в недоумение.

Иные, признанные стихотворцы, кивая на мою объёмную папку с «гражданскими стихатами», советовали: «Сожги и забудь! Кому это надо?» Нужна была отвага, чтобы не слушать ни того ни другого, оставаясь самим собой:

*Мы свой путь на Парнас начинали
в нашем славном Ангарском ЛИТО,
словословьем стихи начинали
и писали не так, и не то.*

*Вспоминает бессонное сердце
наши споры, порой до зари,
гром банкетов, азарт конференций,
крах надежд и дипломы жюри...*

Сколько на моей памяти «начинающих», попавших под каток жёсткой критики Алексеева! Где они сейчас? В ходу было выражение: «Можешь не писать? Не пиши!» Эх, на сегодняшних бы писак да Валерия Алексеева!

Ребята наши из того ЛИТО с благодарностью вспоминают школу Алексеева. Он сразу улавливал настроение стиха, его форму, делал пометки и указывал на недостатки. Сердцем чувствовал поэзию и носом тыкал в «барабанную дробь», напоминая, что

*Поэзия — не опыт, а судьба,
она своя у каждого поэта.*

«Новобранцы» поёживались, слушая о себе нелицеприятное. А если ему в руки попадались стихи, написанные женщиной, — он был беспощаден! «Не берись не за своё дело! Лучше носки вяжи...» Или: «...а это что за бред? Я должен за тебя в словарях копать?» Или: «...не бабское это дело — стихи писать...»

Но иногда становился добреньким: «...будешь покладистой, помогу книжку издать...»

С благодарностью, к сожалению, запоздалой, вспоминаю беседы с ним, но зато крепко въелась его наука: патологически не выношу тупых, безграмотных «творений» и, увы, не в рукописи, а уже в книжонке... Но нынче сделать замечание — равносильно вражеской атаке. Из-за угла не пристрелят, а здороваться перестанут «поэты»...

Тринадцать лет как не стало В.А. Алексеева, а он, на удивление, наиболее выпукло и ярко смотрится в ряду нашей писательской братии.

Но вернёмся немного назад.

*Ты помнишь июнь сорок первого года
и день, безобиднее божьей коровки,
на улицах — пёстрые толпы народа
и солнцем обласканный зал Третьяковки.*

Война крепко зацепила безусого защитника отчизны. Хватило ему полгода, чтобы быть уволенным подчистую из армии, но на всю оставшуюся жизнь — держать осколком в сердце её неприкаемую жестокость. В 1945 году заочно закончил Московский механический институт, работая в отделе главного конструктора Южно-Уральского машзавода. Молодой талант заметили и отправили в Москву в ЦНИИТМАШ конструктором. А ещё он — внештатный лектор-международник ЦК ВЛКСМ. Прямая дорога в МГИМО! Живи и радуйся! Но... вмешивается чья-то «палка» в колесо его судьбы.

*Нет, я не скоро стал писателем.
О том, что жить неумогуту,
пооткровенничал с приятелем
и... угодил на Воркуту,*

*Мелькали города и станции,
свет с темнотой вступал в борьбу.
С неисправимыми скитальцами
и я связал свою судьбу!*

Где ты сейчас, «заклятый друг»? Кто ты, шукура продажная, заложившая близкого человека? Думается, небеса «разобрались» с тобой по полной...

А пока — осуждение к каторге на Крайнем Севере.

*Не смейтесь надо мною, чёрт возьми,
мой старый меч ещё вам пригодится,
В двадцатом веке с подлыми людьми
куда трудней, чем с мельницами, биться!*

Казалось, 1953 год развяжет все узелки и выправит кривые дорожки. Но не тут-то было! Дармовые руки нужны на новостройках. И — по этапу. Вместо Москвы и встречи с любимыми — Ангарск, новостройка, ставшая судьбой и болью до конца дней.

*Это — город моей судьбы.
Здесь в потёртой солдатской ушанке
я берёзы рубил на столбы
и копал, как под Ельней, землянки.
Жёг костры в опустевшем бору,
слушал голос вечерней кукушки,*

*пил студёную Ангару
из простой алюминиевой кружки.
Строил я и дворцы, и цеха,
без работы ни дня не слонялся.
Над премудростями стиха
иногда до рассвета склонялся...*

В пору моей газетной деятельности приходилось много спорить со сталинистами, во вред себе, конечно, поскольку сталкивалась не только с без вины виноватыми, но и с теми, кто стоял на противоположном берегу. О! это были опасные люди, крепко замаскированные, алчущие места.

А поэт не сдаётся: работает на стройках и пишет. Лагерная библиотека для Алексеева — сейчас самый близкий друг и советчик.

*На пятачке, от солнца буром,
поворотясь спиной к горам,
читал стихи я штукатурам,
бетоницам и малярам...*

*Я понял: стоит жить стихами,
когда стихи диктует жизнь.*

Сегодня почему-то на торжествах продолжают славить только комсомольцев и коммунистов, напрочь отвергая (со слов Сталина) «лагерную пыль», как будто её ветром сдуло. А наш поэт, уже ничего и никого не боясь, рассказывает:

<i>Враги пытали нас и били, и, осудив на десять лет, везли тайком в автомобиле, с нелепой вывескою: «Хлеб»...</i>	<i>Нас завезли в такие дали, где лишь Макар телят пасёт, но мы надеялись, что Сталин узнает, выручит, спасёт...</i>
---	---

И лишь 1992 год стал последней жирной точкой в лагерной биографии поэта. Полная реабилитация с вручением документов — кропотливый труд В.Г. Шутько — начальника спецотдела в мэрии. Светлая ему память.

Через десять лет после незабываемых для Алексеева событий он покидает многострадальный мир, любимый город, ставший судьбой, которому подарил он массу стихов в различных изданиях.

<i>Наш век суров, но я — не каменный. Ранимы, как моя душа, стихи, написанные в камере огрызками карандаша.</i>	<i>Я их от рук тюремной мафии берёг, до времени тая. В них, как в анкете, фотография и биография моя.</i>
---	---

Я обращаюсь к тебе, мой вдумчивый читатель! Найди и прочти поэтическую книжку нашего земляка, не пропуская ни единой страницы. Ты увидишь личность, гражданское лицо нашего народа и необыкновенно нежную душу. И почувствуешь в полной мере человека с непростой судьбой сильного мужчины, закрытого от посторонних глаз, но очень сердечного поэта, способного любить. Он, как мог, учил нас не только жить, но и писать по совести, чтобы, как сам выражался, «мог понять любой работяга».

<i>Мои герои — маленькие люди, их винтиками звал великий вождь. Они живут на свете без иллюзий, катают сталь и сеют в поле рожь...</i>	<i>и встреченные мной в уфимском парке мои однополчане-земляки...</i>
<i>В мой стих заходят запросто доярки, шофёры, корабли, рыбаки</i>	<i>Они живут не в легендарной Трое, не в межпланетном мчатся корабле. Мои незначительные герои живут со мною рядом на земле.</i>

И — мои стихи, ещё раз о том же — чтобы помнили мы:

*Что такое любовь?
Это — брызги разбитых бутылок,
по которым ногами босыми
идёшь и идёшь.*

*Это холод штыков,
это — муки и пытки Бутырок,
это — прорубь во льду,
поскользнёшься и —
в глубь упадёшь...*

АННА ТРЕТЬЯКОВА

ЛИТЕРАТУРОВЕД, г. ИРКУТСК

Образ Байкала в творчестве современных поэтов Сибири

Я с удовольствием перечитала поэтический сборник «Славлю Россию, Иркутск и Байкал», подготовленный И.А. Лившицем и В.П. Скифом. Книга была посвящена 350-летию Иркутска и представляет собой временной срез современной поэзии, но также содержит источники девятнадцатого столетия. В книге присутствуют красочные фотографии. Думаю, что у этого сборника большое будущее.

На основе текстов из сборника хочется обозначить способы формирования художественного образа Байкала в современной поэзии.

Образ — это способ пересоздания действительности. И в образе Байкала поэты обобщают представление об озере, почерпнутое, к примеру, из песен и легенд. В то же время появление тех или иных составляющих образа — результат творческой работы каждого поэта. Любопытно, что слово «образ» и слово «резать» — родственные! Действительно, настоящий художник (в широком понимании этого слова) «вырезает», в нашем случае — уникальный образ Байкала, и делает это вдохновенно и с чувством благоговения перед «восьмым чудом света». Конечно же, поэтические детали образа активируют читательское восприятие — и перед нами предстаёт художественный образ Байкала, отличающийся от описания Байкала как научного явления. Если в научном тексте о Байкале важна точность фактов, то поэт может фантазировать, создавая уникальную «вторую реальность».

Интересно анализировать разные образы, их структуры. В сборнике представлены поэты со своеобразными мировоззренческими установками и разнообразными приёмами создания образа. В средствах выразительности художники слова демонстрируют своё отношение к Байкалу. Любое произведение способно вызывать различные интерпретации, следовательно, возможно, читатели этого сборника как-то *по-своему* поймут, воспримут образ Байкала как поэтическую репрезентацию. Возьму на себя смелость поделиться своими наблюдениями.

В стихотворении Геннадия Аксаментова «Байкал» образ Байкала — это образ богатыря. Не зря автор пишет: «Его Величество — Байкал...» И говорится автором не только о величии озера, но и о его «непокорной», «гордой красоте». В этом стихотворении поэт желает, чтобы чисты были не только озёра, но и наши помыслы:

*Пусть люди станут сердцем чище
Перед красой байкальских вод...*

Автор сравнивает Байкал с «восьмым чудом света». И мы целиком и полностью согласны, что Байкал прекрасен и загадочен, как чудо, которое необходимо беречь.

Образный ряд в произведении Бориса Архипкина «Рассвет над Байкалом» вызывает глубокий душевный отклик у читателя своей самобытностью, яркостью. Стихотворение начинается с генетивной метафоры «кристаллы воздуха». Такая метафора экспериментально может быть разбита на две части, однако при этом образ неумолимо распадётся и, соответственно, потеряет свою целостность. «Кристаллы воздуха» — это метафора, сотканная из существительных. Особый байкальский мир умело воссоздается Архипкиным — и «кристаллы воздуха *звенят*». И создаётся образ предрасветного утра на озере:

*Как по сырому — акварелью,
Сработал мастерски рассвет...*

Кульминация стихотворения — вдохновенные, тревожные слова: «*О, сохранить! О, побережь бы!..*»

Важно, что тема бережного отношения к Байкалу по-разному, но везде ярко присутствует. Если Геннадия Аксаментова волнует духовная составляющая, то Борис Архипкин, на первый взгляд (!), не делает на этом акцент. Он сопоставляет чистоту байкальской воды с «полупрозрачной слезой» и

с помощью творительного сравнения «*омою зеркалом глаза*» пытается преподнести что-то личностное в образ озера. Поэт просто подчёркивает целебность воды Байкала, рифмуя ключевые слова, связанные с его мироощущением, например, «*небо — целебна*».

Вчитываясь радостно и загаённо в строчки Вадима Богатырёва — и перед внутренним взором сразу возникает осенний образ Байкала. Его шум Богатырёв сравнивает с неповторимой музыкой (как оркестр).

*В последнем вальсе кружатся берёзки,
Вас осыпая жёлтым конфетти...*

Автор соотносит такие явления, как осенний листопад и конфетти, и это не случайно: ведь для Богатырёва осень на Байкале похожа на праздник. В стихотворении тонко и празднично представлен антропоморфизм. Поэт наделяет человеческими качествами, например, зарю. «*Чёрный бархат неба...*» — это генетивная метафора, состоящая из существительных «*бархат*» и «*небо*». И эта метафора передаёт особое настроение — соотносимое с представлением осени как бала.

Стихотворение Олега Быкова не имеет названия, но уже с первой строчки заинтриговывает читателя: «*О, космос Байкала!*» Соотнесение Байкала и космоса рождает неповторимую, концептуально связанную с мировоззрением Богатырёва, метафору. Автор развивает эту метафору, проводя параллель между вечностью и Байкалом. Олицетворение Байкала характерно для многих поэтов. Но у Быкова оно формируется за счёт переноса значения с одежды человека на озеро: «*Как, скажем, убранство твоих несравненных одежд*». И дальше образ раскрывается через аналогию: «*Гор живописные складки. И узоры твоих берегов*».

Байкал для поэта совершенство, и Быков примечает все детали этого совершенства. Чистоту Байкала он сравнивает с молитвой. Причем интересен способ создания образа. Сначала идёт сравнение, а затем метафорическое развёрнутое уточнение: «*Молитва влюблённой природы*». Природа становится символом чего-то светлого, красивого и даже отрадного. Заканчивается стихотворение вполне традиционным поклоном Байкалу. Так, образ Байкала предстаёт составленным из микрообразов.

Какова главная идея в произведении Татьяны Суровцевой? Для неё встреча с Байкалом — это «праздник бытия». И если Богатырёв понимает под словом «праздник» торжество внешнего веселья, то Суровцева говорит об экзистенции, внутреннем торжестве личного, духовного бытия на Байкале. Так, по-праздничному, она создаёт образную байкальскую картинку:

*Зелёный гимн у скал поёт вода,
И колокольни каменного века
Гудят, ей подпевая.
Струны света
Уходят в глубину, как невода.*

Микробраз у Суровцевой — это «поющий» летний Байкал. Скалы озера она называет, благодаря перифразу, «колокольнями каменного века», и скалы и вода — это, по мысли поэтессы, живые существа. В нескольких строчках автор передаёт светозарность Байкала. Заканчивает свою «песнь» Суровцева сравнением:

*Здесь по склону кедр,
как Пётр Великий,
шагнул, корнями расколов скалу.*

В этом отрывке соединены нескольких микрообразов, а именно, «кедр шагнул» — сравнением кедра и Петра. Кроме того, здесь присутствует преувеличение: зрелище кедра-великана. В стихотворении «Ветер пел и звучал над Байкалом» текст просто насыщен микрообразами. Волна Байкала «серебром наливалась», «*белой чайкой на зыби Байкала*» — летит катерок. Развёрнутая метафора «белой чайкой» формирует особое, живое байкальское море. Для поэтессы реальность — лишь «предсказанье».

Тема Байкала тесно переплетена с темой любви. Лирическая героиня говорит о тайне, надежде, мечте. Ветер — «палач побережья» разрушает мечтательный образ Байкала. Стихотворение Суровцевой не только о Байкале. Оно о подлинном чувстве. Генетивная метафора «*свет Валентинова дня*» подтверждает наши предположения.

Определим микробраз Байкала в произведении Елены Жилкиной «Байкальская осень». Стихотворение начинается с ёмких глаголов: «*ошеломит*», «*закружит*», «*уведёт*», «*в мерцающие тайны листопада*». Микробраз осени на Байкале — это тайна и красота. Эпитет «мерцающий» к мета-

форе «тайна листопада» удачно подобран автором. В воображении у читателя сразу возникает образ листопада байкальской осени, которая сопоставляется с «рыжей лисицей». Кроме того, различными красками рисуется образ осени, появляется генетивная метафора «*пламя сентября*», значительный и красивый, гармоничный микрообраз.

Жилкина в другом стихотворении говорит о том, что не может найти сравнения для Байкала. И оказывается, Байкал вдохновляет её на творческий поиск. Жилкина одушевляет абстрактное понятие:

*Взмывай, вдохновенье, крыльями чаек
или мерцаньем
поздней зари.
О близком, о дальнем
со мной говори.*

Байкал и вдохновенье в концепции Жилкиной — это неразлучные образы, которые создаются метафористически.

Давайте вместе подумаем, о чём следующее стихотворение Василия Забелло:

*На берегу глухом Байкала
Я у костра сижу один.
И жемчуга крутого вала
К ногам швыряет баргузин.*

Ключевое слово образа — это «один». Тема одиночества и Байкала взаимосвязаны. Волны поэт оправданно сравнивает с жемчугом. Для Забелло Байкал — это «божественное убранство». И поэт ищет спасения в созерцании озера, переживая катарсис (очищение), подобно Аввакуму:

*Охвачен гибельным пространством,
В огне сметенных чувств и дум
Под сим божественным убранством
Не так ли плакал Аввакум?*

И невольно, сострадая и сопереживая, передаёт читателю настрой этого исповедального монолога. Душа поэта рада Байкалу:

*Душа тебе как прежде рада,
Твоею дышит глубиной.*

Поэт наполняет образ Байкала неповторимой духовной мощью. Для него понятие «душа» неотрывно соединено с представлением о Байкале.

Произведение Ивана Козлова «Рождение Байкала» очень лаконично и просто звучит. В нём описывается возникновение нового прекрасного мира:

*И хлынул водопад,
Он грохотал и рос —
И рухнул небосвод,
И космос расступился.*

Далее озеро наделяется эпитетами «жемчужный» и «загадочный». Для Козлова Байкал непостижим, как десятая планета...

Стихотворение Евгения Куменко «Байкал» порождает практическую работу воображения в результате духовного освоения мира. Образ озера синтезируется различными способами. Во-первых, это сравнение Байкала с Сибирью:

*Как Сибирь могуча,
Как она просторна.*

Образ Байкала автор формирует с помощью эпитетов: «*неприступно-гордые кручи*». Происходит соотнесение озера и самоцвета, так образуется микрообраз Байкала. Кроме того, при описании использует контраст, антитезу эпитетов:

*Ты красив и страшен,
Ты суров и чуден.*

Куменко утверждает, что в понимании образа Байкала, «как волна», соединились правда и легенда. Поэт даёт совет беречь Байкал.

*И в мечте высокой, и в судьбе нелёгкой,
Будешь ты наполнен этой чистотой!*

В произведении «Наш Байкал» И. Лившиц использует параллелизм: «Волна играет танцем хороводным». В мироощущении Лившица выявляется мифологизм сознания, например:

*И затихаешь, будто грозным не был,
У матери-земли ребёнком на руках.*

Необычно сравнение Байкала с ребёнком. Здесь образ Байкала — спокойный, родной. Спокойствие озера передаётся благодаря глаголу «затихаешь». Лившиц справедливо соотносит Байкал с драгоценным камнем, но делает это сопоставление иначе, чем Куменко:

*Его особой красотой Бог отметил,
Он самый дорогой алмаз Земли.*

Лившиц подчеркивает особую важность Байкала для Земли своей генетивной метафорой «алмаз Земли», в конце произведения вполне традиционно обращается к потомкам и говорит о том, что надо беречь озеро...

В стихотворении с почти пастернаковским ритмом «Закат на Байкале» Н. Лобацкая пишет о встрече с любимым на Байкале. На противопоставлении слёз и огня создаётся образ встречи:

*И мой огонь в твою ладонь
слезой скатился.*

Теме Байкала в творчестве Лобацкой отведена большая роль. В стихотворении «Осенний Байкал» озеро предстаёт перед нами уже другим: «холодный, неприятный берег», а образ Байкала построен по ассоциации:

*Шумящий, пенистый Байкал,
простор, свобода, дикий остров,
строфа, зажатая в апостроф,
и ветра радостный оскал.*

Поэтесса по-разному передаёт Байкал. Если в стихотворении «Шторм на Байкале» Лобацкая рисует образ озера дерзким, с норвом, то совсем иной Байкал в «Тайне Байкала». В этом стихотворении он прозрачный, безбрежный, загадочный. И если шторм на Байкале красив, то «тихий», глубинный Байкал полон тайн...

Стихотворение Иннокентия Новокрещённых «Девушка на берегу Байкала» необычно по тематике. Байкал неожиданно рисуется не суровым старцем, а молодым беспокойным юношей. Олицетворение Байкала развёртывается на протяжении всего произведения. Байкал «прильнул волною, как щечкой». Нежность Байкала передаётся благодаря эпитетам «тихий» и «нежный». Купание девушки в Байкале — это особый мистический ритуал, когда одежда — это «излишек тела и души». Процесс купания обрисован смело и гармонично:

*И рванулась в расплётном зное,
локоны сплетая на ходу.
Бросила в объятие шальное
щедрую, святую наготу...*

По творческому решению Новокрещённых, Байкал встретил девушку ласково...

Обратимся к стихотворению Андрея Румянцева «Байкал». Автор сопоставляет понятие «душа» с жизнью, с Байкалом. Каким же способом формируется образ Байкала у Румянцева? Характерен «непокой», описание волн, как «неукротимых» и «свободных». Румянец мастерски использует эпитеты, например, в изображении небес. Они для него — «серебряные».

Румянец подчёркивает противоречивость озера:

*Сошлись в его глубинах свет и тьма,
И вечен спор, и вечен дух боренья!*

Поэт испытывает восторг от созерцания «неукротимого» Байкала, он по-настоящему счастлив. Каким может быть образ Байкала в представлении Владимира Скифа? Рассмотрим стихотворение «Лето на Байкале». Образ озера мифологизирован, когда «*по небу золочёная карета провозит солнца золотого воз*». Сосновый лес метафорически обозначен так: «*желтеет сочным золотом сонь*». Далее поэт описывает простую жизнь крестьянина, а точнее, сенокос.

Для поэта Байкал — это мир, полный простой, несказанной красоты. Духовное содержание образа Байкала Скиф передаёт в произведении «Светоч Байкала». Байкал для поэта — это диво дивное. Байкал предстаёт разнопланово.

*И несмотря, что упругая даль
В косу туман заплетает,
Он поднимает до неба хрусталь,
Солнцу лицо умывает.*

Байкал, как светоч, ценен и значителен. Тезис поэтический содержится в последних строчках стихотворения:

*Светоч Байкала —
Воистину свет!
В новый завет проникает.*

Владимир Скиф сочинил оду Байкалу. Каков же образ Байкала в ней? Произведение столь изящно простое, что почти не замечаешь способов создания образа Байкала. Основная идея — это то, что Байкал «вместилище добра»: «*Здесь небо в море уместилось*».

Тема неба — важная составляющая мировоззрения Скифа. Он сближает концептуально Библию и Байкал: «*Читать, как Библию, Байкал*». Прочитав эту ключевую строчку, понимаешь, что Вечная книга и Байкал одинаково ценимы поэтом, значимы для его творческой концепции. Скиф пытается сказать о самом сокровенном, о вечном, невыразимом Чувстве Добра, которое порождает созерцание озера:

*Оно почти невыразимо,
То чувство древнее во мне,
Когда на крыльях баргузина
Душа несётся по волне.*

Оправданно желание поэта показать Байкал как явление космическое, трансцендентальное. Эпитеты: «*вещный*», «*вечный*», «*драгоценный*» — это те средства, с помощью которых автор подготавливает читателя к завершающей, ключевой метафоре:

*И если есть душа Вселенной,
То это всё-таки Байкал!*

Необычное наполнение образа Байкала субъективно, но тем и прекрасно.

Стихотворения Ивана Стрельцова «Времена года на Байкале» слишком описательны. В них даётся просто разное изображение озера. И непонятно: какую главную мысль вложил Стрельцов в своё произведение. Лучше бы было не разбивать произведение на отдельные темы, а соединить, скрепить эти отрывки общей идеей...

Итога, скажем, что образ Байкала отражает индивидуально-авторское начало каждого поэта. И каждый из них, опираясь на своё представление о Байкале, творчески пересоздаёт действительность, и перед читателями предстаёт художественный образ истинного чуда света. И если в творчестве отдельного поэта Байкал — это конкретный, неповторимый, уникальный образ, то в совокупности различных авторских концепций образ Байкала трансформируется в *образ-символ*. При этом практически каждый образ не только самодостаточен, но и вправе быть символом Родины, символом Сибири.

Образ Байкала, конечно же, концептуально не завершён. Будут новые байкальские стихи, и будет новое прочтение и толкование этого чуда нашими современниками и потомками.

Столичный триумф спектакля «Иннокентий»

РЕЦЕНЗИИ И ОТКЛИКИ

Молиться можно и на сцене

На новой сцене театра ГИТИСа состоялась московская премьера спектакля «Иннокентий» по одноимённой пьесе писателя Валерия Хайрюзова. И точно так же, как святитель Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский, шёл в своём миссионерском пути полтора века назад, тем же путём идёт по стране и спектакль, поставленный Иркутским областным театром юного зрителя им. А. Вампилова. Премьеры уже состоялись в Иркутске и Хабаровске.

Имя митрополита Московского и Коломенского святителя Иннокентия (Вениаминова) чтят во всём просвещённом мире. Он был священником, путешественником и исследователем, плотником, кузнецом, часовщиком, отливал восковые свечи, строил храмы, писал книги. Просвещал и крестил тысячи людей Сибири, Камчатки, Алеутских островов, Северной Америки, на несколько языков перевёл Слово Божие и сыграл ключевую роль в присоединении Дальнего Востока к России. Деяний, которые за свою жизнь совершил этот подвижник, хватило бы на десяток незаурядных судеб. Невозможно вместить всю жизнь Святителя в одну пьесу, спектакль повествует всего о трёх днях святого Иннокентия, но как в капле воды отражается целый мир, так и в этих трёх днях отражён весь путь Святителя. Автору удалось показать то главное, цельное и духовное, за что мы любим и чтим нашего Иркутского покровителя.

Когда я начал смотреть спектакль, два чувства боролись во мне. Возможно ли совместить жизнь святого с театром? Как это можно показать на сцене? И вообще, нужно ли соединять религию с театральным искусством? Но постепенно сомнения мои рассеялись, и я полностью погрузился в происходящее. Сегодня, с этим захлестнувшим нас киношным Голливудом, мы совсем забыли, что зритель — это соавтор пьесы, и он должен «работать» в театре, духовно домысливать, воображать и дорисовывать картинку. А что касается конкретного спектакля, то зрителю необходимо ещё и представлять себе, о каких исторических личностях идёт речь, какую роль сыграли они в истории России. Только в этом случае постановка даст ту полноту и объёмность, которую задумал автор. Но интересно то, что есть здесь и другой эффект. Даже если зритель, а особенно молодой, не знал персонажей спектакля, слышит о них впервые, то увиденное наверняка заинтересует его, подтолкнёт узнать и прочесть о тех личностях, о которых шла речь, а также постараться понять то время, когда они жили.

Действие происходит в середине XIX века, но как современна эта постановка сегодня! Всё те же умонастроения — быть России сильной или нет, — всё то же противостояние либералов и государственныхников, всё тот же вечный вопрос нравственного выбора. Но главное в этом произведении — Любовь. Именно она всё побеждает и всё устраивает в жизни. Любовь к Родине, любовь в семье, любовь к Богу. Ибо то, что невозможно человеку, возможно Богу. Коллективу театра было важно, чтобы современный зритель почувствовал, что истинная вера, движимая любовью к Богу, к своему народу и Отечеству, помогает человеку совершить деяния, которые потомки назовут великими. На мой взгляд, актёры справились с этой задачей, именно поэтому не хочется говорить об их игре, они запоминаются нам как живые личности, как то, что появилось из прошлого и показало нам своё настоящее. Спектакль невозможно пересказать, его нужно именно смотреть, проживать и чувствовать сопричастность к великому прошлому.

Во все времена великие подвижники работали не только на своё время, но и на прошлое, и на будущее, и если мы сегодня посмотрим на наше время, то увидим, что рана между разрушенным Советским Союзом и новым временем ещё кровоточит, и я абсолютно убеждён, что именно такие произведения врачуют эту рану, останавливают кровь и слёзы нашего народа — соединяют разорванные времена. У старшего поколения не было церквей, но многие из них сегодня поверили истинно, как-то сразу и чётко, развернулись к Богу лицом. Молодое же поколение уже растёт с церковью, но делает ещё только первые робкие шаги на пути к вере. Я специально наблюдал за молодыми людьми в зале. И в начале спектакля видел даже неодобрительные улыбки, слышал хихиканье, когда вышел

актёр в рясе, некоторым казалось это комичным, неправдоподобным... Но к середине действия все притихли и увлечённо смотрели на сцену, а в конце спектакля аплодировали стоя. Никто не ушёл. У всех были другие лица, люди словно прикоснулись к чему-то самому дорогому, настоящему.

Спектакль заканчивается молитвой, действие подводит к молитве, и зритель действительно молится в конце за Отечество, за себя грешного. Честно сказать, я и сам первый раз в жизни помолился в театре. Оказывается, это возможно.

Василий ПОПОВ

О друге, о нашей Родине, о её благословенной судьбе

Условность театральная меня давно не привлекает, притом, что все современные приёмы шиты белыми нитками и понятны младенцу. Причём провинциальные театры сегодня грешат экспериментами на грани пошлости ещё больше московских, так, считается, можно заманить зрителя, который, думают они, совсем глуп и понимает только скабрёзность или того хуже.

И я буду говорить не о таком театре сегодня, а о том театре, о котором мечтается. Театре просветительском, державном, или революционном, или о том и другом.

«Иннокентий» — пьеса писателя Валерия Хайрюзова, которую мы уже несколько лет назад напечатали в журнале Союза писателей России, была и рождена автором, таким же неофитом, как и все мы, как просветительская, державная, государственная. Он будто бы сам со своим героем прошёл путь узнавания веры, путь восторга перед недюжинной силой Христова воина, пастыря, владыки, а затем святого земли Русской — святителя Иннокентия. И этот восторг перед образом, перед святостью мы ощутили и в тексте пьесы, а теперь и в игре актёров, в постановке режиссёра, когда смотрели спектакль Иркутского театра имени Вампилова «Иннокентий».

Наша детская подчас вера нуждается в таком искреннем, просветлённом взгляде, в таком восторге от узнавания имён, героев, святых нашей земли. Видно, как актёры, театр, режиссёр, автор преображают пьесу, работают над ней, чтобы и была это вовсе не постановка для того, чтобы удивить и зазвать на неё искущённого в развлечениях зрителя, а борьба за зрителя думающего, знающего, верящего, его вразумление, его понуждение к мысли и молитве.

И отнюдь не просто пришлось решать эту задачу театру и автору. Всё ведь не расскажешь, не дашь историческую справку со сцены, нужно, чтобы «зацепило», чтобы захотел зритель прийти домой и посмотреть Жития святых, на худой конец, просто статью в Википедии о святителе, как из далёкой для Москвы Сибири стал он светом России, митрополитом Московским и Коломенским, апостолом Сибири... Как пришёл он в Русский мир из деревни Анги, из маленького деревянного домика, где мне довелось побывать вместе с Валентином Григорьевичем Распутиным, и отчего я навсегда прикипела к этому святому, молилась ему, просила помощи... И покорила этот Русский мир своей верой, любовью, служением...

Святитель Иннокентий не единственный герой пьесы, здесь и столпы, герои русской истории Муравьев-Амурский, Невельской, и сибирские купцы, которым Сибирь обязана своим освоением и процветанием, и местные князья, и народы, навсегда связавшие свою судьбу с Россией... Но все они находятся под омофором святителя, под его мягкой и твёрдой рукой одновременно, под его силой любви и понимания. Эпический спектакль, объёмный, многозадачный, и все это задачи и сегодняшнего дня, и сформулированы они святителем как будто для нас, для России, для молодых. Услышали бы! Почему-то мне кажется, что и для театра, и для актёров спектакль этот не простой, но такой душеспасительный, душеполезный, что и они многое узнали для себя о вере православной, об истории нашей, погружаясь в это время, в эту тему. Слава Богу, что есть в России ещё желание не развлекать, а вразумлять, и, хотя можно спектакль ещё улучшать и совершенствовать, и как нам рассказывали, он уже сильно изменился со времени премьеры, главное состоялось — святитель Иннокентий пришёл к нам, в день сегодняшний, чтобы мы ещё пристальней взгляделись в прошлое, чтобы мы задумались о нашей русской жизни, помолились друг о друге, о нашей Родине, о её благословенной судьбе и её будущей победе над силами тьмы ради добра, любви, надежды.

Марина ГАНИЧЕВА

Иннокентий. Страницы великого пути

В очерках «Фрегат «Паллада» И.А. Гончаров упоминает о том, как на островах близ Японии русские путешественники встретили католического миссионера, который восемь лет прожил среди туземцев. Аборигены называли его «плохой человек», и он платил им той же монетой: ни одного доброго слова о местных жителях наши мореплаватели от него не услышали. Вдобавок ко всему выяснилось, что проповеди католика не только не имели успеха среди жителей островов, но нередко заканчивались тем, что самого проповедника нещадно колотили.

А вот встреча Гончарова с другим миссионером — святителем Иннокентием в Иркутске — произвела на писателя такое сильное впечатление, что заставила переоценить свою жизнь и иными глазами посмотреть на мир. Столь велик масштаб этой поистине исторической личности, и глубоко, проникновенно его слово! И сегодня, по прошествии полутора столетий, соприкасаясь с наследием святителя, мы испытываем те же чувства.

Вот о чём думалось во время спектакля Иркутского театра имени А. Вампилова, поставленного по пьесе Валерия Хайрузова «Иннокентий». Действие пьесы происходит в годы Восточной войны, которую в XX веке чаще называли Крымской, тем самым как бы умаляя значение остальных театров военных действий — Кавказского, Балканского, Балтийского, Беломорского и Дальневосточного. Святитель Иннокентий (Вениаминов.) приезжает в родной Иркутск, где не был много лет, проповедуя на Аляске и Алеутских островах. В это же время из Петербурга ждут экспедицию, которая должна установить новую границу на востоке, передав весь правый берег Амура Китаю. Желая расстроить эти планы, генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Муравьёв собирает свою экспедицию на Амур и ищет встречи с Иннокентием, к мнению которого прислушивается сам император, чтобы испросить на это предприятие благословения и заручиться его поддержкой. Возвращение России правого берега Амура позволит освоить богатый Приамурский край и одновременно закрыть французским, английским и американским судам доступ в Амур. Такова основная линия спектакля. Но есть ещё любовная интрига, которая связывает мичмана Самарского, Фросю Катышевцеву и правителя конторы Американской компании Лажкина, есть в спектакле и перипетии взаимоотношений Лажкина и богатого иркутского купца Катышевцева, авантюрные приключения девицы Марии, путешествующей из Петербурга на Камчатку, высадка английского десанта на берег Охотского моря, пленение святителя Иннокентия и главных героев и последующее их освобождение. Словом, всё, что делает прозу драматургией и держит в напряжении внимание зрителей.

Для большинства людей, живущих по эту сторону Урала, место действия спектакля — край света, но только не для сибиряков. Для них эти места и люди, чьи имена звучат со сцены, — владыка Иннокентий, губернатор Н.Н. Муравьёв-Амурский, капитан-лейтенант Г.И. Невельской — знакомы с детства. Потому так искренне, по-сибирски широко и вольно играют актёры театра. И музыка, написанная иркутянином Владимиром Соколовым, органично вписывается в спектакль и создаёт необходимый эмоциональный настрой, и слова песен протоиерея Сергия Кульпинова, настоятеля Иркутского храма (музыка А. Рыжанова и А. Мингалева), звучат особенно проникновенно. И невольно кажется, будто и мы вместе с актёрами сидим за обильным пасхальным угощением в доме купца Катышевцева (засл. арт. РФ В. Привалов), наводим порядок вместе с владыкой Иннокентием (В. Степанов) в порушенном англичанами храме, принимаем щедрые дары тунгусского вождя Тырынтына (заслуженный работник культуры РФ В. Токарев).

27 лет провёл святитель Иннокентий среди народов Восточной Сибири и Америки — колошей, якутов и алеутов, просвещая светом Евангелия, за что получил имя апостола Аляски и Сибири. Нелегко, наверное, было автору пьесы и режиссёру выбрать всего несколько эпизодов из насыщенной событиями и приключениями жизни святого, потому и назван спектакль «Страницы великого пути». И как радостно и поучительно было слышать со сцены не надуманные, а подлинные слова из писем и сочинений святителя Иннокентия! Конечно, писать о святых нелегко. А каково играть их на сцене! Но тем и отраднo прикосновение к жизни святого, что она, его земная жизнь, просвещает не одних только язычников, но и нас, ныне живущих, которым порой ой как далеко до непосредственных и добрых «детей природы», какими видел их Иннокентий.

Святитель оставил богатое наследие не только как проповедник и миссионер, но и как ученый-этнолог, изучив колошский и кадыкский языки и составив азбуку для не имевших письменности народов. На чём только он не передвигался по своей огромной епархии: плыл на корабле и байдарке, ехал на санях в собачьей упряжке и верхом на лошади, шёл на лыжах и пешком! Обращаясь к проповедникам, которые собирались в Сибирь и Америку, он предупреждал о трудностях и опасностях, ожидающих в этом суровом краю. «Но должно утешать, — добавлял он, — что труды их будут не напрасны. Здесь особенно жатва многа и поле добро зело».

Его сеяние действительно дало богатое жатву: тысячи крещёных, собственноручно построенные им церкви и школы. К алеутам и колошам, тунгусам и якутам, которые удивляли его своим терпением и сдержанностью, правдивостью и добротой — качествами истинно христианскими, он относился как к детям. Он не терпел праздности и любил мастерить, умел не только ремонтировать часы, но и делать музыкальные шкатулки. Таким и предстаёт святитель перед нами со сцены: вот он разговаривает с тунгусским вождём, приехавшим принять крещение, вот чинит часы, а вот обсуждает дела истинно государственные — даёт благословение на сплав по Амуру, с тем, чтобы утвердить присутствие России в богатом крае и закрепить за ней выход к океану.

Так почему служение одних проповедников не только не приносит плодов, но и сеет горькое семя неверия, а дело других — умножает посеянное многократно?! Где нет любви, там нет и успеха просветительства — таков секрет святителя Иннокентия.

И. Гончаров отметил, что Иннокентий во время поездок по своей огромной епархии проложил самый короткий путь к Охотскому морю. Им пользуются и сегодня. Так и в нынешнее время верой и любовью, радением на благо Отечества святитель сумел найти самый короткий путь к нашим сердцам. За что низкий поклон Иркутскому областному театру юного зрителя им. А. Вампилова, режиссёру, заслуженному работнику культуры Российской Федерации Виктору Токареву и сибирскому писателю Валерию Хайрюзову.

Наталья ПЕТРОВА

Дивный Свет востока

Спектакль «Иннокентий» Иркутского областного театра юного зрителя им. А. Вампилова по пьесе Валерия Хайрюзова, представленный на Международном театральном фестивале «Золотой Витязь» по первому снегу в Москве — событие необычайное во всех отношениях.

Сама постановка пьесы о святителе Иннокентии, апостоле Америки и Сибири, уже не может оставить зрителя равнодушным, так как имя владыки связано с пространством от края и до края земли Русской и далеко за её пределами, и далеко не в самые простые времена русской истории, когда ещё завершалось формирование границ самого государства, когда нашему народу тоже многое было непонятно, куда и в каких пределах двигаться... Да, впрочем, и не ясна была многим цель этого движения.

Меж тем в сложном механизме хитросплетений этого движения автор пьесы поставил в центр внимания не торговцев, не политиков, а митрополита Иннокентия. Драматургия, построенная на основе документов той эпохи, позволила автору пьесы и режиссёру показать зрителю, что Россия расширялась благодаря подвижническому труду всех слоёв населения не только для своего блага, а в первую очередь, во имя Христа и Отечества.

Конечно же, в таком движении нужен лидер, способный собирать и направлять людей, которым являлся святитель Иннокентий. К нему идут за советом, на него опираются губернатор Муравьёв-Амурский, купцы, служивый люд, проходимцы и опустившиеся люди... Каждый упоает на его молитвы, каждый утешается его пастырским словом.

Казалось бы, зачем человеку рваться в Америку, что он найдёт там и что предложит другим мыслящим существам, знающим стынь и холод, добывающим себе на пропитание самым варварским охотничьим способом... Владыка не осуждает якутов, камчадалов и алеутов, вступает с ними в диалог, открывает на их языке им новые миры, свет Христов, и они идут за ним, обретая тепло, радость, которой прежде не знали.

Спектакль длится почти три часа, что для современного зрителя достаточно долго, но за это время он очаровывается силой любви человеческой, душевным словом, некрикливостью, что часто слышим с экранов ТВ и театральных подмостков.

Режиссёр погружает зрителя в эпоху XIX века, задолго до Русско-японской войны, но в народе ещё жива память о Крымской кампании... Зритель сквозь неназойливую музыку спектакля вслушивается в тревогу грядущего времени, погружается в содержание разговоров меж архиереем и жителями Сибири и Дальнего Востока, влюбляется в Яшку, келейника владыки, в шамана, что пришёл просить Иннокентия крестить его и всю родню, в прохиндея-аристократа, что тоже человек...

Спектакль не только и не столько об Иннокентии, сколько о всей России, но образ архиерея-просветителя, казавшийся в начале представления не броским, не ярким, показан так, что он вырастает на несколько голов выше всех персонажей пьесы.

В последнее время театры чаще стали использовать религиозную тематику, но делают они это небрежно, из соображений моды, вольно обращаясь с избранным предметом, не погружаясь в его суть. В спектакле «Иннокентий» всё по-другому. И автор пьесы, и режиссёр, и актёры полностью погружены в тему, в цель и задачу замысла и его реализации. Нет фальши. Когда завершается спектакль, то у тебя невольное ощущение, что именно святитель Иннокентий молится впереди тебя, ведёт в горние дали будущего света... Труппа, задействованная в спектакле, оставляет в памяти впечатление взаимно любящей семьи...

Всего не расскажешь, но и не забудешь завтра, как часто бывает после просмотров современного кино или театральных постановок.

Выходишь из театрального центра в полночь и хочется любить и обнимать каждого прохожего, снег, блеск золотых крестов на Троицком соборе.

Спасибо Валерию Хайрюзову и творческому коллективу Иркутского театра юного зрителя им. А. Вампилова за дивный Свет востока посреди зимы в Москве.

Сергей КОТЬКАЛО

*Спектакля возбуждает ожидание.
С историей страны великой краткое свидание.
Таланта краткость лучшая сестра...
Успеха автору дай Боже! Вечера,*

*Подобные сегодняшнему, — праздник для ума
И сердца, и души... И пусть зима...
Я в разговоре пропустила остановку...
Так увлечённо обсуждали постановку.*

*Подлунный мир сюрпризами богат.
Кто был никто вчера, теперь — сестра или брат...*

Алла СТРОКОВА

* * *

Дорогие друзья, здравствуйте! Я поздравляю Москву с явлением вашего прекрасного спектакля «Иннокентий»! Думаю, что вашему спектаклю дано было очень мало времени, чтобы его поняли современные православные школьники и взрослые. Это досадно и обидно в отношении тех немислимых усилий, финансов и трудов, посвящённых явлению этого чуда в Москве. Я сама — педагог-психолог, театральный режиссёр, журналист, экскурсовод и хранитель архива булгаковеда Б. Мягкова (1938–2003), благодарна не только создателю текста, но и, конечно, художникам-декораторам, художникам-костюмерам, художникам-гримёрам. Музыка — превыше всего! Такое обилие разнообразных ритмов, мелодий, псалмов — в симфоническом понимании Судьбы — это мощное проникновение в режиссёрский замысел.

Сразу надо отметить, что преподнесение литературного материала, увы, действительно соответствует нашему мизерному уровню понимания жизни и эпохи. Но это, слава Богу, детский театр юного зрителя! Это азы православия. Но я, которая жила в центре Сахалина в безбожное время 1973–1977 годов и смотрела «Звезду пленительного счастья» (Мотыля), понимала страдания не только людей, но и самой России! Блестящие актёрские работы, со всей пластикой и ритмичностью, с юмором и жёсткостью! Отлично! Это должны увидеть и школьники, и учителя истории и географии, и инспекторы, и, конечно, наш министр образования! Пригласите её на спектакль! Театр как образовательная программа России! СПАСИБО!

*Ирина ГОРПЕНКО
«Булгаковский дом»*

ТАТЬЯНА КРАСНОВА

ЛИТЕРАТУРОВЕД, Г. ИРКУТСК

Экзамен по слову

ОБ ОДНОМ РАССКАЗЕ В.М. ШУКШИНА

На первый взгляд, сюжет рассказа — случай, локальная ситуация достаточно ординарного свойства — действие (экзамен) происходит в замкнутом пространстве аудитории. Вместе с тем ситуация эта минимально конкретизирована: герои не сразу получают имена, в большей части повествования они — профессор и студент (один раз обозначены как «два человека»), почти не определённые ни портретно, ни биографически, что придаёт повествованию наклонность к обобщению. Кроме того, аудитория имеет выход в широкий мир шумящей улицы, уже в начале рассказа профессор стоит у *окна*, наблюдая улицу в ракурсе «вид сверху». К тому же он *думает*, а присутствие мысли, как известно, способно к существенному расширению пространства и времени. В самом деле, профессор думал о *древних* учителях. Таким образом уже в начале «Экзамена» частному случаю задаётся серьёзная обобщающая перспектива.

Проекция на древность поддержана фактом того, что студент вытянул билет с вопросом о «Слове о полку Игореве». Позже окажется, что студент-заочник был в плену у фашистов, а профессор ходил под Киевом в районе Подола, откуда «*удивительная даль открывается*». Случаю в аудитории придаются исторические параметры.

Рассказ представляет собой текст несостоявшегося диалога, хотя условия для диалоговой ситуации максимально благоприятны: два персонажа в абсолютной тишине института. Диалог — излюбленная форма организации композиции рассказов В.М. Шукшина. Но на этот раз диалог приобретает мнимый характер. Ответные реплики студента, по существу, нулевые, а реплики профессора, напротив, развёрнуты, монологичны. Происходит встреча разговорчивого профессора с немотой. «*Самая изумительная русская*» песня не получает соответствующего отзыва в ответе заочника — «рассказывал плохо, неинтересно», великое национальное достояние — «Слово о полку Игореве» и *Слово* как таковое находятся под угрозой стирания в национальном же сознании. Профессор пытается спасти положение: «Давайте будем *говорить* о князе Игоре», «Учитесь *говорить*, молодой человек!» (курсив мой. — *Т.К.*). Однако разговор не клеится... Причём не только между экзаменуемым и экзаменатором, что было бы объяснимо литературной некомпетентностью заочника, но и между двумя людьми, живущими в одной стране, в одной истории, говорящими на одном языке. Неравноправные по объёму и содержанию реплики диалога сигнализируют о более глубоком, чем простое речевое «увечье», неблагополучии. Потеряна возможность человеческого общения, наиболее полноценно воплощающаяся через слово. Идея *раз-общения* опять же откликается историческим эхом: «князья были разобщены», «Русь была разобщена». У собственников средних веков, возможно, и были основания для разногласий, но чего делить профессору и студенту?

Тема разобщения задаётся в ответе студента, тема общения — в поведении, размышлениях и рассуждениях профессора. Студент опаздывает на экзамен — профессор тем не менее словно дожидается его в пустой аудитории, студент склоняется над бумагой — профессор наблюдает за ним, студент моментально оценивается в восприятии учителя («глаза у парня правдивые и неглупые») — профессора, по всей видимости, поначалу не существует в поле зрения студента, естественно, сосредоточенного на «хорошем билете». Профессор обращается к студенту с побуждением к общению: «Вопросов ко мне нет?» — студент отвечает пустотой: «Нет... ничего». Далее профессор будет «суетиться, как неловкий жених» при отсутствующей «невесте». Профессор испытывает сложное чувство именно по отношению к студенту («сочувствовал парню и злился на него») и даже вовлекает «образ» заочника в свою профессиональную сферу: «Глядя на парня, на его крепкой чеканки лицо, профессор почему-то подумал, что автор «Слова» был юноша... совсем-совсем молодой. Злой и умный, как Лермонтов». Судя по односложным репликам студента, он не понимает состояния профессора. «...Ставьте мне, что положено, и не мучайтесь», — студент сказал это резким, решительным тоном. И встал». Встал, собираясь уйти, разумеется, не понимая, что профессор сейчас меньше всего заботится об определении того, что нужно написать в зачётке (как выяснится в финале рассказа, вопрос об оценке не составлял проблемы для экзаменатора). Учитель, опровергающий в Григорьеве

профессора, понимает, что в аудиторию студенты приходят не только за оценками. Реакция заочника на профессорское нестандартное поведение в основном — непонимание: «Студент пожал плечами»; «...Я немного не понимаю», — осторожно заговорил студент»; «Студент не нашёл, что на это сказать. Неопределённо пожал плечами».

Учитель точно прочитал мысли ученика: «...Наверно, думаете: вот привязался старый чудак! А? — Да что вы! Я совсем не думаю так», — студент покраснел, как если бы он именно так и подумал». Профессор Григорьев не только говорит, но и думает за студента Николая, что противоестественно для полноценных отношений учителя и ученика. При этом студент вовсе не безнадёжен — трудяга-парень с непоказным чувством собственного достоинства, честный и совестливый. Но весь его духовный потенциал пребывает в невидимом плену. Мотив плена — один из определяющих в рассказе: князь Игорь попал в плен, студент был в плену у немцев и на экзамене чувствует себя, как на допросе у врага. Инерция враждебности, быть может, одно из самых тяжких следствий войны.

В рассказе Шукшина молчание неожиданно обретает и другую «прописку»: «Я, например, додумался, что в плену молчат. Не на допросах — я мог об этом много читать, — а между собой. Не хочется говорить». Стало быть, Николай продолжает ощущать себя пленником на экзамене по русской литературе, ему хочется «сбежать»: «Студент сел. Опять взял билет и стал смотреть в него. Ему хотелось скорей уйти». На работе заочник — тоже в плену «срочного заказа». Молчание шукшинского студента продолжает классическую тему немоты народа (Пушкин, Тургенев), сопутствующую идее векового крепостничества русского человека. Как «князья были разобщены» в двенадцатом веке, так разобщены учитель и ученик в веке двадцатом. Причём общения не наблюдается не только между «разноразновыми» профессором и студентом, но и в других возможных направлениях установления контактов — бежавшие из плена семеро товарищей Николая не пишут друг другу. Какая-то неистребимая душевная междоусобица подтачивает Русскую землю. Даже профессор не лишён внутренней агрессии — злится, «начинает ненавидеть здорового студента». Заметив, как «в толстых, грубых пальцах» «мелко вздрагивает» «узкая полоска бумаги — билет», «доброжелательно» напутствует: «Ничего, поволнуйся». Это факт «цеховой», ставшей профессиональным клише враждебности между обучающим и обучаемыми, что не отменяет междоусобной типологии.

Русский солдат, потерявший дар речи, не прочитавший великое произведение, пребывает в состоянии, если хотите, потери исторической памяти. Потеря Слова равнозначна утрате исторического самосознания народа, а приобщение к культурному полю «Слова...», напротив, брезжит надеждой на обнаружение глубокой общенародной родственности: «...наша страна много воевала. Это почти всегда была народная война и народное горе. И даже тот, кто не принимает непосредственного участия в войне, всё равно живёт теми же чувствами и заботами, какими живёт наш народ». Литература стимулирует генетическую память, даёт возможность проживания других жизней в другие эпохи: «...Там есть район, Подол называется. Можно стоять и смотреть с большой высоты. Удивительная даль открывается. Всякий раз, когда я стою там и смотрю, мне кажется, что я уже бывал там когда-то. Не в своей жизни, а давно-давно. <...> Мне кажется, что я там ходил когда-то. Давно. Во времена Игоря». Не обладающий, в отличие от студента, исторической биографией, профессор легко вникает в запредельные для его физического существования области: догадывается, как нужно снимать часового, как себя чувствует русский человек в плену... В сознании же заочника, напротив, неотрефлектировано его собственное участие в исторических событиях, а «он ещё «Слова...» не хочет читать».

При таком положении утрачивает ценность не только «величайшее национальное произведение», но и обесценивается «заочная» жизнь человека по имени Николай, приобретающая траекторию исполнения чужого «срочного заказа». Содержание этого заказа никак не уточняется, хотя упоминание о нём слышится в маленьком рассказе дважды, что усиливает ощущение магической власти «заказа» над судьбой человека. Реплика профессора «Меня меньше всего сейчас интересует ваш заказ» свидетельствует не о равнодушии к студенту со стороны экзаменатора, а о вредности заказа для его же исполнителя: заказ невозмутимо-прочно, на гипнотически «законных» основаниях располагается на том месте жизни, где должен быть её смысл. Именно заказ видится в рассказе главным врагом Слова.

Не составляют исключения и «заказы» истории с той разницей, что, в отличие от заказа, так сказать обыденного, исторический имеет куда более серьёзные следствия. Бездумье, местного ли, глобального ли значения, равно убийственно и для отдельной человеческой души, и для души всемирной. Среди многообразных способов отупления народа на Руси отупления работой — одно из самых прижившихся и уважаемых. В сознании одного из первых «печальников горя народного» Андрея Рублёва, по версии фильма А. Тарковского, темнота народа неотрывна от задавленности работой. В произведениях Шукшина дума и, значит, тяга к смыслу своего «топанья» по «дорожке» жизни систематически противостоит работе. Профессор на протяжении всего рассказа *думает*,

идеей думы заканчивается рассказ: «Профессор действительно стоял у окна... Смотрел на улицу и пощёлкивал ногтями по стеклу. Думал».

Индюльгенцией «заказа» (приказа) в пределе выкупаются чудовищные преступления и личной, и общей истории. Недаром методика истребления неугодных получила терминологическое обозначение «заказ». Конечно, в рассказе Шукшина, логикой всего творчества которого было не изображение «последнего дня Помпеи» в красках, а по-чеховски неброское предупреждение о нём, ситуация не утяжелена катастрофическим колером. И чеховский, и шукшинский взгляд обнаруживают саму «стилистику» беды — она приходит «на цыпочках». Может, оттого так, по внешней видимости, гипертрофированно — нервно, резко, скандально — реагируют герои Шукшина на предложенный им мир, что общаются, пусть не вполне сознательно, уже с тем, *что* этот мир подстерегает.

В самом деле, чего привязался «старый дурак» к рабочему парню — бездумно «нарисовал» бы в зачётке «удовлетворительно» ко всеобщему благу и удовольствию — и дело с концом. И нет проблем... которые от нашего автоматического «удовлетворительно», по сути, никуда не исчезают. В зачётке за подписью профессора Григорьева, героя писателя, кредо которого было «нравственность есть правда», стояло катастрофическое «плохо». А неудачный ответ какого-то студента на каком-то экзамене приобретает сущностную характеристику национального бедствия, приходящего «на цыпочках». Здесь и сейчас, в тесноте аудитории, спроецированной на «удивительную даль», парень с хорошим честным лицом, с умными глазами, вступивший в ассоциативный ряд с Лермонтовым, с автором «Слова о полку Игореве», с князем Игорем, попавшим в плен, обнаруживает на экзамене грозящую ему атрофию речевой и интеллектуальной инициативы как начальную стадию дистрофии сознания. Действительно, «дистрофичны» реплики студента, его реакции на всё, что касается выхода в «умственное пространство»: «Как-то сложно, знаете», «Я немножко не понимаю».

Отношение к студенту задаётся в двойственном ключе: профессор «злил» и досадовал». Есть отчего досадовать: студент представлен в рассказе как величайшая (в параллели с величайшей ценностью попавшегося именно ему в семнадцатом билете «Слова...») человеческая ценность, неявный бой за которую принимает на себя старик-профессор: «Меня интересует человек, русский человек...» Николай отнюдь не исчерпывается литературоведческой и словесной беспомощностью — на протяжении всего повествования он интенсивно эмоционально движется: «не решается пройти в аудиторию», «волнуется», «багровеет от шеи до лба», «опускает голову», «смотрит ясными серыми глазами», «вытирает вспотевший лоб», «тихо смеётся» и даже говорит «резким и решительным тоном». Предмет профессионального обсуждения на экзамене — литературное произведение — не подменяется разговором о жизни солдата Николая, а делается полноправным и более ценным эквивалентом ответа по литературе (отдадим ей должное за уникальную способность к подобным «выходам», за открытость гуманитарной границы). Судьба Слова в рассказе недвусмысленно приравнена к человеческой.

Профессор ведёт себя, в отсутствии собеседника, неловко и суетливо, но встреча старого с малым своевременна и небезрезультатна. «Старый» в «Экзамене» отнюдь не вписывается в матрицу безупречной мудрости предка. Уже в начале рассказа звучит мотив уязвимости учительной позиции в современном мире: «Всё меняется. Древние профессора могли называть себя учителями... А сегодня мы только профессора». Профессор учит себя; учитель — учеников. Григорьев в рассказе как бы совершает нелёгкий путь от профессора к учителю, рискуя попасть в неловкое положение, став не ведущим, а заложником ситуации, принявшей «дурацкий оборот». Дважды в рассказе студент и профессор меняются местами: когда студент «корректирует профессора в его нехороших подозрениях («В люди хотел выйти?» — «Не надо так...» — «тихонько», но твёрдо поправляет студент; «Ставьте мне что положено, и не мучайтесь, — студент сказал это резким и решительным тоном. И встал. На профессора его тон подействовал успокаивающе». Профессор и сам вполне родственен заочнику по-своему «заочному» проживанию жизни в литературе, у окна аудитории. На войне не был, а студент был. Казалось бы, уже одно это обстоятельство может лишить профессора морального права на поучение, подстегнуть к выставлению «льготного» балла, «троечки» за участие в войне. Однако и среди профессоров встречаются солдаты.

Взаимопонимание состоялось через оценку «плохо». В конце рассказа студент троекратно оглядывается в сторону профессора. В последний раз «студент оглянулся на окна института, и ему показалось, что в одном из них он увидел профессора. Профессор действительно стоял у окна...» Два человека поняли друг друга. А поводом послужило даже непрочитанное «Слово о полку Игореве», одно упоминание о нём в экзаменационном билете отсылает к полю человеческого единства, имеющему культуру.



Новинки — 2016



Издательство «ЭКСМО» отмечает, что имя Валентина РАСПУТИНА широко известно и в России, и за её пределами — его книги переведены на многие языки мира. В его творчестве нашла отражение острейшая проблема конца XX века: разрушение природы и нравственности под воздействием цивилизации. Писатель задаётся вопросами о смысле жизни, о соотношении нравственности и прогресса, о смерти и бессмертии. И о том, что делает человека человеком: о мужестве и достоинстве, о терпении и вере. В. Распутин создает образы русских женщин, носительниц нравственных ценностей народа, его философского мироощущения, развивающих и обогащающих образ сельской праведницы.

В повести «Прощание с Матёрой» с наибольшей полнотой воплотилась русская идея соборности, слиянности человека с миром, Вселенной, родом. В повести «Живи и помни» писатель рассказал неоднозначную историю солдата, которого все считают дезертиром, показав трагичность и крайнюю степень несовершенства военного времени.

Пронзительная искренность, трагизм и исповедальность прозы В. Распутина потрясают не одно поколение читателей.

Коллективный сборник стихов «Иркутский дворик», посвященный 355-летию города на Ангаре, вышел в свет в 2016 году. Его открывает стихотворение Ю. Подгорбунской, где есть такие строки:

*Вдаль все манят далекие страны,
Но попробуй оставить родной
Город утренний в дымке туманной
Над прекрасной рекой Ангарой...
Как стрела, пролегла плотина,
И видны с Глазковской горы
Поездов зеленые спины
Под крутым мостом Ангары.*



Людмила Сергеева опубликовала в книге «Песню о нашем городе», Галина Кустова — стихи «На пристани ангарского залива», Галина Ахметгалева — стихотворение «Вошли в иркутскую историю...», Вера Козарь — «Высокий берег Ангары». Свои произведения об Иркутске представили члены Иркутской областной общественной писательской организации Юрий Коньков и Владимир Седых. Всего в книге — стихи 15 авторов. Редактор издания — руководитель литературного клуба «Поэтический сад», член Союза писателей России Вера Козарь. Книга вышла в Иркутске тиражом 300 экземпляров.

По материалам Гуманитарного центра-библиотеки им. семьи Полевых



На презентацию в Гуманитарном центре-библиотеке им. семьи Полевых собрались несколько поколений иркутян — школьники, ветераны, труженики тыла и те, чьё детство опалила война. Они «пролистали страницы» изданной в Иркутской области книги «Дети войны».

«В создании этого уникального издания принимала участие вся Иркутская область — учащиеся школ и колледжей записывали воспоминания тех, чьё детство пришлось на военные годы, а потом писали сочинения на конкурс «Дети войны», объявленный министерством спорта, туризма и молодёжной политики при поддержке Иркутского отделения Союза пенсионеров России. Когда авторы лучших работ получили подарки, призы, дипломы, мы поняли — их сочинения не должны остаться просто сочинениями и лежать в архиве. Так пришла идея издания одноимённой книги «Дети войны», — рассказала управляющая отделением Пенсионного фонда РФ (ПФР) по Иркутской области Надежда Козлова.

Редактором-составителем книги является журналист, член областного совета женщин Ливия Каминская. Издание проиллюстрировано современными фотографиями и снимками военных лет.

«Сегодня в Иркутской области проживает 58 тысяч тружеников тыла, 280 тысяч земляков имеют статус детей войны. Эта книга — наказ детям, внукам, предупреждение о том, чего не должно повториться. Чтобы был мир в наших домах и чтобы вы это поняли», — сказала Н. Козлова, обращаясь к сидевшим в зале старшеклассникам.

Ведущая Н. Высоцкая зачитала несколько фрагментов текста книги: воспоминания Марии Владимировны Богдановой, жительницы Тайшетского района, и Анны Ильиничны Горбовской из посёлка Тыреть Заларинского района. Как умирали от голода братишки и сестрёнки, как приходили домой «похоронки», как быстро закончилось детство. Пронзительные строки воспоминаний, кадры документальной кинохроники, музыка, песни в исполнении М. Номоконова — «Журавли», «Тёмная ночь», «Снегири» — тронули и взрослых зрителей, и школьников.

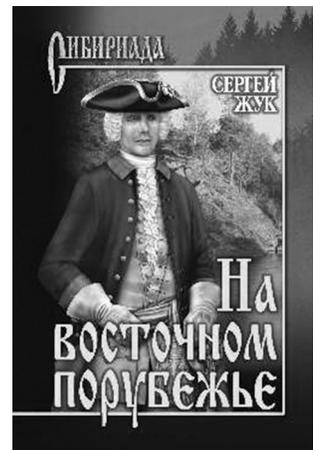
Очевидец далёких событий, оказавшаяся с родными в оккупации на Украине, Нина Захаровна Поднебесная рассказала о тяжёлых днях, выпавших на долю стариков, детей, женщин. Иркутянка Руфина Михайловна Иванова прочла собственные стихи, посвящённые тяжёлым дням немецкой оккупации её родной деревушки в Тульской области:

*...Хотели деды и отцы,
Чтоб внуки, правнуки, все мы
Не испытали той войны!
Почтим их память молча, стоя...*

ОКСАНА ЗАПОЛЬСКАЯ

заведующая редакционно-издательским центром
ГЦ-библиотеки им. семьи Полевых

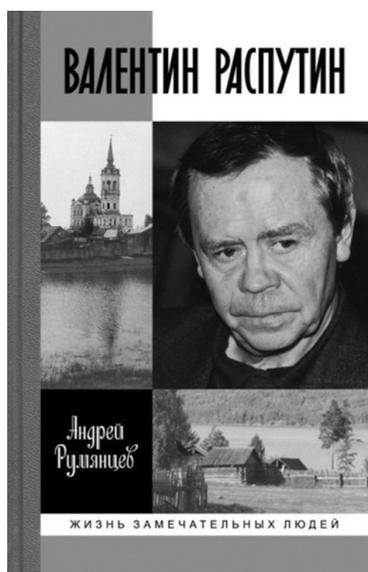
Освоение русскими Сибири, вопреки устоявшемуся мнению, далеко не всегда проходило мирно и безоблачно. В 1727 году по инициативе якутского казачьего головы Афанасия Шестакова Сенат Российской империи утвердил «мнение»: «Иноземцев и которые народы сысканы и прилегли к Сибирской стороне, а не под чьюю властью, тех под российское владение покорять и в ясачный платеж вводить». С этой целью на Чукотку отправилась экспедиция численностью в 400 солдат и казаков, опорной базой которой стал Анадырский острог. Во главе был поставлен Шестаков, а начальником военной команды определен капитан Тобольского драгунского полка Дмитрий Павлуцкий. Разделив свои силы на два отряда, они начали покорять Чукотку. И хотя Сенат постановлял аборигенов «уговаривать в подданство добровольно и ласкою», Шестаков и Павлуцкий отнюдь не ограничились одними переговорами...





Новый роман известного поэта и прозаика Ивана ПЕРЕВЕРЗИНА «На ленских берегах» можно назвать своеобразной «энциклопедией якутской жизни» предперестроечных лет. Но не только приметы ушедшей эпохи читатель откроет для себя в этом романе, главный его стержень — история любви красавицы Марии, будущего агрохимика, приехавшей в якутский край, и директора совхоза Анатолия Петровича... Как отмечает литературный критик Лев Аннинский, этот роман Ивана Переверзина «достоин войти в долгую память русской прозы. Независимо от того, останется он завершённым или получит продолжение, то есть станет частью многотомной эпопеи...».

1920-е годы. Забайкалье. Большая казачья станица Раздольная раскинулась в пойме Аргуни — реки-границы между новой, советской Россией и Китаем. Отгремели кровопролитные бои Гражданской войны, и чужой берег дал пристанище выбитым из Забайкалья остаткам отрядов атамана Семёнова. Но противники не успокоились. Белогвардейцы из-за реки то и дело налетают на станицы и прииски, грабят кооперативы, угоняют крестьянский скот, убивают активистов. Да и по эту сторону Аргуни тревожно. Советская власть умерила аппетиты кулачества, лишила его былой власти — кулаки притаились, притихли до поры до времени и ждут своего часа. В это непростое время в Раздольную вернулся Степан Бекетов — комсомолец, бывший красный партизан. И пришлось ему, вчерашнему бойцу Красной Армии, вновь вставать на защиту теперь уже мирной станичной жизни...



Валентин Распутин / Андрей Румянцев. — М. : Молодая гвардия, 2016. — 447 с. : ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1579).

Издательство «Молодая гвардия» отмечает, что проза Валентина РАСПУТИНА (1937–2015), начиная с первых его произведений — «Василий и Василиса», «Рудольфио», «Деньги для Марии», — пользуется неизменной любовью читателей. Знаменитые его рассказы и повести — «Уроки французского», «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др. — переведены на многие языки мира, экранизированы, поставлены на театральной сцене. Известный поэт Андрей Румянцев, знавший Валентина Распутина со времени их общей учёбы в Иркутском университете и сохранивший с ним дружеские отношения на всю жизнь, предпринял первую попытку полного его жизнеописания. Автор рассказывает о Валентине Распутине как художнике, публицисте (чьи выступления подчас звучат много смелее и злободневнее нынешних «манифестов»), общественном деятеле, повествует о его человеческой судьбе, используя личные письма, записи бесед, редкие архивные материалы и другие документы.



«Словарик» доброты и мудрости

Имя Юрия БАРАНОВА как детского писателя широко известно в Сибири. Он отмечен всероссийской литературной премией имени Ивана Ершова. Говорить с детьми доходчиво, убедительно и серьёзно о больших вопросах жизни — удивительное качество его прозы и поэзии. Детвора тянется к нему, чуя в нём «своего» человека. Через увлекательный сюжет рассказа или повести, через метафорические конструкции поэтического текста автор втягивает юных читателей в мыслительную деятельность, то есть его произведения помимо эстетического удовольствия доставляют нам вынесенные автором из своего жизненного опыта нравственные, духовные уроки — уроки доброты, уроки веры, уроки поиска истины, уроки любви к родному краю, уроки уважительного отношения к старшим и много других разнообразных душевно и умственно выверенных уроков встречаются на страницах его книг.

А потому писатель Юрий Баранов по большому счёту ещё и учитель. Это его качество по-особенному ярко засияло в новой его книге, недавно изданной в Иркутске («РЕКЛАМАГРАД») и названной и по-школьному правильно, и по-семейному ласково «Озорной словарь». Раньше в своих произведениях он «учительскую» часть своей души таил за «писательской», но, видимо, настал тот час икс для автора, когда необходимо ему выявиться своей подспудной, исподволь отточенной в годах и трудах литературных и житейских (свои дети, внуки!) гранью, которая теперь явила себя в этом интереснейшем произведении.

И «Словарик» его (заметили мы, показывая книгу в школах) интересен как детям, так и взрослым, особенно практикующим педагогам — учителям русского языка и литературы, учителям начальных классов, организаторам внеклассной работы.

Совершенно справедливо автор в начале рукописи обратился к своим юным читателям:

«Дорогие ребята! Я знаю, как трудно бывает на первых порах отличить синонимы от антонимов. А тут еще и какие-то омонимы. В помощь вам я и сочинил этот озорной словарь. Надеюсь, что, играя словами, вы научитесь различать и узнавать «в лицо» синонимы, антонимы и омонимы.»

Как сказал автор, так и выходит для специалиста (учителя), что словарь помогает ребятишкам разобраться во многих явлениях такой непростой нашей русской грамматики, при этом они, втянутые автором, а, соответственно, и учителем на уроках в учебно-познавательную деятельность, даже и не замечают, что осваивают грамматику. Это явление «лёгкости учения» довелось нам наблюдать на уроке учителя, который использовал тексты из книги Юрия Баранова в качестве иллюстративно-дидактического материала.

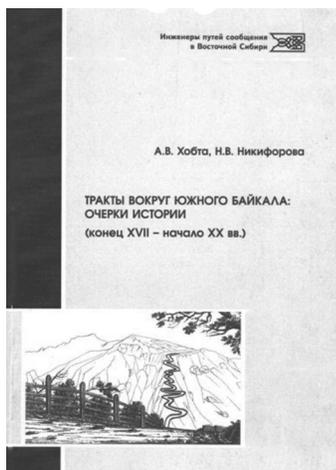
Ещё нужно упомянуть об одном важном, на наш взгляд, напутствии автора:

*Пусть запомнит ученик,
И мудрец, и озорник:
Слово радугой мерцает,
Одноцветным не бывает.
В слове смысл, и вкус, и цвет,
На любой вопрос ответ.*

Ей-богу, так и есть: и цветом наполнены стихи, и смыслом, и вкусом одарены они нашим талантливым автором! И если уж не «на любой вопрос ответ» содержит книга, то важнейшие темы бытия, взросления, освоения опыта тех, кто старше тебя, затронуты автором основательно, но и при этом деликатно, нередко как бы игриво.

Несомненно, что озорной словарь Юрия Баранова должен прийти в школы Приангарья.

АЛЕКСАНДР ДОНСКИХ



Исторический труд «Тракты вокруг Южного Байкала: очерки истории (конец XVII — начало XX вв.)», представленный авторами Александром Викторовичем ХОБТОЙ и Натальей Викторовной НИКИФОРОВОЙ, в издании Восточно-Сибирского центра научно-технической информации и библиотек (при ВСЖД — фил. ОАО «РЖД»), является оригинальным научным исследованием. Озеро Байкал и хребет Хамар-Дабан с давних времён были сложнейшим препятствием для сухопутного сообщения с восточными окраинами нашего государства. Не одно столетие люди пытались найти наиболее короткий и безопасный путь в обход громадной преграды — глубочайшего на планете озера Байкал через окружающий его с юго-востока хребет Хамар-Дабан. Путь приходилось прокладывать через горные кручи, затяжные спуски и подъёмы, у Байкала дорога проходила по самой кромке крутых берегов. До настоящего времени в исторической науке не было комплексного освещения данной проблемы – истории строительства трактов южного

Прибайкалья, истории малоизвестной и для современной общественности, но интересной и захватывающей, в какой-то мере полезной и даже поучительной.

Данная работа основана на значительном количестве хорошо изученных и тщательно проанализированных источников. Использованы самые первые описания, записки и труды величайших путешественников, открывателей Сибири, торговцев, купцов, государственных деятелей, казаков, военных, учёных разных областей знания и пр. (С.У. Ремезов, Н.Г. Спафарий, И.С. Сельский, Д. Белл, Г. Гесс, А.А. Ионин, П.С. Паллас, И.Е. Фишер, М.М. Геденштром, А.И. Мартос, И.И. Серебряников, О.И. Кашик, В.П. Паршин, А.П. Васильев, А.А. Мордвинов, А.П. Окладников и т. д.).

Воссоздана историческая картина рождения первых дорог (трактов) в обход озера Байкал, берущих начало с торговых троп конца XVII века. Авторы попытались собрать, обработать и обобщить редкие и ранее опубликованные документы о гужевых дорогах вокруг Байкала, добавить к известным историческим описаниям новые архивные данные, полученные в центральных и региональных фондохранилищах: Российский государственный исторический архив (РГИА); Отделы редких фондов Российской государственной библиотеки (РГБОР), Российской национальной библиотеки РНБ ОР), Научной библиотеки Иркутского государственного университета (НБ ИГУ); Государственный архив Иркутской области (ГАИО).

А.В. Хобтой и Н.В. Никифоровой проделана колоссальная работа по поиску и обработке архивных документов, позволившая дать более полное представление об истории трактов вокруг южной оконечности Байкала. В итоге получился внушительный и содержательный сборник исторических очерков, в котором последовательно освещены важнейшие аспекты и составляющие этой сложной проблемы: Заморский (Амурский, Забайкальский) тракт; первые проекты дорог вокруг Байкала; строительство Кругоморской дороги; заселение Хамар-Дабанского участка; впечатления о Кругоморской дороге; новые проекты; проект инженера Г.С. Батенькова; проект инженера А.А. Медведева; Игумновский тракт; проект инженера Н.И. Богданова; работа инженера Я.Н. Латраверса; тракт по берегу Байкала и инженер И.И. Шац; восстание польских ссыльных; кругобайкальские мосты; ремонт тракта; проект нового направления тракта на участке Иркутск — Моты; Купеческий тракт; Тункинский тракт; населённые пункты Заморского тракта; населённые пункты Кругобайкальского тракта; населённые пункты Тункинского тракта.

Как видим, только одно перечисление очерков говорит о многом, само же их содержание раскрывает новые, любопытные страницы истории прибайкальских трактов с малоизвестными фактами. К примеру, описания населённых пунктов изобилуют: статистическими данными о составе и количестве населения в разные годы; сведениями о промыслах и занятиях людей; специфическими особенностями устройства, условий проживания и хозяйствования на бывших почтовых станциях, сторожевых постах и пограничных караулах; важными историческими вехами и достопримечательностями селений и окрестностей вдоль трактов.

Текст органично дополняется воспоминаниями и впечатлениями очевидцев событий. Широкому кругу читателей будет интересно узнать, как прокладывались торговые пути сообщения через труднодоступные перевалы и горные долины и что причинами создания дорог были не только экономические предпосылки, но и политические интересы государства, в частности, это относится к Кругоморской дороге, связывавшей столицу Восточной Сибири Иркутск с Кяхтой, пограничным пунктом с Китаем. Дорога эта была труднейшей и довольно утомительной, а во время распутицы совершенно непролазной. Необходимость же совершенствования этого пути влияла на торговые от-

ношения с Китаем, получившие развитие с подписанием Буринского договора в 1727 г. Так, Сибирский генерал-губернатор И.Б. Пестель в 1807 г. предъявил иркутскому гражданскому губернатору Н.И. Трескину претензии, что дорога не соответствует предназначенной цели, после чего начали предприниматься «усилия» к её ремонту, а также и поискам новых путей...

Авторами подробно освещаются многочисленные проекты инженеров путей сообщения Г.С. Батенькова, А.А. Медведева, Н.И. Богданова, купца Н.М. Игумнова, инженера-майора Я.Н. Латраверса, офицера Корпуса инженеров путей сообщения И.И. Шаца по устройству новой Кругооморской (Кругобайкальской) дороги.

Примечательно, что в этом издании впервые показана ведущая роль инженеров путей сообщения при строительстве первых гужевых дорог в районе южной оконечности озера Байкал. Следует также заметить, что территория южного Прибайкалья стала одним из первых полигонов, куда направляли из столицы выпускников Петербургского Корпуса инженеров путей сообщения для решения важной государственной задачи — соединить столицу Восточной Сибири с российскими окраинами на востоке страны.

История Кругобайкальского тракта овеяна, в том числе, и несчётными драматическими событиями. Наиболее известным стало восстание польских ссыльных на строительстве дороги летом 1866 г. Авторы постарались дать предельно объективную картину этой трагической страницы истории тракта, опираясь на разные авторитетные источники: публикации Н.В. Берга в «Историческом вестнике» 1883 г., П.А. Кропоткина, Д.И. Дыбовского, С.Ф. Коваль, материалы научных сборников.

Книга А.В. Хобты и Н.В. Никифоровой объёмом в 336 страниц, помимо основной описательной части, снабжённой подробными комментариями и сносками названий источников, включает в себя содержание, введение, заключение, список использованной литературы, иллюстративный материал с планом и картой кругобайкальских трактов (2), чертежами и схемами проектов дорог (3), фотографиями (17), гравюрами (2) и рисунками (2).

Это историческое издание, построенное на обширной базе опубликованных источников и архивных документов, является на данный момент наиболее полным, достоверным и ценным с научной точки зрения. Научная новизна его состоит в большом количестве фактографического материала и вводе новых достоверных данных, ранее никем и никогда не публиковавшихся. При соответствующей доработке (редактировании текста) этот труд, несомненно, требует переиздания, желательно даже в альбомном формате, хорошо иллюстрированном и увеличенном тиражом. При возрастающем в настоящее время интересе в стране и мире к проблемам Байкала, экологии, туризму, походам и путешествиям по южному Прибайкалью, к истории этих уникальнейших на земле мест — такое издание просто необходимо! Оно должно быть в каждой библиотеке, во всех учебных заведениях, в свободной продаже и, несомненно, будет востребовано не только историками и краеведами, но и всей широкой публикой, интересующейся нашим краем, его первопроходцами, путешественниками, историей первых путей сообщения в России.

*Т.Н. ГОРДИЕНКО,
кандидат исторических наук, инженер путей сообщения,
председатель историко-краеведческого клуба «Пути сообщения Сибири»
Гуманитарного центра-библиотеки им. семьи Полевых*



В городе Зиме — на родине поэта — прошла презентация книги Виталия КОМИНА и Валерия ПРИЩЕПЫ «По ступеням лет. Хроника жизни и творчества Е.А. Евтушенко».

Как отмечают авторы, это вторая и не последняя книга из серии, задуманной в нескольких томах. Как и в первой книге, в ней по годам, месяцам, а в некоторых случаях даже по часам, отслежены события литературной, общественной и личной жизни поэта. Большое место в хронике занимают сибирские события в жизни и творчестве поэта на протяжении 1963–1965 годов, например, первый приезд поэта в Братск в августе 1963 года или чтение рукописи глав поэмы «Братская ГЭС» на встрече с братчанами в клубе интересных встреч «Глобус» в мае 1964 года.

— Это книга о том, как нелегко и небыстро поэма Евтушенко впервые попала на страницы журнала «Юность», — поясняет профессор Хакасского университета, доктор филологических наук

Валерий Прищеп. — Во второй книге мы рассказали о первых поездках и выступлениях Е.А. Евтушенко во Франции, Италии, ФРГ, ГДР и других странах. Особое внимание уделили появлению в еженедельнике «Экспресс» в 1963 году большой статьи Евтушенко «Преждевременная автобиография», которая после перевода с французского звучала как «автобиография рано созревшего человека», а в дальнейшем просто «автобиография Евтушенко». Она вызвала всплеск негативного отношения к поэту, резкую критику его «поступка» со стороны партийных и комсомольских чиновников, но отнюдь не рядовых читателей, которые настаивали на присуждение автору поэмы «Братская ГЭС» Ленинской премии. Этого не случилось. Но поэма и сегодня читается как художественно-публицистический документ истории строительства энергетического гиганта на Ангаре.

Виталия Комина и Валерия Прищепу называют писателями-евтушенковедами. За 20 лет совместной работы они написали и издали уже 6 книг — «Он пришел в 21 век», «Зима — столица Евгения Евтушенко», «По ступеням лет. Книга 1».

Как подчеркнул журналист и филолог, однокурсник Александра Вампилова Виталий Комин, жизнь и творчество поэта, которого всё чаще называют великим, продолжается. 18 июля Е.А. Евтушенко исполнилось 84 года. Следующий год для него — юбилейный. И работа над третьей книгой уже началась.

Авторы заверили зиминцев, что следующий том книги выйдет к юбилею Е.А. Евтушенко. Сейчас они отправляются в поездку по городам Иркутской области, чтобы провести новые встречи с читателями своих книг.

Новая книга прозаика и главного редактора сайта «МОЛОКО» Лидии СЫЧЁВОЙ «Дорога поэта», вышедшая в московском издательстве «Университет», посвящена жизни и творчеству выдающегося русского поэта Валентина Сорокина (род. в 1936 г.). Автор затрагивает широкий круг мировоззренческих и культурологических вопросов, размышляет о феномене «русской античности», о природе художественного образа и месте героического начала в современной культуре. Книга написана в жанре «литературного путешествия».

Валентин Сорокин, когда работал главным редактором издательства «Современник» и директором Литературного института им. М. Горького, много сделал для развития сибирской литературы, помогал молодым иркутским дарованиям найти свою дорогу в творчестве и жизни.



Книга о жизни и творчестве



жизни в рассказах «Загон», «Снег, уходящий вверх...» и «Рекорд в подарок».

В новую книгу известного сибирского прозаика Владимира МАКСИМОВА вошли повести и рассказы разных лет. Но все вместе они создают удивительную и своеобразную картину жизни Восточной Сибири, так похожую и непохожую на жизнь Европейской России... Здесь и романтика юности, жажда познания мира и самих себя, охватившие героев повести «Мы никогда уже не будем молодыми» — сотрудников Иркутского лимнологического института, отправившихся в свою первую настоящую экспедицию на Байкал. И спокойное, умиротворённое погружение в воспоминания в кругу старых друзей, нежданно выбравшихся вместе на несколько дней отдохнуть вдали от городской суеты на старой биостанции со смешным названием Верхние Коты — в повести «Пристань души». Это и три дня поминовения — три дня почти языческой тризны по безвременному ушедшему близкому другу, оставившие неизгладимый след в душе главного героя повести «Два букетика синих ромашек». И наконец, прекрасные, яркие и пронзительные сцены-зарисовки сибирской

По материалам библиотек, издательств и книжных магазинов

Живая история Сибири



ИРИНА ТЕРНОВАЯ

ИСТОРИК, г. ИРКУТСК

Магазины Иркутска

1960–1980-е годы

В запечатлённой в документах истории города Иркутска тема магазинов является практически «белым пятном», и автор считает важным заполнить этот вакуум материалами, собранными в ходе сравнительного анализа «Иркутской летописи» Ю.П. Колмакова с собственными воспоминаниями, а также воспоминаниями горожан, в том числе членов клуба «Встреча».

Магазины центральной части Иркутска периода шестидесятых–восьмидесятых годов прошлого века подразделялись на продовольственные, гастрономы и промтоварные. В свою очередь, промтоварные специализировались на продаже товаров одного типа и имели собственные названия, данные им либо при открытии, либо в обиходе самими покупателями. В их числе продовольственный магазин «Колокольчик» на углу улиц Халтурина и Декабрьских Событий, расположенный на первом этаже старинного двухэтажного деревянного здания. Вход был с угла, на втором этаже дома размещались квартиры. Здесь можно было купить хлеб, крупы, муку, конфеты. Образцы товаров стояли на полках за спиной продавца. На прилавке громоздились весы «Уточка», выкрашенные синей краской с отполированными от длительного пользования чашечками весов. Здесь работал один продавец, который принимал у покупателей деньги «из рук в руки», развешивал и «отпускал» товар». В 1960-е годы, когда в Иркутске был дефицит с хлебом, в этот магазин выстраивалась многометровая очередь, тянувшаяся вдоль улицы Халтурина.

На углу улицы К. Маркса и Каландаришвили находилась булочная (ул. К. Маркса, 41). Это был небольшой магазинчик. С левой стороны от входа находились стеллажи, куда продавцы выкладывали хлеб: отдельно «сеенку» — пшеничный хлеб второго сорта, ржаной, сайки, крендели. «Сеенка» стоила восемнадцать копеек, ржаной — шестнадцать, сайка — семь. Возле каждого стеллажа, привязанная бечевкой, висела двурогая вилка на длинной ручке, которой можно было проверить хлеб на свежесть. В центре стояла касса. А справа от входа находился прилавок с конфетами. Булочная эта появилась после закрытия своей предшественницы, находившейся несколько дальше — на углу с улицей Чехова. Она открылась 20-го января 1960-го года.

Обратимся к «Иркутской летописи» Ю.П. Колмакова: *«На ул. К. Маркса, угол ул. Чехова, открылся магазин-автомат по продаже хлеба и хлебобулочных изделий. В торговом зале установлены десять автоматов, которые могут одновременно отпускать хлебные изделия десяти наименований. Чтобы приобрести покупателю продукты, нужно было отстоять очередь в кассу. Кассирша пробивала на выбранные товары чек. С ним человек отстаивал уже вторую очередь — к продавцу. Очереди бывали зачастую солидными, поэтому покупка продуктов занимала довольно много времени.»*

На противоположной стороне ул. Чехова находился магазин «Молочный» (ул. К. Маркса, 30). Главной его достопримечательностью была механическая кукла. В одной руке она держала бутылочку с «молоком», в другой — чашечку. Когда куклу заводили, она наклоняла вначале бутылочку к чашке, а затем чашку подносила ко рту. В этом магазине продавали молоко в стеклянной таре, обычно в литровых бутылках, кефир — в пол-литровых ёмкостях, в таких же бутылках — сливки, сметану — в двухсотграммовых баночках. Все баночки и бутылки запечатывались разноцветными крышечками из фольги, чтобы не было путаницы: молоко — серебристыми, сливки — жёлтыми, кефир — зелёными, сметана — белыми, ряженка — зелёными в полоску. Литр молока стоил сорок восемь копеек, кефир — двадцать восемь, сметана — тридцать, сливки — пятьдесят. Прежде чем подойти к прилавку, где продавщицы выдавали выбранные покупателем продукты, нужно было отстоять очередь в кассу. Кассирша пробивала на выбранные товары чек. С ним человек отстаивал уже вторую очередь — к продавцу. Очереди бывали зачастую солидными, поэтому покупка продуктов занимала довольно много времени.

Порожние бутылки от «молочки» не выбрасывали, а, тщательно промыв, несли сдавать в магазин. Стоимость бутылки вычиталась из суммы покупок той же самой молочной продукции. Литровая бутылка стоила двадцать копеек, полулитровая — пятнадцать, а баночка из-под сметаны — десять. И государству, и гражданам это было выгодно. Позже молоко и сливки стали продавать в треугольных картонных пакетах. В «Иркутской летописи» Ю.П. Колмакова есть запись: «10 июня (1971 г.) стали продавать молоко в оригинальной упаковке — бумажных пакетах...» Пакеты постоянно рвались, поэтому на полу в магазине зачастую образовывались лужи молока.

В молочных магазинах продавалось и сливочное масло. Было оно четырёх сортов: самое дорогое — «вологодское» — три рубля восемьдесят копеек за килограмм, за ним шло «несоленое» — за три шестьдесят, более дешёвое — «солёное» — за три десять и «шоколадное» — три сорок за килограмм. Масло продавали на развес и фасованное в пергаментной упаковке по двести граммов за семьдесят две копейки.

Самым вожделенным детским лакомством была «сгущёнка» в цилиндрических металлических баночках. Она стоила пятьдесят пять копеек. «Сгущёнку» можно было есть сразу, открыв банку, а можно было варить её несколько часов, тогда она приобретала коричневый цвет. Варить «сгущёнку» было небезопасно: при выкипании воды банка могла взорваться и окропить раскалёнными сгустками молока не только стены и потолок кухни, но и самих хозяев.

Ещё один продукт в «Молочном» вызывал у покупателей радость — «сырковая масса». Она продавалась на развес и лежала в блестящих продолговатых металлических лотках. В «Летописи» Ю.П. Колмакова имеется следующая запись: «1963 год. 24 сентября. На смотре качества цельномолочной продукции в здании Иркутского молочного комбината последний представил новые виды продукции: ацидофильную пасту, сметану десертную с шоколадом, напиток «Южный» из цельного молока, сырковую массу «Московскую» с повышенным содержанием сыра, сырковую массу «Особую», массу сырковую с томатом и перцем, сырки детские, торты творожные...» В октябре 1966 года на прилавках молочных магазинов появился новый белковый продукт — «Йогурт». По данным «Летописи» Ю.П. Колмакова в 1960-е годы Горькомкомбинат не испытывал недостатка в сыре: «1967 год. 22 января. Иркутский городской молочный комбинат ежедневно получает из колхозов и совхозов Эхирит-Булагатского, Иркутского, Черемховского, Боханского и Усольского районов 112–113 т молока...»

На улице К. Маркса был ещё один молочный магазин, неподалеку от «Гастронома № 1», но на противоположной стороне (ул. К. Маркса, 24). Его особенностью был прилавок, за которым готовили молочный коктейль, стоивший десять копеек. Мороженое, обычно «Молочное», закладывали в высокий металлический стакан, смешивали с молоком и сладким сиропом, затем минуту или две взбивали. Напиток разливали в гранёные стаканы, над которыми пузырилась аппетитная молочная пенка. Очереди за ним были постоянным явлением.

Коктейли были не только молочные. В апреле 1988 года в магазины города поступила первая партия бутылок с лекарственным коктейлем «Травы луговые», в которые входили сорок шесть целебных растений. Производством таких коктейлей занималось Иркутское экспериментальное предприятие пищевой промышленности. В 1988 году это предприятие выпустило ещё ряд напитков: «Лимонный», «Апельсиновый», «Мандариновый», «Фруктовый».

Практически в каждом иркутском продовольственном магазине был отдел «Соки-воды». В них обычно на стойке находились закреплённые на металлических кронштейнах стеклянные конусообразные ёмкости, сужающиеся книзу, в которые из трёхлитровых банок заливали фруктовые соки (обычно яблочный, абрикосовый, персиковый, виноградный). Самым дорогим считался виноградный сок — двадцать восемь копеек за стакан, самым дешёвым — томатный. На стойке стоял гранёный стакан с солью и ложечкой. Сок без соли стоил десять копеек, а с солью — одиннадцать. Ложкой не только насыпали соль, но и размешивали сок, и она была вечно влажной и облепленной кристалликами соли.

Газированная вода, или, как её называли, «газировка», продавалась в магазинах и на улицах, как в бутылках, так и на розлив. Тележки с этим напитком стояли на улице К. Маркса. На тележке была установлена мойка. Продавщица поворачивала рычажок и ловко промывала под струей воды гранёные стаканы. Помимо мойки, на тележке были установлены колбы с разноцветным сиропом, обычно вишнёвым или грушевым. Стакан простой газировки стоил копейку, с сиропом — три. Некоторым покупателям не хватало сладости, и они заказывали себе газировку с двойным сиропом. Продавщица отмеряла порцию сиропа, а затем разбавляла его газированной водой, создававшей обильную пену. Позже на улицах города появились автоматы с газированной водой. Те же цены, но монетки нужно было бросать в специальные прорези, затем нажимать кнопку возле надписи с указанием необходимого сиропа. Стакан нужно было мыть самому, установив его в моечное отверстие и нажимая на доньшко.

На улице К. Маркса находилось два овощных магазина. Один — на первом этаже здания на углу ул. Пролетарской и К. Маркса, где позже размещался магазин «Сапожок» (ул. К. Маркса, 31),

и второй — на противоположной стороне, рядом с молочным магазином, между улицами Грязнова и Киевской (К. Маркса, 24). Там в основном продавались овощи — картофель, капуста, морковь, свёкла, солёные бочковые огурцы — всё не самого лучшего качества, зачастую с землёй, поэтому запах здесь стоял довольно тяжёлый и сырой. Яблоки и бананы «выбрасывали» редко. Апельсины и мандарины — к Новому году. В этот период в овощных магазинах пирамидами на полках стояли металлические банки с ананасовым компотом и маринованными китайскими огурцами. Сами огурцы были длинными, их разрезали на несколько частей и мариновали с большим количеством специй. Они ничуть не уступали болгарскому «Глобусу».

Продукция болгарского «Глобуса» — редкий гость на иркутских прилавках этого времени. Но практически в каждом холодильнике к празднику были припрятаны баночки с зелёным горошком, семисотграммовые банки с маринованными огурчиками и такие же банки с помидорами в собственном соку...

Был на этой улице и мясной магазин (ул. Сухэ-Батора, 18, вход со стороны ул. К. Маркса). Над входом была вывеска с изображением быка. Магазин этот был достаточно просторным и состоял из нескольких отделов, каждый из которых торговал своим ассортиментом: колбасой, птицей, иными товарами мясной промышленности. Выбор мясных продуктов в это время был небольшим. Хотя, как вспоминают старожилы, в 1960-е годы здесь гроздьями висели всевозможные копчёные колбасы.

В центре зала были две кассы, стоявших одна напротив другой, так что кассирши сидели спиной друг к другу. В отделе справа от входа продавали варёную колбасу. Самой популярной и доступной была колбаса по два двадцать, реже здесь продавали её более вкусный вариант — «Докторскую» по два тридцать за килограмм.

Анекдот советской эпохи: приходит на исповедь к священнику бабушка и кается, что нарушила пост — ела колбасу.

— А сколько стоила колбаса? — спрашивает батюшка.

— Два двадцать, — отвечает старушка.

— Это не грех — в той колбасе мяса нет...

Здесь же продавали «мясной хлеб» — прессованный мясной продукт в виде буханки хлеба, из недорогих продуктов лежали зельц и ливерная колбаса. По этой же стороне зала, но чуть далее, продавали копчёные колбасы. Затем шли прилавки с окороками и бужениной, а также мясными кубиками в плоских продолговатых металлических баночках. По левой стороне от входа продавали мясо, печень и субпродукты. Здесь же можно было купить и тушки птицы. Но всё это изобилие было характерно для 1960–70-х годов, в 80-е годы стало намного хуже, а в начале 1990-х оно и вовсе закончилось.

Главным магазином на К. Маркса был, конечно же, «Гастроном № 1» (ул. К. Маркса, 21)¹. Здесь был большой выбор продовольственных товаров. В кондитерском отделе продавались конфеты «Кавказские» без обёртки — шоколадные, с тёмной начинкой, «Школьные» — помадки, «Мотылёк» — трёхслойная помадка — верхний и нижний слой были с добавлением какао-порошка, а средний — белого цвета, «Подушечки» — квадратные конфетки с повидлом внутри, их называли в народе «Дунькина радость», «Крыжовник» — мягкая леденцовая карамель, а также орехово-соевые конфеты — те же подушечки, но удлинённой формы. Все эти конфеты были доступны для любого кошелька. А вот дорогие конфеты, типа «Мишка косолапый», «Мишка на Севере», «Красная Шапочка» продавали по шесть рублей за килограмм. «Белочку», «Кара-Кум», «Красный мак» продавали от трёх до пяти рублей за килограмм — большие по тем временам деньги, поэтому ели их только по большим праздникам. В 1970 году в Иркутске появились новые конфеты Иркутской бисквитной фабрики — «Птичье молоко», «Бутылочки», «Эстрадные», всего полсотни наименований. В 1972 году на этой фабрике стали выпускать шоколадные батончики, конфеты «Мишка косолапый», «Красная Москва».

В этом магазине можно было купить спиртные напитки, а также газированные — «Буратино», «Колокольчик», «Ситро», «Саяны»², соки в банках и на разлив, кондитерские изделия — пирожные и торты. Вспоминается торт «Сказка», выполненный в виде полена, облитого шоколадным кремом и украшенного кремовыми разноцветными цветочками поверху, и торт «Полёт» из взбитых белков и арахиса. Большой популярностью пользовался новый продукт — торт «Птичье молоко». За ним выстраивались огромные очереди. Здесь же продавали хлебобулочные изделия, чай «со слоном», очень редко кофе — индийский в круглых металлических банках, цикорий, какао-порошок. Причём какао и кофе можно было купить кубиками в металлических баночках. Иркутская детвора обожала этот «деликатес» так же, как брикеты фруктово-ягодного киселя и фруктового чая. Все это можно было грызть, получая колоссальное удовольствие. В 1972 году в иркутских гастрономах появилась

¹Открылся после капитального ремонта 22 июня 1960 г.

²«Саяны» — тонизирующий напиток был выпущен Иркутским пивоваренным заводом в феврале 1960 года. В рецептуру напитка входил экстракт лезеи.

новинка: Иркутская чаеразвесочная фабрика выпустила разовую двухграммовую заварку в специальном пакете.

Помимо «Гастронома № 1», на улице К. Маркса находилось ещё несколько магазинов с одноимённым названием. Первый находился практически в конце улицы, в здании № 37. Здесь было несколько отделов, в каждом из которых обслуживал отдельный продавец. В 1986 году магазин был переименован в «Ниву» и стал фирменным магазином Иркутского хлебокомбината. При нём был открыт небольшой кафетерий, где можно было съесть выпечку с чашкой чая или кофе. По одной линии с кинотеатром «Художественный», но через дорогу, находился ещё один гастроном (ул. К. Маркса, 22). Он был узким и длинным. Здесь продавали не только обычный гастрономический ассортимент, но и сырое мясо, туши висели на здоровенных крюках, вбитых в стену, выложенную белым кафелем. Когда пришло время дефицита, мясо исчезло, а крюки ещё долго торчали из стены напоминанием о былом изобилии. Вскоре они исчезли вместе с кафелем, и на месте мясного отдела появился вино-водочный.

Был на улице К. Маркса ещё один «вкусный» магазин — «Кулинария», возле кафе «Снежинка» (ул. Литвинова, 2). Здесь торговали тестом, полуфабрикатами, выпечкой, салатами и винегретами, «заливным» из курицы, рыбы, печёночными паштетами. В дальнем от входа отделе, где продавали выпечку и торты, стояли два или три столика с мраморными столешницами на высокой стойке. За ними можно было перекусить купленным здесь же «языком» или пирожным и запить стаканом кофе или газировки.

На углу улиц Сухэ-Батора (ул. Сухэ-Батора, 13) и Горького располагался магазин «Рыба», или в простонародье — «Рыбий глаз». Особенностью этого магазина были аквариумы с рыбками. Старожилы Иркутска помнят, что в 1960-е годы здесь можно было купить омуля, красную икру, которая стояла здесь в бочках, а также крабовые консервы «АКО».

В семидесятые годы ассортимент значительно оскудел. Самым популярным рыбным продуктом был хек серебристый, иногда завозили камбалу или рыбу с романтическим названием «простилома». Была ещё сельдь тихоокеанская, иваси в банках, мойва и солёная килька на развес.

23 марта 1976 года состоялось торжественное открытие фирменного магазина по реализации морепродуктов «Океан» на ул. Свердлова, 15. Магазин работал по принципу супермаркета. В продаже на день открытия имелась даже живая рыба. Иногда покупатели «по случаю» могли здесь приобрести омуль «по два килограмма в руки». Но «случаи» были редкими.

С 26 октября 1976 года в Иркутске на предприятиях общественного питания был введён так называемый «рыбный день» — четверг. На изготовление блюд шли минтай, хек, сабля, мойва. В 1980 году, видимо, от безрыбья, магазин «Рыба» переименовали в «Дары природы»³ и стали торговать орехами, ягодой, яйцами, курами и консервами. Такой же магазин под названием «Дары природы» открылся в январе 1988 года на улице Декабрьских Событий.

Хотя Иркутск находится недалеко от Байкала, об омуле в магазинах только мечтали. Омуль в 1960 годы продавали на иркутском рынке. Причём омуль был свежего посола или с «душком». Запах от последних шёл страшный, но он-то и привлекал истинных ценителей этого деликатеса.

Согласно данным Росстата среднемесячная зарплата в СССР в 1970 году составляла 122 рубля, в 1975-м — 145,8 руб., в 1980-м — 168,9 руб., 1985-м — 190,1 руб.

В указанные годы автор этой статьи работала в Иркутском областном краеведческом музее научным сотрудником. В 1976 году её заработная плата составляла 83 рубля, затем постепенно росла: 96, 132, 154 и, наконец, 182 рубля к концу 1980-х годов. Особенно не разгуляешься, но и голодать не приходилось. К примеру, билет на самолёт от Иркутска до Москвы в 1970-е годы можно было купить за 72 рубля, комплексный обед в ресторане стоил рубль. На него также можно было купить буханку хлеба, пакет молока, 300 граммов варёной колбасы...

Восьмидесятые годы ознаменовались ухудшением обеспечения иркутян продовольствием. Была даже введена талонная система: в целях улучшения обслуживания населения и упорядочения торговли сахаром исполком горсовета решил с 1 июня 1988 года продавать сахар по талонам — по килограмму в руки. Сахар продавали в семидесяти пяти торговых точках, в том числе в Кировском районе — в восьми, в Октябрьском — в двадцати, в Куйбышевском и Ленинском — в четырнадцать и в Свердловском — в девятнадцати магазинах.

Осенью этого же года изменился порядок продажи мясopодуlктов. Были введены два талона с учётом ассортимента. На один талон магазин предлагал на выбор: супнабор, котлеты или фарш, пельмени, курицу, мясные консервы или мясо — один килограмм. На другой талон можно было приобрести на выбор — полкило колбасных изделий или копчёностей, в переводе на мясо — шестьсот тридцать граммов. В 1989 году один мясной талон убрали. Теперь мясopодуlкты отпускались только на один талон из расчёта один килограмм раз в месяц в одни руки. Правда, не подверглось

³Это произошло 3 апреля 1980 г.

«урезанию» мясо птицы. В это время в свободной продаже появилось большое количество уток, что длилось недолго: 1 октября 1990 года, в связи с отменой союзной дотации на четвёртый квартал, фонд на мясопродукты в области сократился на восемнадцать процентов. В связи с этим мясо птицы стало продаваться только по талонам.

В октябре 1988 года, в целях «упорядочения торговли винно-водочными изделиями», исполком горсовета принял решение об отпуске в одни руки по две бутылки спиртного (бутылка водки и бутылка крепёного вина по пол-литра). Для проведения гражданских обрядов — свадеб, похорон — можно было приобрести по двадцать бутылок водки и столько же вина. Для этой цели в каждом районе были специальные магазины.

1988 год ознаменовался передачей магазинов в аренду. Коллективные арендаторы получили право устанавливать прямые связи с поставщиками и работать по договорным ценам.

В 1989 году вновь были изменены нормы отпуска продуктов. Сахар по талонам выдавали по два килограмма в руки, водку — бутылку на человека. В июле исполкомом горсовета были установлены нормы отпуска моющих средств на одного человека на квартал: мыла хозяйственного двести семьдесят граммов (один кусок), мыла туалетного — не более семисот пятидесятиграммов (три куса), стирального порошка — семисот двадцать граммов (одна пачка).

16 октября были утверждены дополнительные нормы отпуска мясопродуктов инвалидам, участникам войны, вдовам репрессированных, инвалидов и участников войны, не вступившим в повторный брак, — четыре килограмма (в перерасчёте на мясо).

В 1990 году, для ликвидации спекуляции алкоголем, исполком горсовета принял решение открыть с 14 июля специализированные магазины для реализации высококачественных спиртных напитков по двойной цене. Безусловно, такая мера привела к недовольству горожан, которые не могли «отovarить» свои талоны на спиртное, в то время как те же напитки можно было легко приобрести в коммерческих магазинах. В итоге, 17 ноября 1990 года коммерческая торговля алкоголем была прекращена. Продажа винно-водочных изделий стала производиться по спискам.

Спекуляция талонами потеряла смысл, исчезли подделки. Спиртное стали завозить в магазины лишь на определённое количество талонов, причём покупатель должен был предъявить продавцу паспорт с пропиской. В этот же период в городе ощущалась нехватка табачных изделий. На улицах и барахолке пачка сигарет продавалась от трёх до шести рублей. В октябре 1990 года Иркутск получил два вагона табачных изделий (семьсот девяносто три тысячи пачек). Из них сигарет «БТ» по восемьдесят копеек — двести десять тысяч пачек, «Стюардесса» по пятьдесят копеек — двести семнадцать тысяч, «Селенга» — триста шестьдесят шесть тысяч пачек. В розничную продажу поступило двести сорок тысяч пачек, такое же количество передано райисполкомам для продажи на предприятиях, часть ушла в резерв.

Продуктов в городе явно не хватало. 19 декабря 1990 года последовало решение исполкома горсовета «Об улучшении торгового обслуживания жителей г. Иркутска», с начала 1991 года вводилось нормированное распределение по талонам основных видов продовольственных товаров, в том числе на январь: мясопродуктов (в перерасчете на мясо) — один килограмм; яиц — пятнадцать штук; крупы — полкилограмма, столько же макаронных изделий; килограмм муки; полкило кондитерских изделий; килограмм сахара; триста граммов животного масла, полкило растительного масла, столько же маргарина продовольственного. Обслуживание талона на мясопродукты осуществлялось по районам на основании единого талона по городу. 24 декабря 1990 года городской совет поручил исполкому организовать специальные продовольственные магазины для обслуживания участников Великой Отечественной войны, инвалидов первой и второй групп, инвалидов детства, одиноких престарелых граждан. Одним из таких был магазин «Океан» со специальной выделенной секцией в небольшом закрытом помещении. За желаемыми продуктами нужно было выстоять очередь через весь магазин. На спецталон приходилось восемьсот грамм сырой колбасы и четыреста грамм копченостей.

22 января 1991 года был опубликован Указ Президента СССР М.С. Горбачёва о прекращении оборота денежных знаков Госбанка СССР достоинством пятьдесят и сто рублей образца 1961 года. Началась денежная реформа и первый этап либерализации цен, которые резко подскочили. Альтернативой пустеющим прилавкам магазинов стал рынок. Но цены там явно «кусались»: в феврале 1991 года килограмм говядины стоил десять рублей, свинина — восемь-двенадцать; картошка — два с половиной рубля за килограмм; капуста свежая — три рубля, лук — четыре с половиной, яблоки — от четырёх с половиной до десяти; чеснок — двенадцать рублей. Уже в сентябре цены значительно выросли: за килограмм говядины и свинины просили восемнадцать рублей, помидоры стоили от десяти до восемнадцати, огурцы — восемь, лук — шесть, морковь — четыре, яблоки — от восьми до пятнадцати, груши — пятнадцать-двадцать, виноград — двенадцать-пятнадцать рублей. Ведро брусники обходилось в двести семьдесят — двести восемьдесят рублей за ведро.

На иркутских рынках — Центральном и Свердловском — можно было купить и товары повышенного спроса. На начало марта 1991 года носки фабричные здесь продавали по двадцать пять

рублей за пару; шампунь — за пять рублей, крем косметический — за пятнадцать рублей, бритвенные лезвия — четыре с половиной, колготки — за пятнадцать, блок сигарет — за пять рублей, детская импортная обувь (не кожаная) предлагалась за пятьдесят рублей, туфли женские — за пятьсот-шестьсот рублей, сапоги женские — от пятисот до полутора тысяч рублей, покрывало импортное — от двух до трёх тысяч рублей.

Денег у населения явно не хватало. В связи с этим 1 октября 1991 года Ю.А. Ножиков — глава областной администрации, подписал постановление о повышении наполовину должностных окладов и ставок заработной платы работникам учреждений народного образования, культуры, здравоохранения и социального обеспечения, финансируемых из областного бюджета. Это повышение получило в истории Иркутска название «ножиковские надбавки».

31 октября в иркутских магазинах началась паника. Покупатели разбирали с прилавков всё, что можно было купить, не глядя на цену: по городу ходили слухи о том, что в Госбанк пришёл секретный пакет о повышении с 1 ноября цен на продовольственные и промышленные товары. Цены действительно выросли. На иркутском рынке за килограмм говядины нужно было отдать уже тридцать пять рублей, за свинину — тридцать девять, картофеля и капусты — четыре, моркови — пять, сливок — тридцать, сметаны — тридцать шесть, лука — девять, яблок — от двенадцати до двадцати пяти, меда — семьдесят рублей. Литр молока стоил пять рублей, табак — два рубля за стакан...

Серию магазинов промышленных товаров на улице К. Маркса открывал магазин на углу улицы Бабушкина (ул. К. Маркса, 32). Он находился на первом этаже многоквартирного дома. Вход в него был с угла улицы Бабушкина. Магазин считался «ведомственным», то есть находился в зоне ответственности Иркутского завода тяжёлого машиностроения им. В.В. Куйбышева. Ассортимент мало чем отличался от аналогичных магазинов. Были здесь отделы парфюмерии, кожгалантереи, работникам завода продавали остродефицитные вещи, недоступные простым покупателям, к примеру, чешские сапоги за семьдесят два рубля.

На улице К. Маркса, 39, рядом с магазином «Мелодия», где продавались пластинки с популярной в то время музыкой, детскими песенками, радиоспектаклями, 23 января 1975 года открылся специализированный магазин «Трикотаж», позже переименованный в «Ткани». Подобный объект торговли был на пересечении с улицей Сухэ-Батора. Назывался он «Радуга», открылся 17 января 1966 года. Здесь продавали портьерные, простынные ткани из отечественного льна, полотенца, скатерти, покрывала. В это время в моду вошли новинки: ткани поплин, «шотландка», чуть позже кримплен, который был в большом дефиците. Это немнущаяся ткань из искусственного полотна с «жатой» фактурой. Она не пропускала воздух, но зато привлекала покупательниц своими яркими расцветками. За ней выстраивались огромные очереди. В 1960-е годы в моду вошла ткань «болонья». В 1968 году в продажу «выбросили» женские плащи из этой ткани, сшитые на Черемховской швейной фабрике. Это был последний «писк моды» в Иркутске.

Главным магазином того времени был Центральный универмаг на улице Урицкого, 3 в «Доме Мерецкого», где сейчас находится «Детский мир». Сам же «Детский мир» в эти годы находился на улице Дзержинского, между улицами Чехова и Фурье; сегодня там мебельный магазин.

30 января 1969 года случился большой пожар в здании Центрального универмага. Огонь уничтожил складские помещения с находившимися в них товарами, были повреждены торговые залы и административные помещения.

Ещё ранее, 5 марта 1968 года, решением Совета Министров РСФСР были утверждены проект и смета строительства торгового комплекса в Иркутске, первого от Урала до Тихого океана. Таким образом, участь бывшего Центрального универмага была предreshена. Сам торговый комплекс открылся в Иркутске 25 ноября 1976 года. Он включал в себя большой промтоварный магазин, магазин для новобрачных, гастроном, ресторан, бар-кафе.

Магазин «Меха» (ул. Урицкого, 4) в семидесятых назывался «Белка», находился на одной стороне с магазином одежды «Лена». Так как меховые изделия были в то время в большом дефиците, то на полках красовались чучела белок, держащих в лапах кедровую шишку, и иные сувениры.

Обувь можно было купить в одноимённом магазине на Урицкого, 11б, там же, где и сейчас. В это время в Иркутске работала обувная фирма «Ангара», на улице Свердлова, созданная в 1962 году постановлением Совнархоза на базе обувной фабрики № 1 (головное предприятие), обувной фабрики № 9 и фабрики модельной обуви. К сожалению, продукция этой фирмы, сшитая из высококачественной кожи, значительно уступала зарубежным аналогам, но стоимость её была невелика, поэтому она находила своих покупателей.

15 октября 1963 года решением исполкома горсовета здание отдела природы Иркутского областного краеведческого музея было передано под магазин «Дом обуви». Но и здесь он долго не удержался, вскоре его сменил магазин одежды «Лена».

4 марта 1988 года, согласно записи в «Иркутской летописи» И.П. Колмакова, открылся фирменный магазин «Сапожок» обувного объединения «Ангара» (ул. К. Маркса, 31).

В здании на улице Урицкого 17 марта 1966 года открылся салон-магазин для новобрачных, где по талонам Дома бракосочетания приобреталось всё для свадебного обряда. Такой же отдел позже разместился в магазине «Подарки» на улице К. Маркса, а с открытием Торгового комплекса — на первом его этаже (вход со стороны ул. Литвинова). В 1980-е годы в здании на улице Урицкого, 1 был открыт магазин игрушек.

В 1960-е годы в Иркутске ликвидировали барахолки, где иркутяне могли купить и продать поношенные вещи⁴, и было принято решение об открытии комиссионных магазинов. Один из первых находился как раз на улице Урицкого, 2. Вначале нужно было выстоять очередь к приёмщице, которая оценивала товар и выдавала квитанцию с оценочной стоимостью, затем эти вещи выносили в торговый зал. Если их покупали, приходило извещение, и продавец вновь приходил в магазин, получал в кассе причитающуюся сумму.

На ул. К. Маркса, 39 было ещё несколько специализированных магазинов, к примеру, «Канцтовары» неподалёку от «Мелодии». В этом магазине можно было купить всё для школы: ручки, карандаши, пеналы, линейки и т. д., позже здесь стали продавать фототовары. За ним располагался магазин «Радиотовары». Чуть дальше за «Гастрономом», по этой же стороне, — магазин «Подарки» с парфюмерией, сувенирами и бижутерией.

Следующим специализированным магазином были «Спорттовары» в здании бывшей гостиницы «Гранд-отель» на пересечении с улицей Литвинова.

На углу улиц К. Маркса и Литвинова (ул. Литвинова, 1) был «КОГИЗ» — книжный магазин, который позже стал именоваться «Родник», и где иногда (очень редко) можно было купить остродефицитные книги. За углом, на улице Литвинова находился «Букинист», в котором попадались истинные шедевры, в том числе и дореволюционные издания.

На ул. К. Маркса, 21, рядом со входом в художественный музей, находился ещё один специализированный магазин — «Подарки», торговавший изделиями из сибирского камня — чароита, лазурита, нефрита, изделиями из серебра, дерева с хохломской росписью, жостовскими подносами, павлово-посадскими платками и т. п. Здесь же была отдельная «свадебная» секция, где по талонам молодожёны могли купить к свадьбе платье или костюм, выбрать туфли нужного размера.

В голодные 80–90-е годы рядом находился магазин «Диетическое питание», где по специальным книжкам больным сахарным диабетом выдавались дефицитные продукты, в том числе сосиски и гречка.

На противоположной стороне, между улицами Б. Хмельницкого и Киевской, когда-то находился Дом Советов, здание позже было передано Иркутскому училищу искусств. На первом его этаже находилось почтовое отделение № 3, а в феврале 1961 года открылся магазин «Союзпечать». Рядом со входом в типографию № 1 находился магазин «Цветы» (ул. К. Маркса, 13), где продавали горшечные растения, срезанные цветы, за которыми по праздникам выстраивались огромные очереди: за мимозами — к празднику 8-го марта, за гвоздиками — по любому случаю, редко за белыми каллами и экзотическими нарциссами. Был ещё один цветочный магазин — на улице Горького, 32, о котором упомянул в своей «Летописи» Ю.П. Колмаков: *«28 марта 1969 года. В магазине «Цветы» появилась новинка — знаменитые кавказские гиацинты, доставленные с черноморского побережья в Иркутск самолётом...»* Здесь же проводились выставки цветов, выращенные иркутскими садоводами-любителями.

На улице К. Маркса, 22, в здании Дворца труда, был расположен ещё один галантерейный магазин — «Ландыш», где продавались сумки, кошельки, ремни, нитки, пуговицы, иголки и прочая мелочь. Там же можно было купить и парфюмерию. В первую очередь духи и одеколоны советского производства. Самой желанной была «Красная Москва». Эти духи считались элитными, каждая советская женщина мечтала о таком подарке. Духи продавались в плоской коробочке красного цвета с золотистыми полосками. Во флаконе, выполненном в виде башни Кремля, продавались подарочные духи «Кремль». Более доступными были духи «Кармен» — в небольшой коробочке, украшенной изображением знойной испанки. Особой любовью пользовались духи «Пиковая дама». Они были заключены в небольшой квадратный флакон, на стенках которого находились выпуклые изображения игральных карт. Флакончик закрывался стеклянной конусообразной пробкой, к которой был прикреплён стеклянный стержень. С его помощью духи наносили на тело. «Красный мак» продавали в роскошной картонной коробке жёлтого цвета с красной кисточкой, на крышке которой было

⁴3 июля 1961 г. Исполком госсовета принял решение запретить с 10 июля продажу подержанных вещей и предметов домашнего обихода на всей территории Иркутска. С 15 июля ликвидируется вещевой рынок (барахолка) на улице Лагерной. Для реализации вещей и предметов будут открыты комиссионные магазины (Ю.П. Колмаков).

нанесено изображение этого цветка. В конце 1950-х годов — в 60-е годы появились парфюмерные наборы: «Подарочный», «Красная Москва», «Голубой ларец», «Малахитовая шкатулка», в которые входили флаконы духов, одеколон и иногда мыло и пудра. Купить такой набор было дорогим удовольствием, поэтому его покупали «по случаю» — дня рождения, юбилея и т. д. Более доступными по цене были духи «Ландыш серебристый» и «Белая сирень». Помимо этих духов цветочный ряд был представлен духами «Гвоздика», «Мак», «Роза». Все эти духи производила московская фабрика «Свобода». Позже в Иркутске стали продавать парфюмерию Рижской фабрики «Дзинтарс». Популярностью пользовались «пробнички» — маленькие флакончики с разнообразными духами, к примеру, «Тайна рижанки». У духов был приятных сладковатый привкус, но они были нестойкими и быстро выветривались.

В 70-е годы появилась парфюмерия из братских стран — Польши и Болгарии. На прилавки иногда выставляли болгарские духи «Ша нуар» — «Чёрный кот» и польские «Быть может — Может быть». Эти духи считались в те времена дефицитом, обладать ими было большой удачей. О французских духах можно было только мечтать. «Клима», «Фиджи», «Пуасон» — вот самые популярные французские духи. Стоили они немалые деньги, к примеру, небольшой флакончик «Клима» стоил двадцать пять рублей. Мужской парфюмерный ряд представляли одеколоны «Шипр», «Цитрон», «Саша», «Тройной», причём последний охотно покупали местные алкоголики, которые пили его, разбавив водой.

В эти же годы появилась пена для ванн «Батузан» из братской ГДР — очень ароматная и доступная по цене. Дезодорантов не было! Чистоту тела поддерживали вода и мыло, а также квасцы и тальки. Чтобы не было пятен на шёлковых и шерстяных платьях, женщины подшивали к рукавам «подмышники», похожие по своей форме на современные подплечники. Дезодоранты появились в Иркутске в конце 70-х — начале 80-х годов. Они выпускались в виде спреев и довольно плохо справлялись со своей задачей.

Когда на пересечении улиц К. Маркса и Ленина (ул. К. Маркса, 20) построили дом для партактива, его тут же прозвали «Линией партии», другое название — «Сквозняк». На первом этаже разместился книжный магазин «Антарес» и салон-магазин «Художник»⁵, с сувенирами, картинами иркутских художников, а также красками, кистями и другими принадлежностями.

На углу улиц Ленина и Горького (ул. Ленина, 7) располагался магазин мужской одежды. Здесь продавались рубашки, костюмы, носки. Сегодня, заметно сократив свой ассортимент, он по-прежнему торгует товарами для мужчин. Напротив был гастроном с обычным для таких магазинов ассортиментом⁶, за ним, ближе к обкомовской поликлинике, — кондитерский магазин «Ромашка», с конфетами, тортами, выпечкой, тестом. В нём стояло несколько столиков, за которыми можно было посидеть за чашечкой чая или кофе.

Самым желанным, но недоступным для большинства иркутян был магазин «Берёзка» на улице 5-й Армии, 5, напротив здания газетного фонда научной библиотеки ИГУ. Сюда приходили с «чеками».

Советские специалисты, работавшие в дальнем и ближнем зарубежье, имели возможность при возвращении на родину обменять свою иностранную зарплату на чеки. На них можно было купить от авто до ширпотреба. Вот этот-то «ширпотреб» и продавался в «Берёжке». Магазин, в общем-то, небольшой, сегодня ничем не отличался бы от обыкновенного бутика Торгового центра, коих сегодня в Иркутске немало. Но при тогдашнем всеобщем дефиците этот магазин казался царством, где исполнялись мечты. Ведь там можно было купить настоящую импортную косметику и парфюмерию знаменитых фирм «Ланком» и «Лореаль», платья, кофточки и светлые плащи в пол, дублёнки, меховые шапки, сапоги, настоящие джинсы и кроссовки. Продавали здесь и импортную технику — телевизоры, видеоманитофоны. Все товары оценивались в рублях. Но приобретали их только за чеки: один рубль — один чек. Зайти в магазин можно было при предъявлении чеков, купить что-нибудь за рубли было нереально. Хотя выход и здесь можно было найти: чеки приобретали у фарцовщиков из расчёта один к двум.

В 1989 году исполком горсовета, в целях борьбы со спекуляцией, принял решение об организации сети пунктов по скупке товаров повышенного спроса у иностранных граждан и населения. На каждом пункте планировалось нахождение товароведа, который бы устанавливал цену в зависимости от стоимости вещи и покупательского спроса.

В декабре 1990 года в городе резко ухудшилось обеспечение населения мебелью. Очередь в магазин «Мебель» составляла в этот период семьсот человек, и исполком горсовета принял решение проводить запись на очередь для жителей Кировского, Куйбышевского, Октябрьского и Свердловского районов в магазине «Мебель», и в магазине № 4 для жителей Ленинского района.

⁵Открылся 2 марта 1974 г.

⁶Открылся 5 ноября 1960 г. на 12 рабочих мест. Здесь работали шесть холодильников и молокодозатор.

В этот период наступил «перекос» между заработной платой (она выросла за девять месяцев 1989 года на 14%) и возможностью её потратить. Резко возрос спрос на сложную бытовую технику. Но из-за крайне ограниченных фондов на одного жителя предполагалось реализовать таких товаров на сумму шесть рублей. Таким образом, одна стиральная машина приходилась на двести человек, швейная машина на двести шестьдесят, что приводило к спекуляции талонами, хотя срок их реализации был ограничен — три дня после выдачи.

Были и совсем вопиющие случаи: 12 апреля 1990 года Торговый комплекс получил для реализации большую партию женской импортной обуви — более четырёх тысяч пар, в том числе триста шестьдесят девять пар туфель производства Англии, более трёх тысяч пар итальянских и триста пар югославских сапог. Обувь продавалась четыре дня в присутствии представителей рабочего контроля и работников ОБХСС. Обслуживали покупателей шесть продавцов. Но группа фарцовщиков и наиболее агрессивных покупателей парализовала продажу, в итоге были выбиты стёкла входных дверей, что вызвало приезд нарядов милиции и ОМОНа с дубинками. 16 марта покупатели, которым не досталась обувь, разбили три прилавка, две кассовые кабины, оторвали электропроводку. Они угрожали продавцам, оскорбляли их, задерживали и обыскивали, вырывали из рук инкассаторские сумки. Для успокоения толпы работники ОБХСС проверяли склады, подсобные помещения, секции...

На сегодняшний день из всех перечисленных выше магазинов только четыре полностью или частично сохранили своё первоначальное назначение.



ЛЮБОВЬ КАНТАРЖИ

Мы сохраним тебя, русская речь...

Ещё месяц назад в это было бы невозможно поверить: жители «незалежной» запели русские песни. Началось с Запорожья, когда на железнодорожном вокзале неожиданно зазвучала песня из кинофильма «Весна на Заречной улице». Пели на русском языке совсем юные люди с красивыми одухотворёнными лицами. Чистые голоса лились широко и свободно, заполнив всё пространство вокзала и производя ошеломляющее воздействие не только на оказавшихся рядом пассажиров, но и на всех, кто смотрел затем видеоролик в Интернете.

Казалось бы, ну чего особенного? В разгар ноября люди запели о надежде на весну: «Когда весна придёт, не знаю... Пройдут дожди, сойдут снега... Но ты мне, улица родная, и в непогоду дорога...» Однако в оккупированном националистами русском Запорожье незамысловатые слова лирической вроде бы песни приобрели совсем иную окраску и прозвучали подобно пению молодогвардейцев в немецких застенках. На эти несколько минут, пока звучала песня, люди словно возвращались в великую прекрасную страну своего детства, где не было разделения на «колорадов» и «свидомых», где жили единой дружной семьёй, не скакали на майданах, а пели замечательные, возвышающие душу песни и слово «фашизм» казался термином из далёкой истории.

Видеоролик с записью мгновенно разлетелся по соц. сетям, за две недели набрав более миллиона просмотров. В комментариях люди признавались, что не могли сдержать слёз.

И понеслось!

Русская песенная волна, поднимавшаяся во многих областях Украины, постепенно заполняла собой всё большие пространства «от Москвы до самых до окраин» нашей некогда великой единой Родины. «Старый клён» — в Харькове, «Смуглянка» — в Одессе, «Солнечный круг» — в Киеве, «Катюша» — в Днепропетровске (Днепре). Москва ответила песней «Распрягайте, хлопцы, коней» на Киевском вокзале, позднее на Белорусском спели песню из культового фильма «Белорусский вокзал». С каждым днём песенное движение охватывало всё новые и новые города: Донецк, Луганск, Снежное, Липецк, Благовещенск, Мариуполь, и снова Москва, Николаев, Чугуев, Алушта, Евпатория, Никополь, Находка, Белгород и вновь Запорожье — на этот раз в аэропорту — Макеевка, Иваново, Рязань. Неожиданно мощно подключились Кишинёв, Приднестровье, по-русски запел Рим! Поют Пахмутову и Френкеля, Баснера и Новикова, Матвиенко и Колмановского, Соловьёва-Седова и Богословского.

Журналист Иван Вишневский назвал этот русский музыкальный марафон «*песенным собором*». «*В воздух, в небо была выпущена некая песенная ракета, на которой было написано «За СССР»...*»

И эта ракета достигла цели!

Всколыхнуло, задело за живое всех бывших граждан бывшего Советского Союза. Оказалось, что в людях жива память, что души по-прежнему чутки к великому русскому слову, а ностальгию по нормальной человеческой жизни не вытравишь кованым сапогом.

Из комментариев на Ютубе:

«Мне 56 — плачу!!!»

«Мне столько же... те же чувства».

«Мне 21 — я тоже!»

«А я — РЫДАЮ! И проклинаю украинских фашиствующих молодчиков, которые за печенки западных наставников уничтожили ВЕЛИКУЮ СТРАНУ!»

«Жива молодежь, жив и единый народ!»

«Ой, как хорошо, что среди молодёжи есть адекватные люди, и врут те, кто утверждает обратное, спасибо вам!!!»

«Блин, эти ребята вовсе не похожи на тех, что стояли на майдане, читали стихи, мол, вы нам не братья уже, грезили о европейских кружевных трусах, а затем жестоко убивали на Юго-Востоке! Неужто такие красивые парни и девчата с просветлёнными лицами и ангельскими голосами ещё есть на Украине? Аж слёзы капаят!»

«КАТЮШУ неть пора».

«Молодцы, побольше бы таких выходов в народ») после такого и язык не поворачивается сказать что-то обидное про украинцев, все мы братья, вас очень любим, скучаем по вам и ждем возвращения из фашистского плена!»

Люди очень точно почувствовали посыл и расшифровали смысл песенных посланий: ещё не всё потеряно! Не все на многострадальной Украине зомбированы, есть, есть здоровые силы, те, чей дух не сломлен, и они подают нам сигнал. Значит, исцеление возможно, значит, есть на кого опереться, когда придёт время (а оно уже не за горами!) освобождать Украину. А поддержка песенного марафона в Молдавии и Приднестровье даёт надежду на то, что и другие бывшие республики СССР не останутся в стороне, и, значит, у нашей общей великой державы есть будущее!

В первые же дни песенного движения было написано очень точно выразившее его суть стихотворение, ставшее мгновенно невероятно популярным (его автор, поэт и прозаик *Лариса Ратиц* с раннего детства жила на Украине, в Россию из Николаевской области переехала в 2011 году):

*Назло изоглавшейся прессе — протестный рождается шквал!
Запели «Смуглянку» в Одессе — её подхватил весь вокзал.
И в Харькове, и в Запорожье — то «Клён» запоют, то «Весну»...
Есть то, что всего нам дороже: мы помним большую страну!*

*Да! Ту дорогую, святую, что мир от фашизма спасла.
И пусть русофобы лютуют, а песня надежду зажгла!
...Давайте, родные, давайте!!! Споём на Днепре! На Неве!
И «хлопці, коней розпрягайте!» — в ответ зазвенело в Москве!*

*На Киевском старом вокзале, под русский лихой перепляс —
в столице «Марусю» играли, души исполняя приказ...
Как будто опять партизаны вдруг вышли из тёмных лесов...
Не верим мы в эти майданы, а верим в добро и любовь!*

*Ну что, СБУ? Эту песню нельзя ни поймать, ни убить.
То вера святая воскресла! Маэстро сказал: «Будем жить!»
Ведь мы — от рожденья артисты, а песня — народный дебют:
славянские «сепаратисты», поют «колорады», поют.*

*Поют и поют, хоть ты тресни!.. А кто запретит? — да никто!
Тут всё — и прозрачно, и честно: вот — люди, вот — песня. И что?!
ВСЕМ слышно?! Мы рядом. Мы вместе. МЫ — дети великих отцов.
И наша бессмертная песня — примета борцов и творцов!*

Люди поют. «Поют и поют, хоть ты тресни!» Поют, несмотря на угрозы «правосеков» и критику, раздающуюся с разных сторон, «всепропальщики» возмущены тем, что, мол, песенками Донбассу не поможешь; официальный Киев кричит, что это «путинская пропаганда». Да и пусть их кричат, пусть устраивают свои альтернативные, «свидомые» флешмобы, пусть нанимают политологов, которые на полном серьёзе успокаивают пере-

пуганных граждан и разъясняют им с экранов телевизоров, что поющие на вокзалах никакой опасности (!) для Украины не представляют. Это лишь подчёркивает, что оккупанты всерьёз обеспокоены возрождением народного духа и видят в единении людей через песню настоящую угрозу. А он, народный дух, тем временем побеждает, захватывая песенной волной всё новые и новые территории и возвращая людям надежду на победу.

Итак, русская культура вновь показала свою мобилизующую и объединяющую силу. Нам предстоит ещё проанализировать и осмыслить это совершенно уникальное новое явление, это истинно народный выплеск глубинных чаяний людей, поднявшийся по зову сердца, без организации сверху. И пусть на вокзалах поют не миллионы, а десятки человек (хотя в совокупности дело идёт уже к десяткам тысяч) — сопереживают-то им десятки миллионов!

А ведь это и есть та самая закваска, которая может всквасить всё тесто.

И напоследок:

«Они сражались за Родину. Так я подумал, когда увидел, как люди на вокзалах Харькова, Одессы, Днепропетровска и Запорожья поют советские патриотические песни. И тут же понял, что это начало большой красивой истории. Вроде «Бессмертного полка», например. Да, мы стали свидетелями рождения важного объединяющего начала, апеллирующего к нашей общей исторической памяти, без которой не жить, не любить, не верить» (Платон Беседин).

«Противостояние варварской русофобии на Украине с помощью знакомых и любимых шедевров русской культуры, оживление исторической памяти через творчество — это, пожалуй, посильнее любого военного оружия, поскольку позволяет вернуть не землю, а души людей. Что, впрочем, не отменяет необходимости бить бандеровскую сволочь в хвост и в гриву при любой попытке агрессии... Бдительность и желание не забыть страдания Донбасса не должны убивать на корню любую возможность выздоровления миллионов жителей Украины от русофобии. Нынешнее песенное движение на Украине — та самая капля, которая камень точит. Точнее, излечивает душу, как живая вода от омертвления» (Эдуард Биров).

ИГОРЬ АБРОСКИН

«Эпоха Шнура»: время, плодящее дебилов?

МОСКВА, 8 декабря. 2016 г. — РИА Новости. Первую российскую национальную музыкальную премию вручили в Кремлёвском дворце в среду деятелям шоу-бизнеса и классическим музыкантам, лидером по числу номинаций стала группа «Ленинград», сообщила пресс-служба премии.

В этом году награды были присуждены в 15 номинациях. Группа «Ленинград» получила три приза: «Лучшая рок-группа». «Песней года» жюри признало нашумевшую композицию «В Питере — пить», а клип на песню «Экспонат» отметили призом в номинации «Лучшее музыкальное видео».

Лучшими поп-исполнителями стали Дима Билан и певица Ёлка. Пианиста Дениса Мацуева признали «лучшим инструменталистом года в классической музыке», за вокал в классической музыке жюри отметило призом оперную диву Анну Нетребко.

Открываю 48-й номер «Аргументов и фактов», читаю на 18-й странице: Шнуров Сергей — «главный певец последнего десятилетия... Воплощение новой искренности». Вот так! А по мне он — помесь гниды с придурком — делает бабки на nepотребстве, нашёл свою нишу. И фартит ему так потому, что на товар есть спрос, все по-рыночному. Закон?! И закон соблюден: «главный певец десятилетия» периодически платит две тысячи рублей штрафа за мат, тогда как праздничный концерт приносит ему 100–150 тысяч евро. Вот такой юродивый вся Руси, имеющий за вечер больше семи миллионов рублей. Ой, братцы, трудно с такими деньгами быть правдорубом, пьяницей и бессребреником.

Но беда не только в потребности nepотребства в нашем обществе. Ну ладно, пусть корпоративы, концерты для жаждущих грязи где-то на окраинах, в подвалах, ну пусть за рублёвскими заборами... Куда ж деваться, грешен человек, любит песенки «с душком»... И пусть бы скакал в кабаках, перед толерантной московской интеллигенцией, млеющей до слёз, когда слышит мат, это для неё прикосновение к нутряному, народному. Так нет — Шнура аж в Кремль! Но петь Шнуру в Кремле, рядом с Успенским собором, где начиная с Ивана Грозного венчались на царство русские цари, где усыпальница святейших патриархов! Да это верх святотатства, шабаш, это плевок в лицо России с её культурой, за которую гордость берёт. А вот плюнули и растёрли — пей, сука! И — под гитарку припев матом. Неча хорохориться, будь как мы — лепсы, биланы и шнуры.

Видно, время сейчас такое, мутное, на растопырку, да и было ли оно у нас другим, наше время? Тот же Кремлёвский дворец съездов, где чествовали Шнура, Агутина, Билана (как в этой компании Мацуеву и Нетребко?), построенный в коммунистическое время, — единственный безбожный новодел в православном по духу и сути Кремле. Всё несовместимое рядом, всё смешалось: коммунисты и духовенство, наглый, вызывающий мат Шнура на всю ивановскую...

Впрочем, какое мне дело до Сергея Шнурова, пусть себе поёт, слушающие и платящие ему — достойны его. За себя я спокоен: даже если мне хорошо доплатят, я не пойду на его концерт. Так зачем я поминаю его, привлекаю внимание, ведь любая шумиха на пользу ему? Да просто страшно за детишек, что подрастают, глядя на это nepотребство, не понимая всей мерзости его. И так прививается будущему низменный вкус, привычка к соседству с босячкой веселухой. Дурное цепляется за слух сразу, как вша.

Когда-то, совсем недавно, целая армия блатного шансона давила, гнула, опускала страну, да не смогла. А разухабистый Шнур сумел? Так это что: Россия теперь поёт голосом Шнура?

Наши лауреаты - 2016



Валентина Сидоренко за книгу «Русь земная» стала лауреатом Всероссийской литературной премии «Золотой Витязь».

* * *

Татьяна Ясникова отмечена «Золотым дипломом» в рамках VII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» за книгу «Родник».

* * *

Лауреаты Издательского дома «Российский писатель в номинации «Поэзия»:
Владимир Скиф — за поэтическую подборку «По осени в истоке Ангарь»;
Татьяна Суровцева — за юбилейную поэтическую подборку.

* * *

Звание лауреата Всероссийского конкурса одного стихотворения в Санкт-Петербурге «Донбасс, Донбасс, земля моя, ты вся горюшь в огне» за стихотворение «Бескрылый Ангел» получил **Владимир Скиф**.

* * *

Владимир Скиф отмечен Дипломом конкурса «Лучшая книга года — 2015» в номинации «Лучшее литературно-художественное издание» за книгу «Байкальское Переделкино».

* * *

Директор Иркутского Дома литераторов, прозаик **Александр Лаптев** стал лауреатом премии журнала «Сибирские огни» по итогам 2016 года за повесть «Армань». Журнал «Сибирские огни» — старейший литературно-художественный журнал в стране, он выходит с марта 1922 года.

* * *

Герману Наумову (творческий псевдоним — Иван Рассказов) в канун Нового года в Московском Центральном доме литераторов была вручена медаль лауреата премии Моцуо Басё. Поэтические и литературные произведения иркутского автора признаны одними из лучших на Японском международном конкурсе.

* * *

По направлению «Литературные произведения» премия Губернатора Иркутской области была присуждена **Юрию Баранову** за создание книг для детей «Зелёный медведь», «Потомкам в пример: прогулки по Иркутскому художественному музею имени В.П. Сукачева с Юрием Барановым», «Град небесный», «Озорной словарь».

* * *

По направлению «Литературные произведения» премия Губернатора Иркутской области была присуждена **Светлане Волковой** за создание книги «Сказки старого города».

* * *

Обладателями премии Губернатора Иркутской области в составе творческого коллектива стали **Валерий Хайрюзов, Виктор Токарев, Юрий Суракевич, Владимир Соколов, Вячеслав Степанов** в номинации «Исполнительская деятельность (исполнение)» за создание спектакля «Иннокентий».

* * *

Лауреатом премии «Имперская культура» им. Эдуарда Володина стал **Виктор Токарев** за постановку спектакля «Иннокентий».

* * *

Лауреатом Всероссийской литературной премии имени Александра Невского, учреждённой Свято-Троицкой Александро-Невской лаврой при поддержке Союза писателей России, стал **Александр Донских**. Ему присуждена премия Первой степени с вручением серебряной медали имени Александра Невского.

* * *

23 декабря 2016 г. в областной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского состоялось торжественное вручение дипломов победителям и участникам регионального конкурса «**Лучшая книга года**».

«Лучшее историко-документальное издание» — книга «История Иркутска XVII–XIX вв.», авторы — **Алексей Николаевич Гарашенко, Александр Александрович Иванов**.

«Лучшее издание о Великой Отечественной войне» — книга «**Великая Отечественная война по материалам Государственного архива Иркутской области**»

«Лучшее литературно-художественное издание» — книга «Запах гари», автор — **Инна Львовна Фруг**.

«Лучшее издание для детей и юношества» — книга «Сказки старого города», автор — **Светлана Львовна Волкова**.

«Лучшее издание об искусстве» — книга «История изобразительного искусства Прибайкалья XX — начала XXI века», автор — **Татьяна Григорьевна Ларёва**.

* * *

Владимиру Корнилову вручен Золотой Диплом за книгу «Исповедь» (г. Лейпциг, Германия).

* * *

Владимиру Корнилову вручена Грамота за лучшую книгу 2016 года «Память сердца», посвящённую писателям Валентину Распутину, Сергею Лыкошину, Владимиру Цыбину, Владимиру Фирсову, Ростиславу Филиппову, Надежде Тендитник, Глебу Пакулову (г. Санкт-Петербург).